

НАШ СОВРЕМЕНИК

Журнал писателей России



№ 11 2022

СТАНИСЛАВУ КУНЯЕВУ — 90!



*Опять разгулялись витии –
шумит мировая орда:
– Россия! Россию! России!..
Но где же вы были, когда
от Вены и до Амстердама
Европу, как тряпку края,
дивизии Гудериана
утюжили ваши поля?
Так что ж – всё прошло-пролетело,
всё шумным былбём поросло:
и слава, и доброе дело,
и кровь, и всемирное зло?
Нет, всё-таки взглянем сквозь годы
без ярости и без прикрас:
прекрасные ваши “свободы” –
что было бы с ними без нас?!
Недаром легли как основа
в синодик гуманных торжеств
и проповедь графа Толстого,
и Жукова маршальский жезл.*

1975



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-
ГОНЧЕНКО,
А. В. ВОРОНЦОВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Содержание

Поэзия

Юрий КАБАНКОВ Каждое слово – ожог и взрыв	3
Анатолий ВЕРШИНСКИЙ Какие завтра ждут нас времена... ..	15
Григорий ШУВАЛОВ Спасаясь от ностальгии... ..	46
Наталья ДЖУРОВИЧ Знак счастливой птицы	101

Проза

Дмитрий ВОРОНИН Воры. Рассказ	9
Степан РАТНИКОВ Школота. Роман	18
Наталья РОМАНОВА-СЕГЕНЬ Великий стряпчий. Роман	50
Сергей МАРТЬЯНОВ Олма. Рассказ	104
Сергей ПОЛУЯНОВ Взгляд в бездну. Рассказ	115

Встречи с читателями

Юрий ЛУНИН Преображение. Рассказ	120
Анна МАМАЕНКО “Перекасти-столетие”	138
Игорь КОРНИЕНКО Мамихлапинатапай	142
Наталья КОЖЕВНИКОВА Лёгкая лодка на вольной воде	153

Очерк и публицистика

Геннадий ЗЮГАНОВ Если дорог тебе твой дом	156
Сергей ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ “...И откуда Русская земля стала есть”	160
Валерий ГУРОВ Три желания	180

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

С. С. Куняев —
*заместитель главного
редактора, зав. отделом
публицистики* —
(495) 625-01-81

А. Ю. Сегень —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —
зав. отделом поэзии —
(495) 625-02-81
ns-poetry@yandex.ru

А. Н. Тимофеев —
*редактор отдела
критики* —
(495) 625-30-47
ns-kritika@yandex.ru

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Юбилей

Юрий БОНДАРЁВ
Письмо-представление
на соискание Государственной
премии РФ в области
литературы и искусства 198

Пётр ТКАЧЕНКО
“Всё, что было отмечено
сердцем...” 201

Валентин СВИНИННИКОВ
Страстное мужество
Станислава Куняева 221

Валентина СЕМЁНОВА
История отступничества
в зеркале поэзии 231

Критика

Александр НЕСТРУГИН
“Дай мне самому её пройти...” 241

Вадим КАРАСЁВ
“В моей душе –
одна любовь...” 251

Память

Сергей КУНЯЕВ
Вадим Кожинов 261

Ольга ГОРЕЛАЯ
“И вдохновеньем
полнится душа...” 278

Слово читателя

“Ради добра
и справедливости” 282

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2

Сайт в интернете: www.nash-sovremennik.ru, эл. почта: n-sovrem@yandex.ru

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675. При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 03.11.2022. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Отпечатано в АО "Красная Звезда", 117342, Москва, Севастопольский проспект, 56/40 экз.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ЮРИЙ КАБАНКОВ



КАЖДОЕ СЛОВО — ОЖОГ И ВЗРЫВ

* * *

Оставьте меня в этом поле плакать!
Федерико Гарсиа Лорка

Чукча, верный Севера сын,
незнаком с марокканской жарою,
он берёт золотой апельсин
и ест его целиком с кожурою;
золото брызжет на мох и ягель,
низкое солнце звенит, как бубен,
а он развинчивает горлышко фляги

КАБАНКОВ Юрий Николаевич родился во Владивостоке в 1954 году. Поэт, критик, публицист, филолог, богослов. Служил на Тихоокеанском флоте, работал парашютистом-пожарным, электромонтажником, преподавал в сельской школе, редактировал книги. Выпускник Литературного института им. М. Горького (1983). Член Союза писателей СССР (СПР) с 1988 года; с 1998-го — член Русского PEN-центра Всемирной Ассоциации писателей. Автор десятка книг и множества публикаций в центральной, региональной и зарубежной периодике. Лауреат премии издательства “Молодая гвардия” (Москва); лауреат премии критиков Союза писателей РСФСР “Лучшие стихи года” (1990); лауреат Всероссийской премии им. А. Дельвига “За верность Слову и Отечеству” (Москва, “Литературная газета”, 2013); лауреат Международной Волошинской премии “За сохранение традиции в русской поэзии” (Коктебель, 2015). До 2019 года включительно — доцент кафедры теологии при Департаменте философии и религиоведения Дальневосточного федерального университета (Владивосток). Кандидат филологических наук. На данный момент проживает в Крыму под Севастополем, в селе Фронтвом.

и развенчивает всё, что будет
с нами и всей мировой плеромой:
в конце времён он может рассчиты-
вать на глоток ямайского рома,
и нет у него никакой защиты,
кроме кровавой оленьей печени,
только что в стойбище освежёванной;
дух тундры сполна беспечен,
но, технологиями окружённый
и вождевая себе покоя,
он, как мамонт, плывёт сквозь слякоть
подземных льдов и молвит такое:
“Оставьте меня в этом поле плакать!”

На всех скулящих не хватит хлорки:
души оттаявших говорливы...

...и стойкий ангел Гарсиа Лорки
плачет у Берингова пролива.

АЛЕЕТ ВОСТОК

*...А лисички взяли спички,
к морю синему пошли,
море синее зажгли...*

Корней Чуковский.
“Путаница”

*...и Тебе веди с высоты Востока,
Господи, слава Тебе!*

Рождественский тропарь,
глас 4-й

“Поворачивай оглобли!..” И — с фонариком бумажным —
память, словно иероглиф, изнывающий от жажды:

танец тысячи косичек в ослепительном заливе —
будто вдруг без всяких спичек птицы море запалили,

будто лисы Ляо-чжая воздух подожгли над степью,
дабы конницу чужую оковать незримой цепью,

дабы юноша учёный, позабывши тушь и кисти
и лисою увлечённый, истлевал, как эти листья

в долго стелющемся дыме, в пляске с лисьими хвостами,
обессиленный гордыней, с пересохшими устами...

В переливах тёмной ночи, в переборах лёгкой лютни
свет колышется... Короче: эти лисы, эти плутни,

эти призрачные чары лунного панмонголизма,
схваченные обручами стойкого социализма,

в упорядоченном ритме — абы ничего сверх меры! —
как бамбуковая бритва, отсекающая веру,

как тоскующая флейта над зеркалом вод текучих,
в бесконечной киноленте Богу милости наскучив,

к нам грядущему с востока, с высоты его бесплотной;
с высоты его высокой ангел плачет беспилотный —

оттого, что в мире тесном только сердце одолеет
алый воздух Поднебесной. А восток — всегда алеет.

ПЛАЧ О БЕЛОМ СВЕТЕ И ЧЁРНОМ КВАДРАТЕ

*Итак, укрепите опустившиеся руки
и ослабевшие колена.*

Исайя, 35. 3

*...Ибо сыны века сего
Догадливее сынов света в своём роде.*
Лк. 16.8

я бы выветрил сквозное безутешное дыханье
свет колышется от зноя это неба колыханье
над созревшими хлебами это вспышки шаровые
в воздухе столкнулись лбами будто цены мировые

ум проворный и лукавый подтяни ему подпругу
воздух вычертив лекалом так и цокает по кругу
вью крепкую набычив видит красными белками
лишь насыщную добычу только хруст под каблуками

под копытами COVIDов под капотами КамАЗов
дымом стелется обида свет небес на хлеб намазав
снова из варяг во греки нашу веру ветром носит
даже память в кои веки съёжилась и есть не просит

знойный воздух затихает ветер пахнет пастилою
смерть со свистом воздыхает белый саван постилая
разгулявшаяся вьюга в стёклах городов и весей
лепит квадратуру круга белый свет на крюк повесив

Господи куда ж нам деться этот свет по вертикали
к нам спускается из детства в бывшее перетекая
лучше камень бить в печали молвит истовый Исайя
Слово бывшее в начале скудной верой воскрешая

ГРОЗА В ОКЕАНЕ

Как океан объёмлет шар земной...

Ф. И. Тютчев

Я заглянул в человеческий зрачок дельфина —
солнце скользнуло куда-то вдаль, чуть изогнувши спину
и закатив глаза;
и прошуршала пенным исподом волна, отхлынув:
небо набычилось — шла по воде гроза.

Там удивляются, в толще воды: мол, чего бояться?
гроза для того и есть, чтобы свистеть, смеяться,
булькать и взлетать к небесам —

взапуски с волной,

и никакому потоку уже не бывать вовеки:

Ной, Сим, Хам, Иафет —

взгляни! —

словно простые греки,

кентавру без всякой надобности
 и всякого там цилиндрического
 Огненный конь пророка задел копытом
 и покуда Иса
 не пролилось ни капли огня
 толковал Аллаху седьмую суру Корана*,
 над святым Иорданом,
 потому что Нетварным светом
 а град земной — и старый, и новый —
 сорвавшихся с недвижимой орбиты
 предрекающих великую сушь, раскол
 сил бесплотных,
 в некую чистую силу,
 там, где у светлого озера бродит преданный нами конь,
 и, склонивши выю, никак не может воды напиться.

...НА БЕЛОМ ПОЛОТНЕ РОССИИ

*Открылась бездна, звезд полна,
звездам числа нет, бездне — дна...*

Михайло Васильевич Ломоносов.
“Вечернее размышление о
Божием величестве при случае
великого северного сияния”

когда волною гравитации
 тоска нахлынувши слизнула
 сигнальные огни на станции
 и сердце вдруг захолонуло
 постукивая молоточками
 на стыках старой киноленты
 где мама в ситцевом платочке
 бинтует сбитую коленку
 и кровью звёздочку рисует
 она ещё совсем подросток
 на белом полотне России
 на ослепительной берёсте
 она молиться не умеет
 воздушная тревога длится
 и так стремительно темнеет
 под Курском и Аустерлицем
 что сам Господь перекрестился
 от скорби сердце разрешая
 и Южный крест переместился
 в хрустальной чаше полушарий

* В этой суре говорится о сотворении первых людей, об Адаме и Еве, поддавшихся искушению шайтана и изгнанных за это из рая, а также о продолжающихся искушениях человека, стремящегося к земным излишествам...

“...И СЛОВО БЫЛО БОГ”

Каждое слово — ожог и взрыв, воздух бросает в дрожь.
Так отрок, звезду открыв, Землю не ставит в грош.

Так, смыслённый не по годам, будто с неба сошед,
имя Бога давал Адам каждой живой душе.

Рдяная охра, лист резной, мир красотой томим.
Лёгок последний осенний зной: выюги стоят за ним.

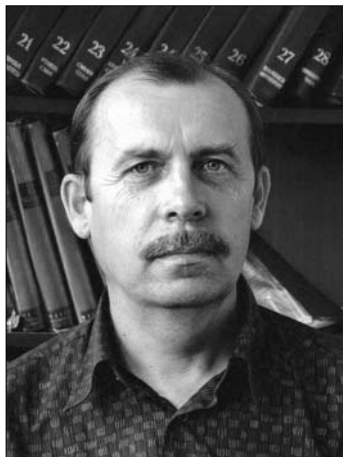
Синим отсвечивает луна, белым слепит простор,
пляшет небесная глубина, как ледяной костёр.

Плачет заносчивый царь Давид, плоть свою истомив, —
это — как виноград давить, ноги в ручье омыв.

Это — как взлетать в небеса, сердце своё срастив
с Бахом, играющим на басах, радость врагам простив,

глядя, как мировой пожар тщится над нами мчать...
Слово, словно хрустальный шар, будет вовек молчать.

ДМИТРИЙ ВОРОНИН



ВОРЫ

РАССКАЗ

Геннадий Михайлович Авилов привечал гостя.

Ещё вчерашним вечером, когда огромный красный диск холодного мартовского солнца только-только скрылся за горизонтом, у новосельцевского подворья заплескал свет автомобильных фар.

— Кого ж на ночь-то глядя к нам занесло? — стоя на крыльце, тревожно вглядывался в другой край Филипповки Авилов. — Никак вору к Сане за поживой наехали. Вот ведь нехристи, совсем уж без страха живут, почти в открытую безобразничают. Спутнуть бы как, — и Геннадий Михайлович протянул руку к выключателю.

Через мгновение его сторона деревни ярко высветилась множеством мощных ламп, развешанных тут и там вокруг авиловского участка. А ещё через минуту в кармане рабочей куртки, второпях наброшенной на плечи, зазвонил мобильник.

— Ген, ты дома?

— Саня, ты, что ли?

— Я, Ген, я. Вот приехал кое-чего забрать для дела, а тут, понимаешь, света в хате нет, и наладить не могу, в темноте не понять, в чём причина. Ничего, если до тебя доскочу? Хоть руку пожать.

ВОРОНИН Дмитрий Паволович родился в 1961 году в городе Клайпеда Литовской ССР. Сельский учитель. Автор трёх сборников рассказов. Участник более сорока альманахов и прозаических сборников в России, на Украине, в Беларуси и Германии. Лауреат премии им. Александра Куприна, лауреат международных конкурсов и фестивалей “Славянская лира”, Беларусь; “Славянские традиции”, Крым; “Русский Stil”, Германия; “Гоголь-фэнтези”, Украина; “За далью – даль” им. Твардовского, “Антоновка 40+”, Москва и других. Живёт в посёлке Тишино Калининградской области. Член Союза писателей России.

— Так это, ещё спрашиваешь! Конечно, давай заезжай, — обрадовался неожиданному гостю Геннадий Михайлович. — Только, это, осторожней дамбой смотри, тут у нас боры безобразят, в нижнем пруду хатку сподобили, а может, и не одну. Есть там среди них один, видал его пару раз, зверюгу, варнак варнаком. Так, паскуда, дамбу пробил точняк посередке, что вода наполовину из пруда сошла. Там земля ползёт, поостерегись гнать-то, помаленечку езжай, с оглядкой, а то не ровён час скувыркнёшься в откос.

— Хорошо, Ген, учту. Сейчас и подъеду.

Ну, а уж Геннадий Михайлович гостя не упустил, сосватал у себя ночевать. Саша Новосельцев — гость всегда желанный, с почтением человек и слушатель на Генины байки, каких ещё поискать. Да и гармонист забойный. Как растянет свою двухрядку да песню родную, добрую, русскую запоёт, слеза сама накапывает. Геннадий Михайлович слёз таких не стыдится, поёт песню, плачет и смеётся потом — как хорошо-то душу отмыл!

И в этот раз Александр в самый раз в Филипповке оказался. Авиллов-то уже совсем закис было, почти всю зиму проведя в одиночестве в деревне. Ну, бабка Марина не в счёт. Что с неё, сидит в доме у себя, на улицу нос не высовывает. Только разве когда в морозный солнечный денёк выйдет во двор поправить что-нибудь. Где штaketину набьёт, где снег чуток отгребёт с порога, на большее и сил-то нету. А поговорить с ней надумаешь, всё без толку, молчит да хмурится. Геннадий Михайлович, конечно, ей в зиму помощник первый и снег раскидать, и калитку, сорванную ветром, приладить. Когда дров принесёт, печку растопит, это если бабка Марина болеть налаживается. Тут и за лекарством на центральную усадьбу к фельдшеру, а то и за самим фельдшером на своей “Ниве” мотаться приходится. А так Филипповка пуста. Народ только в лето деревню заполняет. Ну, что с него возьмёшь, одно слово — дачники.

Саша Новосельцев тоже из чудных. Приедет к себе по весне, грядку вскопает, навтыкает туда лук-чеснок, а летом ходит, любуется, руки от удовольствия потирает.

— Ген, смотри, какой у меня урожай-то нынче наметился, — хвастает Авиллову наливающимися луковицами знатный огородник.

— Да уж, — подыгрывает ему Геннадий Михайлович, — как раз по одной на каждый месяц. До следующей весны точно хватит. Проживёшь.

А по правде-то Новосельцеву недосуг землёй заниматься. Он всё больше пишет чего-то днями напролёт, а то и ночами свет в окошке подолгу горит.

И остальные дачники такие же. Одни песни поют-перепевают, другие картины рисуют. Вот Николай Климов, к примеру, спозаранку уже на крыльце. Ноги дальше не ходят, так он сядет на свой табурет и давай Филипповку срисовывать. И так он её родимую выписывает, что любо-дорого. А Андрей Непряхин, тот всё по полям да перелескам бегаёт. У него-то с ногами полный порядок, вот и гоняет, как чумной. То в одном месте с кисточками да красками возникнет, то в другом объявится.

А некоторые на гармони играют, но всё больше на гитарах.

Короче, летом в Филипповке весело, и ежу понятно, а вот зимой... И в особенности к апрелю, когда снег плавёт, а поля от льда отходят. По дорогам в это время ни пройти ни проехать, и в деревне потому полный “гитлер капут” наступает.

Вот Новосельцев в такой момент и рискнул.

— Я уже было подумал, что воры пожаловали, в такое время больше некому, — улыбался гостю Геннадий Михайлович, разливая по стопкам привезённую Новосельцевым водку.

— А что, наезжают, Ген?

— А то! По раз пять-шесть на месяц.

— Что-то часто больно, Ген.

— Почто часто-то, не часто вовсе. Нормально. Сам посуди. Вокруг Филипповки сколько полуброшенных деревень? Давай считать. Сосновка — раз, Ольховка — два, Речка — три, Коноховка — четыре, Пятихатовка — пять, Румяшино — шесть. Вот тебе с каждой в месяц по разу и объезд, как на смотрины.

— Так неужто в каждой деревне воры живут?

— Ну, так что ж, живут, как не жить. Колхозов нынче нет, хозяйства — где как, да и берут только тверёзых, что к делу приучены. А молодёжи что, козь ни специальности, ни работы? Вот только и воровать. Вот они и воруют. У себя в деревне да у соседей. А у нас в Филипповке уж само собой. Пусто же зимой, сам знаешь, нет никого. А в начале-то весны так и во все им благодать, и милиция не рискнёт в такую-то кашу-малашу.

— И не страшно тебе, Ген?

— Так чего не страшно, страшно порой. Но Бог милует. Ныне под Новый год наехали на двух машинах уже к вечеру. Вышел к калитке, а она на меня: “Ну что, старый, деньги маешь, пенсию получил?” — “После праздников обещали, сынки”, — отвечаю. “Брешешь, старый, — и по-матерному на меня. — Кто там у тебя ещё, может, у них что есть?” А у меня на тот момент во дворе две машины стояло — “Нива” моя верная да женин “Мерс” дупоглазый, сломался перед её отъездом. Я Верку-то на своей вывез, а ей-нюю машину потом откантировать решили, с оказией. Вот этот-то “Мерс” и помог. Вижу, сомневаются она что-то, ну, как бы с опаской поглядывают на тачку забугорную. Я и сообразил: “В дому, — говорю, — прокурорские в гости за мёдом заехали, сейчас спрошу, есть ли при них для вас гроши какие”. Такое сказано и в сени шмыг, а у самого душа в пятки. Сейчас как за мной ломанутся, а у меня нет никого, вот уж будет тогда — мама, не горюй. Я хоть и крупной мужик, сам знаешь, — показал свои пудовые кулачищи Новосельцеву Геннадий Михайлович, — но всё ж их-то аж семеро. Топор в руки взял — он у меня вон за той дверью завсегда стоит — и жду. Через минуту-другую с улицы моторы затарахтели, а потом смолкать стали издали. Храбрости набрался, вышел на порог, а их и след простыл. Только на взгорке, что на Кошоховку выходит, свет от фар мелькнул.

— Да уж, Ген, — пришёлкнул языком Новосельцев, — выкрутился ты. Спугнул их знатно, сообразил. Потом-то не приезжали?

— Кто их знает. Может, и приезжали, но к моему дому не лазали.

— Получается, Ген, что не так уж сильно и тревожат вас тут эти воры, всё больше, видать, по пустым дворам шарятся. Так?

— Так-то так, Сань, эти-то особо не достают — воруют, что плохо лежит да что не шибко дорогое, зато уж другие — о-го-го как!

— Это ж кто ещё?

— О-о, Сань, тут целая напасть приключилась. Приселился к нам Чубайс-лихоимец со своей бандой, будь она неладны, и разоряет тут всё кругом.

— К-х, к-х! — закашлялся Новосельцев, поперхнувшись куском тушёнки.

— Ну да, — постукал Новосельцева по спине Геннадий Михайлович, — бобёр-варнак, про которого я давеча сказывал, со всей своей семейкой. Здоровый, гад, мордатый.

— А что Чубайс-то ты его прозвал?

— Так как же не Чубайс? Именно Чубайс, больше никак. Наглый такой же, как тот, всамделишный, и варнак, каких поискать ещё. Разбойник натуральный. Ты вот, Сань, завтра с утрачка-то прогуляйся по деревне, некоторых мест-то и не узнаешь. Вокруг прудков наших пройдишь, полюбуешься, что натворил, супостат, — раскраснелся от возмущения Геннадий Михайлович. — Воду с одного пруда уже наполовину спустил, где ты сегодня проезжал. Рыбы сколько из-за этого сгубил-выморил! А деревьев сколько сничтожил для своих запруд да хаток! Сплошной бурелом.

— И потому Чубайсом ты его?

— Ну, а как? Смотри, Сань, вот тебе пересчёт, — стал загибать пальцы Геннадий Михайлович. — Тот Чубайс страну обмишурил своими ваучерами? Обмишурил. Хозяйство, что отцы, деды своим потом и кровью создали, пустил в распыл? Пустил. И наш Чубайс таков же. Мы тут эти пруды всей деревней копали, выстраивали, чтоб и вода для колхоза была, и рыба на столе, и отдых с устатку. Не один год трудились, пока всё до ума довели. А этот лихоманец пришёл и в одну осень почти половину нашего труда сгубил. Это как? Мы сад кругом прудков садили, растили, а он со своей бандой тепереча

всё кромсает, увечит. Ну, как тот, настоящий, точная копия. Всё народное под себя подгребли и губят. Ломают ради своих прибылей, ради хаток-дворцов да утех-веселух. Да и в отношении простого люда... Смотри. Вот помнишь, когда всё в трантарары покатилося, сколько народу сгнуло? Тысячи тысяч, небось. Кто с пьянства да зелья всякого, кто от безнадёги, кто от нервов да болезней, а кто и от голода-холода. И у нас тут та ж картина. Наш-то Чубайс сколь рыбы сгубил! Знаешь, какой тут замор был по осени из-за упадка воды? Воняло с недели две на всю деревню, пока птицы да зверьё всякое всю эту гниль не прибрали. Так что верное у нашего варнака имя, самое то.

— А изловить пытались?

— Ну, а как же! И капканы ставили, и ловушки, и в засаде с ружьём Иван Макуихин сидел, я его специально вызвонил. Уж он-то по бобрам спец спецом, а и ему не совладать с Чубайсом оказалось. Только молодых изловили двоих, а Чубайса так и не взяли. Хитёр, варнак! И злой! Опасный, чёрт. Так он ещё и по подворьям повадился, то ли в отместку, то ли куражится. У кого яблоню-грушу сгубит, у кого к припасам приступится. Глаза завидущие, мало ему прудов, всю деревню подавай, хозяином тут себя выставляет. Ну, ничего, я его всё равно подловлю! Не место чубайсам на нашей земле.

— Ишь ты, как всё подвёл, — восхищённо присвистнул Новосельцев.

— А как, Сань? Эти ж воры всем вора воры. Страшнее-то их и нет никого. Супостаты-разорители. Простой-то вор скрадёт что, урон-то на день-другой, через неделю или месяц, глядишь, и выправится. А этот, ты вот посмотришь, нагадил так, что и годы пройдут — не наладишь.

— Ты это про кого?

— Да про бобра своего, Чубайса.

— Гляди-ка, Ген, — рассмеялся Новосельцев, — он у тебя уже и свой.

— Ну, а то ж, — улыбнулся в ответ Геннадий Михайлович, — чей же ещё. Свой, варнак, свой. Это тот, что в столицах, может, американский, а наш свой, не забугорный. Вот только как его извести, погубителя, пока придумать не могу.

— А ничего, Ген, не переживай шибко. Скоро лето, в Филипповку со всех сторон ребята наши съедутся, вот тогда всё и решим. Найдём на твоего Чубайса управу всем обществом.

— Вот и хорошо, Сань, вот и хорошо, — разлил по стопкам остатки водки Геннадий Михайлович, — всем миром-то мы его точно прищучим! Против мира-то он пшик один, не извернётся. Вот так бы и в стране, всем миром-то, а, Сань? Глядишь, и извели бы супостатов-лихоимцев под корень. Вот бы так-то! За это и по стопарику не стрёмно!

Наутро, проснувшись и позавтракав доброй яичней с салцем, Новосельцев начал разговор о поездке в Румяшино на усадьбу известного писателя, как вдруг неожиданно перевёл тему.

— Ген, или мне показалось, будто проехал кто за окном?

— Не, Сань, не показалось, “жигулёк” проскочил.

— “Жигулёк?” — удивился Новосельцев. — А какой модели, Ген?

— Да вроде пятёрочка.

— Это по такой-то дороге? Герои, видать!

— Да какие герои, Сань, — досадливо отмахнулся Геннадий Михайлович, — воры это обыкновенные.

— Да ты что, откуда знаешь?

— Знаю. Кому ещё тут надобно в такую пору? Я уж все их тачки давно вычислил.

— Так, может, в полицию сразу отзвонить?

— Да ну их! Нет смысла, Саня. Воры-то наши машины срисовали. Знают, деревня не пустая, лазать не будут. Уехали уже. А полиция... Так пока всколыхнутся, а то и вовсе не пошевелятся. Им эти ребята без интересу, что с них взять. Они же и тащут-то рухлядь всякую на пару сотен рублей, чтобы на бензин да на выпивку хватило, хороших-то вещей на зиму почти никто не оставляет. Ты ж не оставляешь?

— Нет.

— Вот. А полиция только за теми гоняет, кто разбойничает да ворует по-крупному.

— Ген, если они только мелочь всякую воруют, то откуда у них машины?

— Чего ты, Саня, не машины, название одно! Так купили за копейки у пенсионеров каких, да и добивают их окончательно по нашим бездорогам.

Через час “Нива-Шевроле” Александра Новосельцева вместе с Геннадием Михайловичем выехала из Филипповки в сторону Румяшино. Машина шла полем, изредка заезжая в берёзовую лесополосу. Новосельцев выбирал участки, что не успели раскиснуть под весенним солнцем, и в то же время старался не заехать в сугробы, наметённые за зиму. “Ниву” постоянно бросало из стороны в сторону, и не мудрено — передвигаться приходилось то по прошлогодней пахоте, то по валежнику, скопившемуся у опушек и лесополос. Но Новосельцев мастерски вёл свой внедорожник. И вот когда до трассы оставалось километра два-три, путники одновременно увидели бордовый “жигулёнок”, плотно засевавший в расплывшемся чернозёме по самое брюхо. Вокруг него бестолково суетились два молодых парня, уже сильно извозившихся в грязи.

— Во влипли, так влипли. Намертво! Без буксира тут ну, никак. Помочь надо бы, — повернулся к водителю Геннадий Михайлович. — Давай, Сань, заворачивай.

“Нива” сбавила обороты и на тихом ходу осторожно подъехала к застрявшему старенькому “жигулёнку”.

— Чего, парни, завязли, гляжу, вы основательно. Это ж как вам в голову пришло в самую низину заехать, да ещё на такой машине? — обошёл “жигулёнок” Геннадий Михайлович.

— Да, понимаешь, батя, — обрадовались возможной помощи парни, — мы вроде и не гнали чтоб очень, но вон там, на взгорке, откуда вы подъехали, нас повело. Может, близко к краю подались, ну, и прямо на эту проталину вынесло. А нам нет чтобы тут же движок заглушить да лесин от полосы под колёса натаскать, так мы в обрат ещё и по газам. Ну вот, и полный аншлаг в итоге. Теперь таскай не таскай, один чёрт не поможет. Может, вы подсоборите, а, отцы? Подтолкните чуток машинку.

— Не, сынки, — покачал головой Геннадий Михайлович, — толкать не станем. Вон мы в каких одеждах, по делу важному едем. А вас толкни — назад развертайся, мойся, переодевайся. Времени нету и желания.

— И что нам теперь? — сникли парни.

— Как что? Трос доставайте, на подцепе спробуем.

— Ох, точняк, батя, — засмеялся один из парней и повернулся к товарищу. — Колян, давай верёвку.

Колян открыл багажник и, с минуту погромыхав в нём, растерянно произнёс:

— А нету.

— Верёвки нету? — удивлённо уставился на него напарник. — Колян, я ж тебе ещё с вечера заказал приготовить. Припух совсем?

— Отвали, Андрюха, не накачивай! Я что, обо всём помнить должен? Это приготовь, то положи. Я тебе лох, что ли? Сам бы и налаживался, если такой умный. А то привык — Колян это, Колян то!

— Я так понимаю, нету троса, сынки, — насмешливо прищурился Геннадий Михайлович. — Что ж вы этак ездите по бездорогам и буксира не имеете? Эх, молодёжь, учить вас некому. Сань, доставай уж свой, чего теперь.

Новосельцев виновато развёл руками.

— Ген, так и у меня нет.

— Сань, да как же так, а? Я тут этих охламонов костерю, а ты тоже без башки едешь!

— А мне на “Ниве”-то трос зачем? Я и так вылезу.

— И как теперь-то? — загрустили парни.

— Ну как, как, — сдвинул на лоб шапку-ушанку Геннадий Михайлович, — а никак. Сидите тут, да и кукуйте пока что, нас ждите. Мы сейчас до

деревни проскочим — тракториста какого кликнем, к вам подошлём. А не будет трактора, так трос найдём и сами приедем. Только дела свои ещё сделаем. А не хотите ждать, тогда сами дотопайте до жилья, тут километра полтора до первой хаты будет, рядом почти.

— Не, батя, спасибо, мы подождём, — смахнул ком грязи с капота “жигулёнка” Андрияха, — вам скорее дадут, а нас могут и подальше куда отправить.

— Ну, тогда ожидайте, — закрыл за собой дверцу “Нивы” Геннадий Михайлович.

— Вы уж, отцы, про нас не забудьте там в суете, а то замёрзнем, как французы под Бородино, — донеслось вслед удаляющейся машине.

— Слышал, Ген, замёрзшие французы под Бородино! — чертыхнулся Новосельцев. — Историки, итить их, чему в школе только учились!

— А может, и не учились, Сань, в школе-то. По ним видать, что на девяностые учиться-то выпало, а кто там на них внимание-то обращал. В других местах их уму-разуму учили, другую науку в головы им втолковывали.

— Так получается, что парни-то эти — те воры, которые мимо нас поутру проскочили?

— Ну, а кто ж ещё? Да и узнал я этого, которого Андрияхой звать. Он нынешней зимой несколько раз крутился по деревне, видал его.

— Так, может, того, Ген, ну их! Что, мы им обязаны, что ли? Сам говоришь, что воры, так и чего помогать.

— А воры что, не люди, что ли? Э, нет, Саня, надо помочь. А как же?

— Ген, так ты им поможешь, а они опять тебя за шкирятник?

— Не-е, Сань, не станут, у них тоже совесть своя имеется! Это ж не Чубайс какой, что вовсе без совести. У нормальных воров её никто не отменял. Да и что мы, не русские с тобой, что ли, а, Сань?

— Русские, Ген, конечно, русские!

— Вот то-то и оно, Сань, что русские. А какой же русский-то в беде человека оставит? Да ещё и своего же, такого же русского. Не по-русски будет! Так что поехали по-быстрому дела делать. А то ещё и вправду наши воры замёрзнут, к вечеру-то морозец нешуточный обещали.

АНАТОЛИЙ ВЕРШИНСКИЙ



КАКИЕ ЗАВТРА
ЖДУТ НАС ВРЕМЕНА...

ПОСРЕДИНЕ

Деревня на смену телегам
скрипучие розвальни шлёт.
А город воюет со снегом,
как с птицею, раненной влёт.

Снежинки в руках землеробов
живыми ростками взойдут.
А город в осаде сугробов —
сплошной оборонный редут.

Деревни согласны с природой,
как с вольной рекой островки.
А город бетонной колодой
лежит посредине реки.

ВЕРШИНСКИЙ Анатолий Николаевич родился в 1953 году в селе Семёновка Уярского района Красноярского края. Окончил Красноярский политехнический институт и Литературный институт имени М. Горького, работал в научно-исследовательской лаборатории, в газете, служил в Советской армии. Стихи печатались в многих альманахах и журналах. Автор восьми поэтических книг, драмы в стихах "Восточный вопрос", книги исторических очерков "Русская Александрия. Средневековая Русь и Александр Невский" и книги-исследования "Всеволод из рода Мономаха. Византийские уроки Владимирской Руси". Член Союза писателей России. Лауреат поэтического фестиваля "Словенское поле". Живёт в г. Раменское Московской области.

В ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ

В покоях императорской семьи
есть школьная доска. На ней простые
примеры слов с “десятеричным і”:
“Ливадія”, “Марія” и “Россія”.

Когда низвержен был последний царь
своим же окружением столичным,
новаторы урезали букварь.
Покончили и с “і десятеричным”.

Не дремлет реформатор в пору смут,
ведь ветер перемен — его стихия.
И вот уже себя не узнают
Ливадия, Мария и Россия...

Какие завтра ждут нас времена —
не вычитать в прогнозе самом смелом.
Но школьная доска у всех одна,
и пишут на доске, как прежде, мелом.

И будет то киношный “мел судьбы”
иль просто стерженёк известняковый,
не так уж это важно: только бы
писал им кто-то добрый и толковый.

Не режьте по живому, аки тать,
язык родной, традиции родные!
Тогда и внуки смогут прочитатъ:
“Ливадия”, “Мария” и “Россия”.

СКАЗ О ВОЛЖСКОМ ПОХОДЕ

Пронзителен сигнал, как плач гагары.
О чём рожок походный голосит?
Опять немирны волжские булгары —
и путь на Каспий русичам закрыт.
Исконно верный воинскому долгу,
с простой молитвой: “Господи, спаси!” —
созвал войска и выступил на Волгу
державный князь Владимирской Руси.

Его воспел свидетель тех событий:
“Великий княже Всеволоде!.. Ты
бо можешь Волгу веслы раскропоти,
а Донь шеломы выльяти!..” Щиты
навесив на борта дружинных лодей
и копьями щетинясь, как ежи,
союзные полки сошлись в походе
и вышли за родные рубежи...

И вот — в кольце болгарская столица.
Из осаждённой крепости эмир
прислал послов, желая замириться,
и согласился Всеволод на мир.
Свободно, будто птицы в поднебесье,
суда Руси на Каспий поплывут!..
Спустя полвека русское Залесье
булгарам от монголов даст приют.

Славна Россия ласковым приёмом.
Собрата — теша, супостата — зля,
для множества племён радушным домом
навек стала Русская земля.
Не зря я вспомнил о былом походе;
о волжском мире — добром, не худом;
о Всеволоде, прозванном в народе
Большим Гнездом за свой обширный дом.

В ПРИЁМНОМ ПОКОЕ

Она лежала молча на каталке...
Порой у них не ладилось житьё.
Но как же эти ссоры были жалки
пред жуткой безответностью её!

В заутреннем больничном коридоре
теснились пациенты и врачи.
Надежда перевешивала горе,
которое нагрязнуло в ночи.

За дверью колобродил стылый ветер,
внутри же было тихо и тепло.
И крылышками льнул к руке катетер,
свидетельствуя: время не пришло...

СТЕПАН РАТНИКОВ

ШКОЛОТА

РОМАН

ГЛАВА 38. СМЕНА ОБСТАНОВКИ

Как только на коробке залили лёд, ходить туда повадился Димка Варезкин. С собой он приводил белобрысого соседа по дому и одноклассника Пашу Колокольцева, частенько непонятно над чем хихикавшего. Они были похожи друг на друга лицами, когда щурились и смущённо улыбались во весь рот. А иногда хвостом приплетался и Андрей — младший брат Димки, любивший нудить, возмущаться и портить окружающим настроение.

У всех троих не было хоккейной экипировки. Они довольствовались лишь коньками и клюшками. Дожидались перерывов между тренировками и своей компанией гоняли до безобразия лёгкую шайбу, другой попросту не имея. Узнав, что на выходных я беру у отца ключи от коробки и прихожу кататься в одиночку, заодно отработывая щелчки и броски от синей линии, Димка попросил в следующий раз сообщить ему об этом по телефону.

— Зарубимся двое на двое, — предложил он. — Ты же всё равно сам с собой возишься, ничего прикольного. А так мы будем приходить и вместе угорать.

Димкин интерес я понял чуть позже, примерно через полмесяца после нашей первой совместной вылазки на коробку. В тренировочное время им с Пашей ничего не светило, потому что в хоккей отныне играли не только воспитанники отца. К ним ещё и два десятка ребят из четвёртой школы присоединились — по инициативе физрука, который сам лихо управлялся с клюшкой и шайбой.

Чтобы наиграться вдоволь, а не жалкими урывками, Варезкину и Колокольцеву требовались длительные перерывы между тренировками. Или же выходные. Но когда коробка закрыта, удовольствия от катаний мало: и сам не погреешься, и коньки с носками не посушишь, да и просто комфортно не отдохнёшь.

Обыгрывать Димку и Пашу было весело. Откровенно слабенькие в хоккейном смысле соперники умудрялись не попадать по шайбе, часто спотыкались и валялись на лёд, даже друг в друга врезались, но при этом хохотали. А я пробовал в деле новые финты, которые не получались на обычных тренировках.

— Переходи к нам в класс? — вдруг предложил мне Димка, сидя возле батареи в раздевалке и дожидаясь, когда его промокший свитер немного подсохнет. — Сам же говорил, что тебя в школе учителя достали. А у нас, в УПК, они никого не трогают. Мне кажется, что им вообще по барабану,

как мы учимся, как себя ведём. Халява, короче. Не то что в чирике раньше было: не побалдеешь, не сбежишь, домашки целая куча... Так бесило, даже не представляешь.

За неделю до этого я по пути на коробку эмоционально рассказывал Варезкину, что меня — и только меня — хотят перевести в лицейский класс. Там предстояла повышенная нагрузка, более сложные задания, ещё и мало-знакомые мне парни с девчонками. Я наотрез отказывался куда-либо переходить, но учителя стояли на своём, тщетно пытаясь переубедить. Некоторые из них даже без всяких рокировок начали валить меня дополнительными темами, уравнениями, задачами. Уверяли, что всё это для моей же пользы. Ещё и на олимпиады отправляли, не спрашивая моего согласия и не приемля никаких отговорок. А я ненавидел олимпиады, потому что всякий раз справлялся с очень лёгкими, как мне казалось, заданиями вдвое быстрее, чем остальные участники, но почему-то при этом никогда не оказывался в числе лучших.

— Будем вместе на уроках балдеть, — продолжил Варезкин, украдкой взглянув на Колокольцева, будто бы рассчитывая на его одобрение. — И коробка рядом, можно сразу после УПК покататься сходить.

— Давай, короче, переходи к нам, — добавил Паша, перешнуровывая коньки. — Мы там подсажем, поможем, если что.

Разговор на эту тему с родителями был долгим. Но успешным. Отец уверял, что в учебно-производственном комбинате, где школота получала не только среднее образование, но и профессиональные навыки, контингент очень специфический и неподходящий для меня, а сам я сильно скачусь по учёбе. Я давил на то, что всегда буду в компании друзей и что в УПК всё легко и просто.

— Друзей у тебя там не будет, — безапелляционно заявил отец, мгновенно испортив мне настроение. — Все вы сами по себе. Даже если в куче. Ты просто чьих-то сказочек, видимо, наслушался, что там рай, и упёрся, как осёл: так, всё, мне надо, надо, ничего больше не знаю. Откуда такое рвение посреди восьмого класса? Не понимаю. В принципе уже перестаю тебя понимать во всём. Раньше башковитым не по годам считал, а теперь... Хоккей ему не то, школа ему не то. Как будто назло всё делаешь. Но кому? И зачем?

“Чтобы не требовали от меня невозможного”, — подумал я, не желая даже взглянуть на отца.

— Нет, если ты, конечно, хочешь загубить свою жизнь, все знания растерять, по роже почти каждый день получать, то я не буду препятствовать. Пожалуйста, как говорится. Решение твоё. Только не свисти потом, что я не предупреждал. Да, кстати, там ещё и на станках всяких работать придётся. А у тебя руки сам знаешь, откуда растут.

Я остался при своём мнении. И третью четверть начал уже в УПК. Первые недели три всё было хорошо. Я не испытывал абсолютно никакого давления. Почти на каждой перемене весело проводил время с Колокольцевым и Варезкиным. Димка даже в хоккейную секцию к отцу записался и получил комплект плохонькой, но всё-таки личной экипировки. Паша рвение друга не поддерживал и на коробке появлялся крайне редко.

Удивило меня то, что среди одноклассников оказались косолапый губошлёп Виталия Филинов, когда-то ходивший на хоккей, но запомнившийся лишь воровством, и две каланчи — Саня Гусев и Женька Белопёров, жившие рядом с моим бывшим домом на 30 лет Победы. Всех троих я неплохо знал, но друзьями не считал. Слишком часто они любили сучить ручонками.

Тот же Гусев стал первым, кто заехал мне по мордам. За что именно, я и сам не понял: то ли списать ему не дал на контрольной, то ли на уроках умничал, активно демонстрируя знания, то ли просто пошутил неудачно. Но неприязнь по отношению ко мне росла, словно катящийся с горы снежный ком. Узнав о распоясавшемся Гусеве, отец даже в УПК наведалься и прямо на лестничной площадке учинил бугаю показную трёпку, чем сильно удивил нас обоих. Давненько он за меня не заступался.

Чаще других рылались крепьши Коля Леонтьев, которого забавляло, что у меня ничего не получается в токарной мастерской, и детдомовский шибздик Толя Лысенков, давно уже получивший отпор от каждого из одноклассников

и поэтому надумавший переключиться на очкастого новичка. Особенно обидно было слышать от провокаторов, дескать, если мне что-то не нравится, то я могу убираться обратно в свою школу. Варезкин и Колокольцев всё это видели и слышали, но никак не реагировали, отмалчиваясь и делая вид, что у них забот полон рот.

Обстановку ещё больше накалил престарелый историк Анатолий Иванович. Встретив меня возле библиотеки, он остановился, изучающе пробежал взглядом по моей макушке и, маясь одышкой, сказал:

— Беденький. Нет у родителей денежек, чтоб сына подстричь, да?

— Да какая вам разница, что у меня с волосами? За своими следите, — выпылил я и предпочёл тотчас удалиться.

— Ой, ещё и с психикой не всё в порядке. Бедный ребёнок, — участливо проронил он вдогонку, в дальнейшем ещё трижды докапываясь до моей шевелюры, которая никак не давала ему, прилично облысевшему, покоя.

ГЛАВА 39. ДЕТДОМОВЦЫ ПОД ОКНАМИ

О материальности человеческих мыслей мне никто прежде не рассказывал. Но с Ачинском пришлось закончить той же весной. Обстановка в стране и крае была депрессивной, и команду перестали финансировать.

Один из красноярских тренеров сообщил моему отцу, что готов взять меня в состав. В ответ ничего внятного не услышал. В том числе и от меня.

Отец, успевший к тому времени познакомиться на автостоянке с какими-то инаковерующими, вдруг взялся за чтение сектантской литературы и перестал есть мясо, которое у нас дома и так не водилось в большом количестве. Мне, как и матери с сестрой, отныне категорически запрещалось употреблять в пищу мертвечину. Поэтому о хоккейных поездках даже заикаться не приходилось.

Но всё-таки не отцовский вердикт был ключевым. Я сам уже почти ничего не хотел. И этим не первый год безмерно раздражал отца, напрасно пытавшегося лепить из строптивного сына хоккеиста. Забивать голы мне по-прежнему нравилось. А вкалывать на сборах и прилипать к бортам так, что кости хрустели, — нисколько. Вот если бы кто-нибудь предложил мне освещать хоккейные турниры на страницах газет, ну, или любые другие соревнования, лишь бы спортивные, ещё бы и деньги за это хоть какие-то давал, то жизнь перестала бы казаться мне такой несправедливой, а общество — враждебным.

Подавленное состояние преследовало меня всё чаще. И завершение своей юношеской спортивной карьеры я перенёс почти равнодушно. Хотя совсем уж без хоккея не мог. Стал играть дома, в своей комнате. Резиновым мячиком. Диван и стена напротив него были моими партнёрами по команде, будто бы отдававшими мне голевые передачи. А стол, придвинутый к батарее-гармошке и накрённому подоконнику, я использовал как ворота.

Вскоре завёл себе тетрадку, где фиксировал составы клубов Национальной хоккейной лиги многолетней давности. Обязательно указывал номера и точные фамилии игроков, которых увидел в документальном фильме “Драки в НХЛ”, записанном на видеокассету. Он состоял из нескольких музыкальных клипов с подборками кулачных поединков, силовых приёмов, заброшенных шайб и вратарских спасений за семьдесятые и восьмидесятые годы. Многих имён я не знал. Исключением были хоккеисты, по-прежнему выступавшие за океаном, а также те, о ком мне доводилось читать в справочниках.

Чуть позже появилась ещё одна тетрадь. Я начертил в ней турнирную таблицу с участием всех энхаэловских клубов. Составил расписание матчей, каждый из которых потом имитировал: бросал игральные кубики, определял итоговый счёт с авторами всех голов, а затем воссоздавал события, разыгрывая в тесной комнатухе немислимые комбинации. Так увлекаясь, что всерьёз рисковал разбить мячом окно, выходящее на лоджию, а победоносно вскинутой вверх клюшкой — люстру. Зато плинтусы страдали ежедневно и непоправимо.

Выходя на улицу всё реже и реже, успел провести за месяц три чемпионата. Затянувший меня процесс пошёл гораздо быстрее, когда я стал отыгрывать лишь те матчи, в которых условными авторами голов были полюбившиеся мне хоккеисты. При этом даже не догадывался, что в вымышленных соревнованиях участвовали и те, кто в реальности уже не жил.

Мать, уставая от моей нескончаемой беготни и ударов мячиком по батарее и стенам, иногда просила сходить во двор и подышать. Но играть с парнями в козла у стены, соединявшей наш дом с универсамом “Буратино”, давно наскучило. Я проветривался иначе: открывал окно в родительской спальне, подзывал детдомовских пацанов, которые лихо перемахивали через забор, и сбрасывал ставшие не нужными мне вкладыши от жвачек.

Собачкам на драчку — так называли этот процесс мои одноклассники, тоже иногда устраивавшие подобные забавы. Зрелище завораживало. Пацанва вырывала друг у друга вкладыши прямо из рук, толкалась, материлась, исходя слюной. Доходило и до разрывания футболок. Самые слабые в толпе или просто неудачливые надолго не задерживались, убегая куда подальше, порой в слезах, а то и вовсе поколоченные озверевшими сверстниками.

Запасы вкладышей быстро редели. И уже через пару дней мне нечего было скидывать. Тогда решил распрощаться с наклейками и переводками. Растянул это удовольствие почти на неделю.

— Всё, пацаны, больше ничего нет, — крикнул я им в заключительный, как мне казалось, день изрядно затянувшейся и поднадоевшей акции. — Кончились запасы. Отвечаю, в натуре, скинул всё что было. Даже себе не оставил. Если ещё что-то накоплю, то потом позову вас. Но это, сразу учтите, не скоро будет. Может, вообще никогда не будет.

На следующее утро мать зачем-то разбудила меня. В такое время я никогда сам не вставал. Поэтому пробурчал в ответ чёрт-те что, прямо как отец Мальша в мультфильме про Карлсона, и недовольно зачихал голову под огромную подушку.

— Там какие-то ребята под окнами пасутся минут десять уже, — объяснила мать без всяких эмоций, — тебя зовут, не уходят. Из интерната, кажется.

“Что им надо? Я же вчера сказал, что всё скинул”.

— Вставай давай, — теперь уже с недовольством выпалила мать. — А то они камни в окна кидать начали.

— Камни? — мой сон как рукой сняло. — Со злости, что ли?

— Нет. Потихоньку. Маленькие, видимо, камушки. Чтоб внимание привлечь. Но окно же всё равно могут разбить. Иди разбирайся, чего им надо.

Я подскочил с дивана и, как был в одних трусах, побежал в комнату напротив. Выглянул в окно — четверо растрёпанных детдомовских пацанов радостно замахали руками.

— Привет. Скинь что-нибудь.

— Нечего мне скидывать. Вчера говорил вам, что все запасы кончились. Если что-то появится, то сам позову. Валите давай.

— Стой! — крикнул Шабус-младший, любивший задираться по пустякам, но драться не спешивший, предпочитая позвать на помощь брата.

— Ну, чего ещё?

— Похавать тогда скинь хотя бы.

— Пожалуйста, — поддержал его нескладный, с островатыми чертами лица, пацан по прозвищу Сушка, открыв рот, ткнув в него пальцем, а другой рукой погладив себя по впалому животу.

“Хм, а ведь это идея”, — подумал я и дал интернатским знак, чтоб немного подождали.

На минуту заглянул в ванную, спешно умыл лицо. Потом пошёл на кухню, нарезал остатки вчерашнего батона, намазал каждый кусочек маслом, сверху посыпал сахаром и, предвкушая потеху, понёс тарелку с нехитрой провизией в родительскую спальню. Мать сидела в зале и увлечённо смотрела сериал. Отец в такое время уходил на стоянку, чтобы забрать вырубку и проверить журнал учёта клиентов. Поэтому можно было не бояться, что кто-то начнёт читать опостылевшие нотации.

— Готовы? — высунувшись из окна, спросил я у пацанов и заметил, что их уже шестеро. — Набежали-то, набежали!.. Вон тот, — мой палец был направлен на рыжеволосого в замызганной майке, — ещё и грязный как чёрт. Весь рот непонятно в чём.

— Наша золушка снова гудрон жевала, — усмехаясь, объяснил мне Сушка.

— Делать вам больше нечего, — мотнул я головой и случайно заметил ещё одного пацана, тщедушного, притаившегося за углом. — А этот с вами или нет?

— О, Дуда, ты-то чего припёрся? — оглянувшись, спросил Шабус-младший.

— Дуда? — удивился я. — Дудкин, что ли? Или Дудченко?

— Нет. Сейчас сам увидишь, — сказал Сушка, заинтриговав меня. — Дуда, иди сюда. Да не бойся ты.

Пацанёнок опасливо, короткими шажками подгрёб к остальным. И сразу же получил пару лещей от Рустема — одутловатого брюнета в полосатой футболке.

— Дуда тупая, — картаво завопил изгой, пялясь на обидчика и истерично топчя траву, — чего ты дедёшься? Я всё воспитателке дасскажу.

Разревевшись, он побежал в сторону интерната. А пацаны, швыряя ему вслед мелкие камушки и шишки, словно забыли обо мне.

— Алло, гараж! — отвлёк я их, вспомнив, как сам с недавних пор огребался в УПК. — Своих-то зачем гнобите?

— Какой он свой? — не глядя на меня, пробурчал Рустем и оторопело потёр краем ладони нос, донельзя похожий на пятачок. — Только и может к воспиткам подлизываться.

— Короче, у меня тут бутеры. Кидаю по одной штуке. Ронять нельзя. А то потом уже нечего есть будет. Готовы?

Интернатские вмиг напряглись. Кто почти боксёрскую стойку принял, кто борцовскую. В глазах зажглись огоньки. Несколько бутербродов всё-таки шлёпнулось в траву. Но голодные пареньки подбирали их, отряхивали и тут же уминали, чтоб ни с кем не делиться.

— Ты суперповар! — чавкал Шабус-младший, показывая мне большой палец.

Такие подкормки длились с неделю. Потом отец застучал меня за разбазариванием скудного домашнего провианта и, покрутив у виска, вклеил затрещину. А пацанов прогнал, наигранно пригрозив, что если они ещё раз сюда прибегут, то их воспитатели обо всём узнают.

Больше я ничего из окошка не скидывал. Но стал ходить к детдомовским, чтобы поиграть с ними в футбол на небольшом стадионе, прилежавшем к жилому корпусу воспитательного учреждения. Сдружившись с забавными и бесшабашными ребятами, ставшими мне почти родными душами, иногда приносил им здоровенные пирожки с картошкой, которые мать жарила для нас с сестрой, или сбавривал карамельки, взятые у бабы Раи в гостях.

ГЛАВА 40. ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

Пока российское правительство боролось с финансовым кризисом, а только-только избранный на второй президентский срок Борис Ельцин, вопреки предвыборным обязательствам, стопорил едва ли не все решения об увеличении расходной части бюджета ради стабилизации обстановки в стране, мне пришлось бороться со своей же тёмной стороной и отказывать самому себе в желании вернуться в родную школу.

Новый учебный год в УПК начался из рук вон плохо. Я никак не схватывал новые темы по химии, алгебре, географии, хотя немного поднаторел в английском языке. А ещё, стоя у любого из станков в мастерской, боялся перепутать последовательность действий, поранить пальцы или испоганить очередную заготовку, нарвавшись на рутань трудовика.

Одноклассники, всё так же бедновато и невзрачно одевавшиеся и всё так же слабо учившиеся, за лето несколько не подобрали. И если со статусом волосатика или очкарика мне легко удалось смириться, то с тычками, пинками и тумаками — нет. Тот же Гусев, сорвиголова, прибавлявший в росте чудовищными темпами, осатанел вконец и начал требовать помогать ему с заданиями прямо на уроках. Отказывая Сане, я выслушивал угрозы, звучавшие особенно страшно из-за его хриплого и прокуренного голоса. А на переменах следовало отмщение — в виде ударов то в подбородок, то в грудь. Варежкин и Колокольцев почему-то находили это забавным, и надежды на их поддержку пришлось окончательно похоронить.

Меня и на месяц не хватило. Уже в конце сентября, за пару дней до получения паспорта, пришёл в пятую школу и попросился обратно. Учителя тепло приняли блудного сына, обойдясь без острот. Лариса Васильевна, Ольга Степановна и молодая Ирина Леонтьевна, которая вела у нашего класса русский язык и литературу, подбадривали наиболее активно. Уверяли, что моё место именно здесь, в сильной школе, а потом — и в престижном университете.

Рады оказались и одноклассники, за последнее время почти не изменившиеся характерами и внешне. Разве что брюки и рубашки стали носить чуть почаше и почище. Но для разнообразия не забывали переоблачаться в более привычные спортивные костюмы или же джинсы-варёнки в сочетании со свитерами или толстовками. Кто-то хвастался электронными часами “Монтана” с будильником, кто-то — затемнёнными очками, а кто-то, тоже стремясь выглядеть прибрятённо, на переменах облакачивался на подоконник и просто чиркал газовой зажигалкой, для остротки выпячивая челюсть. Эти же зажигалки шли в дело, когда надо было кого-нибудь напугать: размашистый бросок в стенку или об пол — взрыв — результат достигнут.

Одноклассники наперебой твердили, что без меня было уже не так весело, как раньше, и что теперь мы, своей старой прожжённой гвардией, покажем всем, как надо безумствовать в школьных коридорах и кабинетах. А вот думать об успеваемости многие до сих пор не спешили.

Кто изменился, причём кардинально, так это девчонки. Некоторые успели стать более фигуристыми и всячески старались привлечь внимание к своим рвущимся наружу формам. Смелые причёски, блестящие аксессуары, обувь на шпильках или каблуках — без них уже каждую третью девятиклассницу было трудно представить.

Ещё пошла мода на дольчики. Эти разноцветные колготки особо полюбились Ольге Задавакиной. Но и другие девчонки из класса не желали оставаться серыми мышками. Они нет-нет, да и пытались щегольнуть, чаще отдавая предпочтение пиджакам, блузкам и футболкам с логотипом “Том Клайм”. Даже неисправимые скромницы повадились носить более яркие, хоть и максимально строгие наряды, украшенные разными бретельками и узорчиками.

Мы с Каплиным любили пошутиться об этом на уроках, предварительно бегая на переменах в соседний к школе магазин и затариваясь там дешёвыми, но вкусными солёными орешками в крошечных пачках бледно-салатового цвета. Садись подальше от доски, втихушку, чтобы не привлечь внимание учителя, грызли арахис, облизывали уделанные в крупной соли пальцы и увлечённо обсуждали, у кого из девчонок наиболее привлекательные выпуклости. Самое пристальное внимание уделяли сидевшим напротив нас Ольге Задавакиной и Лильке Шариповой, кардинально разнившимся как в высоту, так и в ширину.

Чем чаще мы об этом трепались и раззадоривали себя, тем сильнее хотелось отчебучить что-нибудь весёлое и запретное, доселе незнакомое. Почти все одноклассники не скупились на словесные пошлости в адрес тех девчонок, которые приходили в школу в откровенных, даже провокационных нарядах, не всегда сочетавшихся с экспериментальным, порой нелепым макияжем. Глядя на юных искусительниц, парни осмеливались пускаться в ход ещё и шаловливые ручонки. Но тут же получали по ним в ответ.

Я пошёл дальше всех. На уроке химии, заранее вооружившись учительской указкой, принялся ждать, когда кто-нибудь из девчонок пройдёт мимо

нашей с Юркой парты. Облачённая в классический ментоловый костюм Валентина Ивановна, не заметив пропажи, как раз дала классу практическое задание — провести в малых группах простейшие опыты.

Народ засновал между рядами, мельтеша пробирками. Многие советовались друг с другом или уточняли некоторые детали у учителя. По соседству кто-то громко бздел, имитируя неудачный исход проведённого опыта и тем самым забавляя пацанов. Мне же, ослеплённому совершенно иной целью, было страшновато: не знал, как поведёт себя случайная жертва и как отреагируют остальные.

— Жим-жим? — пихнув меня в плечо, злорадно шепнул Юрка Каплин, заранее посвящённый в мои коварные планы. — Я не трус, но я боюсь, да?

Его слова будто повернули нужный рычажок. Мне стало наплевать на то, чем всё это обернётся. Мимо, словно по заказу, прошла губастая Ирка Микуцкая, покачивая мускулистыми ляжками. Она училась с нами лишь с недавних пор и любила одеваться вызывающе. Я резко достал из-под парты указку и с её помощью, вытянувшись вперёд, высоко задрал коротенькую чёрную юбку одноклассницы.

Пацаны оценили мой поступок, рассмеявшись громко и как-то жадновато, вероятно, рассматрив свозь тонюсенькие колготки цвет Иркиных трусов. А пощёчина, справедливо выписанная мне раздражённой Микуцкой, лишь повысила уровень шума в тридцать восьмом кабинете. Всегда спокойная Валентина Ивановна и теперь не спешила с выводами, потому что не видела, с чего всё началось. Но опыты уже никого в классе не интересовали, несмотря на культурные просьбы учителя прекратить баловаться.

— Ты не представляешь, как нам твоих приколов не хватало, пока ты в своём УПК чалился, — умастил меня после звонка на перемену Артём Ветров, чьей улыбке позавидовал бы даже Чеширский Кот.

А в моей голове уже роились мысли о новых чудачествах. Если дома не хватает внимания, то почему бы в школе не восполнить его недостаток...

ГЛАВА 41. БУРНАЯ ФАНТАЗИЯ

Уроки русского языка полюбились мне пуще прежнего с тех пор, как Ирина Леонтьевна стала всё чаще погружать нас в многогранный мир сочинений и изложений. В такие дни моя фантазия, уже ориентированная на будущую работу с текстами, разыгрывалась на полную катушку. И удержать её было не под силу ни мне, ни учительнице, которая разок даже намекнула, что из меня получился бы неплохой журналист.

В середине ноября я решил поупражняться в написании вульгарных стишат — вместо повторения темы сложноподчинённых предложений. Перед уроком умудрился до отвала налопаться в столовой, разделавшись с парочкой лишних порций. А потому томился не только скукой, но и тяжестью в желудке.

Почерк постарался сделать максимально непохожим на свой обычный. Затем небрежно вырвал из тетради листочек с зарифмованными матерными строчками и пустил его по кругу, ожидая быстрой, хоть и сомнительной славы. Девчонки, как ни странно, хихикали чаще, чем ребята. Наташка Стаканова надрывалась особенно громко — чуть ли не так же, как неделю назад орала на классном часе, когда увидела на своей парте свалившегося с потолка таракана.

Ирина Леонтьевна, заподозрив неладное, отодвинула классный журнал в сторонку, приподнялась, пристально оглядела каждый ряд и вычислила причину отсутствия тишины. А когда ознакомилась с содержимым уже изрядно помятого листочка, то безошибочно определила автора поэтической нетленки.

— Почему сразу я? — мне ничего не оставалось, кроме как активировать режим самой невинности.

— Потому что ошибок в тексте нет, чтоб на кого-то другого думать, — огорошила меня своей улыбкой Ирина Леонтьевна. — И фантазия у автора

чересчур бурная. Прямо как в твоих сочинениях. — Тут она, по всей видимости, припомнила мне недавний нелепый текст про лётчика, который пересказывал свою жизнь, включая то, как разбился насмерть на самолёте. — Чего притих сразу? Хочешь сказать, это просто совпадение?

— Спалаила тебя Иринushка, — прошептал сидевший рядом со мной пухляк Ванька Пнёв, который сам чуть ранее прозевал то, как его портфель в очередной раз стащил и спрятал Макс Ладоскин. — Ей бы в ментовке работать с таким чутьём. Тебе надо было вообще без занятых писать.

— Ой, да и ладно. Подумаешь, спалила... В следующий раз про неё саму напишу. Чтоб не лезла не в своё дело.

— Ого, такое даже я почитаю, — расплылся в мечтательной улыбке собеседник.

Он и не подозревал, что мне, всегда быстро остывавшему, вскоре захочется выполнять нелепое обещание. Да и моё чрезмерное упрямство осталось где-то в младших классах. Меньше чем через неделю я получил, как и Анька Столбова, пятёрку за изложение и победоносно оглядел ряды безнадёжных троечников. Затея с провокационными виршами сошла на нет.

Направить энергию и знания в нужное русло, максимальное выгодное для меня, помог Колька Сараев.

Нам предстояла важная контрольная по алгебре. Обычно сидевший в другой стороне, Сараев вдруг оказался у меня за спиной. Ткнул пальцем в спину и, когда я повернулся, протянул пару кушор:

— Поможешь с контрошей? Это всё твоё тогда будет.

На такие деньги можно было купить пять пачек солёного арахиса. Либо бутылку газировки “Серино”, а в придачу к ней — карамельно-ореховый “Топик” или нежнейшую пузырчатую “Виспу”. Так что намечалась невиданная для последних дней пирушка.

— Сразу тогда лавэшки гони, — решил я подстраховаться.

— Но если мне двойку поставят, то всё назад возвращаешь, понял? — проворчал Колька, неохотно выпуская кушоры из рук.

— Не поставят. На пацана подписываюсь. Да и вообще... Если сомневаешься в моих знаниях, то других проси тогда, — важничал я, а у самого дыхание спёрло от страха упустить свалившийся с неба заработок.

— Никто не сомневается, — неловко оправдываясь, парировал Сараев, который почему-то боялся снова схлопотать двойку. — Поэтому и подсел к тебе. Просто на всякий случай говорю. Ну, чтоб ты меня не подставил.

— Я же только что подписался. На пацана кинулся. Чего тебе ещё надо?

— Да всё, всё, ладно. Верю.

За ту контрольную Колька получил четвёрку. Как и я сам. Не успел последнее задание решить, работая сразу на два фронта.

Сараев был счастлив так, словно ему разрешили слопать весь мел, какой только имелся в школе. Меня же Ольга Степановна пожурела, сказав, что ждала большего. А Наташку Солодкину расхвалила так, что та светилась ярче всех ламп, трещавших над нашими головами. Мне вдруг стало обидно. Будто бы потерял нечто очень ценное, сдуру погнавшись за никчёмной фальшивкой. И тот случайный гонорар, который я успел бестолково спустить на пломбир и маленькую пачку петард, показался ошибкой.

Петардыгодились на уроке английского языка. Настроение было на нуле. Опостылевшие переводы текстов по словарям уже поперёк горла стояли. Над учебниками корпели лишь девчонки, рассчитывавшие заслужить очередную пятёрку, потому как ни под что другое заточены не были. Пацаны же будто в пустоту смотрели. Вероятно, они мысленно отсчитывали минуты, остававшиеся до окончания урока. Урока, который нисколько не нужен был ни им самим, ни консервативному учителю, восьмой год подряд не вылезавшему из строгого чёрно-синего костюма и всё это время не менявшему формат проведения занятий. Вот уж где фантазия точно не помешала бы.

Достать из кармана нехитрый арсенал и пустить его в дело оказалось столь лёгким, столь и вынужденным, как мне думалось, решением. Брошенная под партами в направлении дальнего ряда зажжённая петарда подняла пацанам настроение ещё до взрыва. Когда он состоялся, девчонки

предсказуемо завизжали, разбудив задремавшую англичанку. Именно ей под стол и полетела следующая бомбочка. Но теперь эффект был уже не тот.

Я приготовился к тому, что меня выгонят из кабинета. Даже надеялся на это, потому что каждый урок английского был средни мучениям в тюремной камере. Однако всё пошло не по плану. Учителю показалось мало выгнать меня — приспичило к директору отвести. Я не желал повиноваться и отвернулся к законопаченному ватой и заклеенному бумажными полосками окошку. Тогда без пары годков пенсионерка вцепилась мне в ухо и чуть не оторвала его:

— Ну-ка быстро к директору, негодный. Вставай, я тебе сказала.

Неописуемая боль отключила часть моего мозга. Попытки справиться с мёртвой хваткой пожилой оппонентки и вырваться на свободу успеха не имели — становилось только хуже. От отчаяния глаза налились кровью. Я и сам не понял, как рука потянулась в сторону учителя и цепко ухватилась за что-то мягкое. За что именно, уже не было времени и сил разбираться. Но полыхавшее огнём ухо моментально высвободилось. В шоке были все: и я, и англичанка, и одноклассники, пялившиеся на мою покрасневшую рожу.

В дальнейшем ничего подобного в тридцать седьмом кабинете уже не происходило. Учителю не хотелось на меня даже смотреть. А я, осознав, что перешёл допустимые границы, решил хотя бы попытаться что-то переводить, но отсутствие качественной теоретической базы позволяло справиться максимум с тремя предложениями за сорок минут. Количество двоек в журнале росло. Как и степень ненависти к урокам английского.

ГЛАВА 42. ВЫПУСКНОЙ

На редкость тёплый февральский денёк многое переменял в моём сознании, отягощённом новой волной обрыднувших школьных олимпиад и бесконечных ссор с отцом, который как будто сошёл с ума после знакомства с сектантами.

После уроков нас повели в соседнее к школе трёхэтажное здание. Прямо через дорогу. День открытых дверей в ГПТУ-42 запомнился не только чрезмерной торжественностью и окрыляющими напутственными словами, заставлявшими верить в светлое будущее. Меня поразили просторные кабинеты и мастерские, стены в которых были увешаны портретами, плакатами и стенгазетами. А когда мы добрались до самого конца коридора на первом этаже, где располагалось кулинарное логово, нас ожидал сколь познавательный, столь и вкусный показ. После него мой рассудок немного помутнел. “Учиться на повара — это ж всегда при еде быть. Иначе скоро забуду, как мясо выглядит”, — поймал я себя на мысли, заодно решив, что пора навещать к бабе Тоне и налопаться от пуза, чего давненько не случалось дома.

Оставшиеся до окончания учебного года месяцы тянулись втрое дольше обычного. Я засыпал с мыслями о вкуснейших супах, бифштексах, салатах, пирожках. О них же думал на уроках, невольно пропуская мимо ушей часть того, что вполне могло пригодиться на предстоящих экзаменах в конце весны. Профтехучилище становилось навязчивой идеей. В былые годы я даже собственного дня рождения так нервозно и нетерпеливо не ждал, когда заранее, ещё месяца за два до именин, начинал представлять, кто и сколько всего мне подарит.

А тут ещё на одной из перемен Денис Чесноков признался, что тоже туда намылился, хочет учиться на повара:

— Будем вместе сидеть, — загадывал я наперёд, — и комиксы всякие про еду рисовать. “Приключения бешеного повара” или что-нибудь в этом духе.

Дни стали ещё более долгими, а ожидания — томительными и угнетающими. Чем меньше времени оставалось до экзаменов, тем больше заданий на нас сваливали учителя. Меня вообще пичкали, как свинью перед убоим. Это были своего рода отголоски безуспешных попыток перевести ершистого подростка в лицейский класс.

Во мне всё бушевало и протестовало. Прямо как россияне, начавшие с конца марта выходить на улицы с неистовыми требованиями выплатить все долги по зарплате. Отец, давно не получавший денег на работе и довольствовавшийся небольшой прибылью с автостоянки, посмеивался над заполозившими телеэкраны людьми, которые гневно трясли плакатами. Он говорил, что никто ничего не добьётся своими демонстрациями и забастовками, а только хуже сделает, и неустанно упоминал какую-то карму.

Наконец начались экзамены. Я сдал на отлично как обязательные предметы — алгебру с русским языком, так и по выбору — физику с географией, чего никому больше в классе не удалось. Заодно денег заработал: желающих получить хорошую оценку и заплатить за неё нашлось немало, а мне вполне хватило времени не только на себя.

На выпускном, сидя за сдвинутыми в один ряд столами, накрытыми белоснежными скатертями и уставленными тарелками с печеньем, вафлями, конфетами, халвой, кукурузными палочками, пацаны бойко и разгорячённо обсуждали, куда пойти учиться дальше. Человек восемь собирались поступать в гидротехникум. Многие из девчонок тоже не хотели идти в десятый класс, но подумывали в основном об училище и о профессии продавца-кассира.

Я понял, что не одинок в своих предстоящих намерениях, и без усталости смешил одноклассников, ведь с некоторыми из них, не исключено, виделся в последний раз. То кукурузные палочки в ноздри запихивал, то фантики за стёкла очков совал, то остывший чай из кружки лакал, словно оголодавший котяра.

Постепенно за праздничным столом, уже не особо чистым, как и моя уделанная в пятнах белая с воротником футболка, становилось всё тише и просторнее. А когда Лариса Васильевна и Ольга Степановна вручили нам аттестаты, народ отправился шататься по всей школе, иногда выходя на улицу.

До подобия дискотеки оставалось меньше часа. В тот день ни пиво, ни шампанское, ни признания в любви не интересовали, казалось, только меня, Оксанку Столярову, Аньку Столбову и Ленку Бражникову. Последние две выглядели в разы краше обычного, но по привычке безмолвствовали. Оксанка пыталась завести с ними непритязательную беседу про училище, чем заинтриговала меня, грешшего уши. Но Анька с Ленкой сдержанно ответили, что точно остаются в школе и нацелены на университет.

Дискотека прошла прямо в кабинете у Ларисы Васильевны. Под скрипучую музыку из дряхлого магнитофона. Отодвинув столы со стульями ближе к стенам и освободив центр, парни с девчонками около часа топтались в тесном кругу, не стесняясь украдкой лапать друг друга. “Дым сигарет с ментолом, пьяный угар качает”. “Ах ты бедная овечка, что же бьётся так сердечко”. “Облака в небо спрятались, звёзды пьяные смотрят вниз”. “Не плачь, Алиса, ты стала взрослой. Праздник наступил, и тебе уже...”.

Вдоволь накричавшись и насвистевшись, напрочь вымотанные, засобирались по домам. Уйти на своих двоих смогли не все — пришлось провожать. Меня тоже в этом задействовали, несмотря на очевидное недовольство. Я пытался убедить классного руководителя в том, что любители выпивки, оставившие гору пустых бутылок в канаве на углу школы, обязаны пожинать плоды своего весьма сомнительного труда. Но Лариса Васильевна попросила войти в положение, дескать, одноклассники — не совсем чужие мне люди, а выпускные случаются далеко не каждый год.

Тяжелее всех пришлось Черноусову. Он на собственном горбу потащил вырубившегося Ладошкина до дома. Хотя чуть раньше и сам успел принять на грудь, а потому едва заметно пошатывался.

Спустя неделю-другую пацаны, встречая меня на улице, говорили примерно одно и то же:

— Тебе везёт. Ты-то не пьёшь. Не мучился с похмельюги после выпускного.

Ну, хоть в чём-то мне, значит, повезло в жизни. Теперь бы ещё с училищем идеально всё срослось — точно бы признал себя баловнем судьбы.

ГЛАВА 43. СКОРОСТЬ И ВЫСОТА

Той весной я пристрастился к езде на велосипеде. Не катался со времён детского сада, когда под присмотром отца управлял во дворе миниатюрной четырёхколёсной штуковинкой. В последующие годы брат, его друзья, мои одноклассники и многие другие потихоньку познавали более сложные, тяжёлые, высокие модели, соревновались друг с другом наперегонки, учились кататься без рук. А я обходил велосипеды стороной. Пару раз, конечно, пробовал залезть на братский “Салют”, но никак не мог совладать с равновесием, падал, психовал и впоследствии напрочь отказался от этой затеи.

Вскоре после того, как брат уехал в Воскресенск, отец притащил с хоккейной коробки домой красную “Каму”. Оставил её на лоджии и сказал мне, что пора бы уже научиться. Для здоровья-де полезно. Да и вообще не солидно как-то человеку, играющему в хоккей и футбол, не дружить с велосипедами.

Года полтора “Кама” стояла на открытом воздухе. На багажнике появились небольшие налёты ржавчины, колёса сдулись, катафоты уже не сверкали, а на сиденье красовалась блямба голубинного помёта. Курлычущие птицы постоянно кучковались на лоджиях, загаживая поручни и, частично, кирпичную кладку.

Вовка Токарев, уже второе лето подряд рассекавший по двору и ближайшим окрестностям на какой-то двухколёсной развалюхе, узнал, что я не умею кататься, и при каждом удобном случае пытался на эту тему шутить. А когда проезжал мимо меня, смотрящего с лоджии вниз, то хвастливо убирал одну руку с руля и проезжал так несколько метров.

“Как они это делают?” — удивлялся я, в большей степени держа в уме тех, кто катался вообще без помощи рук.

Любопытство взяло верх. Попросил мать отдраить велосипед, а отца — накачать камеры на колёсах. Тот удивился, зачем-то напомнил о моём непослушании и нежелании читать непонятные мне молитвы, а потом достал из встроенного в стену деревянного шкафа невзрачный серенький насос и объяснил, куда что следует вставлять. Качать пришлось самому.

Раз за разом я выкатывал “Каму” во двор и пробовал уверенно на неё садиться, а уже потом проезжать хотя бы полсотни метров, чтобы не упасть. Через пару недель стало получаться. Так и приохотился. Заодно дома реже бывал, избегая навязчивых отцовских проповедей, которые казались мне куда несноснее, чем его былые хоккейные наставления.

Чуть позже мы с Вовкой решили, что пора познавать город и кататься в иных местах. Взялись наматывать круги по Чкалова, потом вниз по Гримау, с трудом удерживая вихлявшие велосипеды на очень крутом спуске, и через Дуговую возвращались обратно вверх до двора, чаще уже пешком, потому что сил на подъём не хватало, даже цепь слетала от нашего чрезмерного усердия. Иногда ездили до базара или ещё дальше — до отцовской стоянки, попутно не отказывая себе в удовольствии поскакать по кочкам и рытвинам вблизи леденящих душу барачков на крошечной улице Тушик, соседствовавшей с отделом милиции.

Один раз, двигаясь напрямик по автодороге на Бочкина, по правой её полосе, впритирку к тротуару, я решил ускользнуть от Токарева и резко свернул влево — на Театральную, в сторону музыкальной школы. Но не посмотрел назад, а потому перепугался, когда вблизи, буквально за спиной, затормозила машина.

— Идиот! Жить надоело? — разгорячённо крикнул мне вслед водитель пошарканной тёмно-синей “шестёрки”.

Я почувствовал, как учащённо забилося сердце. И почти сразу вспомнил минувшую зиму. Тогда мы с Вовкой и его плаксивым приятелем Антоном Лопуховым недели две кряду катались на снегокате через лес с кочковатой горы на Комсомольской, в самом её начале. И в деревьях врезались, и под колёса могли угодить, потому что, летя на полной скорости вниз, нередко выскакивали на Студенческий проспект, по которому ходили большегрузные машины. Мы, конечно, успевали покрутить головой и оценить обстановку,

перед тем как оказаться на трассе, чтобы затем съехать с неё уже к железной дороге. Но временами не на шутку перехватывало дух: некоторые попытки затормозить ногами оказывались тщетными, и снежок либо мчал отчаянных ездоков дальше, либо вероломно одаривал кого-нибудь из нас, рухнувших в сугроб, очередным синяком или шишкой.

Моя дружба с «Камой» продлилась около полугода. В самом конце лета я в одиночку отправился покорять нижнюю застройку города. Спускаясь от Старого Скита к путепроводу, решил свернуть с пологого участка дороги на тротуар. Через бордюр. Под косым углом. На полной скорости.

Пропахав животом и ногами небольшой газончик, а лицом — асфальт, уже навсегда потерял интерес к велосипедам. Шрамы на носу, щеках, ладонях и запястьях заживали долго. Таким вот красавчиком, в коростах, не говоря уже о прыщах, которые мне надоело ежедневно и безуспешно протирать дешёвым огуречным лосьоном, предстояло идти на первые занятия в училище, что лишь усиливало обиду. Обиду на самого себя.

Но выброс адреналина по-прежнему требовался. Особенно после того, как активные круглогодичные тренировки стали для меня историей, высвободив уйму личного времени и вынудив отца иногда ворчать о впусую потраченных нервах и напрасно связанных со мной надеждах.

Я всё чаще играл в догонялки на крыше нашего дома. Мы с Вовкой Токаревым, его щуплым другом-весельчаком Вовчиком Потапенко и ещё несколькими пацанами забирались туда и раньше. Даже мелкого и плаксивого Пашку Василькова брали с собой, чтобы он из мести не сдал нас взрослым. Теперь же обитали там почти каждый день.

Мы бегали вокруг широких выступов, ведущих с чердака на крышу, пытаясь задеть друг друга и избавиться от малопривлекательной роли водящего. Углы парапета служили домиками, и там можно было слегка передохнуть от назойливого преследователя. Только мало кто туда присаживался, боясь, не дай бог, запнуться или ещё чего.

Я часто вспоминал друзей брата, которые поднимались на крышу уже бывшего нашего дома на 30 лет Победы, где демонстративно вставали на самый угол и мочились вниз или бесстрашно садились на парапет и свешивали ноги. От одной лишь мысли о таком меня трясло, а когда видел всё это своими глазами, то буквально за пару минут сгрызал ногти почти под корень.

Сам я до смерти боялся даже просто взглянуть на землю с девятого этажа. В лучшем случае, подползал к краешку кровли и уже оттуда, дрожа от страха, боясь пошевелить хоть чем-то кроме головы, пытался что-нибудь разглядеть там, внизу. Со своим-то зрением.

Немного иначе делал мой товарищ из соседнего подъезда Артём Курочкин, с которым мы тоже несколько раз залезали на крышу девятиэтажки на Заводской. Он аккуратно, коротенькими шажками подкрадывался к краю, выставлял вперёд одну ногу и, опираясь руками на колено, наблюдал за муравьиной суетой на земле. Но охоту делать это снова у него отбил Юра Пятков. В один из пасмурных дней он подкрался к Артёму сзади, пока тот смотрел вниз, и схватил его с боков за футболку, одновременно выкрикнув:

— Последний раз спасаю!

Курочкин разревелся, выпячивая и без того торчавшую нижнюю челюсть. Потом поднял с кровли небольшой камушек, швырнул им в Пяткова и, заикаясь, пообещал тому большие проблемы. Правда, Юра их так и не дождался.

Были среди нас и такие, кто отваживался на гораздо более жуткую и неравную схватку с высотой, не оставляя себе шагов к отступлению. Над Ромой Коноплянко, жившим на Спортивной, в панельном доме возле глубокого оврага, пацаны частенько глумились. Высокий, но тощий, с оттопыренной губой, он был ещё и трусоват. Поиздеваться над ним многие держали за правило.

Июльским вечером, радовавшим нас неожиданно приятной прохладцей, Андрей Шевцов и Жека Черкасов предложили Роме доказать свою смелость и без страховки пройти по центральному валу колеса обозрения, возле которого мы тёрлись уже минут двадцать, бесцельно вытаптывая траву.

За выполнение миссии пообещали смельчаку “Сникерс”. Коноплянко сказал, что легко бы справился с задачей, но пацаны всё равно его обманут, поэтому нет смысла рисковать.

— Очкун! — провоцировал Рому смуглый, вдобавок ещё и чумазый Андрей. — Не сможешь.

— Смогу, — неуверенно ответил он своему соседу по дому, боясь подтвердить репутацию слабака.

— Ну, давай, балабол, докажи, — вмешался Черкасов, деловито скрестив руки на оголённой груди, чуть наклонив голову вбок и презрительно прищурившись. — А то я тебя лично сейчас отпинаю за брехню.

Коноплянко разнервничался и негодуя посмотрел на бандитскую физиономию Жеки с его нездорово огромной щечкой. Тот частенько с кем-нибудь дрался и запросто, даже с удовольствием мог навалиться Роме.

— Только надо не проползти, а именно пройти, — уточнил Шевцов и чванливо добавил, — потому что проползти любой лох сможет.

Коноплянко оглядел каждого, кто стоял в небольшом кругу. И всё же полез наверх по лестнице с дугообразным ограждением, цепляясь за стальные прутья как заправская обезьяна. Пацаны пристально за ним наблюдали, ожидая, что тот немного повиснет и спустится. Но Рома не останавливался. Подобравшись к центральному валу, Коноплянко опасно крикнул, чтоб все смотрели и не говорили потом, будто ничего этого не было.

— Он идёт, — усмехнулся пучеглазый Шевцов, а голос его заметно дрожал. — В натуре, прикиньте, он идёт. Вот баран!

— Я бы никогда на это не подписался, — сказал белобрысый Серёга Кобышев и прикусил крошечную губу.

— Не только ты, — согласился Шевцов, покачивая немойтой головой, которую неустанно почесывал то одной рукой, то другой. — Это каким оленем надо быть, чтоб вообще туда полезть.

— Ага, не говорите, — вставил я своё скромное словечко, с ужасом представляя, как Коноплянко вдруг срывается и...

— Может, свалим отсюда, а? — предложил Черкасов, одной рукой сжимая затасканную майку, а другой теребя козырёк синей бейсболки с изображением орла и американскими надписями.

Пацаны предпочли остаться. Рома, раза три качнувшись на огромной высоте туда-сюда, всё же оказался на другой стороне. И, неописуемо довольный собой, сразу поспешил обратно вниз по лестнице.

— Убедились? — гордо заявил Коноплянко, выпятив губу. Он тяжело дышал, футболка сзади намочла. — Ну, вот и всё теперь. Будете знать. Гоните шоколадку.

ГЛАВА 44. ПРИНЦ ПЕРСИИ

Когда меня позвали поиграть в сифу в недостроенном детском саду возле второй школы, неподалёку от дачи бабы Раи, я представил себе единственный вход внутрь и пару лестниц, по которым можно бегать. Но заброшенное кирпичное здание оказалось испещрено проёмами и ступенями, напоминая хитро запутанный лабиринт, в котором даже тупики присутствовали и в котором одинаково сложно приходилось как водящему, так и улепёгивавшим от него.

Подобных архитектурных сооружений в Дивногорске мне никогда прежде не доводилось видеть. Школы и садики, где уже бывал, выглядели слишком простецки, прямолинейно, без изюминки, как будто не скроешься там от посторонних глаз. Но убери из них все двери, окна, перила, и тогда — кто знает.

Шныряя по захламлённой трёхэтажке, я обнаружил, что прятаться можно не только за поворотами. Для этого подходили и ничем не огороженные, а потому небезопасные балконные плиты — небольшие, размером с два человеческих тела. Перелезая туда через оконные проёмы, следовало пригнуться, встав на четвереньки. Водящие, как правило, бегали по многочисленным

комнатам, не выглядывая на улицу, и можно было долго оставаться незамеченным. Но если тебя всё-таки обнаруживали, то приходилось получать мячом по голове или спине, а потом ещё и вниз спускаться на поиски игрового снаряда, улетевшего в траву или в залежи камней, кирпичей, металлических прутьев и прочего строительного мусора.

Беготня по заброшенному зданию напоминала компьютерную игру “Принц Персии”. Наибольшее сходство с ней я почувствовал в тот момент, когда рискнул объегорить всех и забраться в такое место, куда вряд ли кто сунулся бы. То есть на крышу.

На третьем этаже был небольшой пятачок под открытым небом. Выбравшись туда, пока водящий носился за другими где-то внизу, шлёпая мячом по кирпичным стенам, я разбежался и в прыжке зацепился за выпирающую балконную плиту. Подтянуться смог с превеликим трудом. И уже оттуда перелез на крышу через парапет.

Подойдя к ближайшему чердачному люку, напоминавшему бездонную дыру, я насмешливо следил за суетой на лестницах. Вскоре пацаны, перепачканные с ног до головы, всё же заметили меня. И игра вмиг перестала их интересовать. Они пытались понять, как можно залезть на крышу. Разгадку нашли минут через пять. Но никто так и не отважился составить мне компанию. Наоборот, зашутукались, что пора уже возвращаться по домам. В такой-то момент!

Я попросил подождать меня. Вылез обратно на балконную плиту и посмотрел вниз, на тот самый выступ третьего этажа. Высота показалась чересчур уж большой. И небо будто бы стало давить сверху. Показалось, что нахожусь на вершине шведской стенки в школьном спортзале. Под самым его потолком.

Когда мы с интернатскими пацанами ездили на сто втором автобусе в посёлок Усть-Мана, чтобы полазить там по перекрытиям высоченного моста, одновременно автомобильного и железнодорожного, смотреть сверху вниз на широкую реку и купающихся в ней крошечных человечков, было в разы страшнее. Где-то над нами ещё и машины пролетали, вынуждая крутить головой, шнырять глазами туда-сюда и держать ухо востро, что напоминало повадки уличных котов. Но тогда ни о каких прыжках и речи не шло. Мы лежали на бетонных конструкциях моста и щёлкали семечки до тех пор, пока из-за угла не высунулась тётка в белой косынке и оранжевой накидке и не зашипела угрожающе, чтоб все быстро вылезали и убирались к чёртовой бабшке, иначе приедет милиция.

Сигать с балконной плиты недостроенного садика я побоялся. Но и повиснуть на руках, чтобы вдвое сократить расстояние до места приземления, никак бы не получилось. Сорвался бы как пить дать.

— Прыгай уже, — раздался насмешливый выкрик.

Мне и впрямь ничего больше не оставалось. Минуты полторы собирался с духом: закрывал и снова открывал глаза, глубоко вдыхал и тяжело выдыхал, выпячивал губы, разок даже перекрестился. И — сиганул. Да так неудачно, что подвернул ногу. Ещё и локтем крепко ударился. Принц Персии из меня получился второсортный. А дополнительных жизней в наличии не было.

ГЛАВА 45. СПОЗРАНКУ В ФАЗАНКУ

Как только учителя ни уговаривали меня остаться в школе, я всё равно ушёл — в погоне за свободой и мясом — в профтехучилище. В первые же дни уяснил: никто из учащихся так ГПТУ-42 не величает. Для них это была фазанка. Или даже на слог короче: фаза.

Отец и вовсе презрительно называл её козлухой. В которой мне якобы нечего делать — среди хулиганов, жлобов, двоечников.

— Я ж там учился, — назидательно говорил он мне. — В любой козлухе такой контингент, что ты сам оттуда сбежишь. Как из УПК год назад. Вот увидишь, ненадолго тебя хватит. Но отговаривать не буду, и не надейся.

Ты ведь у нас шибко умный. Поэтому сам носи ответственность за свои решения и поступки. Мне, если честно, даже проще: я тебя никуда не запикивал, не отправлял — виноват сам будешь. И на помощь мою больше не рассчитывай. Устал я с тобой бороться.

Первое же занятие по математике, проходившее в просторной аудитории на втором этаже, заставило меня вспомнить отцовские предостережения. Пожилая преподавательница, на голове у которой маячила шишечка цвета кабачковой икры, уложенная поверх непослушных, торчащих то тут, то там волос, назвалась Тamarой Афанасьевной и написала на доске пару простейших дробей.

— Поднимите руку, кто проходил такое в школе и может назвать ответ.

“Это ж тема шестого-седьмого класса, — подумал я, недовольно закатив глаза, и лениво задрал вверх клешню. — Нашла что спросить”.

— И всё? Один человек из тридцати? — почти заикаясь, уточнила Тamarа Афанасьевна.

Я нахмурил брови и осторожно, как оказавшийся на мушке преступник, оглянулся. Все одноклассники сидели смирно, уставившись либо на доску, либо на преподавателя, либо на меня. Ни один встречный взгляд не выражал никакой мысли. Примерно так же на меня смотрел Томас, когда валялся на топчане или кресле, а я присаживался рядом, чтобы погладить пушистое тело или просто с улыбкой понаблюдать за ним.

Куда я попал вообще? Что за очередная шайка бездарей? И почему Денис Чесноков, тоже решивший учиться на повара, оказался, чёрт возьми, в параллельной группе? С ним бы хоть не так диковато было находиться посреди незнакомцев, не рвущихся к знаниям. И повеселее заодно.

Но насчёт веселья мои беспокойства оказались напрасными. В группе было человек десять, способных заткнуть меня за пояс в плане шуток и провокаций. И если в школе я, опасаясь последствий, заранее всё просчитывал, а теперь и вовсе отказывался выставлять себя на смех, то в фазанке народ действовал максимально прямолинейно и бесстрашно. Мало кого пугали угрозы немедленным отчислением, не говоря уже о возможной потере стипендии, получать которую рвались только малоимущие или приезжие.

Как раз с парнями из других районов я и сошёлся. Лёха Трубочёв и Саня Жуков из Большой Мурты и Данил Могиловец из Кожанов привлекли тем, что вели себя гораздо спокойнее городских беспредельщиков. Багажом знаний, впрочем, тоже не могли похвастать. Зато умели по-человечески просить о помощи и впоследствии благодарить за неё.

Все трое проживали на пятом, последнем этаже общежития. Располагалось оно в соседнем здании с учебным корпусом, от которого было отделено просторной спортивной площадкой с турниками и вкопанными в землю покрывками.

Парни побывали у меня в гостях, узнали о моих разногласиях с отцом и незатейливо предложили жить с ними в общежитии. Я бы, дескать, помогал им по учёбе и, в случае чего, показывал нужные места в Дивногорске, а они бы защищали меня от местных забияк и провокаторов, взявшихся с первых же учебных дней насмеяться над очкариком-ботаником-девственником.

“А почему бы и нет?” — всерьёз воспринял я прозвучавшее без особого энтузиазма предложение и взялся прокручивать в голове детали последнего семейного конфликта, разгоревшегося минувшим вечером на религиозной почве.

Замдиректора по прозвищу Селёдка — высоченная, костлявая, с почти рыбьими глазами — твёрдо отказывала мне в просьбах. Уверяла, что в комнатах общежития нет свободных мест даже для приезжих, а для городского тем паче. Лёха с Даниилом уверяли меня в обратном и, загибая пальцы, насчитали с десяток незанятых коек на этаже. Я чуть было не использовал этот аргумент в очередной беседе с Селёдкой. Но в последний момент, уже открыв рот, вдруг подумал о парнях, о том, что могу их подставить. Поэтому зашёл с другой стороны:

— Да уж, не зря учителя советовали в школе остаться. Там меня ценили. Прощали почти всё. И прихоти некоторые исполняли из-за моих оценок.

Помогали даже тогда, когда не просил. А тут? Месяца ещё не прошло — уже каждому понятно, что я лучше всех учусь. Но какой смысл пыхтеть, если вы мне какую-то кровать в общежитии не можете выделить? Заладили: местный, местный... И что с того-то? Чем я хуже иногородних? Мне домой возвращаться — только себе хуже делать. С батеи разборки. Даже не разборки — война. То хоккеем меня мучил, то ещё какой-нибудь фигнёй, которая мне не нужна. Теперь вообще в секту подался и меня заставляет книжки идиотские читать, молитвы всякие тараторить. Домой каких-то убогих постоянно приводит. Мать с сестрой притворяются, типа разделяют его взгляды. А я — не собираюсь! Но вам же на это наплевать. Зачем я вообще в вашу долбаную фазанку подался...

Селёдка осталась недовольна моим тоном. И отчитала за бестактность, добавив, что всё это ставит меня в один ряд с другими учащимися — пускай не такими преуспевающими и грамотными, зато столь же дерзкими. Тем не менее, выпроваживая из своего кабинета, пообещала решить вопрос. Через два дня я уже привыкал к новой обстановке, обустроиваясь посреди заставленной кроватями комнаты без обоев, под полотком одинокая лампочка, вкрученная в потрескавшийся патрон.

ГЛАВА 46. ОБЩАЖНЫЙ СРОК

Конфеты, принесённые мною в общежитие в качестве неприкосновенного запаса, пацаны сгрызли в тот же вечер. При этом Ваня неоднократно напоминал мне, заметно расстроенному, что здесь всё общее и привыкать к этому надо сразу.

Когда Данил Могилевец нажарил на настольной одноконфорочной электроплитке целую сковородку картошки с луком, мы улетали её из одной посуды, не раскладывая по тарелкам. Причём никто никого не ждал и делить еду поровну не собирался.

— В большой семье рылом не щёлкают, — важничал Ваня, ускоренно работая вилкой и челюстями и почти давясь сыроватой картошкой.

О том, что душ с туалетом на этаже тоже общие, я выяснил заранее. Но не мог себе и представить, что три унитаза окажутся не отгороженными друг от друга ничем, а единственная, ещё и чудовищно хлипкая дверь в столь важную и часто посещаемую комнату с выщербленным кафельным полом будет закрываться на разболтанный и не особо спасавший положение шпингалет.

Там и минуты невозможно было продержаться. В том числе из-за стойкого табачного дыма. Пацаны, нередко растягивая одну сигарету на троих и даже на пятерых, курили не только в туалете, но и — когда комендантша не видела — рядышком, на подоконнике в коридоре, почти напротив лестницы. Вела она к девочкам, занимавшим весь четвёртый этаж. На третьем жили сотрудники училища и семьи, снимавшие комнаты в аренду. На втором располагалась часть учебных кабинетов, а на первом — хозяйственные помещения.

Входы на четвёртый и пятый этажи на ночь закрывали. Поэтому к десяти вечера прекращались все свидания, иногда сводившиеся к банальному поводу на халюву подкрепиться у начинающих поварих. Ложась спать, парни мечтательно обсуждали, кто из девчонок лучше всех готовит, смеётся, целуется и не только. От них же я узнал, что самые во всех смыслах голодные иногда навещают по ночам к юным соблазнительницам через окно, спускаясь по связанным между собой одеялам и простыням. Один из таких рыцарей сорвался вниз, приземлившись на продолговатый козырёк над входом в общагу, заработав сотрясение и сломав ключицу.

Еженедельные проверки жилых комнат на чистоту тоже не радовали. Если дежурные обнаруживали грязь или крошки на полу, пыль на подоконнике, на мебели или даже на корпусе кроватей, то информацию о неряхах передавали комендантам, а там и до руководства училища могло дойти. Злые языки поговаривали, что некоторые из-за этого даже места в общежитии

лишались. Мы не верили, но чистоту старались соблюдать. Правда, за уборку, особенно за подметание пола веником, брались лишь в день намечавшейся проверки.

На опостылевшую картошку, которую мы жарили по два раза на дню, смотреть уже не было сил. Раздражать стало почти всё: отсутствие тишины, трёп на примитивные темы, неумело рассказанные анекдоты, табачный дым из коридора и даже песенка “Bailando” в исполнении Paradisio, бесконечно крутившаяся туда-сюда в скрежетавшем магнитофоне, который Трубачёв привёз из посёлка. И если поначалу я пытался укрыться от всего этого в собственном мире, сидя за столом у окна и рисуя комиксы, кардинально отличавшиеся от любимых мною “Бамси” и “Микки Мауса”, то через недели полторы творчество уже не спасало. А когда Ваня без спроса стащил из моей тумбочки сладости, переданные мне наведавшейся в гости матерью, и в ответ на возмущения взялся угрожать, жизнь стала и вовсе не мила.

На следующий день мы вновь собрались за одной сковородкой, полной картошки с луком, теперь хотя бы со шкварками. Сидели уже вятером. К нашему квартету присоединился высокий и поджарый третьекурсник Лёха Кривонос из соседней комнаты.

Он учился на сварщика и был известен в узких общежитских кругах своим умением пускать огненные струи, поднося зажигалку к пятой точке, как это делал популярный в то время киношный детектив в исполнении бесподобного Джима Керри. Будучи земляком Данила, Кривонос частенько приходил к нам чем-нибудь подкрепиться. Картошку, бывало, приносил свою — оставалось лишь почистить, покрошить и пожарить.

Хлеб на блюде быстро закончился. Тогда Ваня попросил меня нарезать ещё кусочков пять.

— А самому не судьба? — спросил я, накальвая на вилку пару ломтиков картошки и глядя на улицу, где ребята из соседних дворов, сидя на крышках, увлечённо ворковали с девчонками-старшекурсницами из общаги.

— Ты чего-то много борогозишь в последнее время, — раздалось в ответ.

— Ваню, остынь, — миролюбиво отреагировал Трубачёв, крупный в кости, совсем не под стать плюгавому соседу, который моментально смолк.

— В натуре, ещё чуток нарежь, — повернулся ко мне Кривонос и по доброму подмигнул. — Будь другом, пожалуйста.

Я тяжело вздохнул, отложил вилку и пошёл в другой угол комнаты. Спешно управился с четвертинкой буханки, свалил всё на блюде и вернулся к столу, из-за которого уже выходили благостно причмокивавший Трубачёв и будто бы уставший Могилевец. В сковородке почти ничего не осталось.

Кривонос поблагодарил меня, взял кусочек хлеба, разломил его пополам и затолкал в рот вместе с очередной партией картошки. Затем довольно отрыгнул, разделался с оставшимся мякишем и отправился мыть вилку. Ваня к блюду так и не притронулся.

— И зачем я вообще что-то резал? — переполняла меня злорада.

— Сам жри, кто тебе мешает, — прохрипел Ваня, едва не подавившись. — Можешь в жир макать — тоже ништяк зайдёт. Кстати, ты последний. Так что моешь сковородку.

— Ну ты и урод, — тихо и протяжно вымолвил я.

Уязвлённый оппонент демонстративно вскочил и зарядил мне в челюсть. Пацаны подбежали к нам и попытались усмирить обоих. Но я и не собирался лезть в драку, даже не защищался толком.

— Будешь дальше борогозить, — не унимался Ваня, выглядывая из-за плеча Лёхи Трубачёва, — очки тебе запихаю сам знаешь куда.

Мне хотелось поскорее всё это прекратить. Раз и навсегда. Вариант с возвращением домой я не рассматривал, хоть там у меня и была отдельная комната. В другую комнату общаги переехать никто бы не разрешил. Но и терпеть разнузданного соседа, с которым будто не жил, а срок мотал, уже никаких сил не оставалось.

До роднёного дома на 30 лет Победы минуты три пешком. Ещё не остывший, я наведаясь в четвёртый подъезд к Вадику Шепелеву. Тяжело дыша, без всяких преамбул напомнил ему о наставлении брата, который

перед переездом в Воскресенск просил одноклассника всячески мне помогать. Увидев одобрителный кивок, я выложил о своём враге всё как на духу. Провести профилактическую беседу с тасеевским супостатом, невесть что о себе возмнившим, мы условились после ужина. Всех общежитских ежедневно кормили в одно и то же время. Поэтому Вадик знал, во сколько нужно быть у спортплощадки, чтобы я указал ему на врага.

Обычно передвигавшийся на белой “четвёрке”, Шепелев подъехал к фазанке на отцовском серебристом “Мерседесе”, рассчитывая, как сам потом выразился, подчеркнуть важность момента. С собой за компанию взял Саню Исмаилова — полусонного, зато здоровенного и уже этим немного пугавшего. Припарковав машину рядом с запасным выходом из столовой, они ждали моего сигнала.

Поклёвывая слипшиеся макароны и вяло теребя вилкой кусок костлявой рыбы, я не сводил глаз с хохотавшего Вани. Когда он неспешно приподнялся и понёс тарелку со стаканом на мойку, мне пришлось оставить грязную посуду на столе. Сапаном вылетел на улицу и, почти ежесекундно оборачиваясь в сторону двери, крикнул Вадиду:

— Готовьтесь, сейчас выйдет.

Беседа друзей моего брата с дрожавшим и ничего не понимавшим неприятелем ограничилась тремя коротенькими репликами. После этого Шепелев схватил Ваню за шею и познакомил его лоб с металлической трубой турника. Затем прописал несколько хуков и весьма убедительно произнёс финальную речь:

— Если он снова нам пожалуется, то мы сюда полгорода приведём. И ты вот так просто уже не отделаешься, понял?

Ваня тёр лицо и постанывал. Выходившие из столовой пацаны с девчонками косились то на нас, то на сверкавшую иномарку. Но никто не останавливался, предпочитая поскорее ретироваться во избежание проблем.

— Я не слышу, — напомнил о себе Вадик, — ты понял, ублюдок, или нет? Может, тебе ещё раз упороть, чтоб говорить научился?

— Да понял, понял...

Но Ваня, любивший бахвалиться и строить из себя крутого парня, на следующий же день после расправы написал заявление в милицию. Шепелеву, учившемуся в Красноярске на первом курсе юридического факультета, пришлось пройти несколько неприятных допросов. Но семейные связи помогли ему избежать проблем с законом.

Меня тоже вызывали к следователю. А чуть позже — к Селёдке. Она твердила, будто бы охотно верит тому, что я рассказал, и нисколько не оправдывает Ванино поведение. Но так жестоко мстить сироте с большим глазом было не по-человечески.

Сироте?

Меня настоятельно попросили освободить место в общежитии. Объяснили это тем, что в училище прибыло ещё несколько иногородних, которых якобы некуда селить. И что в подобной ситуации городской не имеет права занимать койку того, кто нуждается в ней гораздо больше.

В общежитии я не прожил и месяца.

ГЛАВА 47. ДОЛГОЖДАННАЯ ПРАКТИКА

Осень подходила к концу. Фазанка перестала чем-либо удивлять, всё больше напоминая УПК и то, что с ним было связано. Только теперь за соседними партами сидело много приезжих — как из ближайших к Дивногорску посёлков, так и из Балахтинского и Большемуртинского районов.

А ещё я наконец-то в химии начал разбираться. Чему сам удивился — после двух-то пожилых учителей, не сумевших влюбить меня в этот предмет. Отныне его вела сухожавая и не слишком добродушная тётка средних лет. Но объясняла она всё настолько доступно, что уже к ноябрю я перестал обращать внимание на её противный голос и частые колкости. Просто получал удовольствие от решения увлекательных химических уравнений, поглотивших

меня целиком. Позднее ещё и на краевую олимпиаду среди учащихся средних специальных учебных заведений поехал. И занял там пятое место среди тридцати шести человек, хотя участвовали второкурсники, а многие задания были на незнакомые мне темы.

Нажить себе в фазанке новых врагов оказалось проще пареной репы. И даже проще запаренной китайской лапши. Пацаны завистливо наблюдали за тем, как я скоренько разделяюсь с заданием и получаю очередную пятёрку, а потом ещё и нелицеприятную критику выслушивали от химички, которая дьявольски бесновалась из-за того, что почти вся группа тратит слишком много времени на наипростейшие уравнения.

Почти то же самое было на занятиях по некоторым другим предметам. И мне снова пришлось вспомнить, что я позорный очкарик-ботаник-девственник. Чаще других об этом, причём обязательно в присутствии девчонок, горланили ранее учившиеся в одной школе Лёха Налимов, Макс Лесин и Саян Андреев. Хотя последний тоже был вполне силён в химии.

Когда я набирался смелости и спрашивал у провокаторов, зачем они меня гнобят и не лучше ль самим взяться за ум, то слышал в ответ, что надо быть проще, не пытаться выделяться из толпы, и тогда люди потянутся. Однако пацаны не уточнили, нуждался ли я в обществе им подобных. А главное — какой мне резон снижать планку ради напыщенных олухов с низменными желаниями.

С особым нетерпением я ждал процесса готовки, на что как раз и клюнул год назад. Но за три осенних месяца на занятиях по кулинарии нас успели обучить только шести видам простой нарезки: соломка, брусочки, кубики, дольки, ломтики, кружочки. Тренировались мы на картошке, которую приносили с собой из дома, неумело кроша её прямо в учебном кабинете. Порезанные пальцы быстро стали нормой.

На кухню, скрывавшуюся за дверью рядом с крайним окном, нас долго не пускали. Там находились холодильник, электроплиты, витрины с посудой, разделочные столы и раковины — полноценный цех для обучения поваров. А дальнюю стену, обитую деревянными рейками, украшали соблазнительные имитации готовых блюд и стенды с полезной информацией.

Чаще всего мы записывали под диктовку рецепты. Десятки рецептов еженедельно. Пышноволосяя преподавательница, в былые годы работавшая в общепите вместе с моей бабушкой, почти всегда безвылазно сидела за скрипучим столом, стоявшим по центру от учащихся, напротив классной доски, а не у подоконника, где за обильно политыми горшечными растениями частенько были припрятаны пакетики с дешёвыми карамельками и крекером. Во время долгих и нудных лекций кулинарка, уткнувшись в сборник рецептов, активно жестикулировала, наглядно показывая нам, как и что надо перевернуть, перемешать, взбить, обмакнуть.

Ждать пришлось до лета. Но радости перед производственной практикой заметно поубавилось. Весной нас уведомили об обязательном медосмотре и необходимости приобрести медицинскую книжку, деньги на которую я кое-как выпросил у матери. Сдавать мазок и проходить другие неприятнейшие процедуры никому не понравилось. Хотя пацаны увидели повод для смеха даже в этом, сыпля пошлыми шуточками направо и налево. Особенно забавляли одноклассников красочные стенды с перечнем венерических и кожных заболеваний.

Городским предлагали самостоятельно искать место для прохождения производственной практики. Это давало возможность пристроиться туда, где не только чему-нибудь научат, но и заплатят. А приезжих определяли в пэтэушную столовую или на предприятия, с которыми у руководства фазанки были договорённости.

Я обратился к бабе Тоне. Она уже много лет трудилась в мясном цехе дивногорского завода низковольтной аппаратуры и говорила, что там есть три столовые. Это наверняка помогло бы мне овладеть сразу несколькими поварскими навыками, а может, ещё и подзаработать немного.

Хотя в последнее время зарплату на заводе выдавали талонами, которые в кулуарах градообразующего предприятия называли “усатиками” — по

фамилии директора. Такие денежные знаки там ввели ещё до начала деноминации в стране, когда на российских банкнотах исчезло несколько нолей. Продукция ДЗНВА считалась уникальной даже в других странах, при этом объёмы производства падали катастрофическими темпами. Работники негодовали, но не увольнялись, ибо устроиться в иное место не было ни возможности, ни смысла, учитывая тотальный кризис.

Сбагивали “усатики” исключительно в заводских магазинах. Причём ассортимент товаров там был скудным до безобразия. И цены превышали рыночные в полтора раза, а то и в два.

Отец, уже давно не работавший на заводе, имел несколько акций этого предприятия. И ежегодно получал дивиденды. Теперь их тоже стали выдавать талонами. Мы тратили их в основном на хрустящие, зачастую ещё горячие батоны и хлеб, которые выпекали в пристройке к дому через один от нашего. Со сливочным маслом они чудесно шли под сладкий чай и почти таяли во рту. Но вскоре поднадоели. Сказочно вкусными сперва казались и ломтики хлеба, обжаренные на сковородке с двух сторон и слегка подсоленные. Кто ж знал, что с каждым новым разом от них всё сильнее и сильнее будет тошнить — в прямом смысле этого слова. О разнообразии приходилось только мечтать.

Тогда-то я и осознал: живые деньги, пускай и небольшие, имеют особый вес. Для подростка — тем более.

Баба Тоня пристроила меня в одну из заводских столовых. Там же, к моему глубочайшему разочарованию, оказался и Макс Лесин — почти самый высокий в нашей группе и вместе с тем худощавый. Один лишь его неприязненный взгляд вкупе с натянутой злорадной улыбкой напрочь убил во мне, с учётом медосмотра, желание познавать тонкости кулинарного искусства.

Но я зря нагнетал. Лесин, оставшись без компании задиристых друзей-балагуров, вёл себя на удивление сдержанно. Когда тётки-поварихи, коих было четверо, не считая мойщицы, давали нам одно задание на двоих, Макс усердно помогал мне и не пытался ни пакостить, ни оскорблять.

Каждое утро в заводской столовой начиналось с того, что мы все вместе собирались за общим столом и завтракали жареными молоками, о существовании которых я до той поры не слыхивал. Чуть реже баловали себя жареной картошкой, яичницей или омлетом. Молодившиеся в присутствии нас поварихи задорно хохотали, травили анекдоты и житейские байки, поминая лихом то недовольную посетительницу, то любовницу мужа, то ещё какую “суку страшную”.

А затем начинался аврал. До полудня, когда в обеденный зал стекались сотни умаявшихся и голодных рабочих, нередко в пыльных, запятнанных, драных робах, надо было успеть приготовить несколько вторых блюд, гарниров, холодных закусок, напитков, не забыв, конечно же, и про огромную маркированную бадью с супом.

Мы с Максом чаще всего шинковали овощи для винегрета, капустного и зимнего салатов, жарили блины, беляши, котлеты и рыбу, резали хлебные буханки на определённое количество кусочков. Бегали в морозильную камеру, пытаясь окоченевшими руками нагрести из таза немного квашеной капусты, схватившейся почти намертво. Гораздо реже чистили гниловатую картошку или разделявали селёдку, не забывая при этом о необходимости сводить процент пищевых отходов к минимуму. А иногда помогали на раздаче, едва справляясь с потоком горластых мужиков, которых не мог заглушить даже не смолкавший кассовый аппарат “Ока” с его почти барабанной дробью.

За месяц мы такого насмотрелись, что чуть не отпало всякое желание питаться в будущем где угодно вне дома. Бывало, в суете на уже затоптанный пол сваливались то котлета, то кусок жареной рыбы. Поварихи поднимали их и, для вида что-то стряхнув пальцами, возвращали обратно в общую кучу. Они могли отщипнуть кусочек от готового блина, проверяя степень прожарки, и тут же определить его на раздачу, завернув так, чтобы дефект не был виден. Им даже в салат доводилось чихать. А когда в мешке с мукой обнаружили мышьиные фекалии, то попросту просеяли продукт и пустили в дело.

Сами грызуны редко, но всё же появлялись на кухне. В такие моменты кто-нибудь из поварих хватал швабру и устраивал сумасшедшую погоню за юрким серым созданием, почти безостановочно стуча деревянной колодкой по бетонному полу. Это сопровождалось сколь нездоровыми, столь и весёлыми выкриками, будто охотник издевался над обречённо метавшейся жертвой.

Вместо зарплаты мы с Максом получали за свой труд порцию-другую еды. За стол садились после того, как наплыв работяг прекращался. В первую неделю ели то, что нам удосуживались наложить поварихи. Но в дальнейшем, уже познав все прелести местной кухни, мы сами себе заранее что-нибудь откладывали. В съедобности чего были уверены.

В конце рабочего дня заполняли дневники. Перечисляли то, чем занимались на практике. А бригадир цеха это подписывала, ещё и оценку выставляла. Как выяснилось в конце июня, у всех моих одноклассников, независимо от места прохождения практики, в дневниках стояли исключительно пятёрки с четвёрками. Записи отличались лишь разнообразием блюд. К начинающим поваряткам никто строго не относился — ни на предприятиях, ни в школах, ни в детских садах, ни в фазанке.

Но один оригинальный дневник всё же попался мне на глаза. Лёха Трубачёв, судя по всему, забыл или не знал о существовании картофельного пюре и соусов. А потому в записях моего бывшего соседа по общаге неоднократно маячили толчёнка и подливка. Ну, и пусть. Лишь бы вкусно было. И для здоровья безопасно.

Сам я, поверив в собственные силы и вспомнив восхитительный вкус мяса и рыбы, ещё на месяц остался в заводской столовой. Уже не как практикант, а как полноценный работник. И должен был получить какую-никакую зарплату. Талонами, разумеется.

Уйти пришлось через две с половиной недели. Бригадирша пару раз обвинила меня в том, к чему я не был причастен. И тогда мне страсть как захотелось кому-нибудь выговориться. Находясь в холодном цеху и размеренно наминая в эмалированном тазу капусту с морковкой, излил душу одной из поварих, крошившей за моей спиной сморщенные солёные огурцы для винегрета. Та, по всем канонам запутанных детективных историй, оказалась дальней родственницей бригадирши. Мне заплатили только за неделю. Остальное, по словам начальства, удержали за питание, в котором я себе не отказывал.

Путь на завод был мне отныне заказан. Где проходить практику на втором курсе, предстояло определиться до Нового года. Подумывал присоединиться к кому-нибудь из ребят, которые неплохо зарекомендовали себя в детсадах на улице Комсомольской.

А полученные “усатики” я потратил сразу же, потому что хранить их не было никакого смысла. Купил в заводском магазине несколько пачек китайской лапши, оказавшейся редкостной дрянью, и небольшую упаковку газировки в вытянутых алюминиевых баночках с иероглифами, которая на вкус отдалённо напоминала колу, рекламируемую группой “Спайс Гёрлз”.

Это было лучше, чем вообще ничего. В середине августа в России объявили дефолт. Купить доллар дешевле семи рублей уже не представлялось возможным. А в сентябре за него и по двадцать давали. Цены на продукты взлетали со скоростью, напоминавшей запуск космического корабля. В панике люди скупали всё то, что могло храниться максимально долго. Пустеющие полки в магазинах вгоняли в депрессию. Жить приходилось сугубо по средствам, подумывая о категорическом переходе на отечественную продукцию. Тут уж точно не до заморской газировки.

А отец талдычил, что предприимчивые дружки вот-вот отберут у него автостоянку. И не видать тогда нашей семье не то что обожаемого мною мяса, но и всего остального. Теперь, после редких подработок, я хоть немного понимал отца. Понимал, каким трудом достаются деньги, особенно в столь смутное время. И когда мысленно представил себя пашущим без продыху главой многодетной семьи, где отпрыски постоянно грызутся, а жена ни одного сериала не пропускает, не суетясь по хозяйству, то ужаснулся: нет, мои нервы определённо не выдержали бы. При таком раскладе не то, что в сектанты или в алкаши пойдешь — руки на себя наложишь.

ГЛАВА 48. ИЗДЕРЖКИ ВЗРОСЛЕНИЯ

Мысли о журналистике посещали меня всё реже. Хотя новостные выпуски, преимущественно “Сегодня” на НТВ, я смотрел регулярно. Иногда и городскую газету почитывал, но не дома, а лишь в гостях, потому что родители “Огни Енисея” не выписывали.

Нет, журналистские мечты никуда не исчезли. Я всё так же хотел связать своё будущее с этой профессией. Просто более насущными стали вопросы: что поесть? во что одеться? где взять на всё это денег? как окончить фазанку, не забросив её раньше времени?

Подкармливала меня баба Тоня. Я наведывался к ней раза два в неделю. Заодно рассказывал обо всём, что творилось у нас в семье. Бабушка мне ещё и с продуктами помогала — в тех случаях, когда на практические занятия нужно было принести кусок говядины или тушку курицы. Но объявиться с ними дома даже не пытался: отец, с его-то религиозным фанатизмом, сразу избавился бы от трупятины в своей квартире. А мало-мальские доходы с автостоянки, пока ещё не канувшие в Лету, он нередко пускал на сектантские нужды. Там была отдача. И благодарность. Зачастую показушная, но всё же. Отец считал это куда более ценным, нежели беспощадное равнодушие друзей-мафиози и родителей юных хоккеистов, которые давно перестали ценить его старания. Не говоря уже об убивающих нервы семейных склоках.

Неожиданно подоспела помощь от училища. Меня сочли малоимущим и стали чаще кормить в столовой. Наш мастер Александра Васильевна — высокая светловолосая женщина, активная и добродушная, но избегавшая любой критики и всегда в такие моменты переводившая взгляд на что-нибудь постороннее, старалась проследить за тем, чтобы общежитские не слопали мою порцию. Мне даже ботинки зимние выдали — необходимого размера, редкого, сорок пятого. В трико с футболкой большой нужды не было, но их я тоже с удовольствием принял.

Моё настроение постепенно улучшалось. Мысли о неопределённом будущем надолго прятались в потаённых уголках мозга, выглядывая оттуда лишь в периоды повышенной тревожности. Снова хотелось шутить, хохотать, радоваться сущим мелочам, на которые многие люди не обращали внимания.

Меня слегка волновала Олеська Барина — стройная светловолосая симпатяга, жившая в общежитии и нравившаяся мне внешне. Пару раз она предлагала дружить. Но делала это в присутствии всей группы, с улыбкой заявляя, что очень любит умных и от других рожать не собирается. Я воспринимал её слова как издёвку, не сбрасывая со счетов и то, что Олеська заигрывала с кем ни попадя. Не дождавшись взаимности, она послала меня куда подальше. С тех пор мы с ней о делах амурных больше не заикались.

Я не мог понять, почему люди, не схватывавшие элементарные темы и бившие на занятиях баклуши, открыто кричали на каждом углу о своей зрелости и гордились тем, что снова с кем-то перепихнулись или до поросычьего визга напились. Если вся наша жизнь — игра, то какой смысл строить из себя взрослых? К цели шагай уверенно. Но предрассудки и чужое мнение оставь на дне коробки с игрушками.

Сестра, которой только исполнилось пятнадцать, тоже всю рисовалась. Ничуть не меньше, чем мои одноклассники. Меня Рыжая называла дитятком, думающим не о том, о чём надо, и не разбирающимся в модных направлениях.

— Нормальные пацаны уже давно с девками гуляют, на дискотеки ходят, — говорила она мне с напускной деловитостью, разве что впалые щёки не надувая. — А ты всё в хоккей дома играешь, книжечки читаешь, комиксы свои дурацкие рисуешь. Одеваешься, как лошина беспонтовая. Нет бы уже повзрослеть!

Как и я, сестра в десятый класс идти не собиралась. Планировала вслед за подружками пойти в тридцатое училище, располагавшееся чуть выше сорок второго, на самой вершине Дивногорска, рядом со слаломной горой. Не блиставшую успеваемостью Рыжую отец, в отличие от меня, почему-то

не отговаривал переходить из школы в козлуху. Напротив, поддержал дочь в её показном рвении стать швей-мотористкой. Сказывалось лояльное, во многом фальшивое и откровенно лисье отношение сестры к его религиозным взглядам.

Я же думал лишь о том, как продержаться в фазанке ещё один год. А дальше — курс на покорение университетских и журналистских вершин.

ГЛАВА 49. ОВОЩНАЯ БОМБАРДИРОВКА

В один из последних августовских дней мне, ещё не отошедшему ото сна, позвонил Вовка Токарев. Он был крайне прибодрён и звал к себе. Пообещал несказанное веселье, но подробностей не сообщил.

Я почесал шею, уставился на рядом лежавшего, свернувшись калачиком, Томаса, легонько провёл пальцем по его нежно-розовому носу и лениво поднялся с топчана. Вернулся в свою комнату, схватил висевшую на спинке стула зелёную синтетическую футболку, расплывшуюся по краю рукава, и, получив очередной удар током, вмиг вышел из сонливого состояния.

Когда поднялся к Вовке, он встретил меня целой корзиной помидоров и кабачков, при этом загадочно улыбаясь. Токарев выждал гроссмейстерскую паузу, чтобы меня наконец-то охватило любопытство, и лишь потом спросил: — Ты когда-нибудь кидался овощами с лоджии?

— Нет, — непонимающе, а потому глуповато усмехнулся я. — Собачкам на драчку только скидывал всякую фигню. Ну, пацанам из интерната. Рассказывал тебе про это, помнишь? А, да, ещё прохожих иногда обливал... когда Иван Купала. Как раз тоже с лоджии. В тазики воду набирал и... — я присвистнул и мотнул руками вправо. — А овощами... Овощами — нет, никогда.

Вовка пообещал, что предстоящая бомбардировка запомнится мне на всю жизнь. И попросил не бояться появления родителей: они уехали на дачу до вечера.

— Может, всё-таки не надо? — засомневался я. — О последствиях-то подумал? Пришибём ещё кого-нибудь, тьфу-тьфу-тьфу.

— Да кто увидит? — ничуть не смутился Токарев. — Если страхово, то не кидай. Просто рядом постой. Поржёшь хоть. Мне одному не в кайф. Как друга тебя прошу.

После таких слов я едва не сдался. Но всё же предпочёл спуститься обратно. За что Вовка провокационно назвал меня жалким трусишкой.

Входная дверь оказалась приоткрытой. На коврике у порога нашей квартиры уже кто-то топтался. Я понял, что сектанты собираются на очередную сходку, и решил поскорее уединиться в своей комнате. Попавшегося на глаза Диму прихватил с собой, чтобы поглядить кота и немного забыть.

Дверь хлопала всё чаще. Галдёж в квартире усиливался. Из кухни доносился мерзкий запах капусты, гороха и экзотических специй. Я открыл форточку — не помогло. Ещё и отец на лоджию вышел, о чём-то болтая с двумя незнакомыми мне щуплыми и бритоголовыми мужиками. Увидев через окно мою недовольную физиономию, он ухмыльнулся и показал на меня пальцем, будто бы говоря пришлым:

— А вот этот очкастый сопляк ничего не понимает, тупыми нас считает. Те обернулись и сколь глупо, столь и издевательски хихикнули.

“Чего вы лыбите?” — подумал я и скрипнул зубами.

— Тебе наложить чего-нибудь? — испугала меня мать, заглянувшая в комнату. — А то прихожане всё съедят.

— Да не буду я вашу траву жевать! Ты же знаешь это. Блевотина какая-то, а не еда.

— Ну, моё дело предложить, — равнодушно ответила мать и развернулась.

— Что он там блевотиной назвал? — негодуя спросил у неё отец, уже успевший покинуть лоджию.

— Не трогай его. Пускай лапшу свою заваривает.

— Так вот его лапша как раз и есть натуральная блевотина. В козлухе, видать, ничему больше не научили.

Я вмиг вышел из себя. Ведь если бы отец сам не запрещал приносить домой мясо, рыбу и другие продукты, которые в их секте не употребляли, то мне было бы в разы проще оттачивать поварские навыки. И вместе с тем не сидеть на одной лапше да картошке.

Обозлённый на всех, я метнулся к порогу, откопал в груде чужой обуви свои тапочки и побежал наверх. К Токареву. Мы оккупировали его лоджию и оттуда, с пятого этажа, вели огонь по каждому второму, кто осмеливался проходить мимо. Вовка бомбардировал, а я наблюдал за его потугами.

— Кинь тоже хоть раз, — протянул он мне помидор.

— Отвянь. Сам же просил, чтоб я рядом постоял — просто за компанию.

— Понятно всё, — ухмыльнулся Токарев и снова уставился вниз, выматривая новую цель. — Ты ведь даже не докинешь до той стены. Силёнок-то нет. Вон какой костлявый. Одну траву дома хаваешь. Да супы на воде. Вкусно, кстати?

Вовка рассмеялся. А мне после таких слов захотелось сбросить с лоджии его самого. Рассвирепев, я выхватил у него из рук помидор и что есть мочи швырнул его вдаль, украсив асфальт ещё одним красным пятном.

— Да ты зверюга! — улыбнулся Токарев и одобрительно подмигнул. — О, смотри, чёрт какой-то страшный идёт. Это не из вашей секты?

Вовка своего добился: меня понесло. Потеряв над собой контроль, я вытащил из корзины предпоследний кабачок и бросил его вниз. Но чуть в сторону от прохожего. Нарочно. Намереваясь не попасть в цель, а просто напугать.

Разбазарив все овощные припасы, мы прервались на то, чтобы попить травяного чаю с лимонным печеньем. Потом Вовка достал из холодильника несколько куриных яиц, которые я с радостью отнёс бы к себе домой, но — нельзя было. Одно из них, брошенное Токаревым, залетело в открытый люк автобуса, проезжавшего по территории интерната. Что было дальше, мы уже не видели, сразу ретировавшись с огневой точки. Но отчётливо слышали резкое торможение и гневную тираду в адрес незримого врага, из-за чего надменно ухохатывались, катаясь по полу в зале.

Токарев потом получил своё. От родителей. Их возмутило, что овощи исчезают из дома с космической скоростью. И дали сыну втык. Тот захотел остаться чистеньким и свалил всю вину на меня, дескать, это я пришёл в гости и, не внимая отговоркам хозяина, взялся транжирить чужую провизию. А сам Вовка, будучи младше соседа-наглеца, якобы не смог остановить безумие.

Его строгий и мускулистый отец, с которым никто не отваживался шутки шутить, спустился к нам и вызвал меня в подъезд на доверительный разговор. Я признал соучастие, но не более того. Заодно пообещал впредь не заниматься никогда подобной чертовщиной. Потом, уже попрощавшись и закрыв дверь, несколько раз постучал ладошкой по своему бестолковому лбу. Стало неописуемо стыдно за себя и как-то даже позорно. Через год в университет поступать, а сам до сих пор...

Тогда мне казалась, что за преступлением не последует хоть сколько-нибудь существенного наказания. Что всё обойдётся мирной беседой с Вовкиным отцом. И самокритикой. Однако Божья кара всё же обрушилась на мою голову, как огурец на плечо того мужика несколькими днями ранее. Только пострадал не я сам, а мой пушистый любимец Дима.

В тот день мы долго его искали, перевернув четырёхкомнатную квартиру вверх дном. Отец решил, что кот мог прошмыгнуть в подъезд, когда мы выходили на улицу. Диму искали на всех этажах. Но нашли во дворе — рядом с бордюром, отделявшим проезжую часть от детской площадки. Кот лежал неподвижно, шевеля лишь глазами. В ту минуту мы и подумать не могли, что он никогда больше не будет самостоятельно передвигаться.

— Ваш кот? — с лёгким соболезнованием в голосе спросила полная женщина, сидевшая на ближайшей к нам скамейке и качавшая головой. — Его вон оттуда мужик сбросил. За шварник схватил и...

Как выяснилось, Дима, любивший прогуляться по парапету лоджии, каким-то образом добрался до лоджии соседской, которая была — из-за проектных особенностей здания — не на одном уровне с нашей, а чуть ниже. Хозяин, вышедший покурить, обнаружил незваного гостя и раздражённо швырнул кота с третьего этажа прямо на асфальт. Именно швырнул, потому что от фасада дома до места падения было метров десять.

Парализованный Дима почти три недели пластом пролежал на мягкой подстилке, сооружённой для него на топчане. Усох до ужаса. Есть уже попросту не мог.

“Люди, убейте меня! Я устал ждать, когда этот ад закончится”, — читалось в его красивых зелёных глазах.

Родственники, как и я, не могли без слёз смотреть на кота, превратившегося в овощ, и просили отца усыпить страдавшее животное. Но тот вновь и вновь упоминал карму, твердя о необходимости каждому пройти до конца свой путь, уготованный свыше. И вообще, дескать, не согласен он уподобляться бандитам, которые не то что в стране, но и в наших краях с пугающей частотой кого-нибудь на тот свет отправляли, не гнушаясь применить огнестрельное оружие или вовсе взорвать жертву прямо в подъезде посреди бела дня.

Диму, умершего естественной смертью, мы похоронили в лесу напротив дома. А Томас как будто и не понял, что его папки не стало.

ГЛАВА 50. НАКАНУНЕ МИЛЛЕНИУМА

Осенью девяносто девятого, когда ещё только набирала обороты Вторая чеченская война, брат наконец-то дебютировал в команде мастеров, примерив форму тамбовского “Авангарда”. Высшая лига переживала не самые лёгкие времена, а уж клуб из Тамбова — подавно. “Авангард” плёлся на последнем месте в чемпионате и был на грани расформирования. Брат обошёл всего шесть матчами на старте сезона. Затем оказался вне состава. Причём сам же потом рассказывал, что половину из тех игр под его фамилией провёл другой хоккеист. Дальнейшее спортивное будущее брата оказалось под большим вопросом. Но отца, который уже год не отправлял старшему сыну деньги, это перестало волновать. Глава семейства свою миссию выполнил. И теперь вовсю жил сектантскими интересами.

Моё будущее, студенческое, тоже было окутано туманом. Приближался миллениум. И через полгода после начала нового тысячелетия мне предстояло выпускаться из училища. А куда и как поступать, ещё толком не определился. Денег у меня не было даже на то, чтобы несколько раз смотаться в Красноярск и со спокойной душой сдать экзамены.

Иногда доводилось подменять на отцовской автостоянке бабу Раю. Ночуя в сторожке и борясь со сном, который частенько меня одолевал, я беспокоился не столько за сохранность машин, сколько за собственную жизнь. Представлял, как на стоянку, уже погружившуюся во мрак, заявляется банда отпетых уголовников и отбирает всю наличку у пацана, не успевшего снять трубку и позвонить в милицию, располагавшуюся в здании почти по соседству с хоккейной коробкой.

Подработка сторожем раза три в месяц особо не выручала. На следующий же день, передав смену другому, я сразу тратил всё заработанное на еду, ничего не откладывая про запас. Дома питаться не мог. То, что родители готовили с недавних пор по восточным рецептам, неизменно вызывало у меня отторжение, а иногда и жуткую тошноту: сплошные овощи, утопавшие в неведомых специях. Родственники и знакомые даже в шутку называли нас семейством травоядных.

— Ты же повар! — твердил мне отец, будто издеваясь. — Вари себе сам, если что-то не устраивает.

Преподаватели в училище уверяли, что я тяну на красный диплом. Но толку-то: цвет корочек не имел значения при поступлении в университет — всё решали знания и деньги. Первых мне вполне хватало по большинству

предметов, но без вторых они не имели веса. Отец же давно дал понять, что не станет помогать непокорному сыну, который из года в год упрямо игнорировал почти все его советы и считал себя умнее взрослых, а теперь ещё и сектантские ряды пополнить отказывается.

Встречать двухтысячный год приходилось с тревогой. За окном второй день кряду трещал тридцатиградусный мороз, из-за чего мы с пацанами не отваживались выходить на улицу. Там, напротив дома, в полусотне метров по диагонали от сверкавшей огоньками живой ёлки, без дела простаивала большая ледяная горка. Обычно мои знакомые катались с неё, используя вместо санок Серёгу Серёдкина. Этот пухлый и неповоротливый здоровяк из четвёртого подъезда всякий раз пытался бунтовать против их наглости и просил, почти сиюсекунда, оставить его в покое. Но пацанов не беспокоило Серёгино брюзжание. А сам он, к всеобщему удивлению и радости одновременно, возвращался на горку снова и снова.

Прямо как я. Все минувшие годы выклянчивал дешёвое внимание и навязчиво клеился к тем, кто бесцеремонно мною пользовался и об меня же ноги вытирал. А тех, кто пылинки с моей головы сдувал и на все причуды глаза закрывал, зачем-то стороной обходил или вовсе врагами считал.

Зато на пятёрки учусь. Начитанный. Якобы умный.

“Болван! Как там в книжках говорят? Инфантильный? Точно. Инфантильный болван! — взялся я укорять самого себя, пялясь в разукрашенное морозом окно. — Вот зачем мне эта фазанка нужна была? Все же вокруг твердили, что я выше этого. Ну, почти все. Уже спокойно бы одиннадцатый окончил и не мучился зря. Третий год в фазанке, как в том же лицейском классе, больше остальных батрачу. И всё без толку. Облегчил себе участь, называю. Мясо... А что мясо? Много я его в фазанке схавал? Больше, чем в школе? И с хоккеем так же: сам без него и недели прожить не могу, но надо ведь было кому-то что-то показать, типа мы все такие уставшие, забытые, недооценённые, поэтому сами тренируйтесь... Только бы ныл, кретин! И жаловался всем и каждому. А как помощь чужую оценить, поблагодарить, так не дождётесь. Над Рыжей хохочу, а сам-то намного умнее, чем она? Видимо, мало меня жизнь попинала, раз ничего толком не понял к восемнадцати годам. Лучше бы самому огурцом в башку прилетело, да пожётче. Может, всю дурь бы заодно выбило”.

Мысли о том, что все мы какие-то особенные, ибо получили шанс жить в двух разных тысячелетиях, никак не согревали меня в предновогодний вечер. В отличие от имбирного чая и наброшенного на ноги жаккардового пледа.

Слегка отвлечься помогли “Джентльмены удачи” и “Самогонщики”, показанные по ОРТ и перемежённые предновогодним выпуском “Поля чудес”. Затем мать взглянула на время и беспокойно переключила на “Голубой огонёк”. Я склонил голову набок, уставился в стенку и вновь мысленно погряз в самобичевании. Неужели канун миллениума так сильно действовал?

До Нового года оставалось около часа. Отец, обычно спавший уже задолго до полуночи, решил, неожиданно для всех нас, отдать дань былым традициям и терпеливо сидел в скрипучем кресле, сжимая в руке кружку с компотом. Будто бы что-то чувствовал. А сестра, успевшая налопаться восточных сладостей и прилёгшая на полу рядом с миниатюрной искусственной ёлкой, чистила мандарины и складывала их на блюде.

Томительные ожидания боя курантов казались бесконечными. И когда на телеэкране возник Борис Ельцин, родители чуть оживились, зашептались.

— Давай, козлина, удиви нас напоследок в этом веке, — произнёс отец с неоднозначными нотками в голосе, вряд ли надеясь на что-то новое, светлое и всеми желаемое.

— Дорогие друзья, дорогие мои! Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием, — тяжело вещал седовласый глава государства, сидя как истукан. — Но это не всё: сегодня я последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку.

Родители переглянулись. Отец наморщил лоб, а мать странновато заморгала. И только Рыжая бровью не повела, с довольным видом разделяя почтенные мандарины на дольки и жадновато кладя их по одной в рот.

— Главное дело своей жизни я сделал, — подчеркнул Ельцин, с трудом произнося слова. — Россия уже никогда не вернётся в прошлое. Россия всегда теперь будет двигаться только вперёд. И я не должен мешать этому естественному ходу истории. Полгода ещё держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть президентом и с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее?! Почему я должен ему мешать? Зачем ждать ещё полгода? Нет, это не по мне, не по моему характеру.

“А мне вот ещё полгода ждать, — огорчённо думал я, — по своей же глупости, из-за своего же характера. Потом деньги где-то искать. Для начала на дорогу хотя бы, чтоб можно было на вступительные съездить. А там уж выкарабкаюсь как-нибудь. Надеюсь”.

— Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее, — продолжал свою речь первый президент России, побуждая и меня принести отцу извинения за его погубленные надежды, но гордыня душила. — Я сам в это верил: казалось, одним рывком — и всё одолеем. Одним рывком не получилось.

— Чуть не порвались, — злорадно усмехнулся отец.

— В чём-то я оказался слишком наивным, — подчеркнул Борис Ельцин. — Где-то проблемы оказались слишком сложными. Мы продирались вперёд через ошибки, через неудачи. Многие люди в это сложное время испытали потрясение.

— Ты как-то слишком мягко, братишечка, выражаешься, — снова подметил отец, сделав очередной глоток компота.

— Да вообще! — согласилась мать и искоса посмотрела на мужа. — Сперва наворотил делов, значит, а теперь...

— Ой, ты-то хоть не встревай, знаток, — перебил отец, и мы молча дослушали речь президента.

На экране появился председатель правительства Владимир Путин. Молодой, уверенный в себе и преисполненный оптимизма.

— Сегодня на меня возложена обязанность главы государства, — напомнил он миллионам зрителей. — Через три месяца состоятся выборы президента России. Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. Не было и не будет. Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции России будут решительно пресекаться. Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности — эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надёжно защищены государством.

— Да-да, пускай народ надеется, — отреагировал отец, вставая с кресла. — Я тоже много на что надеялся в этой жизни. Но против кармы не попрёшь. Хотя в России всё равно уже не может быть хуже.

— Ну, этот хоть нестарый, — как в пустоту сказала мать. — Наведёт порядок, я думаю.

— Надо же, думает она, — уже забыв про Путина, сыронизировал отец, взялся за пустое блюдо, повертел его в руках, вернул обратно на стол и потянулся за кувшином. — В голове у себя порядок наведи сначала. Столько рассиживалась, песняк примитивный слушала, а компота никому не догадалась налить. Так можно вообще целую вечность в майе пробыть.

— Да тихо ты со своей майей, — попросила мать, будто бы прислушиваясь к словам преемника Бориса Ельцина.

— Намёк, смотрю, не уловила? — отец помахал ладонью прямо перед её носом. — Встаём, дорогуша, встаём. За нас самих никто ничего не сделает. Давай быстрее. А то не заметишь, как жизнь пролетит, пока ты в кресле сидишь или дурака валяешь. Так, дети, долго будем булки мять, я не понял? К столу подходим. Для вас же, материалистов, накрывали. Я всё равно

сейчас спать пойду. Мне-то весь этот цирк точно не нужен, уж поверьте. Президент старый, президент новый... Какая разница? На себя надо надеяться. И на Него, — отец направил палец в сторону алтаря с покоившимся там восточным божком.

“За нас самих никто ничего не сделает, — мысленно повторил я отцовские слова. — А ведь так и есть. Или ты якорь пожизненно, который сам никаким движением не обременён, ещё и других на месте удерживает, а то и топит даже. Или всё-таки...”

— Дорогие друзья, — завершал свою речь Владимир Путин, — до наступления двухтысячного года остались считанные секунды. Давайте улыбнёмся нашим родным и близким. Пожелаем друг другу тепла, счастья, любви. И поднимем бокалы за новый век России, за любовь и мир в каждом нашем доме, за здоровье наших родителей и детей. С Новым годом вас! С новым веком!

— Ура! — радостно завизжала Рыжая, на секунду заглушив бой курантов.

— Ну, за нас, — поднимая кружку с компотом, игриво улыбнулась мать уже уходившему отцу. — За новую жизнь. И за чудеса.

За окном послышались залпы фейерверков. Дивногорцы, несмотря на мороз, потихоньку выползали из своих берлог.

“За новую жизнь, — мысленно согласился я, чокаясь с матерью кружками и исходя необъяснимой дрожью, с холодом не связанной, заодно вдруг вспомнил, как мы с парнями взрывали петарды в школе, во дворе и в подъездах. — Пора меняться. Если не сейчас, то когда? Новый век — новый человек! Хватит вести себя как тупая школото, учась при этом лучше всех. Я не якорь”.

ГРИГОРИЙ ШУВАЛОВ



СПАСАЯСЬ ОТ НОСТАЛЬГИИ...

* * *

— Зачем читать “Войну и мир”?
Скажи, Григорий! —
вещал мой дядя, бригадир,
с тоской во взоре.

— Сложить, допустим, надо печь,
здесь, я согласен,
придётся книжку мне прочесть,
а этих басен...

Не отразил я твой упрёк,
молчал сутуло,
но вот болезнь в бараний рог
тебя согнула,

ШУВАЛОВ Григорий Викторович родился в 1981 году в пос. Ладва Республики Карелия. Детские и юношеские годы провёл в пос. Шексна Вологодской области. Окончил Литературный институт им. М. Горького (семинар Юрия Кузнецова, после его смерти перешёл в семинар Евгения Рейна). Поэт, литературный критик. Основатель и участник поэтической группы “Разговор”. Стихи печатались в журналах “Москва”, “Дети Ра”, “Наш современник”, “Подъём”, “Родная Кубань”, “Вологодский ЛАД”, “Бельские просторы”, “Плавающий мост”, “Кольчугинская осень”, в “Литературной газете”, “Литературной России” и др. изданиях, переводились на английский, болгарский, вьетнамский, китайский и якутский языки. Автор книги “Восточка” (2017). Член Союза писателей России.

и превратился ты в скелет,
мощам подобный,
и выдал врач тебе билет
на мир загробный,

а по ночам ни сесть, ни лечь,
не спится снова,
и взял ты книжку не про печь,
а Льва Толстого.

Конечно, нет, не помогла
и эта книжка,
тебя от рака не спасла,
но, как мальчишка,

всю ночь читал ты до утра
сквозь боль тупую,
и свет забрезжил из угла
сквозь тьму сырую.

И что теперь тебе сказать?
Молчу я снова:
надёжных слов не подобрать
у Льва Толстого.

Я про себя шепчу: “Держись!” —
но все напрасно,
по капле убегает жизнь,
и так все ясно.

Твоя звезда ещё горит
над бездной быта,
и под ногами снег скрипит,
и дверь открыта.

* * *

Как слюбится, так и разлюбится,
природа, наверно, права:
в оазисе ищет верблюдица
места, где сочнее трава.

Жевать бы жвачку колючую,
с полынью мешать саксаул,
да встретил её неминуемую
и жизнь словно в карты продул.

Всё верится — вот настоящее,
а не мимолётная блажь,
лишь с виду картинка блестящая,
на деле — обычный мираж.

Дотронься рукою до воздуха —
пройдёт по картинке волна,
искал я покоя и отдыха,
но в сердце и в мире война.

Грохочет салют над столицей,
девчонка со “спрайтом” стоит,

толпу окружила милиция,
по телику кто-то убит.

Вгрызается в мозг информация,
на башне салат из знамён,
и гибнет великая нация
под натиском пришлых племён.

Господне свершается мщение,
прогресс по наклонной идёт,
и только одно ополчение
надежду и гибель даёт.

* * *

Природа в апрельском убранстве
дрожит, словно юная мать.
В оккупационном пространстве
становится трудно дышать.

Что ж, здравствуй, московское гетто!
Новейшая, здравствуй, резня!
Когда кувыркнётся планета,
кто вспомнит в тот день про меня?

* * *

Как прекрасна пешая прогулка
сразу после сна.
Вдоль дороги кладбище окурков —
знать, пришла весна.

Сам ходил когда-то с сигаретой,
бросил — не моё,
но не все бродяги и поэты
могут без неё,

потому, когда зима устанет
и сойдёт на нет,
не спеша на Божий свет протает
неприглядный след.

Так и мы грешим неутомимо:
вместо дел — стихи,
думая, что смерть упрячет в зиму
мелкие грехи.

Времена последние начнутся,
ангел вострубит,
и от звука этого проснутся
те, кто крепко спит.

И зажмут живые в страхе уши,
угодив на суд,
а умерших явленные души
плотью обрастут.

* * *

В молодости кажется, что всё ещё впереди,
но проходит десяток-другой и кажется — всё уже было:
зеленела трава, трепыхалось сердце в груди,
незаметно подкралась осень и всё затопила.

Будет ещё индейское лето, как говорят в США,
или же просто бабье, как говорят в России.
Будет ещё веселиться твоя душа,
под кратким солнцем спасаясь от ностальгии.

Дальше выпадет снег, день рождения, Новый год.
Забывание старого — жизни любой основа.
Под бой курантов прополощешь шампанским рот
и завалишься спать до Рождества Христова.

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА-СЕГЕНЬ

ВЕЛИКИЙ СТЯПЧИЙ

РОМАН

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В пятницу 25 апреля 1997 года братьям-близнецам Карасёвым исполнилось по двадцать пять. Как большинство здоровых русских людей, оба брата и выпить любили, и повеселиться, поэтому такой повод, как юбилей, мимо них не проскочил бы незамеченным. Варя Смородина, их давняя приятельница, тоже была приглашена на столь важное для близнецов событие. Но тот факт, что Карасёвы собираются отмечать в Страстную пятницу, её насторожил.

— Ребята, нельзя же! — первое, что сказала она, когда близнецы пригласили её.

— С чего это баня рухнула? — оба наморщили лбы.

— Страстная пятница! Может, лучше на воскресенье перенесете?

— Так в воскресенье Пасха! Это же два разных праздника, понимать надо.

— Ребят, ну, правда, нельзя.

— Варя, да чё ты заладила: “нельзя да нельзя”! Нас Бог не спрашивал, когда нам родиться. К тому же смотри, как символично — двадцать пятого — двадцать пять!

— Ну, как знаете, — вздохнула Варя, а про себя подумала: “Как бы чего не вышло...”

И сидеть бы ей, этой Вале Смородиной, дома, раз уж она и знала про Страстную пятницу, и братьев увещевала, так нет же... Вообще Карасёвы слыли забавными ребятами. Немного глуповаты, и шутки у них часто бывали тупыми, но с ними постоянно происходили какие-то случаи, из которых они выкручивались, проявляя недюжинную смекалку.

С Карасёвыми Варя когда-то жила в одном дворе, пока Захар и Назар не переженились и не переехали. Но в доме напротив Смородиной по-прежнему жили их мать тётя Люся с бабушкой Неонилой Агафоновной.

Варя дружила с женой Захара Ольгой, они часто ходили друг к другу в гости, поэтому о чудачествах братьев знала не понаслышке.

Однажды Оля и Варя завалились к Ольге домой после походов по магазинам. В квартире вкусно пахло съестным.

— Я борщ сварил! — с порога обрадовал их Захар.

Оля с удивлением посмотрела на мужа. С чего бы это? Захар считал, что готовить — это исконно и сугубо женское занятие. Так говорила их мать — известная стряпуха.

— Девки, садитесь, горячий ещё! — Захар уже разливал по огромным тарелкам суп.

— Мне не так много! — завопила Варя, видя ёмкость размерами с маленький таз.

— Это чтобы сто раз не наливать! Ты еще добавки просить будешь. — Захар щедро плюхал поварёшку за поварёшкой.

Оля прежде, чем есть, понюхала, потом как-то неуверенно поднесла ложку ко рту, немного подумала, только потом проглотила суп. Варя уже во всю ела свежий борщ, нахваливая хозяина. После горячего борща её бросило в пот, и она попросила холодной водички.

— Нету, — замотал головой Захар.

— Жалко, что ли?

— Да почему жалко! Говорят, нету.

— Из-под крана налей.

— Варя, нету и из-под крана.

— А куда она делась?

— Представляете, я только собрался варить суп, уже и овощи начистил, и вдруг вода перестала течь.

— Почему?

— Оказывается, у соседа трубу прорвало, приехала аварийка и отключила воду.

— Так мы сейчас без воды? Ты не успел набрать?

— Какое, набрать? Я и знать не знал! Говорю же, только овощи и успел почистить.

— А как же ты суп сварил? Где воду взял? — Варя посмотрела на свою пустую тарелку из-под борща. — Из горячего крана?

— У нас из горячего крана вода течёт, если её нагреть, колонка же! А вода ни из какого не текла крана. Аварийка отключила, только что ведь объяснял!

— А где же ты воду взял? — Оля посмотрела на здоровенную кастрюлю с борщом.

— Места надо знать! — Карасёв щёлкнул пальцами.

— И где эти места? — Варя вытирала салфеткой пот со лба.

— А унитазный бачок зачем нам дан? — Довольный Захар, в замызганном фартуке, стоял у плиты, победно сложив руки на груди. — А что, там же вода чистая.

— Ой-йooo! — простонала Варя, закрыв ладошкой рот.

— Карасёв! — Оля вскочила с табуретки и схватила кастрюлю с борщом. — А-а-а! — Завопила она, обжигаясь о горячие ручки. Потом, сняв с крючка прихватки, вновь взялась за кастрюлю. — Ну, и придурок ты, Карасёв! — Оля тащила кастрюлю в туалет.

— Куда ты, куда? — Захар вытянул вперед руки, словно пытаясь остановить жену.

— Откуда пришло, туда и ушло! — выкрикнула Оля из туалета. — Блин, и смыть-то нечем...

На день рождения братьев Варя пришла с другом. Иван Демидов давно ухаживал за Варварой, добиваясь взаимности, и с радостью согласился составить ей вечером компанию. Карасёвы умудрились обыграть даже дату своего рождения, пригласив двадцать пять гостей. Двадцать пятой была бабка, разменявшая девятый десяток. Её, разумеется, взяли для счёта. День рождения братьев отмечали у Захара с Ольгой.

— Каково, а! Двадцать пятого числа двадцать пять лет и двадцать пять гостей, — в сотый раз за вечер повторяли близнецы.

— Да уж, опять двадцать пять! — вздыхала Неонила Агафоновна.

“Вот, старая ведь, а не могла отговорить внуков перенести праздник!” — Эта мысль занозой сидела в Вариных мозгах, что, впрочем, не мешало ей веселиться на полную катушку.

А веселились действительно в особо крупных размерах. Двадцать пять людей способны на многое. Они дурачились, танцевали ламбаду, играли в фанты. Вовке Астахову выпало изобразить экзотическое животное. Пока он думал — какое, сыпались предложения — капибару, тапира, фоссу, патагонскую мару, звездорыла, на худой конец. Варя и названий-то таких не слышала, вот и Вовка не стал себя утруждать, изобразив собаку.

— Какое же это экзотическое животное? — возмутились все. — Это собака!

— Енотовидная! — поднял вверх указательный палец Вовка. — Редкий экземпляр, между прочим.

— А она, кажись, не лает! — наплась бабка Карасёвых, но на это уже никто не обратил внимание.

А следующий фант выпал как раз Неониле Агафоновне. Ей нужно было изобразить детскую истерику, то есть дрыгать ногами, кататься по полу, истошно вопить, бить кулаками.

— Ну, уж нет, братцы, — отмахивалась старушонка, — вон, рождённые тока что есть, целых два даже!

Тем не менее уговорами бабку заставили исполнить свой фант, правда, падать на пол она наотрез отказалась. Тогда пришёл ей на выручку Назар. Он упал на пол и стал дрыгать ногами, а Неонила Агафоновна, озвучивая внука, пыталась корчить из себя младенца, подвивая и похрюкивая. Ржач стоял до упаду.

Страстная пятница плавно перетекла в страстную субботу, а гости всё ещё не хотели расходиться. Да и сами хозяева не отпускали, предлагая выпить то на посошок, то ещё на что-нибудь. Стрелки на часах показывали уже два часа, когда, наконец, Варя с Иваном вырвались из цепких лап братьев-именинников. Вместе с ними отправились домой и Астаховы.

Четверо подвыпивших друзей вышли на широкий проспект, благо, что машин почти не было. Впереди шагали Иван с Володей, чуть поодаль Варя с Ирой. Шли медленно, поскольку темп ходьбы задавал Ваня Демидов. Ему недавно сняли гипс с ноги, и он брёл, опираясь на тросточку. Город давно спал. Лишь однажды на пути компании встретился забавный подпитой мужичонка. Он смешно скандировал:

*В голове моей опилки — да, да, да.
И хотя там и опилки,
Но кричалки и дразнилки,
А также сопелки, пыхтелки
Сочиняю я неплохо иногда.*

— Да? — спросил он у друзей.

— Да, да! — с хохотом ответили полуночники.

Ирка с Варей ещё сильнее отстали от идущих впереди ребят. Хотелось посплетничать вдали от мужских ушей. Девушки, увлечённые беседой, даже не увидели, как перед Иваном и Володей откуда-то из-за кустов появился человек. И тут же послышался глухой удар, после чего Вовка медленно стал оседать на асфальт. Иван схватил парня, но тот его толкнул, и Ваня, потеряв равновесие из-за больной ноги, упал навзничь. В ту же секунду девушки подлетели к обидчику. Варя склонилась над Иваном, попыталась поднять его с земли, а Ирка, схватив Ванину трость, замахнулась на незнакомца, но тот тоже схватил эту трость, и они принялись тянуть ее каждый к себе.

— Вовка, — кивнул Ваня в сторону приятеля.

Варя оглянулась. Астахов лежал на спине. Голова разбита, лицо залива-ла кровь. Варя стала тормозить Вовку, тот совершенно не подавал признаков жизни.

— Вова, да Вова же! Очнись!

Варя не знала, что делать. Во-первых, она очень боялась крови, её стало тошнить, а во-вторых, что с Астаховым-то? Незнакомый парень тем временем охаживал Ирку палкой, а она, матерясь, уворачивалась от ударов, пытаясь отнять трость.

Демидов и Варя кинулись на помощь Ирке, но тут Ивана сбил с ног толстяк, появившийся невесть откуда. Демидов, падая, ударился о поребрик.

Вставая, он получил ещё один удар и, уже лежа, схватил обидчика за штанину. Варя побежала в круглосуточный магазин неподалёку от места происшествия, успев с силой дать костяшками пальцев по спине толстяку, вцепившемуся в Ивана. Толстяк повернулся, и в этот момент Демидов сшиб его кулачным ударом под колено.

Варя ещё бежала на помощь к друзьям после звонка в милицию, как уже слышалась сирена “уазика”. Видимо, дежурный экипаж был где-то поблизости. Когда милиция подкатила, Демидов сидел на толстяке верхом. Другой нападавший, едва заслышав вой sireны, бросился наутёк, но Астахова с дикими воплями побежала за ним и сумела преградить ему путь.

Почти одновременно с милицией приехала “скорая”. Вовка, немногим ранее придя в себя, пытался подняться с земли. Выглядел он устрашающе: всё в крови — и лицо, и рубашка.

— Говорила же, нельзя ничего праздновать в Страстную пятницу. Я так и знала, что что-то случится! — твердила Варя.

Борис Андреевич Рогачёв сидел в своём просторном светлом кабинете, закинув ноги на стол, как в дверь постучали. Адвокат неспешно перекинул конечности, крихтанул и потёр спину. Поясница побаливала, будь она неладна! Только баней и спасался.

— Войдите! — Рогачёв откинулся на высокую спинку массивного кожаного кресла.

— Можно? — чуть наклонившись, заглянул молодой человек лет двадцати пяти со светлыми, почти белыми волосами.

— Да.

Парень был не один, а с приятелем — здоровым до бегемотной безобразности.

— Юсуфов. Алексей. — Парень протянул руку Рогачёву для приветствия.

— Чем обязан? — спросил адвокат, поочередно пожимая руки посетителям.

— Мы к вам по делу.

— Разумеется, с бездельниками я не общаюсь.

— Нам вас посоветовали. Сказали, вы лучший адвокат в Ёлке.

“Масштабом ошиблись ваши советчики!” — Рогачёв обиженно втянул ноздри. Родной Юровск, после перестройки вернувший себе историческое название Елизаветинск, которое жители успели понизить до простой Ёлки, давно уже казался тесным для его таланта. Он молча указал парням на два стула возле стола и, чуть придвинувшись вперёд, сложил перед собой руки.

Юсуфов сел слева от адвоката, “бегемот” справа. Пока Алексей собирался с мыслями, его друг как бы между прочим оглядывался по сторонам, заострив лишь однажды внимание на стене с дипломами.

— Итак... — Рогачёв пристально посмотрел на Юсуфова. Видно было, что тот робел при взгляде адвоката.

— У нас есть деньги.

— Да что ты, — усмехнулся Рогачев. — И что с того? У меня, ребятки, они тоже есть.

— Мы хотим вас нанять. Хорошо заплатим.

— А за что мне платить, да ещё хорошие деньги?

— За драку, — пробасил доселе молчавший “бегемот”.

— Я что, подрагаться с кем-то должен? — вскинул бровь Рогачёв.

“Бегемоту” явно не понравилось, что над ним ёрничают. Он исподлобья смотрел на адвоката. Юсуфов же, напротив, смотрел в пол.

“Кого же напоминает мне этот мальчишка? — Борис Андреевич, разглядывая мягкие черты лица Алексея Юсуфова, рылся в памяти. — Эта полуулыбка”.

За окном завопила чья-то машина — сработала сигнализация. Все трое, не сговариваясь, посмотрели в окно.

“Я рисую, я тебя рисую, я тебя рисую, сидя у окна...” — внезапно зазвучало внутри Рогачева. А! На Яака Йоалу похож этот Юсуфов. Точно! На певца Яака Йоалу. Ну, надо же, просто одно лицо!

— Значит, драка. — Рогачёв бережно взял со стола свою любимую перьевую ручку.

Ему ещё с юности втемяшилось, что дорогая ручка — важнейший атрибут респектабельных людей. Успешные всегда носят с собой перьевую, которую можно эффектно продемонстрировать деловым партнёрам.

Но ни Юсуфов, ни его приятель — “бегемот” не придали ни малейшего значения ручке адвоката, как он её ни крутил. Рогачёв же делал это по привычке, отнюдь не напоказ двум сосункам, которые и рассказать толком не могут, чего пришли сюда, к нему, самому лучшему адвокату всех времён и народов.

— Драка, — хмуро повторил “бегемот”.

— Как я могу к вам обратиться? — Адвокат ещё раз пробежался взглядом по приятелю Юсуфова.

— Евгений. Евгений Кичигов.

— Кичигов? — переспросил адвокат. — Редкая фамилия.

— Нормальная, — с долей вызова ответил “бегемот”.

Рогачев посмотрел на часы. Парни при виде них встрепенулись. “Ничто так не выдаёт принадлежность человека к низшим слоям общества, как умение разбираться в модной одежде, дорогих часах и автомобилях”, — с усмешкой вспомнил Рогачёв чьё-то весьма меткое замечание.

— Ребята, вот что. У меня очень мало времени. Даю вам десять минут. Уложите, пожалуйста. Итак, внимательно слушаю. Вопросов задавать не буду.

Юсуфов и Кичигов принялись излагать суть дела.

В прошлую пятницу 25 апреля у жены Юсуфова был день рождения. Компания собралась большая. Понятное дело, все напились. В разгар веселья какая-то сила повлекла Юсуфова и Кичигина подышать свежим воздухом, прихватив по бутылочке пива. Немного прошлись. Кичигин захотел отлить и чуть отстал от Юсуфова. Юсуфов же в это время встретил по дороге двух парней, попросил у них закурить. Они ответили, что не курят. Отчего-то Юсуфов, отчего он и сам не знает, ударил одного из них бутылкой по голове... Ну, и так далее. Кончилось дело в отделении милиции.

— Почти уложились. — Рогачев глянул на наручные золотые часы. — Что с тем человеком, кому ударили по голове бутылкой? Жив?

— Да, да, — одновременно закивали Юсуфов с Кичиговым. — В повязке ходит.

— Вы всё в деталях помните?

— Нет, я смутно. — Юсуфов вновь смотрел в пол.

— Я вообще плохо понимал, в чём дело. Вышел из кустов, смотрю, какая-то тёлка Лёшку палкой. Рядом парень, здоровый такой. Я кинулся на парня.

Варя шла по делу свидетелем. Её вызвали в отделение милиции для дачи показаний. От дознавателя Синицкой Марины Геннадьевны, дородной женщины с детским бантом в волосах, она узнала, что адвокатом одного из ответчиков — Алексея Юсуфова — будет её родственник. Об этом она сразу же сообщила дознавателю.

— Вот как... — Эта новость огорошила Синицкую. — Сейчас я его поищу, он где-то здесь был. Может, ещё не ушел. Выйдите, пожалуйста, Варвара Дмитриевна.

Синицкая, закрыв дверь кабинета на ключ и несколько раз её подёргав, плавно раскачивая массивным задом, пошла искать адвоката.

“Море волнуется раз, море волнуется два...” — Варя смотрела на качающуюся волной юбку Марины Геннадьевны с синими разводами. Она присела на ободранную банкетку возле стены. Минут через пять в противоположном конце унылого коридора послышался кокетливый смех. Варя увидела своего дядьку-адвоката, который бережно держал за локоток Синицкую и что-то говорил ей на ушко. Та, смеясь, закрывала ладонью лицо.

— Скажете тоже! — Дознаватель игриво поглядывала на адвоката.

— Здравствуйте! — Варя поздоровалась с двоюродным дядькой, как только парочка подошла ближе к кабинету.

— Кого я вижу! Варюха, ты? — Адвокат, забыв про Синицкую, накинулся на Варвару. Марина Геннадьевна недовольно поджала губки. — Надо же! Какими судьбами? Что ты тут делаешь? Давно тебя не видел. А хорошенькая-то какая! — Дядька потрепал Варю по щеке, как в детстве. — Ну, рассказывай, рассказывай! Как ты живёшь? — Он сыпал вопросами, не давая племяннице ответить ни на один из них.

Впрочем, сколько Варя знала своего дядьку, он был всегда таким. Шумным, весёлым и необыкновенно обаятельным. Он приходился родным племянником её деду Михаилу Ефимовичу Рогачёву, сыном его родному старшему брату Андрею, давно умершему. Племянник часто навещал своего дядьку Мишу с его женой тётей Нюрой и очень дружил с их детьми — погодками Ваней и Леной, своими двоюродными братом и сестрой. Лена — Елена Михайловна Рогачёва, а в замужестве Смородина, — была мамой Вари. Следовательно, Варвара Смородина приходилась двоюродной племянницей Борису Андреевичу Рогачёву.

Когда дядя Боря приходил к деду в гости, всегда выдвигали большой полированный стол, покрывали его белой накрахмаленной скатертью с длинной витой бахромой. На стол выскакивали самые лучшие закуски и напитки. Если становилось известно, что завтра нагрянет Борис, бабушка Нюра заводила тесто и пекла пироги. Как умел есть эти пироги дядя Боря! А как он умел нахваливать стряпню тётки! Он откусывал кусок пирога, какое-то время держал его во рту, зажмуривался и постанывал:

— Ум-м-м, ум-м-м...

Потом, не открывая глаз, качал головой и только после этого, почти не жуя, проглатывал кусок пирога и следом отправлял себе в рот новый.

Бабушка Нюра обычно сидела возле дяди Бори, повернувшись к нему вполоборота, и жаждала похвалы. А тот, съев за раз пару-тройку пирогов, начинал петь акафисты стряпухе:

— Ну, тётя Нюра, удивила так удивила! Сколько пирогов ел, а такие впервые довелось. Вот, учись, как нужно стряпать, — переводил дядя Боря взгляд с пирогов на жену. Та понимающе кивала.

Жена дяди Бори, как казалось маленькой Варе, совсем ему не подходила. Впрочем, так думали и взрослые. Варенька не раз слышала, как они говорили об этом. Конечно, дядя Боря — вон какой красавец! Высокий, подтянутый, улыбчивый. Принц, а не дядька. А жена? Каракатица какая-то... Маленькая, толстенькая, с выпученными глазищами, как у коровы Майки, что у другой Вариной бабушки в деревне. И всегда печальная. И вечно больная. “У неё то понос, то золотуха”, — так говорила бабка Нюра. Что такое понос, Варя знала, а что такое золотуха — нет. Она как-то прямо спросила об этом у жены дяди Бори:

— А что такое золотуха?

— Золотуха? — удивилась та вопросу. — Болезнь такая, диатез, насколько мне известно. А почему ты спрашиваешь?

— Значит, у вас сегодня понос. — Варя оглядела тётку. Она знала, что такое диатез. Соседская девочка ходила вся в коростах и вечно чесалась, а всё потому, что любила сладкое.

— То есть? — не поняла жена дяди Бори.

— Ну, у вас же вечно, то понос, то золотуха.

Жена дядьки беспомощно захлопала глазами, а сам дядя Боря, слышавший весь разговор, откинувшись на спинку кресла, раскатиисто рассмеялся.

— Ну, Варюха, ну, смьшлённьш! — Дядька вытер проступившие слёзы, но вновь на него накатил приступ хохота.

Часто Варя любила забираться под стол и наблюдать за всеми сквозь сплошной ряд свисающих кистей скатерти. Однажды она видела, как дядя Боря положил под столом руку на колени маминой подруге тёте Тане. Варю это обрадовало. Тётя Таня была очень красивой, с длинными волосами, и любила носить сверкающие броши. Она гораздо больше подходила дяде Боре, чем его жена.

Со смертью бабушки Миши дядя Боря стал реже приходить к ним. Уже не так часто устраивались посиделки в кругу родственников. Бабушка Нюра

сдала после смерти деда, стала чаще молиться и реже стряпать пироги. А с её смертью дядя Боря и вовсе почти перестал появляться. Варин папа, Дмитрий Петрович Смородин, отчего-то не жаловал дядю Борю.

— Он мой двоюродный брат! — говорила Елена Михайловна мужу. — И его очень любил и почитал мой отец.

— Конечно, такой известный адвокат... — бурчал отец Вари. — Кругом все только и рукоплещут ему да в рот заглядывают. Другой великое научное открытие сделает, никто не заметит, а этот бутерброд скушает — и все в восторге! Хлопайте в ладоши!

— Мой отец любил его не как адвоката! — вскипала мама Варвары, на что Варин папа, дабы не разжигать ссору, брал книгу и запирался в туалете.

А в последние несколько лет, когда родители Вари построили себе домик за городом и жили там безвылазно, она и вовсе стала редко видеть дядьку. Пару раз встречала на улице и раза три в магазине. Но в праздники они обязательно созванивались, обменивались поздравлениями.

— Вы будете заходить или нет, Борис Андреевич? — Дознательница выкрикнула в открытую дверь со своего рабочего места.

— Да, да, Мариночка Геннадьевна! Иду. — Борис Андреевич махнул рукой Синицкой. — Ну, что Варюха, — приобнял он племянницу, — не забывай старика! Заходи в гости, давно не была ведь. Извини, а я побегу. Дела, дорогая, дела, — вздохнул он и скрылся за дверьми дознавателя.

Варя, немного постояв в раздумье, приоткрыла дверь Синицкой. Мариночка Геннадьевна разговаривала по телефону. Дядя Боря вопросительно посмотрел на племянницу. Дознательница, увидев девушку, поманила её рукой.

— Борис Андреевич, — Синицкая положила трубку на рычаг, — тут вот какое дело. Смородина Варвара Дмитриевна утверждает, что ты её родственник.

— Да, — Рогачёв утвердительно кивнул. — Племяшка моя. А что с того?

— А что с того, что с того... — Синицкая опустила на стол груди, и они разъехались в разные стороны. — А с того, что она проходит свидетельницей по делу, — дознавательница назвала номер, — а ты, любезный Борис Андреевич, являешься адвокатом ответчика.

— По какому делу? — переспросил Рогачёв.

Синицкая повторила номер.

— Драка, что ли? Юсуфов и второй, как его там... Кичигин?

— Кигичов. Его Токарев взялся защищать.

— Так, и что?

Вообще-то в сообразительности Рогачёву не было равных, но тут он никак не мог сопоставить одно с другим.

— Борис Андреевич! — Дознательница, не мигая, уставилась на Рогачёва. — Смородина — племянница твоя — по делу Юсуфова проходит. Как свидетель, правда. Это на неё и её друзей напали!

— А... вот ты о чём...

Он выпрямил спину и посмотрел на Варю.

— Значит, это с вами драка была ночью с 25-го на 26 апреля?

Варя кивнула.

— Я ещё и не вникал в детали. И на фамилии свидетелей не обращал внимания.

— Она главный свидетель. — Синицкая убрала груди со стола. — И, как выясняется, твоя родственница.

— Да какая она мне родственница! — вдруг махнул рукой Рогачёв. — Так, с боку прищёка. Седьмая вода на киселе.

Варя стояла и не верила своим ушам. Седьмая вода на киселе... С боку прищёка...

— К тому же, я не нарушаю закон.

Синицкая, чуть склонившись, смотрела в пол, и её огромные груди смотрели туда же.

— Я не закон имела в виду, — сказала она тихо.

Варя, не попрощавшись, вышла из кабинета.

Когда Рогачёв вернулся с работы, дома никого не было. Это его обрадовало. Под “никого” он имел в виду жену. Сына и так никогда нет дома. Макс жил у бабки с дедом, изредка навещая родителей.

На душе кошки скреблись. Чёрт бы побрал эту Варю! Какого лешего ей не сиделось тогда дома? Порядочные люди в два часа ночи спят, а не шастают пьяными по городу.

Рогачёв слонялся по своей просторной “трёшке”. Нестерпимо захотелось есть. На кухонном столе он обнаружил тарелку, прикрытую белой салфеткой. Рядом лежала записка жены. Борис Андреевич сначала заглянул под салфетку. В тарелке горкой насыпаны оладьи, политые стущёнкой. Рогачёв недовольно хмыкнул, взяв в руки записку. Выпяченными буквами жена вела слова любви и заботы. “Милый мой Рогачёв! Не забудь помыть руки перед едой. Руками не ешь, есть вилки. Когда поешь, закрой оладьи салфеткой. Соскучилась. Люблю тебя безмерно и даже больше”.

— Как банально! — Борис Андреевич скомкал бумажку и выбросил в мусорное ведро. К оладьям он не притронулся и не закрыл салфеткой.

Ему не нравилось, как готовила жена. Особенно мучное. То ли дело покойница тётка Нюра! При одном воспоминании об её пирогах потекли слюнки.

Варя, Варя... Бабушка у тебя такая хорошая была, аппетитные пироги пекла. А дед твой, дядька Миша? Золотой человек! Рогачёв взял с полки чёрно-белую фотографию, где он стоял с дядькой в обнимку. Оба довольные, весёлые, под хмельком. Рогачёв внимательно посмотрел в лицо моложавому дядьке Мише, вновь удивился его задору. А ещё у него кулаки были крепкие.

Однажды дядька пригласил к себе мужиков из бригады. В тот день случайно к нему заглянул Борис. Тётка Нюра, наготовив всего, выставила гостям водочки, а сама ушла к подруге. Все нахваливали угощение хозяйки, просили добавки. Бригадир же скромничал, откусывал мало, но выпивал много.

— А чего у тебя тарелки полные? — спросил хозяин.

— Знаешь, Мишка, я предпочитаю другую еду.

— Какую? — не понял Михаил Петрович.

— Понимаешь, я привык питаться несколько по-другому.

— Как это? — заинтересовались и мужики.

— У меня Сонечка готовит всего понемногу. Так разнообразнее получается. К тому же мы соль стараемся не есть. А тут всё так пересолено... И вот ещё что. Пирог с капустой. Это пошлость, дикое мешанство! Разве этим гостей встречают?

Воцарилось молчание. Все посмотрели на капустный пирог, вернее, на те два кусочка, что сиротливо жалась друг к другу на большом блюде. Борис оторвал взгляд от остатков пирога и перевёл его на красный нос бригадира. Ему вдруг захотелось схватить этого ублюдка за его шнобак и резко повернуть, как кран с горячей водой. Однако глухой и какой-то вдавленный голос дядьки Миши оборвал тишину.

— А как гостей встречают?

— Как... — хмыкнул бригадир. — Ну, не капустой же этой паршивой. — И он презрительно ткнул пальцем в высунувшуюся из пирога начинку.

Уж в чём, в чём, а в хлебосольстве и умении готовить тётке Нюре не было равных, хотя жили дядька с женой довольно скромно, детей в институтах учили тогда.

— А как? — Дядька втянул в себя побольше воздуха.

— Как как... Мясом! Мя-сом! — повторил бригадир по слогам.

— Мясом?... Что ж, будет тебе мясо.

С этими словами Михаил Петрович встал.

— Я тебе покажу сейчас мясо! Такое тебе сейчас мясо покажу, с кровью!

— Пожалуй, пойду... — Нахал, видя, перед собой разъярённого быка, соскочил с места и попятился к входной двери.

— Стой, скотина! — Дядька пытался выбраться из-за стола, пролезая через гостей.

Однако бригадир быстро ретировался из квартиры. Михаил Петрович бросился за ним и догнал, когда тот выбежал из подъезда. Мужики, в том числе

и Борис, припали к окну и видели, как одним ударом дядька сбил с ног своего начальника. Бригадир вскочил на ноги и тут же получил ещё один удар. От этого удара он отлетел метра на два и угодил прямо в ванну из-под известки. Дом ремонтировали, в ванне строители разводили известь для побелки. Михаил Петрович не дал бригадире опомниться, трижды окунул того мордой в известьку:

— На тебе мясо! На тебе мясо! На тебе мясо!

Красота, белизна!..

Борис Андреевич ещё раз посмотрел на своего кряжистого дядьку. И пусть это была фотография, Рогачёву стало не по себе от здоровенных дядькиных кулаков. И выражение лица его уже не казалось миролюбивым, наоборот, угрожающим, готовым вступить в бой за внучку Варьку. Он словно говорил: “Мяса захотел? Мяса?.. Будет тебе мясо. С кровью!”

— Да ну на фиг! — Рогачёв отшвырнул старый снимок. — Чёрт с ними, с этими деньгами.

Он открыл бар, достал виски, налил в прозрачный квадратный стакан. А деньги-то немалые за такое, в общем-то, пустяковое дельце... Рогачёв задумался. Но думал недолго. Махнул рукой, осушил стакан и хлопнул дверцей бара.

Надо позвонить этому Яаку Йоале, отказаться. Рогачёв лёг на диван, положил ногу на ногу, на живот поставил телефон. Набирая правильно, Рогачёв почему-то дважды попадал не туда. Что номер у него в записной верный, адвокат не сомневался, уже приходилось звонить Юсуфову. В очередной раз набрав клиента, при этом тщательно докрутив диск с каждой цифрой, он, было, готовился услышать в трубке гудки, как вместо них послышался разговор.

Ерунда какая-то со связью сегодня! По натуре любопытный, Борис Андреевич вслушался в разговор. Мало ли что, а вдруг это прослушка? Где-то в отдалении разговаривали две бабки. Обсуждали чьих-то родственников.

— Да плевать тебе на эту племянницу! — говорила одна. — Подумаешь, обиделась, что в наследство её не вписали! Она тебе кто, мать родная?

— И то верно, — вздыхала другая. — Не больно-то она обо мне заботится.

Рогачёв нажал на рычаг. Действительно, подумаешь, племянница... Дворянская, к тому же.

Через несколько дней в доме Рогачёвых разразился скандал.

— Я сейчас видела Лену, — сказала с порога Лариса. Она ходила за продуктами и вернулась домой навьюченная, словно бухарский осёл.

Рогачёв сосредоточенно сидел за бумагами и на реплику жены нервно махнул рукой, мол, не до тебя.

— Боря, тебе не кажется, что ты зашёл слишком далеко? — Жена никогда не позволяла себе разговаривать с ним подобным тоном.

— Так, и что? — Рогачёв в недоумении поглядел на жену.

— Ты зашёл слишком далеко! — громко повторила она.

— Ты не разулась, — спокойно произнёс Рогачёв.

— Боря, так нельзя. Не по-человечески это. Не по-родственному.

— Лариса Аркадьевна! Вам не кажется, что вы лезете не в своё дело? А в моё?

— Это не только твоё дело. Это наше дело, — с вызовом ответила Рогачёва. — Лена с Варей и мои родственники тоже.

— Твои? — усмехнулся Борис Андреевич. — Я думал, твои родственники Перельманы, Рапопорты да Шейнисы!

— Что ты ненавидишь моих родственников, которые не сделали тебе ничего дурного, я знаю. Ты их не любишь, просто потому, что они евреи. Но за что ты ненавидишь своих? — Лариса Аркадьевна встала и вплотную подошла к столу, за которым работал её муж.

— Вот так дела... Евреи взбунтовались и сейчас устроят жёсткие еврейские погромы. — Рогачёв закрыл руками лицо.

— Прекрати паясничать.

— А то что? — Рогачёв встал из-за стола. — А то что? — повторил он. — Бунт? “Бессильные евреи, ведомые Маккавеями, победят великую империю”?

— Боря, зачем ты так?

Рогачёв презрительно посмотрел на жену, хотел что-то сказать, но передумал. Он уселся обратно за стол и уткнулся в бумаги.

— Мы не закончили разговор. — Лариса Аркадьевна взяла со стола канцелярскую скрепку.

Рогачёв, не поднимая головы, несколько раз взмахнул рукой — кыш, кыш, кыш.

— Борис, но ведь Варя — твоя племянница. Это же грязно защищать... — она не договорила.

— Грязно — это когда ты обувь не сняла. — Рогачёв оторвался от бумаг и посмотрел на серебристые босоножки жены. — Не ходи по квартире в обуви. Разуйся, пожалуйста. Свиначишь.

— Что? Что? — Рогачёва, задохнувшись от возмущения, и сама не ожидая от себя, кинула в мужа скрепкой.

Бориса Андреевича это развеселило.

— Ну, надо же! Храбрый поступок. Ай, браво!

Он взял скрепку, повертел её в руках, разогнул.

— Ты... ты... — Лариса по-прежнему задыхалась от возмущения. — Ты ни разу, ни разу не взял в руки тряпку. Ты не знаешь, что такое пылесос. Ты палец о палец не ударил, чтобы в квартире было чисто, уютно. Ты... Я сама делаю ремонты, вызываю сантехников...

— Пошла вон.

— Что?

— Во-о-он! — заорал Рогачёв, ударив стопкой бумаг по столу.

Жена в слезах выскочила, как ошпаренная.

“Вот дрянь! — Борис Андреевич отодвинул бумаги. — Еврейка меня учить вздумала. Лезет, куда не просят. Титульной нацией возомнила себя?”

Ларису он не любил и даже не уважал. Всепоглощающая любовь жены к нему была загадкой для Рогачёва. В глубине души он презирал её. За то, что она сама делает ремонты. За то, что они женились “по залёту”. За то, что... да много за что. Леня было перечислять.

Сегодняшнее проявление Ларисы необъяснимо. Она всегда защищала и оправдывала мужа. Что на неё нашло? Какая муха укусила?

Рогачёв накинул лёгкую куртку и вышел из дома. Майский день обдал холодным ветерком. “Пожалуй, теплее нужно было одеться”, — поёжился Борис Андреевич, но возвращаться не хотелось.

В городе народу поубавилось, разъехались на майские праздники кто куда. Рогачёв, прогуливаясь по пустынному городу, размышлял о жене, ставшей православной из-за Бориса. Считается, что у еврея, сменившего веру, умирает еврейская душа. Родители Ларисы вроде бы даже смирились с зятем, но Рогачёв чувствовал, его считают в семье жены не полноценным человеком, а животным, хоть и весьма породистым.

“Так вот оно что... — выдохнул Борис Андреевич. — Не любит она меня, а жалеет! Жалеет, как какого-то непутёвого...”

Рогачёв остановился, изумлённый своей догадкой. “Мнит себя мудрой и терпеливой. Шибко умные эти евреи! Однако что-то за время существования Израиля ни один учёный не получил Нобелевскую премию... Умными можете быть только в окружении гоев, да? Мудрой и терпеливой можешь быть только при мне, да? Ты же, Лариска, явно считаешь меня мерзавцем! Как наливаются неизмеримой тоской твои грустные коровьи глаза, когда я откровенно по-хамски веду себя. Сколько бы вы ни крестились, друзья-евреи, но жида не выкрестишь. У вас всегда будет снисходительное отношение к нам, даже если вы в Православие записались. Можно еврея вытащить из иудейства, но нельзя иудейство вытащить из еврея”.

Когда Татьяна Валентиновна узнала, что сын женится на Ларисе Шейнис, приняла новость с удовольствием. “Там, где евреи, там чистота и процветание, — сказала она, — и особо никто не вкалывает”. Помнится, его тогда поразили слова матери. Вернее, её отношение к женитьбе сына на еврейке. И то, что Лариса беременна, отнюдь не смutilo Васнецову. Тогда Борису только предстояло узнать, что у него есть маленький сын от Тони, той

хромой девушки из села Старовойтово, где студент Рогачёв развлекался на осенних сельхозработках.

— Надо же, как ты по-разному отреагировала, — впоследствии кривился Борис.

Когда к Татьяне Валентиновне нагрянула Тоня с известием о своей беременности, Васнецова умоляла её сделать аборт, предлагая крупную сумму денег. Борис тем временем только перевёлся из одного института в другой из-за драки. Он ничего не знал о беременности Тони, и что она приезжала к его матери. Тогда Татьяна Валентиновна, узнав сокрушительную новость, от злости на сына перестала с ним общаться какое-то время, лишив его родительских денег, и единственного сынок был вынужден подрабатывать грузчиком. Всё выяснилось лишь спустя несколько лет.

А дело обстояло так. Однажды Борис сопровождал мать на приём к ортопеду. Татьяна Валентиновна Васнецова, разумеется, всегда миновала очереди. Она, опершись на сына, прошла по длинному коридору, заполненному больными, прямо к кабинету врача.

— Женщина, вы куда? — послышались возмущения.

Васнецова, смерив очередь презрительным взглядом, толкнула тростью дверь кабинета. Доктор, увидев знакомую пациентку, несказанно обрадовался, будто увидел свою собственную мать. Коренастый мужик с руками, похожими на две здоровые дубины, бросив пациента, подбежал к Татьяне Валентиновне и стал целовать ей руки.

— Душа моя, как же замечательно, что вы пришли! — говорил он, поочередно лобызая то одну, то другую руку красивой пожилой женщины. — Профилактика опорно-двигательной системы — залог активной жизни.

— Какая уж тут профилактика, — смеялась Татьяна Валентиновна, указывая на свою трость. — С войны с костылём хожу.

Васнецовы когда-то крепко помогли доктору, уладив серьёзные неприятности его сына. С того времени врач считал себя в неоплаченном долгу перед четой Васнецовых. Наскоро закончив осмотр предыдущего пациента, ортопед принялся за Татьяну Васильевну. Борис, попрощавшись с доктором, вышел из кабинета ждать мамашу в коридоре.

Все сидячие места были заняты, поэтому он прислонился к стене неподалёку от кабинетной двери. Очередь, как всегда, жила своей жизнью, делясь друг с другом историями заболеваний и их лечения. Борис лениво разглядывал больных. Пациенты тоже время от времени кидали недовольные взгляды на Рогачёва, понимая, что задержка в приёме врачом вызвана приходом этого красавца со своей статной мамашей или кто она ему там.

Мать и вправду что-то задерживалась, и очередь начинала понемногу роптать. Борис отвернулся, дабы не встречаться со злыми взглядами пациентов.

— Мы не опоздали? — услышал он за спиной женский голос.

— Да какое там! С места не сдвинулись. Можете ещё погулять.

Борис повернулся посмотреть, о чём идёт речь. Неподалёку от него в конце очереди стояла невысокая девушка с ребёнком. Это была Тоня. Из какой-то его старой жизни. Но Рогачёв её сразу узнал. Тоня же не смотрела в его сторону.

— Ну что, Боренька, — она поставила малыша на пол, заправила ему рубашку в шортики, — пойдём, погуляем на улку. Видишь, как нам ещё долго.

Боренька? Рогачёва так и плескануло жгучей внутренней волной, заломило в суставах локтей и коленей. Ребёнок был донельзя похож на маленького Рогачёва. Как запоздалый близнец.

Тоня, поправив одежду малышу и взяв его за ручку, хромая, направилась к выходу. Рогачёв, даже не раздумывая, проследовал за ней. Он смотрел на её по-прежнему хрупкую фигуру и на мальчику, едва поспевавшего за матерью, несмотря на её медленную поступь. Неужели это её сын? Неужели это его сын?!

Тоня с ребёнком вышли из дверей поликлиники. Не спеша спустились по покатым ступенькам. Перил не было, и Тоне приходилось удерживать равновесие.

— Хочу на ючки! — захныкал малыш, как только они спустились с лестницы.

— Боренька, у мамы тяжёлая сумка.

Ребёнок сел на землю.

— Ну-ка, вставай сейчас же! — Тоня сняла с плеча сумку и наклонилась к мальчику, протянув ему руку.

Ребёнок, дабы не давать ручки Тоне, спрятал их за спиной.

— Вставай, Боря! Кому сказано!

— Я юстал. — Боря на попе начал отползать в сторону.

В эту секунду сильные руки Рогачёва подхватили малыша.

Тоня, видимо, на мгновение потеряла способность здраво мыслить, вид у неё был ошалевший. Рогачев тем временем принялся подкидывать малыша. Ребёнок, взлетая, визжал от восторга и одновременно от испуга.

— Привет! — Борис, наконец, обратился к Тоне, и тем самым вывел её из оцепенения.

— Здравствуй, — неожиданно громко и чётко произнесла она.

— Это твой сын? — Рогачёв перестал подкидывать малыша и смотрел на Тоню.

— Боря, пойдём, нам к врачу. Опоздаем ещё. Снова придётся в очереди долго стоять. — Она потянула мальчика за рукав, но тот крепко вцепился в Рогачёва.

Внезапно прилипший к Борису тёплый комочек обескуражил его. Никогда никто так не прижимался к Рогачёву, с необъяснимой любовью.

— Это мой сын? — глухо выдавил он.

— Да.

Это “да” одним махом перевернуло мир. Словно деревья стали расти корнями вверх, а листвой вниз.

— Почему ты скрыла? — Рогачёв ещё крепче прижал к себе сына.

Тоня, потупив взор, молчала. Из поликлиники вышла Васнецова. Она оглядела больничный двор и, увидев сына, окликнула его с крыльца.

— Иди сюда! — Рогачёв понимая, что поступает неверно, зовя мать, тем не менее повторил: — Мама, ну, иди же.

Татьяна Валентиновна, опираясь на трость, припадая на левую ногу, подошла к сыну. Тоня стояла боком к Васнецовой, но та на неё даже не взглянула.

— Какой хороший мальчик! — Васнецова потрепала маленького Борю по щеке, тот в ответ засмеялся. — Как тебя зовут малыш?

— Боя, — ответил ребёнок.

— Ну, надо же, Боря! Моего сына тоже Боря зовут.

— А он у тебя бойшой?

— Взрослым нужно говорить “вы”!

— Мама! — воскликнул Рогачёв.

— Он не маленький, знать должен. Вот сколько тебе лет?

— А вы сами посчитайте! — Тоня подошла со спины к Васнецовой и протянула руки к сыну.

Васнецова, отпрянув, недоуменно взглянула на Тоню. Её прищуренные глаза заскользили по сторонам, выдавая чрезмерное умственное напряжение. Тоня же пыталась отнять ребёнка у Бориса, но тот крепко держал малыша и не желал с ним расставаться. Мальчик тоже вцепился в незнакомого дядю.

— Боря, иди к маме! Ну, иди же! — Тоня отгибала пальчики сыну. — Маме к врачу нужно. Пойдём, сынок!

— Боря, отдай ребёнка! — приказала Васнецова сыну.

Рогачёв мотнул головой.

— Боря, ну, иди же к маме. — Тоня, чуть не плача, тормозила сына.

— Я вынуждена сказать то же самое, — усмехнулась Татьяна Валентиновна. — Боря, иди к маме. И вообще, каждый Боря идёт к своей маме.

— Тоня, ты иди к врачу, а мы тут тебя подождём, — предложил Рогачёв, — поиграем, да?

Как играть с ребёнком, он и не знал, просто скорчил смешную гримасу, приведя малыша в восторг. Тоня в замешательстве не знала, что предпринять. Она оглядывалась по сторонам, словно искала помощи. Люди спешили по своим делам, не обращая никакого внимания на троицу с ребёнком. Рогачёв тем временем продолжал забавлять малыша.

— У меня важные дела, Борис! Идём, — не скрывая раздражения, сказала Васнецова.

— Иди, мама. Иди. Тоня, и ты иди к врачу. Мы будем здесь, в больничном дворике тебя ждать.

— Отдай чужого ребёнка! — Терпению Васнецовой пришёл конец. — Чего ты к нему прицепился? — Она стукнула тростью по земле.

— Это не чужой ребёнок, а мой, — как-то запросто ответил Борис.

Васнецова не подала виду, что поняла это, как только увидела Тоню. Разумеется, она вспомнила тот холодный день, когда нагрянула к ней с известием о своей беременности эта замухрышка из деревни, из какой, Татьяна Валентиновна и вспомнить-то название сейчас не могла. Ну, из той, где сын был на картошке. Там ещё жуткая история с дракой произошла. С дракой в итоге они разобрались. А вот с этим... Васнецова презрительно посмотрела на Тоню и перевела взгляд на её маленького сына.

— Твой? — выразила недоумение Татьяна Валентиновна.

— Да, мой. Я понимаю, что эта новость тебя огорошила. — Рогачёв, подкидывая ребёнка, спешно принялся объяснять матери. — Понимаешь...

— Откуда ты знаешь, что твой? — мать отмахнулась от каких-либо объяснений. — У него, что, на лбу написано, что он твой?

— Да он как две капли на меня похож. Вспомни детские фотографии!

— Тоже мне аргумент! — вдруг закричала Васнецова, потеряв всякое терпение. — Мало ли кто на тебя походит?

— Мама, ты чего? — Рогачёву редко приходилось видеть мать такой разъяренной.

— А ничего! Немедленно отдай этого ребёнка его матери! Кто он такой и откуда, я знать не желаю. И тебе не советую. А эта дрянь тоже хороша! — Васнецова развернулась своим крупным статным корпусом к малюсенькой Тоне. — Нагуляла где-то и теперь в родственники лезет. Не выйдет!

Доселе молчавшая Тоня не выдержала.

— Успокойтесь, Татьяна Валентиновна. Вам нельзя нервничать. А то, не приведет Господи... Это мой сын. И к вам он не имеет никакого отношения. И забудьте, что я тогда говорила, когда приезжала к вам.

— Когда приезжала? — Рогачёв поставил ребёнка на ножки, но при этом крепко держал его за маленькую округлую ручку.

— Приезжала? — Татьяна Валентиновна, не мигая, взирала на сына честными глазами.

— Тоня, ты сказала, что приезжала, так?

— Да, приезжала... — Тоня печально смотрела на выходящих из поликлиники. Сейчас её удручало лишь то, что, скорее всего, она пропустила свою очередь к ортопеду. И придётся снова на следующей неделе ехать из Старовойтова в город.

— Да я её впервые вижу! — взвизгнула Васнецова.

— Неправда, Татьяна Валентиновна. Неправда, — повторила Тоня. — Я виделась с вами. Вы мне пытались дать денег на аборт.

— На аборт? — слотнул Рогачёв.

— Да. Но я, как видите, поступила по-другому. А ты, Борис, разве не знал? — Тоня внимательно посмотрела на Рогачёва.

— Лучше бы ты аборт сделала, а не морочила людям голову, — прошипела Васнецова.

— Вот видишь, Боренька, — Тоня кивнула малышу, — твоя бабушка говорит, что тебя убить надо было. Ой, простите, совсем забыла, что вы ему никто.

Рогачёв, опустив голову, смотрел на сына. Он ничего не знал о нём до сегодняшнего дня. Маленький Боря тем временем занялся своим делом: он нашёл на земле палочку и что-то ей вычерчивал.

— Почему ты мне ничего не рассказала? — Борис вскинул глаза на мать. — Только не ври, что ты впервые видишь Тоню.

Лицо Васнецовой скорчилось в гримасе.

— Я была уверена, что эта дура сделает аборт.

— Мало ли, что ты думала! — сузил глаза Рогачёв. — Почему ты мне ничего не сказала?!

— А что было бы? — усмехнулась Васнецова. — Скажи спасибо, что не сказала! Уберегла тебя от этой колхозницы.

— Так, значит. — Борис вновь взял ребёнка на руки. — Тоня! Мы идём немедленно в загс. Сейчас же! Расписываемся, я усыновляю ребёнка. Какое у него отчество? Борисович?

Тоня кивнула:

— Ну, а какое же?

— Идём! — Рогачёв схватил её за руку.

— В загс? — засмеялась Васнецова. — В загс? Тебе, дружок, действительно скоро туда надо будет. У вас свадьба с Ларисой. Напомнить тебе, что и она беременна? Ты у нас прямо колхозный племенной бык-осеменитель. — И Татьяна Валентиновна со злорадством уставилась на Тонию. — Да, да, дорогая моя. У него есть невеста. Беременная невеста.

Тоня выдернула руку из руки Рогачёва.

— Знаете, что? Устала я от вас. Что вы за люди! И зачем повстречались мне сегодня? Поездку только испортили. В загс, Татьяна Валентиновна, с вашим сыном я не пойду, пусть женится на ком угодно. Мне это без интереса. Я замужем и мужа менять не собираюсь.

— Замужем? — растерялся Борис. — Как замужем?

— Так, замужем. Что я, замуж не могу выйти? Месяц назад сыграли свадьбу. Всё село гуляло.

Рогачев посмотрел на правую руку Тони. На безымянном пальце не было обручального кольца.

— А кольца-то нет! — Рогачёв даже засмеялся.

— Не веришь? — Тоня открыла сумку, достала кошелек, а из него обручальное кольцо, бережно завёрнутое в бумажку. — Большое купили, меньше не было потому что. Вот, сегодня думала ещё зайти к ювелиру после больницы, попросить, чтобы уменьшил.

Рогачёв буквально выхватил из рук Тони широкое золотое кольцо и зажал в кулак. Мать неодобрительно покачала головой.

— Киса, — закричал малыш, увидев пегую кошку. Погнался за ней.

Рогачёв и Тоня одновременно дёрнулись за ним, но малыш, пробежав метра три, повернул назад.

— Убежая. — Он подошёл к матери и принялся дёргать её за подол цветастого платья. — Пойдём, ну, пойдём.

— Отдай кольцо! — Тоня протянула руку к Рогачёву. — Зачем оно тебе?

Рогачёв и сам не знал — зачем, но упорствовал, держа его в кулаке.

— Правда, чего ты его схватил? — миролюбиво сказала Васнецова. — Отдай его и идём. Может, и я ещё успею на встречу. — Она посмотрела на часы и покачала головой.

Рогачёв покорно разжал руку и отдал кольцо. На ладони осталась кольцеобразная вмятина.

— Попрощайся с дядей и тётёй. — Тоня, убирая обручалку, достала из сумки платок и вытерла ребёнку нос.

— Я приеду. Завтра же приеду. Нам надо много чего обсудить. — Борис гладил малыша по курчавой голове.

— Нет. — Тоня покачала головой. — Нет. Не нужно. Вадим хочет усыновить Бориса.

— Вот и славненько! — Татьяна Валентиновна готова была захлопать в ладоши. — Вот и правильно!

Борис с раздражением посмотрел на мать.

— Как это усыновить? Я против.

— Мало ли, что ты против. Он по закону не твой. Да и вообще! — Тоня махнула рукой.

— Как не мой? — Борис схватил маленького Борьку и уткнулся в него. — Как не мой! Мой! Не отдам я его никакому Вадиму!

— Не дури! — Татьяна Валентиновна легонько ударила сына по спине тростью.

— Во-он! Пошла вон! — вдруг заорал на мать Рогачёв. Васнецова, опешив, даже выронила трость. Она с трудом стала наклоняться за ней, выкинув правую руку в сторону, дабы удержать равновесие.

От громкого крика маленький Борька неожиданно заплакал и потянул руки к матери. Тоня тотчас же забрала его от Рогачёва и прижала к себе. Не попрощавшись, она, успокаивая сына, направилась к поликлинике. В противоположную сторону, опираясь на трость, уже вышагивала и Васнецова.

Стоя посреди больничного двора, Рогачёв, смотрел, как в разные стороны удалялись от него обе женщины. И обе — хромые.

Через два месяца Борис с Ларисой играли свадьбу. Вот именно что “играли”, — думал Рогачёв с того момента, как стал мужем Шейнис. — “Что наша жизнь? Игра”. Если бы не беременность, не видать Ларке этого интеллектуала-красавца как своих ушей. Вот чего-чего, а жениться на ней совсем не входило в его планы. Да и встречаться-то тоже. Так, по пьяни кувыркнулся, а она и залетела.

Зато Лариса торжествовала. Добилась своего! В Рогачёва она была влюблена, сколько себя помнила. Разумеется, этот Аполлон совсем не обращал на неё никакого внимания. Она и одевалась лучше всех, благо, что мать была портнихой и обшивала дочь с ног до головы. Нарядам Шейнис люто завидовали самые отъявленные модницы всей округи. Даже существовало целое понятие: “Как у Шейнис”.

Фигурой Лариса не блистала, к тому же с детства была достаточно упитанной. В отрочестве это смотрелось довольно мило. Ларочка очень походила на девочку с персиками с одноименной картины Валентина Серова, где он изобразил двенадцатилетнюю Веру Мамонтову. Только Шейнис несколько полнее дочери мекената, а лицом так один в один, словно не с Веры писал своё полотно художник, а с Ларочки.

Много сил пришлось потратить Ларисе в юности, чтобы из полнущки превратиться в относительно стройную девушку. Она отказывала себе в любимых блюдах, которыми закармливала всю семью бабушка. “Еврейская кухня, — подчёркивала она, — богата блюдами неповторимого вкуса, своеобразна и оригинальна”. Попробуй тут удержишься от тейглаха — теста, варёного в мёде. Или лекеха, которое пекут в сиропе сразу после тейглаха. И хотя в основу еврейской кухни заложена определённая философия — кашрут — система питания, принятая ещё иудеями, и поэтому из еды исключена свинина, но баранина с рисом и изюмом ненамного уступала по калорийности жирной поросюшке.

Худела Лариса, к огорчению матери, разумеется, из-за Бориса. То, что объектом её вздыханий был русский парень, очень расстраивало родителей — Сару Соломоновну и Аркадия Аароновича. Но они больше всего на свете любили свою единственную дочь — Ларочку, благоговели перед ней, поэтому её выбор не особо оспаривали.

— Может, в нём есть что-то наше, ну хоть четверть? — вздыхала Сара Соломоновна.

— У отца его отчество Ефимович, и сам он Борис... Может, что-то да есть, — с надеждой в голосе отвечал ей супруг.

Однако Рогачёв был “кошерный” русский, то есть от древнееврейского “очень чистый”. Чистый русский. По крайней мере, до пятого колена по отцу и до четвёртого по матери. Это знали его родители наверняка, поскольку интересовались своими родословными.

Несмотря на то, что Шейнисы без истерик относились к влюблённости дочери в русского парня, весть о Ларисиной беременности от Рогачёва Сара Соломоновна восприняла так болезненно, что едва не очутилась на больничной койке кардиологического отделения. Аркадий Ааронович, хоть и старался держаться после такого известия, убивающего наповал нормального еврея, всё же сник и осунулся.

И всё-таки Шейнисы были советскими евреями, хоть и предпочитающими национальную кухню. Это обстоятельство смягчало иудейской горе. Ведь в Советском Союзе, как любил выражаться Аркадий Ааронович, люди дифференцировались не по нации, а по идеологии.

А с идеологией у семьи Бориса, особенно у его матери и отчима Васнецовых — полный порядок. Коммунисты и партийные начальники до мозга

костей. А кто же не желал своему ребёнку светлого будущего, пусть даже в иноверной семье? Ларочка же не отрицает в себе еврейку, просто выходит замуж за советского парня.

Свадьбу Бориса Рогачёва и Ларисы Шейнис справили по всем обычным законам бракосочетания своего времени, правда, с учётом потребностей молодых — детей небедных родителей. “Волги” и даже “Чайка”, украшенные лентами, шарами и куклой, составляли брачный кортеж. Дворец бракосочетания, в парадном зале которого в назначенное время возле стола, покрытого красной скатертью с бюстом Ленина, красовались белая невеста и чёрный жених, и свидетели с лентами, как солдаты с бушлатами. На стенах висели портреты членов политбюро. Над всем этим возвышалась кафедра, так же выкрашенная в красный цвет, с гербом Советского Союза. Далее фотографии на память, ломящиеся столы в ресторане, фруктовницы со свисающим с них виноградом, тосты “Горько!” Что ещё? Пошлые плакаты: “С мужем трудно управляться, постарайся с ним не драться!”, “На нашей свадьбе закон простой: пей, веселись, пляши и пой!” — цветы, подарки, нарядные гости. В общем, всё, что полагается. Только положенной драки не было. И слава Богу!

Максим родился раньше положенного срока. Болезненный, он сначала причинял много волнений и тревог. Но благодаря стараниям еврейских родственников дела быстро пошли на поправку. Шейнисы в нём души не чаяли, в отличие от Васнецовых. Уж очень Максик походил на дедушку Аркашу. Отчего-то обычно спокойного Васнецова этот факт выводил из себя. “Странный какой-то, — думал Борис. — Макс при всём желании не мог бы походить на горисполкомовского сухача”. Ведь, как известно, Васнецов не был Борису родным отцом, а новоявленному Максиму — дедом. “А мать тоже хороша! — удивлялся Рогачёв. — Она-то почему это так болезненно воспринимает? Сама по себе или из-за отчима?”

На ещё большее удивление сына, Татьяна Валентиновна в последнее время стала вести разговоры о том, что Боренька, тот, который от Тони, и есть её настоящий внук. Разумеется, говорила она это не в присутствии родственников-евреев, но всегда в присутствии Васнецова. Как реагировать на это, Рогачёв не знал.

— Знаешь, сын, — сказала Татьяна Валентиновна в один из приходов Бориса к матери, — я тебе так скажу: погорячились мы с Тоней.

Рогачёв читал “Известия”. Вывод матери его сразил наповал. Он, накрыв лицо распахнутой газетой, откинулся на жёсткую спинку кресла.

— Да, да, — продолжала мать. — Какой хороший мальчик появился на свет. Боренька... Так и стоит у меня перед глазами этот малыш. А как на тебя похож! Бывает же так. Даже носик морщит, прямо как ты в детстве.

— Мать, ты чего от меня хочешь? — Рогачёв скинул с себя газету.

Татьяна Валентиновна принялась двигать громоздкий стул к креслу Бориса, это давалось ей с трудом. Рогачёв же, внимательно наблюдая за её стараниями, не двинулся с места.

— Вот что, — Васнецова уселась на стул и наклонилась к сыну, — надо обязательно съездить к Антонине.

— К Антонине? — с сарказмом в голосе спросил Борис.

— Да, к Антонине. К Тоне.

— К этой деревенской замухрышке? Или как ты там её называла? К ней? Ты точно её имеешь в виду? — Борис отшвырнул газету и встал с кресла.

— Ну да, к Тоне. В Старовойтово.

— Зачем? — закричал Рогачёв. Он, расстегнув ворот рубашки, нервно стал вышагивать по комнате.

— Не кричи. Успокойся. Тут вот какое дело.

То, что узнал в следующую минуту Борис, повергло его в шок. Оказывается, Тоня — дочь Ерохина. Да, того самого Ерохина, председателя облисполкома, видного советского партийного и государственного деятеля.

— Как её угораздило? — Борис ошарашенно смотрел на мать. — Это точно?

— Точнее не бывает! Васнецов не так давно это узнал, проверил факты.

Мать Тони Василина в своё время стала секретаршей Ерохина, правда, когда он ещё числился рангом намного ниже. Как часто водится, у них случился роман. Кстати, Ерохин и Василина родом из одного села, из Старовойтово. Секретарша долго ходила в любовницах Ерохина, пока вдруг не забеременела. Он, женатый мужчина, с прозрачной репутацией хорошего семьянина, конечно же, дорожил этой прозрачностью. Поэтому предложил своей секретарше решить проблему по-тихому. А потом убираться с глаз долой. Любовница Ерохина уехала обратно в Старовойтово, к родителям. Там и родила дочь, одна нога короче другой. Бывшая секретарша не то, чтобы шантажировала бывшего начальника, помаленьку взбирающегося в гору по карьерной лестнице, а намекала на его скелеты в шкафу. Делала она это только из необходимости содержать дочь-инвалида да старых родителей. Ерохин, делать-то нечего, снабжал Василину деньгами, однако с дочерью видеться не желал. К тому же его коробила ущербность дочери. И это у него-то, у Ерохина, где всё только по высшему разряду. Однако в законном браке Бог ему детей не давал, как они ни силились с женой заиметь ребёнка. Жена упрекала мужа в этом, считая, что он бесплоден, на что Ерохин тихонечко посмеивался в кулак. Шли годы, Ерохины старились, детей по-прежнему не было. Несколько лет назад его жена вдруг скоропостижно скончалась. А у дочери Тони в Старовойтово сын родился, внук Ерохина, то есть. Это очень обрадовало уже немолодого партийного чиновника, ведь дело-то к закату, а родной души поблизости нет. Вот он и стал с взрослой дочерью отношения налаживать, чтобы как можно больше с внуком общаться. Василина утонула в реке, когда девочке было четырнадцать. Скоро и черёд бабки с дедом наступил. Девушка, схоронив всех своих, к восемнадцати годам осталась одна-одинёшенька. Пошла работать в колхоз, дояркой. Конечно, было сложно. Травма-то не пустяковая. Однако с работой справлялась.

Романов ни с кем не крутила, отличаясь особой добропорядочностью. Да и местные парни к ней не сватались. Инвалидка без приданого, как говорили их матери. В общем, незавидная невеста... И хоть характер у неё был золотой — спокойная, тихая, приветливая, всё же дефект и бедность сделали своё дело. Когда на её пути встретился Борис, мало кто из местных верил, что этот городской хлыщ изменит судьбу деревенской хромоножки. Так оно и вышло... Уехал в город, и — поминай, как звали. Вот Борис Борисович остался на память. А потом нашёлся некто Вадим, приехавший к своей тётке в Старовойтово в гости. Увидел он Антонину, расцветшую всеми послеродовыми женскими красками, и влюбился. Да так влюбился, что готов был усыновить и ребёнка. Тонька-то, дура, ещё и не сразу предложение замуж приняла. В её ли положении было раздумывать?!

Вот тут-то и нарисовался долгие годы не существовавший папаша. В деревне и не знали, кто был отцом Тони, Василина никогда не распускала язык по этому поводу. Обещала ведь не портить репутацию Ерохина. Почему она и дочери не сказала, остаётся загадкой. Может, думала, подрастёт дочь, тогда, да не успела. Тоня никогда не спрашивала ни мать, ни бабу с дедом об отце. Возможно, она думала, что он отказался от неё из-за её врождённого дефекта — дисплазии тазобедренного сустава справа, укорочения правого бедра. Почему она не родилась, как все, а с недоразвитым суставом?.. Кстати, как только Василина утонула, так и перестали от Ерохина течь денежки, пусть маленьким, но всё же ручейком. Ни бабка, ни дедка, ни Тоня не знали, куда обращаться за помощью. Не к председателю облисполкома же...

Когда на чёрной “Волге” в Старовойтово нагрянул Ерохин, местное начальство с ума пошло. Как же, такой высокий областной чин пожаловал! Конечно, они знали, что сам Ерохин из их села, но он уехал ещё при царе Горохе и больше не появлялся, потому как и родню свою немногочисленную перевёз в город следом и поустраивал, куда мог, на хлебные места. Оказалось, что председатель облисполкома приехал не с проверками и не с целью дать нагоняя, а к Тоне, деревенской хромоножке. Это-де и есть её отец, долгие годы занимавшийся государственной деятельностью, потому-то не сумевший выделить время на дочь все эти годы.

Тоня спокойно, но без восторга приняла такую ошеломляющую новость. С порога не прогнала, чаем напоила, но от какой-либо помощи категорически

отказалась. А просьбу Ерохина дать Бореньку погостить к деду восприняла даже болезненно. Посмотрели, мол, на мальчика и хватит.

А мальчишка Ерохину понравился. Общительный Борька, весь в отца, сразу пошёл к деду, признавая за своего. С того дня заболел Ерохин внуком. Детей-то не довелось воспитывать... Отныне постоянно приезжал в семью дочери или кого-то отправлял от своего имени, осыпая подарками. Тоня начала противиться этому, ведь маленький Борька потихоньку приручался дедом. То ли материнская ревность разыгралась, то ли ещё что-то, в общем, стала она давать отцу от ворот поворот. Да и отцом-то она его никогда не считала.

Вот это всё поведал лично Ерохин Васнецову, когда они ездили на охоту. Васнецов обомлел, узнав такую новость. Он же знал, что у Бориса была когда-то пассия Тоня из Старовойтово, и про ребёнка, маленького Борьку, тоже знал. “Надо же! — думал отчим Бориса Рогачёва. — Судьба-то как нас сводит. Знали бы, так силком заставили бы этого “членом туда, членом сюда” жениться на деревенской девке. С виду она даже хорошенькая”. Васнецов помнит, как хромоножка приезжала к ним сообщить о своей беременности, когда Бориса только-только в другой институт перевели из-за драки с убийством в этом Старовойтово. Сейчас бы Борис был зятем самого... Эх!

Васнецов, прежде чем рассказать обо всём жене, съездил в Старовойтово, убедиться, та ли эта самая Тоня, мало ли... Да, та самая, что нагрязнула тогда к Васнецовым ноябрьским, кажется, вечером. Тоня, правда, Васнецова не узнала, когда тот завалился в их село удостовериться в факте. Факт оставался фактом. Да, Тоня эта — та самая.

Вывалив всю имеющуюся информацию Татьяне Валентиновне, Васнецов боялся, не последует ли очередной сердечный приступ у его благоверной. Но жена восприняла рассказ супруга довольно спокойно.

— Надо ли это всё рассказывать Ерохину? Не навредим ли мы тем самым и себе, и Борису? — вкрадчиво начала она. — Мы-то, получается, некрасиво поступили с этой Тоней. Кто ж знал, что она дочка Ерохина и это всё всплывёт...

— Знаешь, кисонька, думаю, он нас поймёт. Сам ведь был в похожей ситуации, когда не захотел с Василиной этой сойтись. И дочь без него воспитывалась.

— Люди не любят, когда им напоминают об ошибках. И тем более здесь речь идёт о дочери. А я как понимаю, он сильно воспылал отеческой любовью к Тоне.

— К внуку, скорее всего. — Васнецов подошёл к жене и заботливо накинул ей на плечи пуховую шаль. — Тоня его не простит, и он понимает это. Тёплых отношений у них не будет уже. А с внуком... Всё только начинается.

— И что ты предлагаешь? — Татьяна Валентиновна стрельнула глазами, понимая, к чему клонит муж.

— Поспособствовать объединению Тони и нашего Бориса.

— И как ты себе это представляешь? — Татьяна Валентиновна сняла с плеч шаль, любовно накинутую Васнецовым. — К тому же, он женат на Ларисе, и сын у них растёт. Забыл?

— Меня эта линия вообще мало волнует! — вдруг рассердился обычно спокойный Васнецов. — Тоже мне пара — Лариса Шейнис! Как ты помнишь, дорогая, я лично был против этого брака.

— Да, но она беременна была, Лариса-то!

— Тоня тоже была беременна. Но ведь не на ней он женился! Почему надо было на этой Шейнис жениться? Тоня тоже весьма неплохая кандидатура.

— Но ведь тогда Бореньке предстояло жить с инвалидом.

— И что? Я ведь живу с тобой! — нервно ответил Васнецов.

Оставив в кресле шаль, Васнецова молча вышла из комнаты.

Никогда ранее Васнецов не позволял себе подобного. Татьяна Валентиновна не верила услышанному. Неужели он так хочет породниться с Ерохиным, что готов на всё? Или что это было?

Васнецова подошла к зеркалу. Оглядела себя. Красиво стареющая женщина и без каких-либо признаков умирания этой красоты. По-прежнему статна, элегантна и, что важно, ни единого седого волоса! Тёмный каштан

лился волнами, обрамляя лицо. Васнецова убрала волосы, заколов их шпильками на затылке, тем самым открыв красивый лоб. Так ещё лучше! Выверенные черты, лекальный подбородок, умные глаза. Хороша, одним словом! Она ещё может нравиться мужчинам и знает, что нравится.

А Васнецов в последнее время крепко сдал. Похудел, дёрганный какой-то, хотя и сдерживается. Вот и сегодня... Рядом с ним она, с её яркостью и неувыдаемостью, выглядела, как прекрасный цветок с гербарием в обнимку. Да, дела...

Её размышления прервал муж. Он тихо, как кот, зашёл в комнату и подошёл к зеркалу, обнял её сзади. Точно, живой цветок и гербарий. Васнецова горько вздохнула.

— Извини, Танюша, я не хотел тебя обидеть. Я имел в виду совсем другое. То, что ты совершенна без изъянов, несмотря на...

— Хватит об этом, — Татьяна Валентиновна легко махнула рукой, — не усердствуй в объяснениях. Скажи, зачем тебе надо, чтобы Борис с Тоней сошлись?

— Ну, может, не совсем сошлись, я ведь тоже понимаю, что без чувств никуда... Просто подружились, а потом, может, и сошлись, — засмеялся он, довольный шуткой.

— Зачем? Ты можешь объяснить? Всё, по-моему, неплохо. Тоня живёт своей жизнью, воспитывает сына, Борис — своей, тоже воспитывает сына.

— Шейнис-то он не любит. Разве не знаешь о его изменах? Прожили с Лариской-то всего ничего, а он уж изгулялся весь!

— Свою Виноградову забыть не может. — Татьяна Валентиновна помрачнела.

— Ой, не напоминай! — замахал руками Васнецов. — Не напоминай, душенька! Всё. Нет Леты и не будет! Живём-то сегодняшним днём.

В комнату постучалась Катюша. Домработница изрядно постарела за последние годы, но по-прежнему оставалась бодрой и работающей.

— Ужин, господа! — сказала она игриво.

Готовила Катюша по-прежнему отменно. Правда, Васнецовы просили её придерживаться умеренности в приготовлении пищи, меньше жирного, мучного, жареного, организмы уже не те, однако Катюша отмахивалась от обоих хозяев, мол, не дурите, поесть вкусно и сытно — важная составляющая жизни любого нормального человека.

Вновь погружившись в раздумья, Васнецова ковырялась вилкой в салате, тем самым обеспокоив домработницу. Неужели невкусно? Неужели она разучилась готовить? А это верная дорога на покой. Но Катюша себе не могла и помыслить существования без этой семьи, ставшей родной и близкой.

— Татьяна Валентиновна, — опечаленно спросила Катюша, нарисованная уже самые тревожные картины в своём воображении, — что-то не так?

— Нет, нет, дорогая, ужасно вкусно! — Татьяна Валентиновна засмеялась от сочетания “ужасно вкусно”.

Когда перешли к чаю, супруги вновь продолжили начатую тему. Васнецов наконец-то поведал жене, что существует прямая взаимосвязь между Тоней и Борисом и им и Ерохиным. То есть Ерохин, узнав, что Борис Рогачёв — отец его внука и несостоявшийся его зять, который даже очень может состояться, поспособствует Васнецову стать своим замом. Как пить дать поспособствует.

— Откуда у тебя такие гарантии? — Татьяна Валентиновна размешивала серебряной ложкой сахар в стакане с чаем.

— Я знаю. Будь уверена. Здесь проблем не будет.

— Зато я не уверена, что не будет проблем у Бориса и Тони в их сближении. У Тони Вадим есть, у Бориса — Лариса.

— Да что ты заладила: Лариса да Лариса! — второй раз за день сорвался Васнецов. — Любит Тоня Борьку, любит! У неё и сын от него. А Вадим... так... надо же babe сына поднимать. И Борьку от Лариски воротит и вообще от всей её кошерной семейки! К тому же Ерохин и ему поможет выйти в люди! Что тут непонятного? — И Васнецов, отставив недопитый чай, поднялся из-за стола.

— Так что вот так. Съездить надо к Тоне, обязательно съездить. — Татьяна Валентиновна в упор смотрела на сына.

— Мать, ты в своём уме? — Рогачёв, конечно, внимательно выслушал всю историю. Уж больно нелепым ему показалось то, что предлагает Васнецов. Да и мать туда же...

— Так будет правильно, сынок.

— Но постой! У Тони есть Вадим. У меня — Лариса.

— И что с того? — Татьяна Валентиновна пожала плечами.

— Как что с того? Ты разве не слышишь? У меня семья, у Тони семья.

— Лариску свою ты не любишь и не любил никогда. Тоже мне семья... Таскаешься по бабам.

— Это моё дело!

— И у Тони муженёк — ничего особенного. Даже Ерохин сказал, что этот Вадик-гадик ему совсем не глянулся. Ему бы зятя такого... Такого... — Васнецова оглядела сына с ног до головы и осталась довольна. — Такого, чтобы дела передать, чтобы духа с ним одного. А Вадим этот какой-то чистошной субтильный.

— Однако...

— Собирайся, одним словом. Поедем к Тоне.

Борис стоял в нерешительности, не зная, что ему делать. Вот так, с кондачка...

— Да не бойся ты! Побелел весь, словно побелили. Просто съездим, узнаем, что да как.

Рогачёв по-прежнему не двигался с места.

— Приклеили, что ли? — Васнецова усмехнулась. — Вообще-то у тебя сын там. Съездим, ты сына повидашь, я — внука. Подарки привезём. И постарайся изменить настрой. Не такой вот будь, словно кол проглотил! А как обычно, обаятельный и весёлый. Прошу тебя, прошмыгни в свою беспечность!

Татьяна Валентиновна ушла наряжаться. Вышла она в фиолетовом платье с глубоким вырезом и длиной чуть выше колена. Наряд она решила завершить белым шарфом, обвила им шею и сделала большой бант над вырезом.

— Я очень люблю фиолетовый, — Васнецова любовалась своим отражением в зеркале, — сложный цвет. В нём слились воедино пламенный огонь красного и прохладная гладь синего. По преданию, фиолетовый был одним из самых любимых цветов признанной красавицы древнего мира — Клеопатры.

Несмотря на то, что сочетание темно-фиолетового платья с белым платком смотрелось строго и торжественно, Борис, обладающий безупречным вкусом, всё же сделал матери замечание.

— Уж слишком шею припорошило, — пробурчал он.

— Ларке указывай! — вспыхнула Татьяна Васильевна. — Она после родов, как шмонька, стала одеваться! А когда-то ведь... — Васнецова махнула рукой, мол, не до Шейнис сейчас, со своей бы шеей разобраться. И что сыну не понравилось?

Татьяна Валентиновна достала из комода резную шкатулку, покопалась в ней и выудила круглую изумрудную брошь. Поместила в самую сердцевину банта.

— Теперь очень хорошо. — Борис кинул взгляд на наряд матери. — Аристократично.

Накупив всячины в виде игрушек, одежды, продуктов, Татьяна Васильевна и Борис на служебном автомобиле Васнецова двинулись в сторону Старовойтово.

Водитель дорогу знал, ему совсем недавно приходилось возить хозяина туда же, в это село, дабы тот мог убедиться, что Тоня, когда-то влюблённая в его пасынка и родившая от него ребёнка, и дочь Ерохина — одно и то же лицо.

Всю дорогу мать и сын молчали. Зато весельчак и балагур водитель Симакон без умолку рассказывал истории одну за другой. Истории были смешные, но что у Васнецовой, что у Бориса на душе поскрёбывали кошки, поэтому они лишь вежливо улыбались время от времени. Зато шофёр смеялся от души над своими рассказами.

Старовойтово оказалось приличным местом, чему Татьяна Валентиновна даже удивилась. Она оглядывалась по сторонам в надежде увидеть хоть какой-то изъян. Но кругом все дышало свежестью, ухоженностью, чистотой.

— Образцово-показательное передовое хозяйство, не иначе, — наконец вымолвила она.

Борис же был погружён в свои воспоминания о той осени.

Симакову в этот раз не пришлось плутать по селу, сразу подъехал к дому Тони. Как только вышли из машины, к ним сразу же подошёл пьяненький мужичонка.

— Тебе чего? — первым спросил Борис.

— Епть, чего мне! — возмутился тот. — Чего?! Антонина велела, как чего привезут, мне брать.

Рогачёв с матерью удивлённо переглянулись. Мужичонка обошёл машину и подошёл к багажнику, из которого Симаков выгружал картонные коробки и хозяйственные сумки.

— А что, Тони дома нет? — спросил Борис.

— Не-а.

— Ушла, что ли?

— Уехала, епть.

— Уехала? Куда? По делам?

— Нет, — мужичонка полез в одну из коробок, стоящих на земле, — совсем уехала, епть.

— Как совсем уехала? — в один голос спросили Борис с матерью.

Мужичонка, казалось, не слышал вопроса. Он занимался важным делом — копался в самовольно открытой коробке.

— Ну, епть... — пьянчужка сплюнул, — кому нужен этот плюшевый заяц? — Он бесцеремонно откинул на землю ярко-оранжевого зайца из искусственного меха, а вовсе не из плюша. — А это что? Крокодил, епть? Крокодил, сука... Господи, а это-то чего? Ещё и Чебурашку привезли? А посущественнее?

— Так куда Тоня уехала? — Борис поднял с земли зайца и положил его обратно.

— Она мне не докладывала! — Мужичонка полез ко второй коробке.

— Не борзей. — Борис встал между деревенским мужиком и своими вещами.

— А чего там? — выглядывая из-за плеча Рогачёва, забулдыга косился на хозяйственные сумки и картонные коробки.

— Чего надо.

— Ну, и ладно. И подавитесь, епть. Тонька сама сказала, хочешь себе возьми, хочешь, выкини. Мне ваши лопухие уроды ни к чему, епть.

— А надолго Антонина уехала? — подала голос Васнецова.

— Не знаю, — буркнул мужичок, скользя взглядом по вещам, стоявшим на земле.

— С ребёнком?

— Да.

— Отдыхать, что ли?

— Да не-ет, епть!

— Ты можешь толком объяснить? — не сдержался Борис. Его определённо раздражал этот местный нахал.

— А чё объяснять? Собрались да уехали.

— Так, стойте здесь. — Рогачёв кивнул матери и водителю. — Пойду, разузнаю. Следи! — Он указал Симакову на вещи и направился к дому.

Борис подошёл к покосившейся калиточке. Она была на замке.

— Говорю же, уехали! — Выпивоха, проследовавший за Рогачёвым, толкнул калитку. — Видишь, заперто, епть.

— А чего они уехали? — Борис спиной прислонился к забору.

— Тонька устала, — с горечью, будто это он чего-то натерпелся, ответил мужичонка.

— То есть?

— А вот то и есть... То никого у неё не было, епть, а то как стали ша-стать один за одним. Продыха никакого, — затараторил мужичок. — Папа-ша объявился. Шишка большая. Сам, епть, — он поднял вверх указатель-ный палец и многозначительно помолчал.

— И что тут плохого?

— А то, епть, что житья совсем не стало девке. Она привыкла скромно жить. Сына воспитывала. Замуж вышла. Семья у неё, епть, понимать на-до, — мужичок вновь вытянул к небу указательный палец, — ей посторон-ние, епть, ни к чему.

К ним подошла Васнецова. Выпивоха, посмотрев на неё, продолжил:

— А недавно девица заявила. Вся набрызганная, епть, словно в чан с одеколоном окунули. И говорит, значит, Тоньке. Ты что, тварь безрод-ная, хромонога неотёсанная, сельпо недоделанное, — дальше мужик понёс таким лихим матом, что Татьяна Васильевна невольно ослабила белый шарф на шее, будто ей не хватало воздуха.

— Э-э-э, ты чего?! — осадил “ептя” Борис.

— Я-то чего? Это она так чесала матом.

— И что эта девица? — Васнецова поправила бант на шарфе.

— Да это племянница её отца, епть, сеструха вроде как Тоньке полу-чается.

— И что она? — Рогачёв терял терпение, выслушивая деревенского ал-конавта.

— Чё, чё, говорит, откуда ты появилась, такая красавица? На богатст-во отцовское нацелилась! Не выйдет, епть! Мне всё дядя завещал. Провали-вай отсюда подобру-поздорову, не то убью.

— И что они, эту девку испугались, что ли? — не понял Борис.

— Да надоели ей все, говорю же, епть. Вот они и уехали. А вообще, они давно уже собирались уезжать. Вадим, муж ейный, с самого начала звал её, епть.

— Дела... — покачала головой Васнецова и, окинув взглядом неболь-шой домик, пошла к машине. Следом за ней Борис.

— Сгружай! — приказал он Симакову, указывая на подарки.

— Э, вы че, епть?! — Мужик схватился за одну из сумок. — Куда?

Симаков, выхватив у него сумку, оттолкнул.

— Как это понимать? — накинулся на шофёра пьянчужка, но тот мол-ча складывал всё в багажник.

— А мне-то, епть? Мне Тонька сказала... Знал бы, вам не рассказы-вал, — заныл он.

Рогачёв, открыв дверцу машины матери, помог ей усесться на заднее си-дение. Сам сел на переднее.

— Вот уроды-то! — голосил оставшийся без гостинцев забулдыга. — Да чтоб вам пусто было!

Действительно, два дня назад Тоня с мужем и ребёнком уехали из села, никому не сказав, куда. Это выяснили Борис с матерью в сельсовете.

— Может, вернуться, — вздохнула конторская тётка, — дом-то не зако-лотили. Говорят, Вадим на стройку собирался, и она с ним. Семья же!

Все подарки, купленные для маленького Бореньки и Тони, Рогачёв по приезде домой отдал Ларисе и Максиму.

С момента, как Рогачёв ездил с матерью в Старовойтово к Тоне, прошло много лет. За это время он ни разу не встретился ни с сыном, ни с его ма-терью. “Какой он? — думал Борис Андреевич про Бориса, глядя на сдержан-ного Макса на снимке. — Знает ли про меня хоть что-то?”

Размышления адвоката прервал очередной клиент. Он пришёл ровно в назначенное время.

— С кем имею честь общаться? — Борис Андреевич вышел из-за стола и крепко пожал руку мужчине.

— Я преподаватель китайского языка, доктор филологических наук, ра-ботаю в престижном вузе, — зачастил с порога посетитель. — У меня боль-шой багаж научных трудов. Я...

— Подождите, подождите, — мягко осадил его адвокат. — Давайте всё по порядку. Как вас зовут?

— Меня? Ах да, меня... Простите. Виктор Степанович Лыков.

Как оказалось, робкому и затюканному Виктору Степановичу с лысиной в полголовы и в очках с роговой оправой было предъявлено обвинение в совершении преступления, которое, при первом взгляде на профессора, никак не соотносилось с его персоной. Уголовное дело уже находилось в суде.

“Мда, — Рогачёв крутил в руках свою любимую ручку, — интересная у меня работа — придурков защищать. Ну, ведь чистой воды придурок! Хоть и профессор...”

— Зачем же, батенька, было так нажираться? — неприязненно посмотрел адвокат на Лыкова. — Так, что отмудохать сотрудника органов?!

Профессор затравленно взглянул на Рогачёва, втянул голову в плечи.

— Это ж надо! Никакого уважения к представителям власти. Куда страна катится, если профессор милиционеру физиономию бьёт?

— Послушайте, — нервно прервал адвоката “китаец”, — я к вам не за нравоучениями пришёл, а за помощью.

— Конечно, набедокурят, а потом за помощью!..

Рогачёв взял со стола первую попавшуюся папку, развязал веревочки, открыл, начал смотреть бумаги. Искося он поглядывал на посетителя. Не переборщил ли? Посетитель же пугливо наблюдал за Борисом Андреевичем. Станный какой-то этот адвокат... Правильно ли его ему посоветовали?

— И что мы решим? — не выдержал Виктор Степанович.

— Что? — оторвался от бумаг Рогачёв. — А... Тут вот какое дело, дорогой мой...

— Виктор Степанович, — подсказал профессор, — Лыков.

— Я беру тайм-аут на несколько дней для ознакомления с материалами вашего уголовного дела. А потом решим, что и как относительно гонорара.

— То есть вы берётесь? — Профессор с надеждой посмотрел на Рогачёва.

— Разумеется.

— И есть шанс?

— Шанс, профессор, всегда есть, — устало ответил адвокат.

При следующей встрече Рогачёв назвал сумму. Лыков, втянув в себя как можно больше воздуха, громко выдохнул.

— Что-то не так? — адвокат подошёл к окну и закрыл форточку. — Ветер... какой.

— Это очень много. Очень.

— Много?

— Да.

— А не много ли позволил себе профессор Лыков, который лыка не вязал, когда избивал младшего лейтенанта милиции, а? — Рогачёв ударил по столу кулаком. — Ты хоть представляешь себе, — адвокат перешёл на “ты”, — что предстоит сделать, чтобы тебя оправдать?

— А что, меня оправдать можно? — Лыков не поверил услышанному.

— Посмотрим, — буркнул Рогачёв.

— Что ж, — Виктор Степанович погладил лысину. — “Лучше говорить с умным, чем драться с дураком”. Мудрость. Китайская.

“Это к чему?” — не понял Рогачёв, но вида не подал.

Уголовное дело, по которому проходил Лыков, было возбуждено по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ. Рогачёв вновь внимательно перечитывал материалы дела: “...гражданин Лыков, будучи в нетрезвом состоянии, — писал крупным старательным почерком следователь Попов, — в общественном месте из хулиганских побуждений применил насилие в отношении представителя власти — младшего лейтенанта Овсянникова, который находился при исполнении своих должностных обязанностей. Лыков нанёс ему удар рукой в правую область лица, причинив младшему лейтенанту физическую боль и травму (ушиб) в виде кровоподтека правой щёчно-скуловой области, оцениваемую как не причинившую вред здоровью, то есть совершил преступление, предусмотренное

ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ. Он же совершил публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей и в связи с их исполнением”.

“Болван!” — Рогачёва, честно сказать, раздражал этот застенчивый профессор в очках с роговой оправой. Да и не любил он, когда на власть руку поднимали...

Хуже всего, что в этом общественном месте присутствовали свидетели — супруги Симаковы, которые подтвердили, что “до и во время применения насилия в отношении представителя власти младшего лейтенанта Овсянникова, который находился при исполнении своих служебных обязанностей, гражданин Лыков публично оскорбил, выражаясь в адрес Овсянникова нецензурной бранью, унижая честь и достоинство сотрудника органов”. То есть совершил преступление, предусмотренное ст. 319 УК РФ.

Показаний потерпевшего младшего лейтенанта и свидетелей Симаковых вполне достаточно для того, чтобы признать виновным этого Лыкова и осудить. И поделом! — Рогачёв злорадно усмехнулся. — Но... — адвокат посмотрел на пухлый бумажный конверт, взял в руку, взвесил на ладони, — теперь он с Лыковым по одну сторону баррикад.

Рогачёв задумался, прокручивая разные варианты, пока не нашёл подходящий. И что с того, что криводушный? Профессорские китайцы говорят: “Мир так велик, что нет такого, чего бы не было”. Чёртова работа!

Первым делом он пробил свидетелей, а потом позвонил им и назначил встречу в городском сквере.

— Господа, я вас не задержу надолго, — приглашая для разговора на лавочку, сказал адвокат, представившись. — А почему вы, любезные, скрыли, что знакомы с младшим лейтенантом Овсянниковым?

— Мы? — Супруги Симаковы растерянно посмотрели друг на друга.

— Да, вы.

— Мы его первый раз видели там, на остановке...

— Неправда, — прервал свидетеля Рогачёв.

— Правда! — Жена Симакова с удивлением смотрела на адвоката.

“Какая ты страшенькая! — Борис Андреевич в упор разглядывал свидетельницу. — Пучок на голове старушечий, да и сама вся, как молодая старушонка! А лет-то тридцать пять всего. Мда”.

Мимо прошагали юнцы с магнитофоном. “...Ну, что же ты, студент, девчонку новую нашёл, не думал, не гадал...” — вопил двухкассетник.

— А я говорю, неправда, — адвокат подождал, пока стихнет музыка, — у вас, Симаковы, и у младшего лейтенанта Овсянникова участки в коллективном саду “Сирень”.

— Первый раз об этом слышим...

— Первый раз слышите, что у вас есть участок в коллективном саду “Сирень”?

— Почему у нас? У милиционера.

— И вы хотите сказать, что ни разу с ним не встречались на даче?

— Нет, — замотали головой Симаковы.

— А у меня есть свидетели, кстати, тоже члены вашего коллективного сада “Сирень”, которые видели, как вы с ним здоровались и не раз, — соврал адвокат.

— Мало ли с кем мы здоровались!

— Мы не в деревне живём, где принято здороваться друг с другом. В городах обычно здороваются, когда лично знакомы.

— Но мы вежливые люди, могли и поздороваться с человеком, который, к примеру, входил в садовые ворота. — Симакова словно оправдывалась за свою вежливость. — У нас там не деревня, но тоже принято здороваться со всеми, хоть никого мы не знаем, кроме соседей по участку.

— То, что вы с ним были знакомы, я докажу в два счёта, можете не сомневаться. А дальше пойдёт дача ложных... — Рогачёв зевнул.

— Слушайте, вы! Что вы себе позволяете? — Симаков встал. — Мы уходим.

Симакова тоже поднялась со скамейки.

— Уходите. Пожалуйста. Но и сынок ваш уйдёт. В армию. Уйдёт, как миленький. Странно, почему он ещё не в Чечне?

— А при чём тут сын? — Симакова слотнула.

— А при том, что люди-то вы нечестные. Сына отмазали, не так ли? Почему он не в армии? Особенный, что ли?

— Он... он болен... — Симакова несколько раз потрогала пучок на голове.

— Да неужели? — усмехнулся Рогачёв. — Друзья мои, прежде чем разговаривать с вами, я справки навёл.

— Чего вы хотите? — Симаков сел обратно, следом за ним жена.

— Услышать от вас, что вы знакомы с Овсянниковым, что по просьбе потерпевшего дали показания против профессора Лыкова, который был незаконно задержан.

— То есть он никого не бил, не оскорблял... — Симаков прищурился.

— Да.

— А кровоподтёк на лице у лейтенанта?

— А это вы его.

— Я? — Симаков поглядел по сторонам. — Я?

— Вы. По просьбе самого лейтенанта.

— Бред, какой-то... — Симаковы смотрели то друг на друга, то на Рогачёва.

— Называйте, как хотите. Зато ваш сын не пойдёт в армию. Никогда. Я гарантирую.

Симаков смотрел в одну точку, не мигая, куда-то на трепещущую от ветра листву. Симакова, как ангелочек, сложила ладони домиком.

— А что нам будет за то, что мы якобы оклеветали этого профессора? — спросила она.

— Постараюсь, чтобы ничего.

— А младшему лейтенанту? — не поворачивая головы, произнёс Симаков.

— Вы бы за сына лучше переживали, а не за Овсянникова, — вздохнул Рогачёв, — чего ему будет? Максимум, что из органов попрут, да и то навряд ли. Замнут дело, и всё тут.

— А можно подумать? — встрепенулся Симаков.

— Нет.

— А если мы скажем про ваше предложение кому следует?

— Ради Бога! Мы с ним, с тем, кому следует, вместе посмеёмся.

— Но ведь это всё незаконно! Всё, что вы предлагаете, не-за-кон-но.

— И чтобы сын не служил, имея липовые больничные справки, тоже не-за-кон-но, — передразнил Рогачёв Симакова. — Если уж за-кон-но, так пусть везде будет за-кон-но.

“Какая грубая работа, и как легко они согласились”. — Борис Андреевич ещё какое-то время посидел на лавочке, посмотрел на разноцветно одетую молодёжь, прогуливающуюся в обнимку по городскому скверу, и отправился восвояси.

Через несколько дней в судебном заседании Симаковы дали новые показания. Уголовное дело было прекращено за отсутствием события преступления.

— Как говорят в Китае, “хороший завтрак не заменит хорошего обеда”. — Лыков на радостях пригласил адвоката в ресторан отметить успех.

В ресторане отчего-то есть не хотелось, Рогачёв копался в тарелке и выслушивал благодарности профессора. “Зато, может, парня Симаковых от смерти спас”, — думал он.

На самом деле профессорская история была такова. Младший лейтенант Овсянников в присутствии свидетелей Симаковых на остановке сделал замечание пьяному профессору Лыкову, когда тот откровенно матерился. На это Лыков стал говорить с ним по-китайски, орать: “Ты что, по-китайски, что ли, не понимаешь? Так учись! Скоро все по-китайски говорить будете”. А когда Овсянников пригрозил отвести в отделение, у Лыкова совсем крыша поехала и, владея китайскими единоборствами, он нанёс ему один точный и ощутимый удар в правую скулу.

А Симаковы на суде сказали, что их знакомый младший лейтенант Овсянников, увидев пьяного Лыкова на остановке, стал требовать у него деньги и шантажировать тем, что отведёт в отделение милиции, если не получит определённую сумму. Лыков покорно стоял, опустив голову. Овсянников, понимая, что денег от Лыкова ему не видать, в отместку попросил Симакова ударить его по лицу, чтобы списать это на Лыкова и завести уголовное дело якобы за оскорбление и нанесение увечий милиционеру при исполнении.

Симаковы действовали под нажимом сотрудника правоохранительных органов Овсянникова и были оправданы.

Рогачёв позднее из любопытства узнал о дальнейшей судьбе младшего лейтенанта Овсянникова. Как он и предполагал, дело замяли.

При всё большем появлении денег у Рогачёва возникло интересное хобби — собирать флаги государств. Он задался целью объездить весь мир, пополняя коллекцию флагов. Работы у него было завались, поэтому коллекция ширилась, не так быстро, как хотелось, но всё же, площадка перед дачей уже немногим напоминала площадь перед штаб-квартирой ООН, где гордо реяли флаги членов организации. С той лишь разницей, что символы государств Рогачёв расставил в хронологическом порядке посещения этих земель.

После судебного процесса над Юсуфовым, где по делу шла свидетельем его племянница Варвара, Борис Аркадьевич собирался съездить в Каталонию, терпеливо и неторопливо борющуюся за выход из состава испанского государства. Флаг Испании уже давно болтался над российской землёй, а каталонскому ещё лишь предстояло появиться.

Суд состоялся в конце октября, спустя ровно полгода после драки. В тот день Рогачёв спешил на работу и, как назло, проколол колесо машины. “Плохой знак”, — промелькнуло в уме адвоката. Разбираться с автомобилем было некогда, поэтому Борис Андреевич оставил своего “мерина”, как он называл “Мерседес”, у обочины и, поймав такси, примчался в суд.

Он прибыл одним из последних, а это не в его правилах. Рогачёв привык приходить на судебное заседание первым. Его интересовало всё. Как собирается народ, кто в каком настроении, кто во что одет. Борис Андреевич всегда придавал значение мелочам. Наблюдательность, отточенная годами, часто становилась его козырной картой.

Поздоровавшись со многими, Рогачёв даже не взглянул на Варю, сидевшую в первом ряду зала. Варя же, напротив, не сводила взора с дядьки-адвоката. Ей очень хотелось встретиться с ним глазами и, надменно прищурившись, высоко вскинув голову, демонстративно отвернуться.

Смотреть-то не смотрел адвокат на родственницу, но в голове отчётливо звучало: “Эти глаза напротив...” Рогачёв в студенческие годы увлекался Валерием Ободзинским, впрочем, не он один. Певец был кумиром миллионов, его мягким, приятным тенором заслушивались, а в своих золотых шлягерах исполнитель лирических песен словно не пел про любовь, а проповедовал её.

— Чёрт, вот привязалась! — Рогачёву эти “ободзинские глаза” мешали сосредоточиться.

Рыжеволосой и прекрасной умнице-секретарю Светлане Мадере, сидящей на своём рабочем месте, уже не терпелось заносить всё необходимое в протокол быстрым, но разборчивым почерком. “Протокол — это зеркало судебного заседания”, — часто любила произносить Мадера.

Рогачёву когда-то нравилась Светлана, и она отвечала ему взаимностью. У них даже случился мимолётный роман. Совсем мимолётный — три встречи. Во время последней Мадера, полулёжа в постели, вдруг произнесла трагическим голосом:

— Борис, нам надо поговорить... — Она виновато опустила глаза. Её длинные накрашенные ресницы покорно легли на глазницы.

Рогачев зевнул. Хотелось есть, а не разговаривать. Он после хорошего секса всегда набрасывался на пищу.

— Борис, — повторила Светлана, отбрасывая резким движением головы рыжие кудри. — Нам нужно поговорить. Это серьёзно.

— Валяй.

— Ты же знаешь, я встречалась до недавнего времени с Бормотухиным.
— И что?
— А то, что я с тобой не могу больше встречаться. Извини.
— Почему?
— Потому что мне Бормотухин сделал предложение.
— О-ля-ля!
— Ты хороший, ты прекрасный, — начала жалостливо Мадера. — На тебя бабы вон как вешаются, найдёшь ещё...
— Нет, нет! Света, не делай этого! Я умру без тебя! Это не пустые слова! — Рогачёв тотчас, содрогаясь, уткнулся в подушку.
— Борь, ты чего? — Мадера осторожно взяла его за плечо.
— Ах, оставь меня! Солнце упало на землю, превратив всё в мглу! Я не хочу больше жить! Зачем мне этот мир без тебя! Я убью себя! Нет, я сначала убью тебя, потом Бормотухина, потом себя. Нет! — Рогачёв привстал на локоть, — сначала Бормотухина, потом тебя, потом себя. Или всё же... Сначала себя, потом Бормотухина, потом тебя!
— Борис Андреевич! Хватит паясничать! — Светлана толкнула Рогачёва. — Я же серьёзно!
— Так и я не шучу.
— Понимаешь, это важно для меня. Мне уже двадцать шесть. Давно пора замуж. А Бормотухин — хорошая кандидатура. Ты же вот меня не зовёшь...
— И не позову, — Рогачёв поднялся с кровати. — Я женат.
— Вот. И я скоро буду замужем. Только я не хочу изменять мужу.
— Так и не изменяй. Молодец. Пойдём, закинем чего-нибудь в бурлящие голодные пучины.
Голодный Рогачёв увлечённо поглощал еду, одновременно настраивая радио на волну с классикой.
— Скажи, а ты расстроился? — Светлана смачно откусила зелёное яблоко.
— Ты о чём? Ах, об этом... Нет.
— Нисколько?
— Ты чё, мать? — Рогачёв, наконец, нашёл те плавные мелодии, ради которых истязал радио. — Я рад за тебя. Иди же с миром, Бог с тобой! — перекрестил он лобовницу.
На прощание Рогачёв, как обычно, чмокнул Светлану в ухо, сказав, что всё было прекрасно.
— Только знаешь, что, — добавил он, — фамилию его не бери. То ли дело Мадера!
Рогачёв вспоминал это сейчас, глядя на секретаршу, которая в ожидании работы время от времени теребила мочку уха, поблёскивая крупным обручальным колечком.
То Ободзинский, то Мадера! Ерунда одна в голову лезет. Адвокат посмотрел на своего подзащитного на скамье подсудимых. Юсуфов настолько был затравлен, что казалось, дай ему флакончик с ядом, прикончит, не раздумывая. Его дружок Кичигов, наоборот, выглядел бодрячком. Кивал и махал друзьям, коих притащилось на суд в огромном количестве, посылал воздушные поцелуи девке какой-то. Кичигова защищал Токарев, тоже весьма грамотный адвокат.
“Ни тот, ни другой нисколько не изменились с первой встречи, — подумал Рогачёв, оглядывая ответчиков, — как есть — Як и бегемот”.
Потерпевшие — супруги Астаховы и Иван Демидов — сидели рядом с Варей. Они изредка перебрасывались репликами и искоса посматривали на Юсуфова с Кичиговым.
После обычного: “Встать! Суд идёт” — все присутствующие поднялись со своих мест. Председательствующий судья Александра Дмитриевна Позвонкова — высокая худая тётка лет пятидесяти с глазами острыми, как гвозди, — объявила, что судом подлежит разбирательству уголовное дело по обвинению такому-то. Следом зачла участникам процесса и присутствующим регламент судебного заседания. Впрочем, Варя совершенно не слушала Позвонкову.

Она внимательно наблюдала за своим дядькой, всё больше погружаясь в воспоминания.

Тогда, в детстве, дядя Боря казался маленькой Варе принцем. Сейчас же принц вырос и превратился в короля, причём козырного, — усмехнулась Варвара, глядя на важного и степенного Бориса Андреевича.

Она хорошо помнила тот случай с рассказом, который, несмотря на её любовь к дядьке, обжигал каждый раз, как только Варя вспоминала об этом.

Когда у деда Миши и бабушки Нюры собирались гости, то, как правило, они приходили с детьми. Пока взрослые веселились и общались, дети тоже не дремали, а готовили в соседней комнате интересную программу. Потом, выйдя перед праздничным столом, ребятишки то разыгрывали сценки, то, взобравшись на стульчик, пели песни, рассказывали анекдоты, читали стихи, умиляя взрослых и приводя их в неподдельный восторг. Каждому ребёнку хотелось удивить гостей.

У семилетней Вари был секрет. Она с недавнего времени начала писать рассказы, но никому их не показывала, потому что стеснялась. А на одной из таких вечеринок вдруг осмелела. А осмелела из-за того, что дядя Боря уж очень смеялся над анекдотом Вариного двоюродного брата:

— Папа, кто такой Какулик?

— Что?

— Ну, просто, Какулик!

— Ну, это, наверное, тот, кто какает много... А где ты это прочитал?

— Да там, на кинотеатре афиша была: "Тело как улика".

Варе тоже хотелось обратить на себя внимание дяди Бори. Она, когда подошла её очередь блистать талантами, забралась на табурет, открыла разнолинованную тетрадь и громко сказала: "Голубь. Рассказ". Затем, пару раз кашлянув, одёрнув платье, вытянула перед собой тетрадку и принялась читать своё произведение. Рассказ был о том, как девочка увидела во дворе мальчишку, бросающего камни в голубя. Какое-то время девочка, боясь хулигана, наблюдала за этой сценой, а потом, не выдержав, схватила камень и бросила в мальчишку, потом ещё один и ещё. В рассказе Варя очень умело описала голубя и его страдания. А также задавалась вопросом, можно ли силой дать человеку понять, что он неправ.

Взрослые внимательно выслушали Варю и, как водится, поаплодировали в конце выступления.

— Молодец! — похвалил её и дядя Боря. — Очень выразительно прочитала. Отличное понимание написанного. А кто автор, знаешь?

— Чего? — не поняла Варя.

— Рассказа.

Девочка недоумённо смотрела на дядьку.

— Кто написал-то? — дядя Боря откусил пирожок с повидлом. — Ты рассказ прочитала, а имени автора не назвала. А это нехорошо по отношению к литератору. Писателей надо уважать.

— Я, — гордо ответила Варя.

— Что "ты"? — переспросил дядька.

— Я. Я написала.

За столом повисла пауза. Взрослые дружно уставились на девочку на табурете с голубой тетрадкой в руках.

— Вот шутница! — захохотал дядя Боря и погрозил ей пальцем. — Ну, шутница! Я, говорит, написала!

Его смех подхватили остальные. Дети тоже смеялись вслед за взрослыми.

Варя, по-прежнему стоя на табурете, никак не могла понять, отчего всем так весело? Что смешного в таком грустном рассказе?

— Так кто его написал? — дядька потянулся за очередным пирогом.

— Говорю же вам — я! — Варя, наконец, слезла с табуретки.

Рука дядьки застыла в воздухе. Он, передумав брать пирог, отчего-то взял в руки салфетку.

— А вот врать нехорошо, девочка моя. Ты не могла написать этот рассказ. Это слишком хорошая, профессиональная проза.

— Но это я его написала! — едва сдерживая слёзы, воскликнула Варвара.

— Я ещё раз повторяю, — голос дядьки стал холодным и чётким, а глаза — застеклёнными, как балкон деда. — Врать нехорошо, а в данном случае это преступление. Ты молодец, выразительно прочитала рассказ. Мы за это похвалили тебя. А теперь всё же сознайся, что рассказ написала не ты. Обещаю, — дядя Боря окинул взглядом сидящих за столом, — мы все забудем про это недоразумение.

— Да, дочь, — поддержала двоюродного брата мама Вари Елена, — нехорошо обманывать.

— Да почему вы мне не верите? — Варя, наконец, расплакалась.

— Отстаньте от ребёнка, — не выдержал дед Михаил. — Может, она когда где-то прочитала про животное или птицу, про то как ним издевались, и вдруг увидела мальчишку с камнем и... как это... Воспроизвела.

— Да ничего я не читала! Это я написала! — И Варя, бросив тетрадку, со слезами выбежала из гостиной.

Запершись в кладовке, примыкающей к комнате, где происходило торжество, прислонив ухо к холодной стене, девочка слышала, как взрослые ещё какое-то время обсуждали её рассказ.

— Кто же автор? — не унимался дядька. — Интересно...

— Может, Пришвин? Или Бианки, — “от фонаря” предположила тётя Лара, жена дяди Бори.

“Сама ты Бианки! — прошептала Варя. — А ещё понос и золотуха”.

— А сильно написано! — другой дядька Варвары — дядя Ваня — зачитал небольшой кусочек произведения. — “Говорят, голубь — птица мира. Только отчего глаза у этой живой птицы безжизненные? Вы только присмотритесь, и сразу увидите её неподвижный, мёртвый глаз. Но это не значит, что нужно вообще умертвить птицу, закидав её камнями”.

— Не знаю, кто это написал, ни у Пришвина, ни у Бианки я не встречал подобного, но не семилетняя девочка, это точно, — попытожил дядя Боря, — а главное, упорствует в своём обмане. Нехорошо это, Лена, — он обратился к матери Вари, — нехорошо. Обрати, дорогая, внимание. Зло надо искоренять на корню. А то потом разрастётся, хуже будет... И начинать нужно вот с таких мелочей.

— Так что же делать, Боря? Сам же видел, не признаётся в обмане.

— Высеки, — хладнокровно сказал брат Елене.

— Да как же! — всплеснула руками мать Вари.

Однако дядя Боря уже переключился на другую тему, он принялся рассказывать анекдот:

— “Скажите, почему, заполняя анкету, вы написали, что у вас нет детей? У вас же их четверо!” “Ох, разве ж это дети? Это же сволочи!”

Варвара, сидя в душной кладовке, переполненной верхней зимней одеждой, пахнущей нафталином, видела, как мимо неё куда-то вдаль проплывал красивый принц на белом единороге.

А в гостиной тем временем продолжалось веселье. Гости переключились на песни и начали с любимой дяди Бори:

*Как-то шёл сатана, сатана скучал,
Он к солдатке одной постучал.
Говорит, я тебе слова не скажу,
Говорит, просто так посижу,
Отдохну, говорит, слова не скажу,
Просто рядом с тобой посижу...*

Варя, сидящая неподалёку от подсудимых, видела, что Юсуфов что-то постоянно бормочет, и как она ни прислушивалась, ей не удалось ничего услышать. Юсуфов же непрестанно шептал разные заговоры. Выучить их его заставила тёща. “Пришёл я на суд, раб Божий Алексей, как в гости. Тело моё, как кости, кровь моя, как смола. Судить судьям меня нельзя. Руки бы у них не поднимались, уста не разевались. Отними, Господь, судьям руки, ноги и язык. Аминь”.

Секретарь судебного заседания Светлана Мадера доложила о явке лиц, после чего председательствующий судья Позвонкова принялась знакомить участников заседания и присутствующих с общими условиями судебного разбирательства. Борис Андреевич время от времени разглядывал зал, думая о поездке в Каталонию.

— Что это за флаг? — обязательно спросят друзья, рассматривая жёлтое знамя с четырьмя красными полосами.

— Саньера? — небрежно переспросит Рогачёв. — Так каталонцы свой флаг называют. Это всадники в красных костюмах, отправляющиеся стройными рядами сквозь солнечную зрелую пшеницу... А эта саньера с белой звездой в синем треугольнике — знамя борцов за каталонскую независимость.

Борис Андреевич давно мечтал побывать в Каталонии, в её столице Барселоне, в идеальном городе архитектора Гауди. Подумать только! Храм Святого Семейства гениальный Антонио начал строить аж в 1882 году и сегодня, в 1997-м, собор ещё не достроен.

В зал вошёл человек в лёгком темном плаще и чёрной широкополой шляпе с высокой округлой тульей, вогнутой сверху. Человек, осмотрев зал, остался стоять у двери, несмотря на то, что пустых мест было предостаточно.

“Весьма оригинально! — Адвокат внимательно всматривался в незнакомца. — Вообще-то по правилам этикета в помещении, любезный, принято снимать шляпу!”

Однако незнакомец, наоборот, надвинул свою акубру на лицо, тем самым почти скрыв его. В какой-то момент он, вероятно, поприветствовал кого-то из знакомых, поскольку слегка приподнял шляпу.

“Ишь ты, хорошим манерам обучен. Что ж, галантность и вежливость всегда актуальны, — Рогачёва все больше занимал этот персонаж, — интересно, кто это? Знакомое лицо...”

Кажется, больше никого из присутствующих, кроме Бориса Андреевича не интересовал человек в шляпе. Все были вовлечены в судебное разбирательство.

Судья устанавливала личности подсудимых, сначала Кичигова, потом Юсуфова. Обычные вопросы: фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, владеете ли русским языком, на котором ведётся судопроизводство, и прочее.

Кичигов отвечал бодро, уверенно, безбоязненно. Юсуфов мямлил, переспрашивал, не мог сосредоточиться на простейшем. Усевшись на место, он вновь принялся бормотать свои заговоры.

Позвонкова объявила состав суда и других участников судебного разбирательства. Государственным обвинителем по данному делу был назначен Роквой Степан Анатольевич, люто ненавидевший Рогачёва.

Борис Андреевич обычно общался с Роквым сдержанно, но то и дело усмешка мелькала на лице адвоката. Прокурор при очень маленьком росте был о себе чрезвычайно высокого мнения. “Я человек большой, только маленький”, — кричало всё его существо. Ещё будучи юношей, Роквой отчётливо понимал, что не добьётся авторитета кулаками, поэтому все силы бросил на учёбу, дабы в дальнейшем снискать славу великого юриста. Он должностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу, при фамилии которого трепетали все, считая “зверем”, отчего-то каждый раз менжевался, говоря уголовным жаргоном, адвоката Рогачёва.

Бесцветные губы прокурора кривились в полуулыбке, если он узнавал о предстоящей схватке с Рогачёвым в зале суда.

— Посмотрим, посмотрим, — зло шептал Степан Анатольевич, — кто кого.

Сколько бы он ни готовился, сколько бы ни репетировал перед зеркалом, всё равно внутренний страх и неуверенность, поселившиеся однажды в его душе, одерживали верх. Роквой на суде отгораживался незримой стеной от адвоката, представлял его на унитазах, с кнопкой на животе, как у Карлсона, — ничего не помогало. Это отнюдь не забавляло прокурора. Похоже, что

реноне Рогачёва как сверхъестественного адвоката ничто было не в силах помешать.

К тому же Рогачёв ратовал за абсолютно правильное употребление и произношение слов. В этом он слыл педантом. Роковой же то и дело неправильно делал ударение в некоторых словах, хотя это было обычным делом для работников его сферы. Приговор вместо приговора, осужденный вместо осуждённый. Каждый раз, слыша ошибочное ударение, Рогачёв иронично вскидывал бровь, как бы говоря: “Ратуете за соблюдение законов? Почему же в элементарном нарушаете?”

Однажды, сделав подряд ряд словесных ошибок и видя реакцию адвоката, прокурор то и дело стал оговариваться.

— Наука юриспруденция, то есть юиспруденция, — Роковой покосился на Рогачева, — юис... юисперденция, — наконец выговорил он, после чего в зале заседания наступила тишина, а затем громкий хохот. Смеялись все, даже судья. Не смеялся только адвокатишка. Он снисходительно смотрел на прокурора, даже с некоторой жалостью: “Дурачочек ты этакий!..”

Вот и сейчас Степан Анатольевич внутренне ждался, зная, что предстоит схватка с Рогачёвым. Он выдохнул, зачем-то мысленно произнёс раз пять несчастное слово “юриспруденция” и, снова выдохнув, принял важный прокурорский вид.

А в это время судья Позвонкова монотонно разъясняла подсудимым Кичигову и Юсуфову их процессуальные права и обязанности. Затем она принялась таким же одинаковым голосом, как и ранее, разъяснять теперь уже потерпевшим их процессуальные права и обязанности.

Когда все формальности были исполнены, наконец, объявили об окончании подготовительной части судебного разбирательства и начале судебного следствия.

Роковой встал из-за стола, вытянулся, затем, растопырив пальцы, опёрся на них и, чуть наклонившись, изложил предъявленное обвинение подсудимым. Он говорил чётко, отрывисто и грозно, будто едва сдерживал гнев, готовый вот-вот вырваться наружу.

От Вариного зоркого взгляда не ускользнуло, как прокурор во время речи посматривал на её дядьку. Ей показалось, что откровенно дерзко.

Затем, после ряда вопросов судьи к участникам процесса, начался допрос подсудимых. Рогачёв, пока допрашивали Кичигова, не сводил глаз с человека в шляпе. Он уже начинал его раздражать, поскольку Борису Андреевичу, как бы он ни силился, никак не удавалось вспомнить, кто он и откуда. Это воспоминание отбирало силы и не позволяло настроиться на нужную волну.

“Да сними ты шляпу, наконец!” — Рогачёв был убеждён, что, сними незнакомец шляпу, он узнал бы его в миг.

— Вот ведь как, всё дело в шляпе, — пробормотал Борис Андреевич.

Навряд ли слышал эту реплику прокурор, но отчего-то он повернулся к адвокату и пристально посмотрел на него.

“Кто же это? Ну, кто же?” — не унималась память Рогачёва. У неё имелось одно отличительное свойство — не могла успокоиться, пока не вспомнит того, что ей нужно. И сместить акцент она тоже не желала.

Пообещав при первой же возможности придушить этого в шляпе, Рогачёв с трудом вернулся к процессу, поскольку начался допрос его подзащитного. Вернуться-то к процессу он вернулся, но слушал, что происходит на судебной арене, крайне рассеянно, по-прежнему косясь на незнакомца.

Тем временем судья разъясняла Юсуфову, что активное содействие установлению истины по уголовному делу, изобличение других соучастников преступления признаётся судом обстоятельством, смягчающим наказание.

Юсуфов кивнул, но тут же поправился, подобострастно произнеся: “Да, конечно, ваша честь!”

Судья Позвонкова предоставила подсудимому возможность дать показания. Подсудимый Юсуфов говорил тихо, вкрадливо, опустив голову. Судья, поставив локти на стол и подперев лицо ладонями, явно скучала. Она всем своим существом показывала, что, мол, вижу я тебя, дорогой, насквозь, не первый день тут сижу. Прикидываешься бедным барашком, а сам волк

матёрый. Не проведёшь меня на мякине, шкура серая. Она даже не удивилась, когда Юсуфов пустил слезу. Равнодушно зевнув, судья тряхнула головой, словно разгоняя сон, затем, сцепив пальцы в замок, принялась разглядывать свой маникюр.

Когда Юсуфов закончил, Позвонкова обратилась с вопросом к защитнику:

— Имеете ли вы вопросы к подсудимому?

— Да, ваша честь. — Борис Андреевич через силу оторвал взгляд от человека в шляпе. — Имею. — Он встал.

“Чёрт, а какие я имею вопросы?” — пронеслось у него в голове. Рогачёв, выпитив нижнюю губу, немного помолчал.

“Что-то новенькое, обычно вы стремительны!” — усмехнулся прокурор, тогда как Борис Андреевич собирался с мыслями.

— “Эти глаза напротив — калейдоскоп огней...” — неожиданно пропел Рогачёв красивым поставленным голосом.

В зале запереглядывались, писавшая Мадера опустила ручку, а судья и прокурор, вытаращив глаза, с изумлением смотрели на защитника Юсуфова.

В этот момент человек в шляпе встал, посмотрел на Рогачёва с какой-то особой злостью и вышел из зала.

“Это же Ободзинский! Точно! Он! Без сомнения, Ободзинский, — Рогачёв уставился на закрытую дверь, через которую только что вышел певец. — Какого рожна он тут...” — однако не время было вдаваться в расследование, поскольку и судья, и прокурор так и сидели с выпученными глазами и ждали объяснений.

— Это любимая песня жены подсудимого Алексея Юсуфова, — с особой значимостью проговорил защитник и указал жестом руки на стройную женщину в зале.

Одновременно подёрнулись брови судьи и прокурора. И вообще мимика что одного, что другой были предельно зеркальны.

— За несколько дней до драки супруги крупно поссорились. Они даже подали заявление о расторжении брака в соответствующие органы, причём инициатором была жена подсудимого Юсуфова. — Рогачёв вздохнул. — Двадцать пятое апреля — день рождения Алёны Кирилловны Юсуфовой, разумеется, Алексей Зуфарович, подсудимый Юсуфов, любящий жену крепко и навсегда, решил устроить праздник жене. Он жаждал примирения и потому очень расстарался.

— Я спросила: имеются ли у вас вопросы? — Судья резко наклонилась вперёд.

— Вот в связи с этим обстоятельством и вопрос. — Рогачёв повернулся к своему подзащитному и медленно, почти по слогам, произнёс: — Валерий Ободзинский, известный певец, кумир вашей жены, несмотря на другое поколение. Так?

От неожиданности лицо Юсуфова стало одного цвета с волосами — белого. Он убыстренно заморгал ресницами, глядя на адвоката покорным и безучастным взглядом.

— Скажите, — продолжил Рогачёв, — вам удалось договориться с певцом приехать на день рождения вашей жены и спеть для неё? Вот, собственно, мой вопрос, ваша честь. — Защитник посмотрел на Позвонкову.

Юсуфов не знал, что ответить. Он и певца-то такого, кажется, не слышал. Подсудимый горестно вздохнул.

— Судья по вашему обречённому вздоху — нет.

Юсуфов ещё раз вздохнул и опустил голову.

— Конечно, нет. — Рогачёв повернулся лицом к судьбе. — Слишком большая сумма была затребована из Москвы. Но мой подзащитный, готовый на всё ради любимой женщины, занял деньги под значительный процент, своих сбережений у него не хватало.

— Я протестую, — громко выкрикнул государственный обвинитель. — Где вопросы?

— Протест принимается, — Позвонкова сурово посмотрела на защитника. — Ещё к подсудимому есть вопросы?

Рогачёв принялся спрашивать. Варя даже не вникала в них. Она внимательно смотрела на дядьку, вернее, на его плавные и уверенные движения. Что-то магическое сквозило в них, потому как Варя внезапно захотела спать. “Скорей бы всё закончилось”, — подумала она, вяло зевая.

Настала очередь прокурора задавать вопросы, и девушка встрепенулась. Чтобы окончательно избавиться от сонливого состояния, с силой потёрла уши. Когда её вызовут для дачи свидетельских показаний?

— Какие новые подробности всплывают! — послышались нотки сомнения в голосе Рокового. Его ехидный взор устремился на подсудимого Юсуфова.

— Судебное следствие не является повторением предварительного следствия, — напомнила судья, кинув беглый взгляд на часы на столе. — Это самостоятельное исследование всех фактических обстоятельств дела, осуществляемое независимо от предварительно собранных в ходе расследования материалов.

Роковой нехотя кивнул, мол, знаю я, чего мне, прокурору, объяснять прописные истины этой самой юрисп... Он мысленно чертыхнулся.

Затем вопросы подсудимому задавали потерпевшие, то есть Астаховы и Ваня Демидов. Вопросы были примерно такие же, как и к Кичигову.

— Как можно? — Ира Астахова кивала на битую голову мужа.

— По существу, — поправляла её судья.

После дополнительных вопросов пришло время очередного допроса потерпевших. Им предлагалось дать показания об известных им фактических обстоятельствах данного уголовного дела. Астаховы и Демидов подробно и несколько утомительно рассказывали о том, как всё произошло. Разумеется, их показания в точности совпадали.

Когда разобрались с потерпевшими, настал черёд свидетелей. Первой вызвали Варвару Смородину. Она в обтягивающей джинсовой юбке, в сапожках на каблучках, эффектно, покачивая бедрами, лёгкой походкой прошла к указанному месту. Судья предупредила её, что за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель Смородина несёт ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 УК РФ.

Варвара понимала всю ответственность своего положения. Она знала, что её выступление свидетелем играло важную роль в судебном процессе и от её показаний, возможно, зависело, сядет ли за решётку невиновный человек или накажут преступника.

Смородина, несколько волнуясь, но всё же чётко, без запинки, рассказала о произошедшем полгода назад в Страстную субботу, вернее, в ночь с пятницы на субботу. У неё до сих пор перед глазами мелькали картины того ночного кошмара. Поэтому, не прерывая цепь произошедших событий, свидетельница выглядела очень убедительно. На дядьку, сидящего с каменным выражением лица, Варвара старалась не смотреть.

— Ответьте, свидетель по делу гражданка Смородина, — сказал адвокат ответчика, — сколько было времени, когда произошло событие, о котором вы только что нам поведали?

— Я уже говорила в самом начале, — пожала плечами Варвара. Её задели слова “гражданка Смородина” из уст близкого родственника. — Ориентировочно в два.

— В два ночи. Скажите, а вы всегда в два часа ночи разгуливаете по улице?

— Нет.

— А что вы обычно делаете в два часа ночи?

— Обычно сплю.

— Почему же в ту ночь, с двадцать пятого на двадцать шестое апреля вы, вопреки своему обычаю, не спали?

— Это был особый случай. Мы возвращались с друзьями со дня рождения.

— Вас клонило ко сну?

— Нет.

— Отчего? Вы ведь привыкли в это время спать.

— Не хотелось.

— Вероятно, не хотелось потому, что вы были в возбуждении, как и ваши друзья?

— Ну да. — Варя казалось естественным, что говорил защитник Юсуфова. — Мы же возвращались с праздника. Нам было весело. Мы шли, смеялись, что-то вспоминали и никого не трогали, а на нас...

— Сейчас не об этом, — остановил её Рогачёв. — Во сколько начался ваш праздник? К какому времени вы были приглашены к братьям Карасёвым?

Варя задумалась.

— В пять, кажется. Да, в пять. Но многие опаздывали, поскольку пятница — рабочий день, поэтому начали примерно в шесть.

— То есть праздник продолжился с шести вечера до двух часов ночи?

— Мы четвером ушли из гостей где-то в начале второго.

— Получается восемь часов. Целая рабочая смена!

— Получается так...

— И что вы делали все эти восемь часов?

— Как что? А что делают на дне рождения? — удивилась Смородина. — Отмечали.

— Как? — Рогачёв подошёл как можно ближе к свидетельнице. — Как? — повторил он вопрос, бесстрастно глядя на неё.

“Как, как... Жопой об косяк и головой об стенку”, — так и хотелось ответить Варя. Чего он какие-то глупые вопросы задаёт? Как отмечают день рождения? А то он не знает, как их отмечают?

— Вам по минутам расписать? — с вызовом ответила она.

— Нет, в общих чертах.

— В общих чертах... — обмолвилась она и поспешила исправиться: — В общих чертах, поздравляли, произносили тосты, ели, пили, танцевали. Развлекались, одним словом.

— Значит, восемь часов пили.

— Почему только пили? — возмутилась Смородина. — Я же перечислила. Ещё в фанты играли и не только...

— Сколько было выпито за вечер?

— Кем?

— Лично вами и остальными.

— Мной лично не много, за остальными я не слежу.

Варе стали надоедать какие-то несущественные вопросы адвоката. К тому же ей снова захотелось спать. Она едва сдерживала зевоту.

— Вы и ваши друзья восемь часов провели за столом. Вечер пятницы и начало субботы. Нас интересует вопрос, сколько было выпито за это время?

— В пятницу... — Варя покраснела, — то есть я хотела сказать в пятницу... Я хотела сказать в пятницу... А что я хотела сказать в пятницу?... — Она вновь покраснела. Что такое? Почему стали путаться мысли?

— Ясно. — Рогачёв скрестил руки на груди.

Что ясно? Ничего не ясно!

— Повторите вопрос, пожалуйста. — Варя зло взглянула на дядьку.

— Как много было выпито спиртного за пятницу и субботу?

— Да нет же! — Варвара посмотрела с мольбой на судьбу. — Мы не пили два дня! И вообще пили немного! Жена одного из именинников Ольга была на восьмом месяце беременности, даже почти на девятом.

— А сколько было приглашённых?

— Двадцать пять, — без заминки ответила Варя. — Братьям исполнилось по двадцать пять, вот они и пригласили двадцать пять гостей.

— Закуски было немного?

— Почему? — удивилась Смородина.

— Вы же сами сказали, хозяйка дома на девятом месяце беременности. Гости двадцать пять человек. Довольно сложно наготовить на такое количество человек в таком-то положении. То есть пить пили, а почти не закусывали. И это на протяжении...

— Нормально было с закуской! — вспыхнула Варя.

— Из вышесказанного можно сделать вывод, что четверо изрядно выпивших молодых людей, плохо закусывающих, но употребляющих алкоголь на протяжении всего вечера пятницы и нескольких часов субботы, находясь в сильном возбуждении, ночью на пустынной улице встретили одиноко идущего человека.

Он чё, охренел? У Вари перехватило дыхание. Какие изрядно выпившие, какое сильное возбуждение?

— Мы не были сильно пьяны... пьяны!!! — выкрикнула Варя. Ей показалось, что судья посмотрела на неё с осуждением. — Мы не были сильно пьяны, — более тихо повторила она, — мы вообще не были пьяны.

Однако Рогачёв, не слушая её, продолжал:

— Даже самому смелому человеку будет не по себе, встретиться он в тёмном переулке с сильно выпившей компанией, которая гогочет, что-то кричит, размахивает руками, матерится.

До Вари, наконец, дошло, к чему клонит адвокат. Глазами, переполненными ненавистью, она зыркнула на дядьку. Затем перевела взгляд на судью. Варя ждала её поддержки, но не получила. Тогда она с жалостью посмотрела на прокурора. Отвечая на вопросы, она вообще забыла о его существовании. Роковой был крайне сосредоточен. Его занимала мысль, что Смородина, как и он, постоянно оговаривается. Это казалось ему в данный момент очень важным открытием.

Варя оглянулась на своих друзей. Астаховы и Демидов находились в полном недоумении.

— Представьте себе, — услышала она голос Рогачёва, — человек как ни в чём не бывало идёт по дороге. Идёт себе и идёт, мирно идёт. Вдруг ему преграждают дорогу четверо пьяных.

— Позвольте, — пролетела Смородина, — мы с Ириной шли поодаль от наших мужчин. Я же уже говорила это.

— Поодаль? — ласково улыбнулся Рогачёв. — То есть мой подзащитный Алексей Зуфарович Юсуфов встретился один на один с двумя вот этими мужчинами. — Рогачёв кивнул на Астахова и Демидова. — Ваша честь, разрешите, встанут подсудимый Юсуфов и потерпевшие Астахов и Демидов.

Позвонкова кивнула. Почти двухметровый в длину Астахов и почти такой же в ширину Демидов против довольно субтильного Юсуфова, изрядно похудевшего к моменту суда, выглядели как два слона против Моськи, пусть и долговязой. Мда, сравнение не в пользу потерпевших.

— К тому же, как выясняется, при встрече мужчин ни потерпевшей Астаховой, ни свидетельницы Смородиной не было. Я прав?

Варя кивнула.

— Как же вы, свидетель Смородина, можете свидетельствовать о том, что было, когда вас при этом не было?

Варя брела по вечернему осеннему городу. Люди возвращались с работы, кто поодиночке, а кто и малой группой, при этом что-то громко обсуждая. Они обгоняли её, просили посторониться на узких дорожках. Варя мало обращала на них внимания. Её мысли блуждали вокруг только что отгремевшего судебного разбирательства. В голове царили путаница и неразбериха. “Да как так?” — время от времени возникал этот вопрос. Она находилась в полном замешательстве. До неё ещё не дошло окончательно, что суд они проиграли, что преступники на свободе и что всё было повернуто так, словно это они — Астаховы, Демидов, да и сама Варя, напав на Кичигова и Юсуфова, избили их, а потом ещё и хотели оговорить честных людей. А самое-то главное, всю эту кривду сотворил, как злой колдун, её дядька, Рогачёв Борис Андреевич... Козёл!

Сдержанно попросившись с Варей, Астаховы отправились к себе на дачу, греть душу баней. Ваня Демидов спешил на завод во вторую смену. Проводить Варю он никак не успевал. Кстати, Астаховы тоже не предложили ей поехать с ними на дачу, раздражённо бросив в её сторону:

— Спасибо. Ну, и родственничек же у тебя!

Да и ладно! Обойдётся она и без них.

А дядька хорош! Словно и не было тех лет, когда он ногой открывал дверь их жилья и становился самым дорогим гостем.

— Ну что, Варя-вареник, когда будем вареники есть? — обычно смеялся он, завидев маленькую Варю.

Вот и съел он сегодня Варю-вареник и не подавился, не лопнул. Скотина, скотина, скотина! Сто раз скотина! Варя от злости подошла к тёмному забору и пнула ногой нижнюю железную перекладину. Пинок отозвался болью в большом пальце, отчего злость троекратно усилилась. Пойти плюнуть ему в адвокатскую рожу и сказать: не отмывься тебе никогда, гадина!

Её отвлѣк сигнал машины.

— Могу довести, — предложил какой-то парень.

Нет, Варя его не знала. Она молча проследовала дальше.

— А можно с вами познакомиться?

Варя молчала.

— Девушка, а девушка?

Варя наклонилась, подобрала камешек и очень по-недоброму взглянула на парня в машине:

— Сейчас как дам по морде! — замахнулась она.

— Дикая, что ли?! — качнул головой незнакомец и нажал на педаль газа.

— Вот и познакомился, — усмехнулась Варя.

Сколько посулили денег эти ничтожества её дядьке? “Деньги прожрут-ся, а стыд останется” — так, кажется, говорила незабвенная Фаина Раневская? Хотя разве понятие стыда ему знакомо, этому адвокатишке? Недаром слово “адвокат” начинается с ада. В аду ему гореть, адвокату этому! Варя шла и представляла, как тысячи чертей жарят его на огромной сковороде, повторяя:

— В общих чертах, в общих чертах...

Отчего-то и ей стало жарко, она расстегнула пуговицы пальто, сняла вязаный шарф.

Откуда-то взялась ещё одна свидетельница. Какая-то тётка видела из окна, как Ирка охаживала Юсуфова палкой, а Ваня бил Кичигова. Хотя так оно и было, но это же не начало драки!

— А если вы видели драку, то почему не вызвали милицию? — с места громко спросил Вовка Астахов, на что ему судья сделала замечание.

— Я потом несколько дней уснуть не могла, — жаловалась свидетельница, — а я сердечница, между прочим. — И она деланно хваталась за сердце, вернее, за обмякшую грудь, причѣм правую. — А ещё аккуратно Валерочка Ободзинский в те дни помер, по радио объявили. Так вообще, думала, сердце выскочит из-за рѣбер. Кстати, ему скоро будет полгода, как он того. — Тётка посмотрела в потолок. — Накануне Пасхи отдал Богу душу, вот ведь как. Значит, все грехи с него списаны. — Она всхлинула. — А бывало, мы так заслушивались его песнями...

Потом в пламенной речи защитничек Юсуфова говорил о том, что поэто-му-то певец и не мог приехать двадцать пятого апреля, поскольку, скорее всего, плохо себя чувствовал, а на следующий день так вообще умер. Но Юсуфов ведь думал, что приедет! Собрал огромную сумму денег, пообещал жене встречу с её кумиром, позвал гостей отмечать день рождения своей любимой. Все находились в предвкушении встречи с Ободзинским, ждали его, как первую звезду перед окончанием поста. Шутка ли, такой человек, пусть и давно популярный, должен в их неказистый городок нагряться! Все обнимали Алексея, завидовали его предприимчивости. Алѣнушка, жена, светилась, как новогодняя ёлка, от счастья, глаза блестели. Сама до дня рождения сбегала забрала заявление о разводе и порвала его на мелкие кусочки. Весь вечер только и звучали песни Ободзинского. “Льет ли тёплый дождь...”, “Подожди, подожди, я прошу, может быть, ничего снова не скажу...”, “Эти глаза напротив...”

— И, наверное, нетрудно представить, что чувствует человек, когда в это самое время ему звонят и говорят: извините, певец не приедет. И всё, даже причину не пояснили. Не приедет — и точка. Кто же знал, что ему, сердечному, нездоровилось? Что последние часы доживал великий человек?..

Кумир миллионов, целого поколения. Эх, будут ли такие певцы ещё... — сокрушался Рогачёв.

Так вот. Пришлось сказать, что Валерий Ободзинский не приедет. Как? Почему? Гости были расстроены. Больше всех, разумеется, Алёнушка-именинница. Она в отчаянии. Плачет, бедняжка. Когда приступ подавленности прошёл, накатил приступ гнева.

— Ты, ты негодяй, — задыхаясь, сказала Алёна мужу, — шутить над святыми вещами!

— Я не шутил, — пробовал оправдаться несчастный.

— Как ты посмел так разыграть всех нас? — наступала на него жена, а следом и свора гостей. — Клоун! Паец!

— Я не разыгрывал! Он обещал, но не смог! Мало ли что у человека случилось? Обстоятельства, быть может...

— Ненавижу, — кричала жена, — ненавижу!!! Ты, как всегда, в своём репертуаре! Ты врешь, ты не умеешь ничего, жалкий, ничтожный человечко!

Так и сыпала она ему тяжёлыми для его чистой любви понятиями...

— Господи, за что? — прошептал Алексей, когда она ударила его по лицу.

— За твоё враньё! За позор, что придётся мне терпеть вместо счастливого дня рождения! Прощай, подонок, уходи и не смей возвращаться. Между нами всё кончено, — сказала ему потенциально бывшая жена уже с сухими глазами.

И Алексей ушёл в ночь. Разбитый и несчастный. Хорошо, что нашёлся верный друг. Кичигов опрометью бросился за бедолагой, прихватив бутылку пива. Заметьте, пива, не водки, не какого другого спиртного. Он, может, вообще бы воды взял, просто некогда было искать, что было под рукой, то и прихватил.

— И эта бутылка с пивом, заботливо принесённая другом, спасла, быть может, жизнь моему подзащитному. Стоило Кичигову на секунду отлучиться, как перед печальным Алексеем возникли двое из ларца — озлобленно пьяных, взбодороженных человека. Наверняка, они ему что-то сказали дерзкое. Алексей помнит, как в руке одного сверкнуло что-то стальное, он подумал — нож! Потом, как оказалось, опора, с которой ходил Демидов из-за травмы. И ударил-то он Астахова, защищаясь. Он не желал, чтобы вновь ему сделали больно в этот вечер. Хотя куда уж больнее может быть, если тебя отвергает любимая женщина, для которой ты готов на всё.

— Абсурд какой-то! — Астахов встал с места.

На него все зашикали, а судья вновь сделала предупреждение, да таким ненавидящим голосом, что Вовка сразу понял: дело труба.

Токареву, адвокату Кичигова, только и оставалось подтвердить сказанное коллегой Рогачёвым. Да и Кичигов-то вообще не при делах оказался. Вышел из-за кустов, куда ходил по нужде, видит: друга колошматят, он за други своя и вступился.

— Кстати, — добавил Рогачёв, — Юсуфов с женой помирились, когда стало известно о смерти певца. Тут уж она Алексея простила. В итоге, как ни крути, а великий певец причастен к данному событию, может быть, даже и является виной всему, пусть и косвенной. А поскольку он теперь в могиле, земля ему пухом... Эх, будет ли ещё на земле российской такой певец... — горестно выдохнул Рогачёв.

А Каталония уже всюю подмигивала ему единственной звездой на флаге сепаратистов.

Оставшуюся часть суда все с явным одобрением смотрели на подсудимых, особенно на Алексея Юсуфова. Какая любовь! Про такую в книжках пишут, кино снимают. Разве бывает она в жизни? Оказывается, бывает. Женщины в зале кто с завистью, кто с осуждением смотрели на Алёну Юсуфову, вмиг ставшую прицелом для всех без исключения. Надо же, и имена-то как схожи, Алексей — Алёна, але-алё... Даже красавица секретарша Мадера время от времени бросала суровый взгляд на Алёну Юсуфову, разглядев в ней, быть может, соперницу.

Но больше всего поражало Варю, что все, в том числе и она, находились под влиянием этого страшного человека, её близкого родственника. Как он лихо управляет судьбами! Этаким распорядителем человеческих душ. И куда Бог смотрит? Варя подняла глаза к небу, серому и монолитному. Не удержалась и показала язык. Может, увидит дерзость её и обратит внимание на всё это безобразие?

Разумеется, Рогачёв был доволен процессом. Каталонский флаг, можно сказать, уже в его руках, осталось съездить за ним. Как раз на те денежки, что заработал на сегодняшнем дельце.

— А ведь могли бы к Ободзинскому уплыть в своё время, — хихикнул Борис Андреевич.

Ясное дело, никакого Ободзинского в помине не было. Вернее, певец-то такой был, пел, даже очень неплохо, очаровывал публику и умер, оказывается почти полгода назад. Кстати, об этом Рогачёв узнал только сегодня, и то в зале суда. А Юсуфов, конечно же, бестолочь, не мог понимающее лицо сделать, когда он, адвокат всех времён и народов, начал свою игру. Блефовал, разумеется, но куда без этого?.. Крепости надо не штурмом брать, а смекалкой и обаянием. Да, Алёша Юсуфов и певца-то такого не знал, как выяснилось потом. Это мамам и папам детей его поколения бошки сносило от Валерия Ободзинского, а почему тогда Алёна любила его? Да вовсе не любила, поди, зато как полюбит с сегодняшнего дня!

Борис Андреевич в частной беседе строго-настрого наказал Юсуфову внимательно следить за ним, за тем, куда он ведёт свою мысль, если, конечно, не хочет смотреть на свободу по другую сторону решётки.

— В случае если чего-то не знаешь или не понимаешь, просто вздыхай, отводи глаза. Актёрствуй, одним словом, — наставлял своего подзащитного Рогачёв.

После суда в коридоре к нему подошла Светочка Мадера. Секретарша, поздравляя с успехом, смотрела на него влюблённым взглядом.

— Как поживаешь? — Рогачёв поцеловал Светлане руку с широким, во всю фалангу, обручальным кольцом. Ширина кольца пропорциональна величине любви. — Как Бормотухин, орёл?

— Орёл-то орёл, но не мужик... — печально усмехнулась она.

В этот момент из конца коридора в их сторону шёл тот самый мужчина в чёрной шляпе. Рогачёва аж выпрямило. Ободзинский не умер? Значит, вместо него умерла Каталония... А что он здесь делает?! Однако через мгновение стало понятным: Каталония жива, поскольку этот человек, ну, несколько не походил на певца. Мужчина слегка приподнял шляпу и кивнул головой в знак приветствия, а затем чинно проследовал дальше. Рогачёв задумчиво смотрел ему в спину.

— Может, сегодня чего-нибудь отчебучим? — Мадера прищурилась. — Как в старые добрые времена.

Рогачёв вскользь оглядел её фигурку в зелёном сдержанном платье.

— Почему бы и нет, — подмигнул он секретарше. — Только давай не сегодня. Выберем денёк. — И он зашагал по коридору в ту же сторону, куда направился человек в шляпе.

Рогачёв не успел зайти домой, как раздался телефонный звонок. Он в ботинках, под укоры вышедшей в прихожую жены, взял трубку.

— Аллю, — важно произнёс он.

— Козёл ты, понял! Учти это!

— Ладно, учту! — засмеялся Рогачёв. Подобные выпады случались частенько, но сегодня его это не рассердило, а, наоборот, раззадорило. — Что-то ещё?

— Да! Ещё: про голубя я сама написала тогда. Сама. Ясно? — И в трубке раздались короткие гудки.

Про какого голубя? Кто написал? Рогачёв снял ботинки и протопал на кухню, где, судя по запаху, его ждал превосходный ужин, вдобавок с любимыми вишнёвыми варениками.

— Бессовестный! — Лариса в сердцах резко отодвинула тарелку, да так, что та со звоном стукнулась об кувшин.

Рогачёв, нахмурившись, смотрел на жену.

— Бессовестный! — повторила она и встала из-за стола.

— Мне не нравится, когда моя жена говорит со мной в таком тоне, — тихо, но внятно проговорил Рогачёв. Он тоже отодвинул тарелку.

— А мне не нравится, когда мой муж поступает, как последний подонок!

— Молча-ать! — завопил Рогачёв и ударил со всей дури кулаком по столу. Вилки и ложки подпрыгнули и со звоном плюхнулись обратно в тарелки.

Лариса испуганно смотрела на мужа.

— Ну, чё ты уставилась? — Борис откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Когда он открыл их, она по-прежнему, не меняя ни позы, ни выражения лица, нависала над ним.

— Да сядь ты хотя бы, — хрипло произнёс он, — вот колосится-то.

— Ты дрянь, мерзавец, а ещё...

— Твоему папе не понравилось бы, как выражается его дочечка.

— Что ты вечно привязываешься к моему отцу? Чуть что: папа, папа! Что тебе плохого сделал мой отец?

— Тебя.

Лариса со слезами на глазах вылетела из кухни. Борис слышал её яростные всхлипывания, но он как ни в чем не бывало, подвинув к себе тарелку, ел тёплые вареники. Зачем он рассказал Ларке про суд? Да так и так узнала бы от двоюродной сеструхи, Ленки Смородиной. Уже, наверное, вся родня в курсе, проклинают его на чём свет стоит. А если разобраться, что он такого сделал? Качественно выполнил свою работу.

Ларке-то чего обижаться? Такие деньжищи в дом приносит. Она только и успевает по салонам да магазинам скакать.

Было слышно, как в спальне с грохотом двигаются ящики комода и неистово хлопают дверцы шкафа. Шмотки, что ли, собирает? Ну, ну... Рогачёв зашёл в спальню. С красным зарёванным лицом Лариса, не глядя на мужа, как попало скидывала вещи в распахнутые сумки. Борис прошёл на середину комнаты, отодвинув ногой одну из них. Лариса, не обращая на мужа внимания, нервно продолжала своё дело.

— Господи, с кем я столько лет жила? С грубым, невоспитанным, самоуверенным эгоистом! — Она кидала колготки, трусы, туфли, платья, косметику в коричневый чемодан на колесиках.

— Ты куда собралась-то? — не выдержал Рогачёв.

Лариса на мгновение отвлеклась от сборов, взглянула на мужа ненавидящим взглядом, хотела было что-то сказать, но передумала.

— Тебе не кажется, что у нас ссора из-за какого-то пустяка? Пустая ссора.

Лариса вновь взглянула на мужа, но теперь с недоумением и только покачала головой.

— А впрочем, я не держу. Катись, куда хочешь. — Борис вышел из комнаты.

“Вот дура-то”, — подумал он, прежде чем погрузиться в новостные программы. Больше сборы жены, да и сам её уход Рогачёва не занимали.

Он проснулся рано утром. Настроение было бодрым и даже каким-то праздничным. Приняв душ, Рогачёв позавтракал вареными сосисками с горчицей. Их пришлось есть с сухарями, поскольку весь хлеб съели ещё вчера, а за свежим, разумеется, сегодня сходить некому.

Убирая со стола, Борис Андреевич кинул взгляд на календарь, висевший на стене. На нем значилось 22 октября, среда. А сегодня уже 24-е! — Вновь недовольный женой, Рогачёв передвинул окошечко на нужную дату.

— “Что день грядущий мне готовит?” — пропел он.

Пятница. Чем бы ее занять? Делами не хотелось. “Для начала пойду, пройду”, — решил он. Давно не ходил по городу просто так, от нечего делать. Мороженое съем или пирожок какой. Хотелось беззаботно болтаться по улицам и обязательно при этом что-нибудь слопать.

На улице было чуть больше нуля. Пасмурно. Хорошего настроения побавилось от первого порыва холодного ветра, а вскоре унылость осенней печали забрала и остатки радости. Мороженого теперь совершенно не хотелось. К тому же зарядил мелкий противный дождь, и стало совсем промозгло.

— Я очень люблю дождь, — однажды сказала Лариса.

— Почему?

— В нём можно спрятать слёзы.

При этом воспоминании стало только холоднее. Пахло мокрыми опавшими листьями.

— Это у вас, иудеев, принято всей роднёй жить, а у нас сказано: да отлепится от родителей... — вспоминал Рогачёв вчерашнюю ссору с женой, когда она упрекала его в том, что он пошёл против племянницы.

— Отлепиться-то ты отлепился от своих, а вот к кому прилепился, — Лариса в упор посмотрела на мужа, — неизвестно!

Чёрт знает что! — Рогачёв пнул валявшийся на его пути камешек.

Как он её не любил! Не любил искусно и даже как-то изоощрённо. Рогачёва об этом знала. Он ей не раз говорил о том.

— И что, что не любишь? — рассуждала Лариса. — Я-то тебя люблю.

Она догадывалась об изменах мужа, но никогда не поднимала эту тему. В ней сидела непоколебимая уверенность, что Рогачёв никогда не уйдёт от неё. Она прекрасная хозяйка, умная, в меру симпатичная. Но даже не это главное. Борис Андреевич всегда поддерживал идею семьи, осуждая разводы своих знакомых.

— Хрен редьки не слаще. — Довольный, он потирал руки, когда узнавал, что приятель и в новом браке становится несчастлив.

Случалось, Рогачёв увлекался. Необузданная звериная страсть переполняла его существо, но через какое-то время всё сдувалось, и от пылкой влюблённости не оставалось и шлейфа.

Все женщины рано или поздно выскальзывали из его души, как бусинки из порвавшихся бус, и разлетались кто куда. Он никогда не вспоминал о них и не думал, кроме одной. И ещё о Тоне. Рогачёв ни тогда, ни теперь не мог определить к ней своего отношения. Что-то очень близкое к любви, но только ещё в зачаточном состоянии.

Мелкопакостный дождичек стал укрупняться. Повсюду распахивали зонты. Рогачёв ускорил шаг, но не в сторону дома.

“Зайду-ка я в рюмочную”, — решил он. Обычно со смехом относившийся к подобным заведениям, Борис Андреевич на сей раз захотел потолкаться среди простого люда.

— Борман, старик! Ты ли это! — перед его носом из-под широкого чёрного зонта радостно смотрел на него старый знакомый, невесть откуда взявшийся.

— Здорово, приятель! — хотел было ответить Рогачёв, перед тем как упасть в дружеские объятия, но, взглянув на спутницу друга, в буквальном смысле потерял дар речи.

Под зелёным с разводами зонтиком стояла Лета.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Нет, конечно, не Лета. Леты давно уже не было в живых.

В тот последний декабрьский день, поссорившись с Борисом, она отправилась навестить подругу детства. Лета ещё в начале декабря взяла у неё журнал “Бурда Моден”, обещая скоро вернуть, но все никак не удавалось. А не удавалось потому, что Вера из их двора переехала жить к своему мэну в частный сектор на окраину города. При их последней встрече подруга, задыхаясь от эмоций, рассказывала Виноградовой о своей новой страсти.

— Это такой мэн! Такой!.. Летка, ты не представляешь!

— Да что же в нём такого? — Лета никак не могла взять в толк.

— Лихой! Так лихачит на своём мотоцикле! А поёт — закачаешься.

А в постели... У...

— А мне сказали, что Верка связалась с уголовником.

— Но это же так пикантно! А вообще, он само очарование.

— Вера, не могу поверить! — Лета не скрывала своего удивления. — Чтобы ты, девушка из высшего общества... — Она усмехнулась. Обычно Вера так сама себя называла. — И с тюремщиком...

— Летка, ну, что за снобизм! Это же так весело. Примерные мальчики мне слишком наскучили.

— А предки?

— В шоке, разумеется.

“Интересно, что за тип?” — думалась Лете по дороге к подруге. По пути она зашла в кондитерский магазин, купила торт, посыпанный орешками. Тут же рядом с магазином пьяненький мужичок продавал еловые ветки. Ветки оказались довольно куцые. Лета, выбрав получше, купила у мужичка три штуки. Обрадованный продавец, схватив деньги, тут же умчался в неизвестном направлении. Оставшиеся ветки россыпью теперь бесхозно валялись в нише окна кондитерского с уличной стороны.

Дом подруги Лета отыскала довольно быстро. Неказистый, однако. Может, она ошиблась? Нет, всё верно, это подтверждала заржавленная табличка с номером на стене. Неожиданно она почувствовала беспокойство, впрочем, оно тотчас же отступило, и Лета решительно открыла калитку.

Что произошло тем трагическим днём, для всех осталось тайной. Почему загорелся дом, неизвестно. Удивительным казалось то, что погибли обе девушки, а собака и сожитель Веры спаслись, причём последнему удалось ещё и часть вещей вынести. Примечательным оставалось то, что возле оставшихся костей нашли и шпильки от волос и пряжки от сапог, не подавленные пламени, а вот золота, которое в таком случае тоже не сгорело бы, при этом не обнаружили. Как известно, а это подтвердила и заходившая к Вере соседка, на девушках были золотые украшения.

Позже ходили слухи, что Верин любовник не раз сидел, а в тюрьме он охотно рассказывал, о том, как убил свою сожительницу и её подругу, а потом снял с них украшения и инсценировал пожар. Подругу любовницы он убил якобы случайно. Между ними возникла ссора, она выдвигалась и оскорбляла его, он не выдержал и толкнул её. Она упала и ударилась виском об острый угол. Любовнику пришлось убрать как свидетельницу. А золото снял потому, что... Ну, не оставлять же его?! Избу поджёт, дабы замести следы. Да и дом-то никудышный уже был, старый, гнилой. Рассказывая о случившемся, сожитель якобы ещё и хвастался, что никто не догадался, что это сделал он.

После ухода однокашников до пьяного Бориса никак не доходил смысл сказанного: “Сгорела”. Как это? Сгореть можно на солнце, сгореть на работе, а где ещё? Может, он не расслышал? Наверное, они имели в виду “перегорела”, то есть Лета к нему перегорела, остыла. Ещё бы! С кем-то же она справляла Новый год! Только необязательно было всех посвящать в это. Ему бы первому могла сообщить... Стерва!

К нему ластилась Надя, они пытались затевать какие-то игры, но прежнего веселья уже не получалось, а вскоре оба забылись глубоким сном.

Утром второго января, как только Борис проснулся, в комнату вошла Надя. Она держала маленький круглый поднос с чашкой. Пахло кофе.

— Мне бы от головы чего-нибудь. — Рогачёв откинулся на подушку. — Башка раскалывается.

— Попей кофе, всё пройдёт. — Надя обошла кровать и встала с подносом со стороны Бориса.

Странное дело, всего ничего знает он эту Надю, а уже даже как-то привык к ней. Борис взял кружку, но не поднос.

Бурда какая-то, а не кофе, — подумал он, отпивая. Бурда! Лета же пошла относить “Бурду” подруге. Сгорела — пронеслось в мозгу.

— Чего там они сказали? — спросил Борис у Нади, отдавая ей недопитый кофе.

— Кто?

— Мишка с Витькой.

Надя посмотрела на него странным взглядом.

Ему что, приснилось? Или с пьяных шар показалось? Да, накирялись они вчера...

— Они что, не приходили? — спросил он осторожно. — Рых с Челябиным и девками?

— Приходил кто-то... — Надя отставила поднос на тумбочку и, изображая кошку, стала довольно пластично двигаться на Рогачёва.

— Так что они сказали? — нетерпеливо переспросил он.

— А мне почём знать? — промурлыкала она. — Чего-то там говорили, а что — не помню. По-моему, дак ничего и не говорили.

“Сгорела”! Вот что они сказали! Борис отстранил Надю и встал с кровати. Его потряхивало. Голова болела нещадно. С понедельника начиналась сессия, сегодня уже пятница.

— Сегодня же пятница, второе? — уточнил он у Нади.

— Если вчера первое было, то сегодня второе.

— А вчера точно первое было?

— Ну да.

— Мне надо в институт сгонять. — Рогачёв натягивал джинсы. — Что-то с сессией не всё понятно, когда начинается, — соврал он.

— Я с тобой, хочешь? — Надя искала глазами свою одежду.

— Нет.

— Я тогда могу тебя здесь подождать. Прибраться всё тут.

Рогачёв замотал головой. Ещё чего не хватало. А вдруг Лета нагрянет? А тут Надя...

Борис внимательно посмотрел на Надю. Обиделась, кажется. А кругом и впрямь бардак. Тоже нехорошо будет, если вдруг Лета придёт.

— Надюша, знаешь, что, — он подошёл к Наде, сидящей на постели, и поцеловал её в макушку, — давай так: если хочешь прибраться, приберись. Но только потом сразу к себе. Я к тебе сам зайду, как освобожусь. Лады?

Надя кивнула в знак согласия.

Ни в какой институт Рогачёву не надо было, и зачем он пошёл в общагу, Борис и сам не знал. Навряд ли там будет Лета. Скорее всего, она или у Волошина, или у брата. При фамилии Волошина его аж передёрнуло. Вот кобель. Ну, я тебе устрою, Игорь Эдуардович, развесёлую жизнь. Ты ещё не знаешь, с кем связался, гнида.

А Лета тоже хороша...

А сам? — встрепенулась его совесть.

Так Надя же уже после была! После того, как Лета не пожелала прийти.

Вахтёрша Поля, самая противная из всех вахтёров мира, отчего-то при виде Рогачёва встала.

— С Новым годом! — буркнул Борис, проходя мимо злобредной тётки в нелепом пушистом берете.

Общаться с кем-либо настроения не было, поэтому ни к кому Рогачёв не собирался заходить, кроме Мишки с Витькой, под предлогом — зачем приходили-то вчера?

Дверь в его бывшую комнату была открыта настежь. Мишка Рых одиноко сидел на кровати и неотрывно смотрел на руку в гипсе. В последнее время он немного похудел, но всё ещё оставался довольно полнотелым мальым.

— Болит? — спросил Борис, минуя приветствие.

Рых не ответил.

“Осуждает, — подумал Рогачёв. — А вообще ему-то какое дело, с кем я? Не собираюсь оправдываться. Ну, и что, что они видели меня с Надей?”

— Так что там с Летой? — как можно равнодушнее спросил Борис.

Мишка перевёл взгляд с больной руки на Рогачёва, однако интонация взгляда не поменялась. Безучастная к происходящему.

— Понимаешь, старик, если вы приходили мне сказать, что у нас с Летой всё конечно, то ошибаешься. Я её так просто не отдам. Ничего у неё ко мне не перегорело. Это ей так кажется. Просто ей наш смазливчик голову заморочил. Но я тот ещё орёл. От меня так просто не уйти. — Рогачёв подмигнул инертному Мишке. — Ну, а то, что я был не один... Это, так сказать,

вытеснение боли от нашей ссоры с Летой. И я прошу на данную тему не распространяться. И девкам своим накажите. Если, конечно, они ещё не донесли.

Мишка продолжал смотреть на Бориса, почти не мигая.

— Что, — насторожился Борис, — уже донесли?

— Кому? — наконец вымолвил Рых.

— Кому? Лете!

— Лете?

— Рых, ты чё? Кому же ещё? Ле-те, — повторил Борис по слогам. — Кстати, ты не знаешь, где она?

— Сгорела.

— Кончай! Не понимаю я ваших шуточек. Что значит “сгорела”?

— “Сгорела” то и значит, что сгорела. Пожар, огонь. Как тебе ещё объяснить?

— Какой огонь, какой пожар? — Рогачёв никак не мог понять, что ему говорит приятель. — Где она?

— Она, — горько усмехнулся Рых, — горстка костей... В морге.

— Зачем она туда пошла, в морг-то? — опешил Борис.

— Ты debil? — заорал спокойный доселе Мишка. — Погибла, умерла, сгорела, нет её!

— Да что ты говоришь-то такое?!

До Бориса тупо не доходил смысл сказанного.

— Она пошла к подруге тридцать первого, там случился пожар. И Лета, и её подруга погибли. — Мишка говорил вполголоса.

— Это она сама вам сказала?

— Боря. — Рых встал с кровати. — Лета Виноградова погибла. Понимаешь? — Он подошёл к приятелю почти вилотную. — Погибла, понимаешь? — повторил Мишка.

Рогачёв ошарашенно глядел на друга, стараясь поймать взгляд, но тот отводил глаза в сторону. Наконец их взгляды пересеклись. Борис смотрел на Мишку, пытаясь найти в его взоре хотя бы долю намека на то, что это неправда, но пронзённое скорбью выражение глаз Рыха не оставляло ни малейшей надежды.

Борис зажмурился. Затем вновь пристально посмотрел на Мишку. Взгляд приятеля оставался прежним. Борис рванул к окну. Одним движением смёл всё с подоконника и дёрнул ручку. Но Рых, среагировав мгновенно, уже висел одной, здоровой рукой на Рогачёве со спины.

— Не дури! Не дури! Борька, не дури!

Борис, не сбрасывая со спины Мишку, бешено дёргал ручку. Окно не открывалось, створки были приколочены одна к другой. Тогда Рогачёв попытался залезть на подоконник и нырнуть в большую открытую форточку, но Рых, сдавив ему горло, стал наклонять на себя. Борис увернулся и оттолкнул Мишку. В этот момент в комнату вошли Витька Челяев и Арсен Арутюнян.

— Держите его, мне одному не справиться! — крикнул Рых.

Втроем они оттащили от окна яростно сопротивлявшегося Бориса. Тот бил их наотмашь, но у его друзей желание спасти человека было сильнее боли, поэтому и сносили безропотно удары бывшего боксёра. Кое-как они повалили его на кровать, завернули руки за спину.

— Он из окна хотел броситься, — переведя дыхание, сказал Мишка приятелям.

— Пусти! Руки отпусти, больно! — Любое движение приносило Борису боль. Толстопузый Витька сидел на нём верхом, да ещё и крепко держал руки, завёрнутые за спину. — Да пусти же!

— Его связать надо. — Арсен оглядывался по сторонам, ища, чем бы это сделать.

— Вы меня всё равно не удержите! — выкрикнул Рогачёв.

— Ты похорони её сначала, — устало сказал Мишка, — у меня у самого из-за тебя рука разболелась.

— Когда похороны? — через какое-то время глухо спросил Борис.

— Завтра, — ответили одновременно трое друзей.

К себе на квартиру парни его не пустили. Да он и не рвался. Там всё будет напоминать о вчерашнем дне, проведённом с Надей, хоть она и обещала прибраться.

Вечер прошёл в безмолвии. Время от времени в комнату заходили ребята и, посидев в тишине, вздыхали и уходили. Борис лежал на кровати, уставившись в одну точку на потолке.

— Держись, старик!

— Сочувствуем...

— Да...

Много нашлось желающих посмотреть на горящего Рогачева. Кто-то хотел утешить его. А некоторые втайне злорадствовали. Борис, если и отрывал взгляд от потолка, то смотрел вовсе не на ребят, а как-то сквозь них. Мишка и Витька не оставляли его одного в комнате ни на минуту. Время от времени они переглядывались, качая головами.

— Пообещай, что ночь пройдёт спокойно. Ты понимаешь, о чём я... — сказал Витька, укладываясь. — А то ведь мы себе не простим, Борь...

— Да.

— Что да?

— Сказал же, — упорно смотря на потолок, ответил Борис.

Челяев как только лёг, сразу захрапел. Мишка уснул не сразу, да и вообще всю ночь спал нервно, возился во сне, то и дело просыпался. Борис же по-прежнему не отрывался от точки на потолке даже в темноте.

— Откуда её будут хоронить? — первое, что спросил Рогачёв у проснувшегося Витьки.

— Из дома.

Зашли зарёванные Дерепашук и Самойленко. Ирка, уткнувшись в Витькину подушку, принялась рыдать.

— У меня и чёрного-то ничего нет, — согнутым голосом сказала Рада. — У Леты там лежит в шкафу чёрная водолазка... Как вы думаете, можно её надеть?

Самойленко зарыдала ещё громче. Борис посмотрел на расплывчатую фигуру Рады. Интересно, как она собирается влезть в Летину водолазку?

— Она тянется, — словно услышав мысли Бориса, сказала Дерепашук. — Пойду померяю.

Рада вышла, а Ирка продолжала рыдать, но уже реже вздрагивала её плечи.

Однокурсники почти всей группой дошли до Летиного дома. Борис никогда не был здесь. На углу они повстречались с Волошиным. Он явно куда-то спешил. Поздоровавшись, группа пошла дальше, кроме Рогачёва. В несколько шагов, он обогнал преподавателя и перегордил ему дорогу.

— Поговорить надо! — Борис смотрел с ненавистью.

— Потом, всё потом, — пробормотал Игорь Эдуардович.

— Нет, сейчас! — и Рогачёв, вложив всю свою злобу в акцентированный удар, сбил Волошина с ног.

— Тони Зэйл, не иначе как... — Волошин, скользя подошвами ботинок, с трудом поднимался с обледенелой земли.

Казалось, ему не было никакого дела до того, что он сейчас получил по физиономии. Причём получил крепко так, основательно. Но он не собирался вступать в бой, наоборот, повторил:

— Всё потом, всё потом, — и, пошатываясь, пошёл, и тут его сбоку настиг второй удар Рогачёва.

Волошин упал в снег на обочину дороги. Рогачёв тотчас накинулся на него и принялся озверело избивать ногами, нанося размашистые удары. Он бил с остервенелой беспощадностью. Волошин сначала пытался подняться, но затем, скорчившись от боли, замер и молча сносил удары.

Но вдруг какая-то неведомая сила отодвинула Рогачёва. Этой силой оказалась незнакомая крупная тётка в ярко-синем пальто. Она, налетев на Бориса своим весом, оттеснила его от Волошина.

— Ты что делаешь, скот! — тётка ударила Бориса сумкой по спине.

Её спутник тем временем наклонился над избитым. Волошин лежал без сознания, его красивое лицо теперь походило на кровавый брикет. Мужик принялся тормошить Волошина.

— Парень, что с тобой? Это же Игорь! Маша, “скорую”! Немедленно!

Тётка, бросив Рогачёва, подбежала к мужику и Волошину. Борис тем временем поднял свою меховую шапку с асфальта, отряхнул её и направился было к Лете, как услышал за спиной:

— Бедный!.. Сегодня сестру хоронит, а его...

Борис встал, как столб, неподвижно. Какую ещё сестру? Он не ослышался? Рогачёв повернулся. Мужик с тёткой суетились над Волошиным, приводили его в чувство, утирая снегом.

— Ужас-то какой, — то и дело повторяла женщина, — сестра сгорела, а брата быют... Не зря говорят, беда не приходит одна.

Борис завернул за угол дома. У первого же подъезда сел на скамейку. Он ничего не понимал. В голове бродяжничали какие-то нелепые мысли, почему-то вспоминалось, как он в детстве ненавидел рыбий жир, а мать настойчиво пыталась его к нему пристрастить:

— Его весь мир сейчас употребляет!

И во рту отчётливо чувствовался вкус этой рыбьей мерзости.

На похороны спешили институтские приятели. Рогачёв, с трудом подбирая слова, спросил у них про Лету и Волошина.

— Вроде бы да, — неуверенно ответил кто-то из ребят. — Я, по крайней мере, слышал, что Виноградова его сестра.

Рогачёв посмотрел на ботинки, испачканные кровью Волошина. Если они брат с сестрой... это же Летина кровь! — от такой мысли стало невыносимо жарко. Он запульнул в палисадник шапку, которую терзал в руках. Лохматая и недешёвая ондатра одиноко повисла на голом кусте сирени. Порывистым движением Борис оголил шею. Зачерпнув пригоршню снега, протёр им лицо. Не помогло. В голове ясности не прибавилось. Наоборот, туман стал даже усиливаться.

Летина кровь... Избил Лету... Сгорела... Перегорело... Брат... Пистолет... Подлянку... Надя... Лета...

Боль в висках набирала обороты. Закрыв глаза, он увидел лицо Леты и отчего-то особенно заострил внимание на бровях, выщипанных в ниточку.

Что было дальше, Рогачёв не помнил или помнил отрывочно. Он не дошёл до Леты, не был на похоронах, не знал, сколько времени слонялся по городу. На квартиру пришёл, когда стемнело. А может, это у него в глазах просто не было света, потому что с того момента Борис беспробудно пил.

Волошин тоже не хоронил сестру. Его увезли на “скорой” в травматологическое отделение, где после жутких побоев накладывали швы на лицо. Он действительно был родным братом Леты, но по матери. Виноградов Константин Петрович взял в жёны женщину старше себя и с ребёнком — мальчиком-подростком. Немногим позже у них родилась дочь. Когда Виноградов похоронил жену, Лете едва исполнилось десять лет, а Игорь к тому времени уже жил с девушкой. Константин Петрович быстро женился — того требовали рабочие обстоятельства — и уехал с новой женой в Зальцбург. Лета же осталась со старшим братом и его семьёй в СССР. Поступив в институт, она не захотела жить с ним под одной крышей, однако часто навещала племянников. А не захотела потому, что не могла смотреть в глаза жене Игоря. Лета знала о похождениях брата-преподавателя.

Каждый день Борис напивался в хлам, до потери себя. Он ни с кем не общался, в одиночку глушил горькую. Поначалу телефон его надрывался, дверь почти выламывалась от стука. Это друзья справлялись о нём. Борис их несколько раз послал куда подальше, и они отстали от него. Надя тоже пыталась навестить Рогачёва. Но он всё время запирался на щеколду, поэтому она не могла своим ключом открыть дверь квартиры алжирцев. Как-то раз, когда Рогачёва не было дома, она, воспользовавшись его отсутствием, вошла к нему и принялась ждать. И снова ничего не добилась — Борис, придя домой, грубо вытолкнул Надю взашей.

— Что, помотрел и бросил? — заорала на него соседка. — Вот я напишу им, что ты сюда баб водишь!

— Пошла вон, — только и ответил ей Борис, закрывая дверь.

Рогачёва совершенно не интересовали сессия, сам институт, да и вообще всё остальное. Смерть Леты его самого словно сожгла, испепелила. Нет, он передвигался, пьянствовал, ел, спал, ходил по нужде. Но... в списках живых не значился. Если бы ему задали абстрактный вопрос, что, если вдруг придёт чёрт и захочет купить у тебя душу, за сколько продашь? Он бы, не раздумывая, ответил — даром.

Шёл десятый день его запоя. К полудню Рогачёв в очередной раз накирлся в какой-то забегаловке и, придя домой, рухнул прямо у порога. Проснувшись, но ещё не протрезвев, он прополз в комнату.

— Сил встать нет? — услышал он голос.

Борис огляделся по сторонам. Померещилось. Он продолжил ползти к дивану.

— Всегда было непонятным, почему свиней Борьками кличут, — вновь донеслось до Рогачёва.

Только сейчас заметил Борис человека, сидящего в кресле. Широко расставленные ножки кресла сужались к низу. Отчего-то это больше привлекло внимание хозяина, чем сам гость. И тем не менее Рогачёв встал с четверенек и уселся на задницу. Какое-то время всматривался в незнакомца.

— Чёрт, а я ведь тебя знаю! — Он вдруг обрадовался. — Мы где-то встречались... Не помню, где... Но что встречались, это точно. Вот я и патлы твои крашенные помню.

— Да ужели? — усмехнулся непрощеный гость.

— Кстати, я не Борька вовсе.

— А кто?

— Беницуон. Или Боб как минимум.

— Скажи, Беницуон или Боб как минимум...

— Нет, это ты мне скажи. — Борис нервно прервал незнакомца. — Как ты сюда попал? Тебя Надька, дура,пустила? Ну! Отвечай немедленно!

— Это после. Скажи мне, — продолжил крашенный, придвинувшись к краю кресла и насупленно посмотрев на полутрезвого Рогачёва, — чего ты Бога-то гневить?

— Кого? Бога? — Рогачёв так загоготал, что упал на спину. — А кто это — Бог? У нас вообще-то в Советском... в Советском Союзе Бога нет.

— Ну, кать, на нет и спроса нет, — согласился крашенный.

— Кать... И это твоё “каль” я помню... Накатить бы. — Борис резво поднялся с пола.

Незнакомец ничего не ответил, откинувшись на невысокую спинку кресла и прислонившись головой к обоям. Тканевая обивка мебели и рисунок на обоях перекликались — россыпи кругов и кружочков в широких полосах.

— Десятилетие дурного вкуса, — качая головой, сказал гость, осматриваясь.

— Не нравится обстановочка? — спросил Борис нервно. Он злился оттого, что никак не мог найти бутылку.

— Романтичный декор, кать, соседствует с прагматичностью функций. — Крашенный закинул ноги в ботинках на отполированный журнальный столик перед собой.

Слушались сумерки. Комнату затянул полумрак.

— Включите торшер, — попросил Рогачёв гостя, которому надо было всего лишь протянуть руку к висялке под абажуром.

— Нет, — поморщился крашенный, — давай без света.

— Я и так-то ничего не могу найти, — пробурчал Борис.

Ему очень хотелось выпить, и он в считанные минуты перевернул весь дом в поисках спиртного. Наконец, в спальне под кроватью нашёл непонятно каким образом закатившуюся туда бутылку коньяка.

Рогачёв, гарцуя, вошёл в зал. Его вытанцовывания рассмешили гостя. От этого пронизывающего хохота Рогачёв неожиданно сжался. “Какой неприятный смех! Ослоподобный”.

Не предлагая гостю выпивку, Борис, открыв коньяк, принялся, обжигаясь, жадно пить его из горла.

— Повод? — крашенный внимательно наблюдал за Рогачёвым.

— За Лету. Земля ей пухом... — Борис оторвался от бутылки.

— Да ты столько пьёшь за этот пух, кать, что она, сторев, теперь задыхается в нём!

Рогачёв в негодовании посмотрел на гостя. Он будто увидел его сейчас впервые. “Ты кто ещё такой?” — читалось в его взгляде.

— Кончай пить! — незнакомец убрал ноги с журнального столика. — Ты мне нужен.

На старые дрожжи Борис изрядно окосел. Он сел на диван и снова приложился к бутылке.

— Представляешь, а он бртом ее окзался.

— Кем?

— Бра-а-ато-ом! Братом! — выговорил старательно Рогачёв. — Потому-то оба кривые. Кра-асивые, — протянул он. Потом что-то принялся бормотать, но вскоре, опустив голову на грудь, заснул.

В один из дней, проснувшись на полу кухни, Борис вдруг почувствовал острую боль слева под лопаткой. Попытался встать, но не тут-то было! Рогачёв не мог пошевелить даже пальцем. Боль панцирем сковала его тело, обратив в лежащий соляной столб.

Какое-то время он неподвижно валялся на полу, покрытом чёрно-белыми квадратами плитки. Затем с трудом, но всё же выпрямился, через дикую боль ровно встал и начал медленно дышать. В рёбрах то и дело слышался щелчок. В тот момент боль отступала. Борис старался быть спокойным, но это у него получалось с трудом. Захлёстывала сильная паническая волна.

Скорее всего, невралгия. Нерв защемило, не более, — успокаивал он себя. Но тут же вспоминал о больном сердце матери. А что, если у него наследственное?

Весь остаток дня провалялся в постели. Он пил только одну воду и изредка некрепкий чай. Выпивать не хотелось. Дарвиновский закон выживания толкал его жить как бы то ни было. Физическая боль исчезла. И другая, душевная, не давшая ему существовать, перегорала. Оставались лишь тлеющие угольки. В сознании крутилась мысль, что он кому-то нужен. Где-то он слышал это, но не помнил — где. А стало быть, необходимо возвращаться к жизни, заново вступать в её холодные правила.

На следующее утро Борис, купив бутылку дорогого коньяка, отправился напрямик домой к Волошину. Он никогда не был в квартире, где когда-то жила Лета. Зайдя в подъезд, не сразу поднялся на нужный этаж. Подержавшись какое-то время за подъездную ручку, он сел на ступени и прислонился к стене с облупившейся краской. С горечью посмотрел на серые перила. И вдруг на него навалилась такая тоска, что захотелось разрыдаться в голос. К груди крепко прижимался хороший коньяк. Борис достал его и хотел было раскупорить. Но нервным движением сунул бутылку обратно и, встав, стремительно, перескакивая через ступени, направился к Волошину.

Игоря Эдуардовича дома не оказалось. Его жена, миловидная, хоть и немного сутулая женщина лет тридцати, любезно предложила подождать. Борис безуспешно старался не думать о Лете. Не представлять, как она здесь жила, как ходила по этому полу, открывала окна, включала свет. Впрочем, терзаться Борису пришлось недолго.

— К тебе гость, — с порога сказала Волошину жена.

Рогачёв вышел в коридор. Брат Леты, разуваясь, стоял к нему спиной. Борис, волнуясь, собирался с духом. Его ноздри раздувались от вдоха.

— Гость, говоришь, — Волошин повернулся, — ну, ну...

Битое лицо хозяина походило на акварельный лист с разводами. Будто закат выписан. Фиолетовые, синие, голубые, лиловые цвета плавно перетекали друг в друга. Живописно, ничего не скажешь... Рогачёв опустил глаза.

— Бить пришёл? — Волошин надевал клетчатые тапки.

— Поговорить.

— Думаешь, я хочу этого? — Игорь Эдуардович, чуть отстранив Бориса, прошёл в ванную.

Рогачёв топтался на месте.

— Пожалуйста, прошу вас, выслушайте! — Борис приблизился к вышедшему из ванной Волошину.

— По-хорошему, тебя бы вышвырнуть надо из этого дома.

— Игорь Владимирович, я очень люблю Лету.

Волошин ссутулил плечи и замер.

— Любил, — сухо поправил он Бориса.

— Нет, люблю!

— Пройдём. — Хозяин кивнул в сторону комнаты.

Они прошли в небольшую комнатку, по всей видимости, в детскую. Борис не успел даже осмотреться, как вошла жена Волошина и сказала, что она уходит встречать из школы ребятшек. Поэтому хозяин квартиры решил переместиться в гостиную.

— Когда-то это была комната Леты. — Игорь Эдуардович, выходя из детской, закрыл дверь комнаты.

Волошин с семьёй жил в трёхкомнатной квартире. Гостиная представляла собой большую квадратную залу. Обставлена она была богато, дорого, но не современно. В середине стол, покрытый скатертью амарантового цвета с бахромой.

Игорь Эдуардович придвинул к себе стул, сел, облокотился на стол. Борис без приглашения уселся напротив Волошина.

— Я виноват перед вами. Но я и не виноват, — сказал он запальчиво.

— Давайте без шарад, — хозяин слегка постукивал по столу ребром правой ладони.

— Я ведь думал, что вы и Лета... Любовники.

— Ты в своём уме? — Волошин смотрел на Бориса как на идиота. — Ты больной, что ли?

— Я не знал, что Лета — ваша сестра. Даже предположить не мог.

— Бред какой-то! — Игорь Эдуардович встал со стула и подошёл к окну с атласными шторами. — Ей-Богу, бред! — Он, отодвинув портьеры, долго смотрел в окно.

— Я тогда голову потерял от ревности. А про вас определённого толка молва ходит по институту...

— Бред, бред, бред, — как заведённый, повторял Волошин.

— Ну, теперь-то я понимаю, что это бред, раз вы брат с сестрой. А тогда я думал, что Лета — ваша любовница. Я же говорю, что наслышан про ваши отношения со студентками.

— Это не твоего ума дело! — резко прервал его Волошин.

— Узнал, что Лета — ваша сестра, когда к вам на помощь подбежали. Когда я вас избил... Мы с Летой собирались отмечать вместе Новый год, да и вообще жить вместе с Нового года. Я снял хорошую квартиру. Двушку. Утром тридцать первого заехал за ней в общагу, чтобы перевезти её к себе. Она спала ещё. Мы поссорились. Я прождал её весь день, весь Новый год и потом... Она не пришла. Я подумал, что она у вас. Не как у брата...

— Да почему?! Даже если вы не знали, что мы брат с сестрой, почему мы должны были быть любовниками? Толпы красивых девушек и что, они все мои?

“Ну не все, а часть”, — хотел было съязвить Рогачёв.

— Потому что Лета о вас очень тепло отзывалась. Поэтому мне показалось... Откуда мне было знать, что вы родственники? Фамилии разные, отчества. Разница в возрасте. Да и Полянко намекал, что вы любовники.

— Кто, Полянко? — Волошин отошёл от окна. — Валерий Вадимович?

— Да.

— Да ладно тебе! Он Лету давным-давно знает. Сколько раз был у нас дома, когда ещё Лета в школе училась. На праздники мы с преподавателями частенько у меня собираемся. И вообще. Мы с Валерой большие приятели.

— Знаете, я ведь на вас заявление написал. В деканат.

— Знаю.

— Вас уже поставили в известность?
— Мне по секрету рассказал один хороший человек, ему ректор поведал, — усмехнулся Волошин. — Ещё он сказал, что это подло.
— Подло, конечно. Но именно ваш большой приятель Полянко меня надутил. И информацию дал. Я сделал-то это для того, чтобы вам насолить из-за Леты.

О том, что Полянко ещё и денег дал, Рогачёв умолчал.

— А ему это зачем?

— Завкафедрой хочет быть.

Волошин понимающе кивнул.

— Вы о драке заявили в милицию? — В голосе Бориса сквозили тревожные нотки.

— Да, я написал заявление, — жёстко ответил Волошин.

В комнате повисла тишина. Её нарушали напольные часы, изящные и торжественные одновременно, громко отстукивавшие время.

— Предлагаю сделку. — Рогачёв посмотрел в упор на Волошина. — Я забираю своё заявление, вы — своё.

Игорь Эдуардович сел на диван и сложил на груди руки крест-накрест.

— Понимаете, Борис, есть одна загвоздочка.

Рогачёв вскинул бровь: какая же?

— Я не хочу забирать заявление из милиции.

— Но...

— И никаких “но”. Заявление я забирать не буду.

— В противном случае, — быстро заговорил Борис, — и я не буду. Вам нужна слава преподавателя-ловеласа?

— Это ещё доказать нужно.

— Доказательства есть. Не беспокойтесь. Полянко основательно копал под вас.

— Вообще не понимаю, о чём речь. Какие-то бредни Полянко, которому, по-вашему, нужно место завкафедрой...

— Я полагаю, — медленно произнёс Рогачёв, — ваша жена не в курсе, что на вас возводят поклёп.

— Ты, соплик, не трогай мою жену! — неожиданно сорвался Волошин.

— Так, так... Она не в курсе. Ну, разумеется, кто её посвятит. Не вы же, — Борис с вызовом посмотрел на хозяина квартиры. — Я даже догадываюсь, почему Лета не стала здесь жить.

— Не трогай Лету своим поганым языком! — Игорь Эдуардович презрительно смотрел на гостя. — И что её могло связывать с таким подонком?!

— И не поймёте. Куда вам, похотливому самцу...

Разъярённый Волошин соскочил с дивана.

— Вон!

— Подождите, Игорь Эдуардович, не кипятитесь. Мы не договорили с вами. — Рогачёв был само спокойствие.

— Вон! — Волошин еле переводил дыхание.

— Даже если вам плевать на моё заявление в деканат, вам всё равно нужно забрать своё заявление из милиции. Объясню почему. Во-первых, хотя бы ради памяти Леты. Я не был ей безразличен.

— Не произноси имя моей сестры!

— Во-вторых, — не обращая никакого внимания на гневную реплику Волошина, продолжил Борис, — я избил вас случайно. Ошибочно, то есть. Повторяю, я не знал, что вы её брат. Я ведь тоже был в неадекватном состоянии, узнав, что случилось с Летой.

Он замолчал.

— А в-третьих, зачем вам надо, чтобы меня посадили? Я ведь, может, вам ещё пригожусь.

— Упаси Боже...

— Скажите, что хорошего, если я сяду? Скорее всего, до тюрьмы дело не дойдёт. У меня родители — не последние люди в этом мире. Они всё сделают, чтобы их сын не чалился на нарах, похлёбывая баланду.

— Не будь так уверен. Не всё продаётся и покупается.

— Согласен. Но имейте в виду: если всё же меня посадят, а тюрьма — это не оздоровительный лагерь, я не выйду оттуда перевоспитавшимся — добреньким и довольненьким. Я буду вам мстить. Это точно. И тебе, и семье твоей. — Рогачёв перешёл на “ты”. — Тебе это надо — за каждым углом видеть меня с монтировкой? Думаю, нет. И детям своим ты счастья желаешь, так ведь?

— Ты мне угрожаешь?

— Нет, предупреждаю.

— Мразь.

— Итак, завтра мы оба идём забирать каждый своё заявление.

Рогачёв поднялся со стула.

— И поверьте, мне жалко, что так всё произошло. И я приношу свои самые искренние извинения. — Борис взглянул на опухшее лицо Волошина. — Жизнь, брат, знаешь не творог, а часто мордой об порог, — произнёс он со злостью и тотчас вышел из комнаты.

Волошин не стал провожать Рогачёва. Борис спешно оделся, поставил на трюмо коньяк и осторожно прикрыл за собой входную дверь.

На душе скребли кошки. А в животе урчало. Рогачёв зашел в пельменную, заказал здоровенную порцию и проглотил её в два счёта.

На следующий день он отправился в институт. Сессия подходила к концу, а Рогачёв ни разу не появился на экзаменах и зачётах. Декан факультета, костлявый дядька лет шестидесяти, хмуро посмотрел на вошедшего Бориса.

— Анатолий Венедиктович, у меня к вам крупный разговор, — с порога начал Рогачёв.

Декан встревожился. Он помнил о заявлении на Волошина и какие неприятности могут последовать после огласки дела. Ректор свалил на пенсию, с нового взятки гладки, а спросят с него, с декана факультета.

— Боюсь, нам с вами придётся распрощаться, — обычно мямля-декан на сей раз говорил разрушительно. — Я наслышан о ваших непосещениях.

— Именно поэтому я и пришёл к вам, нашему доброму наставнику.

Ухмылочка тенью скользнула по лицу декана. Ишь ты, добрый наставник! А то иначе как “Кость” и не называли.

— Понимаете, какое дело, Анатолий Венедиктович... Вы любите? — Рогачёв уставился на декана.

— Кого?

— Кого-нибудь? — пожал плечами Борис.

— Зачем? — взгляд декана не ослабевал.

— Зачем?... Ну просто... низачем.

— Рогачёв! Чего ты мне тут голову морочишь! Идиота из меня делаешь? “Да ты, по-моему, и так уже конченный...” Борис вздохнул.

— Я хотел сказать вот о чём. У каждого в жизни есть или была большая любовь. У каждого. Правда, у того, кто способен любить. Но сейчас не об этом. Марина Цветаева сказала: “Человечески любить мы можем иногда десятерых, любовно — двух. Нечеловечески — всегда одного...”. Так вот, я любил и люблю одну девушку нечеловечески. Но она стореда. Вы знаете...

— Бедная Виноградова... Да, мне говорили, что у вас с ней начинался роман.

— Да. Я так её люблю и так сильно переживаю из-за её страшной гибели, что, честно скажу вам, ушёл в запой вместо сессии.

— Юноша, вы позавчера на свет появились, а уже знаете такое страшное слово! — Обычно алебастрового цвета лицо декана чуть порозовело. — В вашем нежном возрасте — какой запой? Запой зарабатывается стажем.

— Я пил не просыхая. Пил потому, что у меня умерла девушка. Я не думаю, что нежелание видеть свет без любимого человека зависит от возраста.

— А теперь вы вышли из своего запоя?

— Да.

— Похвально. А от меня вы чего хотите?

— Чтобы вы разрешили мне сдать сессию. Обещаю вам, что сделаю это успешно и в короткие сроки.

— А почему я должен идти у вас на поводу? Вы что, какой-то особенный студент? Вот и в запой уходите...

— Ну, вы же должны меня понять. Вы же понимаете, что запой был из-за Леты. — Рогачёв кинул на декана короткий взгляд. Неужто он выгонит его?

Выражение лица декана оставалось безрадостным и не вселяло особой надежды.

— Я заявление заберу. — Рогачев посмотрел на стеклянные шкафы с книгами, словно ища глазами, куда он его сунул?

— А чем мотивируете?

— Скажу, что оклеветал Волошина, поскольку был зол на него, думая, что он ухаживает за моей девушкой. Да, я избил его... Тоже из-за этого.

— Ах, да! На вас же ещё Игорь Эдуардович заявление написал в милицию. Вы, скажу я вам, достаточно проблемный студент!

— Игорь Эдуардович заберёт своё заявление относительно драки.

— Откуда вам знать?

— Заберёт, — уверенно повторил Рогачёв.

— А вы своё заберёте? — Анатолий Венедиктович внутренне был рад.

— Да. А вы меня не отчислите.

Декан юрфака молча кивнул.

С того момента Рогачёв ушёл с головой в учёбу. Сессию он сдал запросто. Всё свободное от занятий время Борис проводил за книгами и учебниками, много читал и не только то, что требовалось по программе юридического факультета, учил стихи, стал усиленно заниматься языками, возобновил занятия спортом.

Он почти ни с кем не общался из приятелей. Не выпивал, не посещал студенческие вечеринки. Равнодушно смотрел на девушек, которых только распаяло его безразличие. И вообще он и существовал-то отрешённо от общей молодёжной жизни. Весёлый, зажигательный, лёгкий на подъём, холерик Борис теперь превратился в безучастного сангвиника. Его интересовали только знания. Первые два года Рогачёв снимал всё ту же квартиру, но когда хозяева вернулись из Алжира, перебрался на другую, не хуже. Жильё Борису оплачивали родители.

Время от времени он приводил к себе девушек, но взял за правило дважды ни с кем не встречаться. Спортивный, подтянутый, всегда опрятный и хорошо одетый, Рогачёв с прохладцей смотрел на мир, окружение и женский пол. И так продолжалось все годы учёбы на юридическом факультете института.

(Окончание следует)

НАТАЛЬЯ ДЖУРОВИЧ



ЗНАК СЧАСТЛИВОЙ ПТИЦЫ

* * *

Считать стежки соломинок в стогах.
Деревья вдаль плывут на ветках-вёслах,
И хлопоты с утра о пирогах
Мудрей и проще всех других ремёсел.

Как ни зовут к полёту журавли,
Мне не уйти от пыльного забора.
Седая птица, словно горсть земли,
Пьёт горьких истин воду из источника.

Оправдан мой непростительный наряд,
Я в нём ликую, утру с хлебом рада,
Когда, как дети, саженцы глядят
Глазами спелых вишеночек из сада.

ДЖУРОВИЧ (Унгерова) Наталья Александровна родилась в Москве. Окончила филологический факультет Российского православного университета святого Иоанна Богослова. Поэт, переводчик прозы и поэзии с сербского на русский язык. В настоящее время преподаёт русский язык и литературу. Стихи публиковались в журналах "Наш современник", "Гостинный двор", "Подъём", "Волга – XXI век", "Славянская лира", "Берега", "Огни Кузбасса" и др. Автор нескольких сборников стихов. Лауреат 5-го Международного конкурса лирико-патриотической поэзии имени И. Григорьева "На всех одна земная ось". Участник 15-го Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (семинар С. Куняева и А. Казинцева). Живёт в городе Бар (Черногория).

Ты не жалеяй моих сегодня рук
И голоса, что в песне не струится,
Усталый голос — знак счастливой птицы.
Хлеб на столе — и мягок, и упруг.

* * *

Я сердцем возвращаюсь без конца
В голубоглазый сад, дыша едва ли.
Цветёт сирень, как будто и не рвали
Её для сокровенного венца.

Взмывают в небо чёрточки ресниц.
“Пиши стихи, кричи, испепеляйся!
Здесь, может быть, случайно завалился
Твой оберег из девичьих тряпиц...

Вот этот угол — узнаешь ли?” — Ах!
Сплетенье веток — тайная светлица.
И стрекоза на плечи примостится
И скроется, как стрелка на часах...

Я помню сливы прелые, потом —
Засохших косточек на крыше россыпь.
Так узнавала я, что скоро осень,
И берегла надёжнее свой дом.

Теперь я, словно косточка, тверда.
Лишь дай мне Бог внутри не стать бы полой.
Как смело рассыпали мы глаголы!
Как редко сомневались в них тогда!

ДРУГ ЗА ДРУГОМ

Такую, как была, уже не встречу,
Лишь в памяти хранится старый дом,
Где прежним остаётся только ветер
Да сено с перекошенным горбом.
Соседские берёзы поредели,
А как шумели первую листвою!
Я больше не встречала, в самом деле,
Весёлости взъерошенной такой!
Порог скоблили, чистили ножами,
Топили печь... Так было много лет.
Хозяина недавно провожали,
Берёзы — есть, а кто сажал их — нет.
В развалинах весною птицы вьются,
Фундамента шершавый лоб суров.
Но семена настойчиво пробьются
Сквозь неподъёмность каменных основ.
Так жили здесь без лишних проволочек,
Влюбляясь, провожая насовсем,
Встречая вновь, сынов рожая, дочек
И не стесняясь, что живут, как все,
Что друг за другом уходили просто,
Одной дорогой — ею жизнь и мерь —
От старого до нового погоста...
Он широко раскинулся теперь...

* * *

Так неизбежен дождик, словно рок,
Тот чёрный рок, что вмиг разрушит счастье.
Ах, мальчики, вы в этом светлом классе
Свой главный не получите урок,
Конечно. Но читайте между строк,
Между листами, вымокшими в парке,
Пусть вам кого-то снова станет жалко,
Какой иначе от уроков прок?
Вот, паутинки тросточкой уняв,
Прошёлся мимо нашей школы Пришвин,
Он посмотрел на радостных мальчишек,
Не обвинив в той радости меня.
Нет, не читают мальчики стихи
Теперь, их посвящать мечтая девам.
Себя виню за то в минуты гнева,
Но разве эти мальчики плохи?
О, мальчики, нескладный шумный “хор”!
...А на скамейке вымокшего сада,
Кляня невинный дождь, сидит Мачадо,
В безумстве повторяя: “Леонор...”.

* * *

Да, было вам, о чём переживать.
Но разве это ль — “детство непростое”?
Мы ж не в Сибирь сбегали торговать
И не дышали воздухом Дальстроя.

Мы ковырялись где-то за двором
В заброшенных остатках прошлой жизни,
Пока наш телевизор топором
Рубил на чёрно-белое Отчизну.

Но чёрно-белых мы не помним дней,
А телевизор и такой годится.
Ведь майки с Чип-и-Дейлом нам важней
Навязчивой настроечной таблицы.

Что породит пузатый твой экран,
О, господин Великий Телевизор?!
Едва стоит уже Афганистан...
А во дворе — разборки с детским визгом...

СЕРГЕЙ МАРТЬЯНОВ



ОЛМА

РАССКАЗ

I

Олме нравилось похужее на затопленную бочку просторное помещение дельфинария. В бочке жили афалины: Ева, Зевс, Альфа, Уран, Антей и маленькая Сиси. Старый и хитрый Зевс слыл лентаем. Уран высоко прыгал и умел делать сальто. Антей возил на спине двух дрессировщиков, отнимал рыбу у Сиси, долго гонял Альфу и Еву по бассейну, топил девчонок и делал с ними секс, почти как человек.

Любовные игры самцов и самок возбуждали юную женщину и погружали в безысходную тоску. Она сочувствовала дельфинам в той мере, как понимала себя и обстоятельства, в которые попала. Афалины работали здесь как бесправные мигранты, осуждённые судьбой на пожизненное пребывание в бочке. Она чувствовала, что звери понимают и жалеют её.

Олма легла на край бассейна и опустила руки в воду. Все документы, миграционная карта, паспорт, регистрация, полис остались у мужа. Где он?! Она не знала, точнее не хотела знать и пыталась забыть его и всех...

Когда погиб сын, закрылся горизонт, и дорога провалилась под ногами. Олма перестала понимать: жива она или всё, что будет, — уже было. Когда бросила мужа, открылась пустота, лишённая смысла и желаний. Душа не

МАРТЬЯНОВ Сергей Викторович родился в 1954 году в Горьком. Окончил МИФИ как инженер-физик и ВГИК как режиссёр-постановщик художественных и телефильмов. Работал в Институте прикладной физики АН СССР, на Горьковском авиационном заводе, на Свердловской киностудии, в газете "Военный железнодорожник", в Государственной думе РФ. Член Союза кинематографистов, Союза журналистов, Союза писателей России. Автор книг прозы "Виктор и Маргарита", "Запах темы", "Избранные произведения". Живёт в Екатеринбурге.

болела, совесть не мучила. Прежняя Олма вся без остатка утонула в прошлом, в тёмной воде, похожей на бездонное ночное небо, в глубоком мраке которого сварщики зажигают слабые звёзды. От этих звёзд к земле летят огненные иглы. Овладеть такой иглой можно лишь в момент зачатия, да и то на время. Ребёнок после рождения уносит её с собой, это его кут — его небесная сила. Незнакомая и непонятная самой себе женщина лежала на краю глубокой чаши. Её кут бросил её, оставил слабое грешное тело, и прелесть одиночества овладела пустым сердцем.

Слёзы капали, вода стекала с пальцев в бассейн, Олма плакала. Она цеплялась глазами за блики и чувствовала, что неведомый страх душит её с такой силой, будто она на глубине, под водой, куда не проникают лучи солнца, нечем дышать, и под ногами нет опоры. Маленький Тоджи мёртвыми руками обнимает и тянет на дно. Всё небо мира сворачивается в бездонную точку и пропадает в мёртвом теле. Она кричит и не слышит своего голоса. Вода заполняет лёгкие, душит и леденеет. Олма сквозь лёд видит злое лицо мужа. Упреждая удар, она говорит ему, только ему слабые слова, которые он не слышит и не понимает: “Он мёртв, Тоджи умер, не трогай его, не бей!” Турсун укладывает ребёнка на клочок травы, берёт его за руки и пытается своим дыханием наполнить лёгкие Тоджи, затем переворачивает на живот, надавливает на спину, изо рта сочится вода, немного, столовая ложка воды. Тоджи умер от того, что она долго смотрела на белый огонь сварки, потом думала, что мальчик играет в прятки, не откликается на голос. Она медленно его искала, будто перебирала белые волосы на голове сына, и нашла, когда страшные картины его гибели образовали адский круг, бежать из которого было некуда. Тоджи лежал на дне большой бочки с водой. Турсун напрасно тревожил мальчика, вглядывался в белёсые глаза, тербил его седые волосы.

“Постриги, постриги его!” — кричал он всякий раз, когда приходил с работы и Тоджи лез к нему на руки. Утром забывал свои слова, гладил спящего мальчика по голове и нежно глядел на Олму. Она не прятала глаза, не отводила в сторону и не опускала в пол, в эти минуты она страстно желала мужа. Олма обнимала его и так сильно прижималась всем телом, что Турсун отрывал её от земли, и она готова была висеть на его жилистом и крепком теле вечно, и страдать, как Иисус на кресте. Всякий раз, может быть, не обязательно всегда, но, когда Олма видела распятого пророка, она начинала думать о муже и любви. О неприкаянной любви, существующей где-то между ними... О любви, которая связывала её и мужа, как верёвки и гвозди — тело и крест! О рукотворной любви без любви — созданной волей родителей, обычаями махалли (*общины*) и условиями никаха (*брачного договора*)?

Через девять месяцев после свадьбы Олма родила мальчика-альбиноса. Турсун не сразу принял странного ребёнка, отказал в близости, замкнулся и замолчал. После разговоров с имамом он переменялся и сильно привязался к ребёнку. Тоджи мог ударить мать и обзывать её бранными словами, — отец не кричал на него и не наказывал. Мальчик носился по дому, как шайтан, и непрерывно смеялся, в ангела он превращался лишь во сне. Олма сносила от своих мужчин всё безропотно и покорно, её тяготило чувство вины. За что и перед кем!? Она не знала и не понимала, просто чувствовала, что она плохая, никудышная и несчастная! Несмотря на то, что муж стал внимательнее и добрее в обращении с ней, она не могла более забеременеть вторым ребёнком.

— Надо ехать в Россию, там хорошие врачи, — советовал Олме отец. — Скажи своему: пусть ищет работу, да и Тоджи не будут дразнить русым. Там много таких.

— Тоджи — особенный, коронованный ребёнок! Тоджи — альбинос, а не русский, у него глаза прозрачные, красные, — возражала Олма.

— Ну, и что, сама видишь, на солнце ему плохо. Махалля думает, вам лучше уехать...

Так Олма оказалась в России.

II

Врач сказала Турсуну, что Олма — здоровая женщина и у них будут ещё дети, возможно, дети будут альбиносами, вероятность такая есть. Семью взяли на учёт как носителей необычных генов и завели карточку. “Вы же верующий человек, молитесь Аллаху, и у вас всё получится”, — эти слова врача не понравились ему. “Женщина не может знать того, что будет”, — дальше мысль не двигалась, размышлять о воле Господина судного дня, пославшего в мир пророка, Турсун не мог.

Работа бетонщика — тяжёлая, трудная. Турсун не думал об этом, держался замкнуто, так, будто молчанием замаливал грехи или изживал душевную рану. В бригаде было много неверующих, поэтому его уважали за строгость в обычаях и побаивались без дела заирать сильного и праведного человека. Турсун монтировал опалубку и заливал стены бетоном из длинной и гибкой трубы. Олма гуляла с малышом на стройплощадке, чтобы муж мог их видеть.

— Смотри, слон приехал, — говорила она сыну, когда появлялся бетоновоз. Вдвоём они долго наблюдали подачу жидкого камня на верхние этажи, потому что там, на конце громадного хобота работал папа. Олме больше нравились сварщики, огонь, который они извлекали из железа. Она хотела, чтобы Турсун стал сварщиком и научил этому ремеслу Тоджи. “Сварщикам платят хорошие деньги, и работа лёгкая”, — так думала Олма.

Она нигде не работала, когда жила с родителями, потом появился муж. До свадьбы она видела его на улице, но и думать не думала, что Турсун возьмёт её замуж, потому что ему уже было под тридцать, а ей шестнадцать. Когда это случилось, она старалась быть для мужа верной и преданной женой. Даже когда он бил её, Олма не пыталась убежать и защитить себя, мысли такой не было. Она знала: Турсун читает Коран, по пятницам молится в мечети, живёт по закону. Во всём она винила себя и никогда не упрекала мужа.

От людей Олма слышала, что в молодости Турсун воевал с неверными, где и с кем, она не знала и не стремилась узнать, этот вопрос был личной тайной мужа. Когда он играл с Тоджи, то называл ребёнка воином, говорил, что каждый мусульманин — воин, если не воевал, значит — не мужик. Русское слово “мужик” ему нравилось, и он его вставлял, когда хотел кого-либо похвалить. Улыбался сдержанно, не открывая рта. Взгляд был нехороший, недобрый, он долго смотрел прямо в глаза и молчал. Смотрел так, что даже собаки поджимали хвост. Подруги нашептали Олме, что на войне он пытал людей и потом убивал. Слухи такие были, так это или не так, Олма не думала, но, возможно, от этой невнятности в отношениях и любовь у них не получилась такой, о которой мечтала невеста.

Олма не была красивой, лицо вытянутое, как дыня, губы тонкие, широкие сросшиеся брови. Её красота и сила таилась под платком, в косах. Иногда она распускала густую гриву, долго расчёсывала её и ложилась в постель к Турсуну. Он осторожно и ласково скручивал волосы в плотный жгут и наматывал его на шею. Он мог задушить её волосами в любой момент, и это так возбуждало Олму, что она закрывала глаза и замирала, сдерживая бушующую внутри страсть. Она боялась открыть ему свой дар яростной любви, проявить чувства, на которые была способна, разумно полагая, что муж оскорбится и посчитает её развратной, нечистой и, хуже того, психически больной женщиной.

III

В день гибели Тоджи Турсун отказался от ужина и сказал, что отец велел хоронить Тоджи дома, возле деда. Олма вопросов не задавала, молчала.

— Ему я купил билет и цинковый ящик... Он полетит отдельно, на другом самолёте... на грузовом... Мы простимся с ним, когда гроб будут закрывать... Собирай вещи... Махалля соболезнует нам, будет много народа, все любили Тоджи. — Турсун говорил и смотрел мимо Олмы, прятал глаза.

Она ожидала, что муж будет жестоко её бить, бить ногами, может быть, даже забьёт насмерть как убийцу сына, но он не касался её одежды даже взглядом. Молча курил и молча молился, опять курил и снова молился. За стеклом, в слабых порывах ветра, несущих сигаретный дым, она чувствовала его тяжёлое дыхание. Олма жевала губы, кусала пальцы, грызла руку — боль утешала. Ей чудилось, что муж задумал что-то страшное, более ужасное, чем её смерть, такое, что она не может понять и представить себе, поэтому он молчит, молчит, молчит. Она тоже пыталась молиться, но не могла согнуть спину в поклоне и опуститься на колени.

“С какими словами может обратиться к Аллаху грешница и убийца сына?! Может ли она теперь молиться, когда муж отвернулся от неё...” — так думала Олма, когда бежала из дома без денег и документов. Она шла неведомо куда, пока её не подхватил первый троллейбус. Там, в тёплом салоне, она успокоилась и уснула. На конечной остановке её встретило яркое солнце. Олма умела смотреть прямо в глаза солнцу. “Там, в море света, живёт Аллах. Он не оставит меня без помощи”, — других мыслей о жизни не было. Благо день только начинался, и неизвестно ещё, чем он закончится.

Олма села на один из ящиков у дороги. Скоро выяснилось, что она попала на торговый пятачок, на котором местные жители продавали овощи и фрукты. Женщина в белом платке торговала вязаными носками и шерстяными вещами. Олма обратила на неё внимание. “В начале августа тёплыми вещами не торгуют”, — подумала она и сообразила: “Белый платок здесь главный”.

Чужая девушка в вишнёвом, расшитом золотыми нитками платье привлекала внимание, прохожие косились, а торговки начали цеплять её вопросами: кто она и откуда? Олма верила в Аллаха и ожидала его милости, просто сидя на ящике. Объяснить это она не могла, поэтому сказала, что ждёт мужа, он приедет за ней на машине. После того, как солнце вошло в зенит, соседка по ящику выставила возле Олмы ведро и сказала:

— Накось, сиди и торгуй моей картошкой.

Когда Олма продала два ведра, а муж так и не приехал, она призналась соседке, что бежала из дома, что ей негде ночевать, и получила верный совет:

— Вона, тебе к ней, у которой носки... Дашь денег, она схочает, у неё муж — вор, она прятать умеет, хоть что... Её Ольгой зовут.

Денег у Олмы не было, поэтому она честно покаялась Ольге обо всём, рассказала про Тоджи и попала на постой к смотрящей за уличным рынком. Они сошлись на том, что Олма пойдёт в работницы к Ольге, будет вязать носки на продажу и прибираться в квартире.

Собак и кошек в доме не было, не было цветов и милых вещей, которые создают уют. Хозяйка поселила работницу в кладовке, для остротки сообщила, что мотала срок, что черти, слава Богу, мужа прибрали, так она сказала и ещё добавила:

— Твой приедет, будет искать, жди.

— И что будет?

— Ушла в развод — терпи, работай. Видишь, шерсти сколько! Много, будь она проклята, устала я с ней...

В том, что нитки краденые, Олма не сомневалась. Если в квартире на виду лежат ворованные вещи, значит для неё это место надёжное и безопасное. На том она и успокоилась.

Новая жизнь настолько увлекла Олму, что она быстро забыла Тоджи и Турсуна. Тётя Оля собрала у соседей одежду и передела беженку. Хозяйка советовала остричь волосы и покрасить их, чтобы ни один узбек не узнал! “Будешь татаркой, а не узбечкой”, — говорила она, но Олма отказалась, она ежедневно молилась и прикрывала волосы большим платком. Она вязала носки, смотрела сериалы, иногда торговала на пятачке. Там она узнала, что в городе есть дельфинарий, находится он недалеко, но билеты дорогие.

Олма нашла дельфинарий, зашла в кассы, увидела объявление: “Требуется уборщица”. Хозяйка дала разрешение на работу и установила плату за проживание в половину зарплаты. Олму в дельфинарий взяли, даже паспорт не стали спрашивать, когда там узнали, что живёт и работает она у тёти Оли.

IV

Афалины настолько очаровали новую уборщицу, что на работу она брала шерсть и спицы, вязала носки и часами любовалась работой стаи людей и дельфинов. Сотрудники дельфинария в друзья не навязывались, чай, кофе не предлагали. Дрессировщикам Олма помогала мыть и разделять рыбу, иногда они разрешали ей кормить зверей. С дельфинами она сошлась быстрее, чем с людьми. Оказалось, что на морду они все разные, по уму похожи на лошадей, любят работать, только глухие, как рыбы. По мере погружения в атмосферу праздничного водного шоу её воспоминания о прошлой жизни, волшебном мальчике и грозном муже, в тени которого она долгое время существовала, стали чаще всплывать в памяти и наполняться добрым светом.

С другой стороны, Олме открылось, что она потеряла Турсуна и Тоджи навсегда! Это “навсегда” не давалось её уму и сердцу, как и слово “смерть”. Она не говорила и не думала об этом, но “оно” лезло само, помимо воли и желания: зачем ему бесплодная неверная женщина?! Он её бил, бил за нелюбовь. Бросила мужа в трудный момент, он не простит предательство, даже если на то будет воля родителей. Она была плохой женой, плохой любовницей, потому что не любила мужа и злилась... Сын ушёл от неё навсегда! Она обижалась на него, когда Тоджи болел, капризничал или повторял за отцом ругательства. Олма была плохой мамой.

Похожее на затопленную бочку просторное помещение под полукруглым сводом нравилось ей. В полумраке барабан потолка вращался, разворачивая ленту воспоминаний и потерь. Женщина лежала неподвижно и думала, что в прошлом всё было одно и то же, а сейчас — она не понимает, где находится, видит небесные иглы и надеется, что одна из них поразит её, а может быть, даже убьёт, ну и что? Всё вокруг переменялось. Открылись соблазны, которых она не знала. Главный — это свобода. Ты никому не нужна и тебе никто не нужен. Потом — шерсть и спицы? Она не умела вязать и научилась, спицы дают деньги. И дельфины, эти морские зубастые собаки? Почему они здесь, возле неё, кто их послал и зачем?

V

“Было хорошо”, — размышляла Олма. Ей чудилось, что она не одна, что здесь обитает свободная душа мальчика с прозрачными глазами. Это Тоджи играет бликами, прячется в воде и терпит боль. Как он умирал?! Судорога исказила лицо Олмы. Это Тоджи ударил её, он здесь, говорит, что ему больно от одиночества, что души умерших не рады вечной жизни, они страдают в разлуке с близкими людьми.

За стеной светилась белая стена, на которой сустились, играя друг с другом, светлые пятна бликов. “Это души дельфинов играют друг с другом, они дети, — подумала Олма. — Тоджи тоже там”. Под водой мелькнула тёмная тень, морда афалины появилась возле Олмы так неожиданно, что она не успела испугаться.

— Уран, Уран, — сказала Олма и протянула мокрую руку. Она хотела погладить дельфина, но он исчез. Затем в бликах дежурного света она увидела плавник. Дельфин шёл вдоль бортика по кругу, зверь разогнался и обрызгал Олму водой, она вздрогнула и не поднялась. Уран медленно, враскачку, пошёл на второй круг. Пулливые блики исчезли, когда он скрылся с поверхности и вода успокоилась.

Внезапно сверкнул круглый лошадиный глаз афалины. Олма не сразу сообразила, что дельфин прихватил зубами руку, сдёрнул с бортика и увлёк её в глубину. Плавать Олма не умела и моментально потеряла сознание. Уран поднял тело на поверхность и затеял сексуальную игру с интересной игрушкой. Всплывая воду, возбуждённый зверь тёрся то боком, то брюхом о жертву. Лежащая на дельфине бесчувственная женщина то поднималась над водой, то исчезала. Платок на голове развязался, и длинные чёрные волосы рассыпались по воде.

Слугнул дельфина Вагин. Ночной директор дельфинария прыгнул в бассейн в остатках одежды, тех, что не успел скинуть на пути. Дельфин оставил свою прытку, и Олма моментально ушла на дно. Николай Николаевич сверкнул пятками и устремился следом, но к погружению на пять метров он был не готов.

— Э-э-э!!! На помощь!!! — зычным голосом распорядился Николай Николаевич и нырнул второй раз. “Надо лом на пожарном снять и с ним на дно, она там уже...” — он думал наперёд и отчаянно грёб руками и ногами, пока головой не уткнулся в дельфина. Внезапно вода вокруг вскипела, и стая афалин подняла его на поверхность. Рядом он увидел оранжевую робу уборщицы, схватила Олму за волосы, и дельфины вытолкали тонущих людей на пологий берег сцены.

Николай взял Олму за ноги, поднял вверх и стал трясти. Сколько было дельфинов за спиной, он не видел, но воды из девчонки вытекло порядочно. Искусственное дыхание и все реанимационные процедуры Николай Николаевич провёл чётко. Двадцать два года армии, чеченские командировки и звание майора обязывали к решительным действиям.

Узбечка очнулась, но вида, что жива, не подавала, ей было страшно и стыдно. Николай перекрестился, перекрестил утопленницу и отнёс её к себе в каптёрку. Там он раздел Олму, растёр полотенцем и завернул в одеяло. Раньше Вагин не замечал новую уборщицу: ну, мол, узбечка, зовут Олей, много таких, но теперь рука сама скользнула под одеяло. Влечение он почувствовал, когда реанимировал сердце и дышал рот в рот, тогда было ещё непонятно: жива ли? А теперь? “В конце концов, имею право, спас жизнь, вовек не забудет”, — оправдал себя Николай и решительно воспользовался беспомощным состоянием Олмы.

— Ты меня слышишь, я знаю, и видишь это, — он поднёс к её носу кулак, — что здесь было — молчать, прибить! — Олма ещё плотнее сжала веки. — Я сейчас вызову “скорую” и сдам тебя в больницу. Запомни: ты мыла бортик и упала в бассейн по неосторожности, понятно! Повтори по-русски: по неосторожности я упала в бассейн!

— Нет, нет, я сама пойду. — Олма открыла испуганные глаза. — “Скорую помощь” нельзя, не вызывай “скорую помощь”!

Николай почувствовал, что она вцепилась ему в руку, и увидел открытые глаза.

— Чего боишься?

— У меня паспорта нет, карты нет. Полиция домой отправит.

— За казённый счёт ласточкой полетишь, даром! Не сомневайся.

— Там муж, я боюсь, он убьёт...

— Не верю, не верю, что убьёт. Убивать грех! Понимаешь, убивать грех! Он же человек. Если блудила, то всех вас можно резать, но не нужно... понимаешь, зачем?! В бассейн прыгать тоже нельзя, запрещено! Ты же плавать не умеешь?!

— Нет, нет! Это Уран зубами схватил. — Олма показала правую руку с царапинами.

— Ладно, давай ключ от своего ящика, я эту одежду в сушилку положу, а тебя запру, чтобы никто не пришёл, сиди в темноте.

Николай обошёл дельфинарий: входная дверь на замке, кругом тихо, ни души. Вышел к бассейну, на сцене у самой воды нашёл головной платок и маленькую тапочку. “Умные звери, соображают, что улики надо прятать”, — улыбнулся он и, когда вернулся в каптёрку, то, не зажигая света, навалился на маленькую уборщицу ещё раз.

— Осторожно, чайник горячий, — успела она сказать и опять притворилась мёртвой.

VI

Вагин был семейным человеком, случайные женщины в его жизни появлялись редко, обычно такие, что вспоминать стыдно. Жена ему не докучала ревностью, знала, что бесполезно. Он отдал ей пенсионную карточку

и самостоятельно распоряжался зарплатой. Николай Николаевич был настоящим ночным директором. Пришёл на должность сторожа и создал в дельфинарии отдел охраны, реорганизовал штат, взял под личный контроль систему сигнализации и видеонаблюдения.

Импозантный мужчина в камуфляже благотворно влиял на публику и коллектив. Он встречал и провожал зрителей, его присутствие в зале добавляло артистам уверенности. Директор ценила его предприимчивость и энергию. Николай по своей инициативе освободил её от ряда хозяйственных вопросов, но когда он влез в закупки рыбы, то крепко дала по физиономии. Вагин не обиделся, бизнес есть бизнес, ничего личного, он разбирался в понятиях.

Особый шарм майора состоял в том, что он бросил пить, когда вышел в запас. Завязал с напитками и медицинскими настойками абсолютно, но выглядел так, будто последний стакан выпил вчера, говорил медленно, неразборчиво и громко. Мнение майора имело вес в коллективе.

Вагина интересовала спецлитература по безопасности и борьбе с терроризмом. Он научился читать по губам, понимать человека, когда он молчит, и самостоятельно овладел системой рукопашного боя, разработанной в Моссаде. “О-о-о, — улыбался он в глаза зарвавшимся клиентам, — мне драться нельзя. Служил в разведке, могу убить по неосторожности, — и медленно поднимал руки вверх, то есть становился в боевую позу медведя. — Ты в Пентагоне в каком весе выступал? А-а, не слышу? Я, видишь, в тяжёлом...” Так это или не так, никто не знал и проверить не пытался.

В новогодние каникулы дельфинарий работал ежедневно. Спектакль “Ёлка в подводном царстве” имел успех. Ставили шоу своими силами, роли распределили между сотрудниками, работали под фонограмму. Николай Николаевич в зелёной бороде, с посохом в виде трезубца изображал Царя подводного мира. Главным злодеем был Красный краб. В бассейне Краб катался на Антее, а на сцене ему подпевали и подтанцовывали четыре наяды в костюмах с крылышками. Они изображали летучих рыб.

Праздничная программа стартовала 20 декабря, а через неделю Николай Николаевич отозвал Олму в сторону и тихо спросил:

— Видела сегодня утренник?

— Да, я все спектакли смотрю.

— Видела на сцене три наяды, а не четыре. Это плохо, понимаешь, магия чисел нарушается. Четыре — это плохое число, а три хорошее. Краб — злодей, поэтому в сценарии у него прописаны четыре наяды, а у Снегурочки в свите три зайца. Я поговорил с Кариной, она возьмёт тебя в группу.

— Наташа заболела, я слышала.

— Вот, вместо неё ты и выйдешь. Я уверен, у тебя получится. За каждую ёлку премия будет, понимаешь? Найди Карину, скажи ей, что можешь выйти на сцену, про меня — ни-ни.

— Да, товарищ майор, — взволнованно ответила Олма и покраснела, как от сладкого вина.

Рябиной на коньяке её угощал Николай в каптёрке. Говорил, что для храбрости надо выпить, говорил, что свою бочку уже выпил и потому не может составить ей компанию. Олма не боялась и не стыдилась его, Николай Николаевич был нужным для неё человеком, через него она надеялась получить карту мигранта или паспорт, он обещал. Иногда Вагин приносил хорошую селёдку, говорил: “Возьми, посолишь, хозяйку угостишь”. Ещё он покупал для неё шоколад, виноград и бананы.

Олма стеснялась есть в каптёрке в его присутствии, говорила: “Потом, потом”, — складывала угощение в сумочку, выпивала стаканчик настойки и закрывала глаза. Это был знак. Николай гасил свет, ставил её на стул и начинал раздевать, каждую вещь он аккуратно складывал и убирал в сторону. В абсолютной темноте томительная медлительность и мягкие прикосновения приводили её в состояние душевного трепета. Олма дрожала всем телом, в руках и ногах начиналось судорожное подёргивание, которое Николай принимал за приступы страха. Он называл её Зайкой, Рыбкой, Ягодкой... и наваливался.

В объятиях Вагина Олма забывала себя и превращалась в героиню популярных фильмов — широкозадую, грудастую блондинку с распахнутым, как у дохлой рыбы, ртом. Она видела себя со стороны, ей не требовался свет и зеркало, у Олмы был актёрский дар. От Аллаха или Иблиса? Николай Николаевич не задавался праздным вопросом. В роли роковой разлучницы она делала всё, что видела по телевизору, один в один копировала сексуально расторможенных порноактрис, прикусывала губы, стонала и смеялась от счастья. Узбечка Вагину нравилась, и он был уверен, что с ролью наяды она справится.

VII

Турсун понимал то, о чём люди не говорили, в том, что Тоджи погибнет, никто не сомневался. Вокруг мальчика-альбиноса роились разные слухи, других альбиносов не было ни в городе, ни в районе. Несомненно, рождение Тоджи — это знак родителям и, возможно, всем жителям. Добрый знак или предостережение? Так или иначе, но все почему-то ожидали гибели коронованного ребёнка. Неясным оставался вопрос: где, когда и по какой причине это произойдёт? Гибель русого ангела, так его называли в городе, могла принести несчастье родственникам и соседям, более того, проживание в соседстве с Тоджи могло стать причиной той или иной неудачи, именно поэтому Турсун увёз семью в Россию. И вот когда всё свершилось, вина Олмы в гибели сына озадачила махалло.

Похороны Тоджи фактически превратились в похороны его матери. Ребёнок погиб по неосторожности, такое бывает, странно другое: мать не приехала. Отец Олмы выглядел битым псом, он прятал глаза в землю. Дочь опозорила его в такой момент, когда должна омыwać слезами могилу сына и молить мужа о прощении. Он не мог поднять головы, видел лишь обувь гостей, лично ему никто не сочувствовал.

Все знали, что Турсун неразговорчив, но многие пришли, чтобы услышать его слово. Очерченное прямыми складками лицо окаменело, он молчал. Турсун не походил на убитого горем отца Олмы или того хуже — униженного, брошенного мужа. Голову держал высоко, на уровне с уважаемыми людьми и почётными гостями. Людей, солидарных с Турсуном и желающих поддержать его, было много, они ожидали, что он скажет?! Снести дом неверного! Забить камнями! Денег надо! Бараны нужны? Белая лошадь? Для искупления нужна жертва...

Отец Турсуна знал, что людей на похоронах будет много, очень много. По мнению махаллы, Олма разрушила семью и превратила прощание с Тоджи в судебное дело о разводе. Родственники Олмы не участвовали в подготовке прощания, поэтому он заказал церемонию по закону в уважаемой фирме, чтобы не было лишних разговоров.

Турсун вышел на могилу, и люди притихли в ожидании. Он молчал, даже дыхание его остановилось. Минуту молчал, две минуты. Возможно, он хотел сказать — талак (*развод*), слово, которое звучало в голове каждого мужчины, но произнести его не смог. Турсун бросил в могилу первые комья земли. Он держался крайне сдержанно, что вызывало уважение и понимание махаллы и в то же время беспокойство отца. Отец видел, что сердце сына пригорело, что ему больно, говорил:

— Не думай мстить, она женщина. Не надо её убивать, оставь. Скажи талак, не ищи её. Не думай: жива она или нет её. Она не твоя жена, талак!

Турсун уходил от ответа и перебирал дни и ночи, как бусы на чётках.

VIII

На время новогодних праздников бухгалтерия превратилась в гримёрную и костюмерную. Олму усадили напротив стенового шкафа, в котором было большое зеркало.

— Ну и ну, какая красота, — приговаривала Карина, расчёсывая густые и длинные волосы Олмы. — Наш паричок тут не годится. Надо стричь.

Вокруг Олмы собрались все наяды. Воцарилась пауза, будто кто умер...
— Может, пусть танцует с распущенными волосами, будет как русалка, — раздался неуверенный голос.

Неожиданно в дверях появился Николай Николаевич и заржал:

— Басурманку стричь под ноль, а волосы мне на бороду!

— Вроде трезвый, а дурень! Куда вломился, понимаешь? — Карина не вздрогнула, хотя была в трусах, что было не смешно, в свои сорок она имела идеальную фигуру. — Выйди, здесь дело серьёзное. Волосы в жизни женщины — это судьба, у меня линии на ладони изменились, когда я постриглась.

— Надо, чтобы все в синих париках были! Опа-опа-опа, — Вагин начал скакать по комнате, как наяда.

— Уймись и не мешай! Возбужден, хрен... — Карина осадил Вагина и обратилась к Олме: — Если уберём волосы, ты разом помолодеешь лет на сто. Я тебя потом в салон отведу, там из тебя конфету сделают. Надо стричь.

— Надо стричь, — как эхо откликнулась Олма. Она уже давно была готова и согласна, ей очень хотелось примерить синий парик и увидеть ту, другую женщину, которая жила в ней.

На сцене Олма от нервного напряжения впала в транс, когда увидела полный зал зрителей. Старые тапочки остались за кулисами, из куколки на сцену выпорхнула бабочка. Музыка в зале уже звучала не из динамиков, а изнутри, опьяняя сердце забвением. На сцену наяды выходили мелкой трусцой, как лебеди в балете, а потом начинался лошадиный галоп. Вместе с Красным крабом они изображали квадригу, запряжённую четвёркой. Олма не смотрела на Карину и не повторяла её движения, как советовал Николай Николаевич. Руки и ноги двигались сами собой следом за музыкой, опережая одну-единственную мысль: как бы не поскользнуться на мокром полу. Она всё время косила глазами вниз, два раза падала, и как резиновый мячик отскакивала от пола. В этот момент зал бурно смеялся и хлопал.

После спектакля наяды долго хохотали в бухгалтерии и корчили рожи, передразнивая Олму. Оказалось, что она все время танцевала с каменным лицом, задрав нос, и косыми в пол глазами. Наконец Олма осмелилась и спросила:

— Я хорошо танцевала?

— Как прима, — ответила Карина.

— А кто такая прима?

— Значит главная, первая, скоро будешь вместо меня зажигать.

IX

Турсун вернулся на работу в автохозяйство. Большую часть дня он крутил баранку, мотался туда-сюда и к общению с людьми не стремился. В молчании он ожидал, что Аллах обратит на него внимание и укажет путь, или... Олма вернётся. Иногда диспетчер пересаживал его с фургона на пригородный автобус. Однажды на конечной остановке незнакомый парень отвёл Турсуна в сторону и сказал:

— Олма устроилась на работу в дельфинарий. Она танцует на сцене в синем парике и в колготках.

— Сам видел?

— Нет, знакомый рассказал. Он подругу водил туда и узнал Олму.

— Она просила что-нибудь передать мне?

— Не знаю, про это он ничего не говорил.

— Спасибо, друг. Прошу тебя, никому не рассказывай про Олму, не надо, — Турсун достал немного денег, что были в кармане, и отдал их парню.

— Зачем это, я так, — удивился незнакомец.

— Хорошее известие принёс, — улыбнулся Турсун.

— Ещё. Я не уверен, говорят, что она сошлась с охранником.

Турсун продолжал улыбаться, но парень понял: продолжать не следует, и так сказал лишнее.

О связи Вагина и Олмы в коллективе знали и опасались шутить. Николай Николаевич считал себя великим психологом и опытным следователем, вёл наблюдение за сотрудниками, знал их дела и делишки, крут интересов и знакомств. Кое-что доносил до директора, получал премию и таким образом держал всех за язык.

Для посетителей дельфинарий работал по выходным и праздничным дням. Вагин присутствовал на каждом представлении. На входе он осматривал зрителей, оценивал потенциальные опасности. Иногда вступал в разговоры с людьми с целью разведки. Во время представления присматривал за публикой, у него было несколько точек наблюдения, и он их менял по ходу действия.

Чужого человека он заметил уже в зале, долго вспоминал и думал, почему не заметил на входе. Мужчина пришёл один, без детей и женщин, что сразу его выделяло в массе посетителей. Потом, одет он был в длинный коричневый пиджак, с двумя пуговицами, таких пиджаков в городе уже давно не носят. Чужак не смеялся и не аплодировал, видно было, что пришёл не на дельфинов посмотреть.

Вагин не знал, что Турсун прилетел в будний день. В дельфинарий он не пошёл, чтобы не привлекать внимания и не светиться на камерах, а весь день дежурил и наблюдал снаружи, но Олму не встретил. На представление Турсун явился рано, зашёл с первыми зрителями, поэтому Вагин его не заметил.

В бассейне работали дрессировщики и дельфины. Накатанная программа шла спокойно. Антей катал людей на спине, Уран прыгал через кольцо. Альфа и Ева играли в мяч со зрителями. Турсун скоро убедился, что театрального шоу не будет. Звери его не интересовали. Он улучил момент, когда охранник отвлекся, и покинул зал. У него не было однозначного плана, он хотел посмотреть на Олму и сказать, что приехал...

Когда Вагин увидел пустое кресло, сразу понял, что чужой — это муж Олмы. В его воображении образовался “объект № 1”, которому требовался персональный телохранитель, и он начал действовать сообразно инструкциям.

Вагин нашёл Олму на кухне, она помогала дрессировщикам готовить ужин для дельфинов, мыла рыбу и никак не отреагировала на его появление. “Хорошо, — подумал Николай Николаевич, — значит, не знает, что мужик её здесь”. Он закрыл дверь и занял позицию справа от входа, под правую руку для удара, так, чтобы противник не заметил его в момент входа в помещение. На столе у Олмы лежал нож для разделки рыбы. “Неплохо, пригодится ей в случае самообороны”, — оценил позицию Вагин. Оружия при себе он не имел, на поясе носил старомодный телефон с антенной и верил в “психологию”. Сначала он думал, что надо изолировать Олму, вычислить чужака и поговорить с ним, но он не был уверен в поведении Олмы. Потом вспомнил, что грешен сам, и решил: пусть будет, что будет, брать — так на живца, но ситуацию надо держать под контролем.

Сначала Вагин затеял разговор с женщинами про селёдку, которой кормили дельфинов, потом сделал вид, что осматривает помещение с целью установки на кухне камеры. Эта тема не понравилась дрессировщикам, они стали энергично возражать. Вагин слушал и тянул время. Олма молчала, не участвовала в разговоре. Когда дверь неожиданно открылась, он перехватил её взгляд. Она развернулась спиной к двери. Вагин понял, что гость на пороге, и внезапно перекрыл вход. Улыбнуться и поднять руки для дружеских объятий он не успел. Турсун нанёс ему удар ножом, Вагин глубже навалился на нож и провёл удушающий захват. Противники лежали в проходе. Женщины кричали и визжали, они не могли выйти из кухни. Турсун не мог подняться и наносил удары ножом в бок. Вагин держал его в захвате и продолжал душить.

Появились люди, мужчины пытались вмешаться в драку, кричали:

— Брэк, Николай, брэк, хватит, отпусти его!

Когда Турсун выронил нож, они попытались поднять Николая и не смог-

ли разомкнуть руки. Он оставался в сознании и продолжал бороться.

“Скорая помощь” появилась быстро. Вагина погрузили на носилки и унесли.

— А с этим что? — спросила директор.

— Всё, не жилец, вызывайте полицию и “скорую”, — сказала врач.

— Зачем “скорую”?

— Они констатируют, нам протокол выписывать некогда!

Директор побежала провожать Вагина, следом за ней потянулись остальные.

Олма всё это время тихо стояла у стены, смотрела в пол и боялась обнаружить своё присутствие. Когда она увидела Турсуна в кухне, то поняла, что он не объявил талак. Прилетел сюда, потому что любит её и убьёт по праву как свою жену. Убьёт двоих, её и ребёнка, которым она беременна. А если не убьёт, то не переживёт позора измены и рождения другого ребёнка. Она погубила мужа, она погубила сына, и горе её впереди, потому что Аллах оставил её. Так думала новая Олма и не верила сама себе. Старая Олма знала, что муж простит её и увезёт домой, если... если она согласится, но это невозможно, потому что развод на деле устроила она, воспользовалась смертью сына... и сбежала. Теперь пусть так, он не знает, что случилось с ней, и ему хорошо, так Аллах распорядился.

В минуту, когда отъезжала “скорая помощь”, они остались вдвоём. Олма упала на окровавленное тело. Слезы хлынули из глаз, как вода, проломившая ветхую плотину. Звериным воплем начала она плач, положенный умершему мужу, и в то же время... рука её скользнула в грудной карман, она обыскала пиджак Турсуна, нашла свои документы и деньги.

Олма оплакивала мужа до тех пор, пока не появились полиция и директор дельфинария. Их встретила уже не запуганная узбечка, которая нанималась в уборщицы, а самостоятельная и уверенная в себе женщина. Слезы и акцент не мешали Олме говорить и не умаляли достоинства, упреждая вопросы полиции, она сказала:

— Меня зовут Олма. Он мой муж — Турсун. У нас утонул ребёнок в прошлом году. Мы не жили вместе восемь месяцев. Муж хотел убить меня. Майор Вагин остановил его. У меня будет русский ребёнок от майора Вагина. Я хочу жить здесь. Вот мой паспорт.

Когда она остановилась и замолчала, директор дельфинария обратила внимание на стрижку Олмы: причёска такая же, как у Карины!

СЕРГЕЙ ПОЛУЯНОВ



ВЗГЛЯД В БЕЗДНУ

РАССКАЗ

Руслан проснулся на рассвете. Тусклый свет наступающего дня пробивался сквозь плотную ткань палатки. Осторожно, чтобы не разбудить соседа, он выбрался из спального мешка, взял приготовленную с вечера одежду и тихо вылез наружу. В лицо ударил холодный воздух, по телу пробежали мурашки. Поёживаясь, переминаясь с ноги на ногу, он торопливо оделся.

Стоял июль, но здесь, в горах, температура ночью понижалась до нуля, сохраняя вокруг лагеря подтаявший снежник и белоснежные шапки на вершинах гор. И хотя первые лучи солнца уже проникали к земле, в воздухе ещё висело тёмное марево, в котором скрывался тусклый, застывший пейзаж. Чувствовался еле уловимый запах потухшего костра. Рядом чернели остатки углей, покрытые хлопьями серого пепла. Кучевые облака, казалось, застыли в небе, в котором уже появились белоголовые орлы-сипы, вылетевшие на раннюю охоту. Они, широко расправив могучие крылья, плавно парили в вышине, пристально высматривая добычу.

Руслан бесшумно подошёл к палатке инструктора Паши. Прислушался. Там стояла тишина. До подъёма ещё оставалось больше часа, но он знал, что старший группы встаёт раньше других. Нужно было спешить. Он взял приготовленное снаряжение и быстро пошёл по знакомой тропинке.

Руслан впервые оказался в горном походе. И хотя считал себя спортивным парнем, качал штангу, крутился на турнике и хорошо бегал, иногда даже выигрывал школьные соревнования среди старшеклассников,

ПОЛУЯНОВ Сергей (ШПИТОНКОВ Сергей Викторович) родился в 1964 году в Москве. Окончил высшее военное учебное заведение, служил в Вооружённых Силах. После увольнения в запас работал в разных организациях на управленческих должностях. В данный момент занимается консалтингом. Живёт в Москве. Данная публикация — дебют.

в этом походе ему было тяжело. В первые дни трекинга от долгой монотонной ходьбы с тяжёлым рюкзаком сбивалось дыхание, болела спина, ныли натёртые ноги. Несколько раз на крутых подъёмах по курумнику, этому нагромождению движущихся камней, вытирая рукавом пот с лица, он останавливался. В такие минуты Руслан был готов бросить рюкзак на землю и крикнуть инструктору, что у него больше нет сил, и он дальше никуда не пойдёт. Но каждый раз его что-то останавливало. То ему мешал колючий взгляд Паши, который, как ему казалось, всё время внимательно наблюдает за ним и будто только ждёт, когда же Руслан наконец-то сдастся. А может быть, в этом была виноват щуплый Сашка, на вид самый слабый в группе. В походе Сашка часто шёл в конце группы, тяжело дыша, плотно сжав губы и упрямо глядя перед собой. Как бы ни было тяжело, он не издавал ни звука. И в этом молчании чувствовалось что-то гордое и сильное. Сашка вчера не испугался и той пропасти, где Руслану стало страшно.

Тогда группа спускалась с высоты в долину, покрытую скудным ковром пурпурного тимьяна, серо-зелёного можжевельника и дымчатой полыни. Там они собирались разбить лагерь и наконец-то отдохнуть после тяжёлого многокилометрового дневного перехода. Но на перевале, когда уже вдалеке открылась равнина, Паша остановил группу. Здесь путников ожидала опасность. В этом месте заканчивалась петлявшая вверх и вниз тропинка и начинался узкий выступ, по которому и нужно пройти вперёд каких-нибудь двадцать метров. Левый край выступа упирался в отвесное ребро скалы, а справа зияла чёрная, бездонная пропасть.

Руслан наклонился и посмотрел в неё. У него перехватило дыхание, закружилась голова, ноги стали ватными.

— Всё в порядке? — услышал он рядом голос Паши.

— Кажется, — неуверенно ответил Руслан

— Тогда готовься. Сейчас я закреплю страховку, потом ты прицепишь карабин к ней, и осторожно пойдёшь вперёд, — сказал инструктор, скидывая свой рюкзак.

Паша нашёл подходящую трещину в скале, вбил металлический крюк, просунул в проушину верёвку и завязал её крепким тройным узлом. Аккуратно пройдя по выступу на другую сторону, он натянул верёвку и так же её закрепил.

— Цепляйся! — крикнул Паша

Руслан не сдвинулся с места. Из глубоких каменных расселин веяло могильным холодом. Он побледнел, страх, как липкая смола, окутал всё его тело.

— Ну, что же ты! Давай! — Паша махнул рукой

— Сейчас... — еле слышно пробормотал Руслан, пристёгивая карабин. Он попытался сделать шаг вперёд, но идти не смог. Ослабевшие ноги отказывались слушаться. Тогда он осторожно лёг на живот и медленно пополз. Каждое движение давалось Руслану с огромным напряжением. Во рту пересохло, пот заливал глаза. Мелкий камень царапал руки, сбивал колени. Вдруг он почувствовал чей-то тяжёлый взгляд, и ему стало не по себе. Руслан повернул голову и посмотрел вниз, в мрачную пустоту. Из тёмной пучины на него смотрели огромные, немигающие цинково-жёлтые глаза с огненно-красной радужной оболочкой. Они притягивали и гипнотизировали. Он в ужасе замер, не в силах пошевелиться. Какие-то невидимые силы закружили голову, замутили разум. Сердце испуганно сжалось, в груди похолодело.

— Руслан! — крикнул инструктор. — Что с тобой?!

Руслан тряхнул головой, пытаясь отогнать наваждение, взять себя в руки. Он приподнялся на коленях, но тут же пошатнулся и на долю секунды потерял равновесие. Его ноги поползли вниз, увлекая за собой россыпь мелких камней. Они падали в пропасть, беззвучно исчезая в чёрной пустоте.

Руслан испуганно втянул голову в плечи, пытаясь вжаться в землю, втиснуться в камни, спрятаться. Ему казалось, что если он сейчас сдвинется с места, то упадёт вниз и навсегда исчезнет в этой бездонной пропасти.

“Пропасть — пропал, пропал...”

Неожиданно кто-то крепко схватил его за руку:

— Спокойно. Без паники. — Паша бережно потянул Руслана к себе. — Перейдём вместе. Я иду сзади, ты — впереди. Вниз не смотреть!

Руслан плохо помнил, как он, будто в тумане, видя перед собой лишь размытый силуэт жёлтых глаз, сжав верёвку слабыми руками, пополз вперёд...

Позже, когда группа уже вышла на равнину, Паша разрешил короткий отдых. Он подошёл к Руслану, присел рядом. Вытирая потное лицо, улыбнулся ясными, синими глазами:

— Не бойся, всё уже позади.

— Да, я... — еле слышно промямлил Руслан, — и не боялся ...

— Да ладно, не ври своим, — инструктор добродушно хлопнул его по плечу. — Твои вытаращенные глаза были видны даже, наверное, оттуда, — он показал пальцем в небо. — Но ты не переживай, так бывает. Страх — это нормально. Все боятся. Не верь, если кто-то скажет, что это не так. Не страшно только дуракам. Самое опасное, что человек в страхе перестаёт думать. У него срабатывает животный рефлекс. Он или цепенеет, не в силах действовать, или, наоборот, что-то быстро, не соображая, пытается сделать. Так многие и погибают... Нужно учиться справляться со своим страхом.

— А как? — тихо спросил Руслан, чувствуя, как по спине прокатилась волна дрожи, и её отзвуки пронзили кончики пальцев.

— Переживать его в себе. Наблюдать за ним. Идти на него. Делать то, чего больше всего боишься. А ещё медленно дышать и расслабляться. Вот так примерно.

Паша закрыл глаза, положил кисти рук на колени и не спеша сделал несколько глубоких вдохов и выдохов.

— И ещё запомни, — инструктор понизил голос почти до шёпота, — если долго будешь смотреть в бездну, будь готов к тому, что бездна посмотрит в тебя...

Руслан вздрогнул:

— Кажется, я уже....

— Ну, тогда ты уже знаешь, что это такое, — кивнул головой Паша. — Но берегись. Этот омут может затянуть. Особенно когда боишься.

Паша задумчиво почесал тёмную щетину на подбородке:

— А вообще-то это дело привычки...

— В смысле?

— Чем чаще сталкиваешься с опасностью, тем меньше будет появляться страх. Человек ко многому привыкает. Так что если бы ты ещё раз прошёл это место, думаю, было бы уже всё по-другому.

И хотя вся группа видела, что произошло на перевале, вечером никто Руслану не сказал ни слова. От этого его ещё больше мучило чувство стыда. Он злился, сжимал кулаки, проклинал свой позор. Мрачное настроение отравляло всё вокруг. К еде Руслан не притронулся. Не стал, как все ребята, сидеть у вечернего костра под дружные разговоры с горячим чаем и песни под гитару.

Весь вечер он старался чем-то себя занять: укреплял растяжки на палатке, перебирал вещи в рюкзаке, вымыл грязные, на толстой подошве, ботинки, несколько раз ходил за водой на ручей.

И перед самым отбоем Руслан понял, что ему нужно делать.

И вот сейчас он уже почти подошёл к знакомому выступу. Оглянулся по сторонам. Вокруг натянутой струной пронзительно звенела тишина, и только утренний туман живо клубился по тёмным скалам.

В лагере, наверное, уже проснулись и скоро его будут искать. Нужно торопиться. Руслан осторожно подошёл к пропасти, присел, обмотал страховку вокруг большого валуна и закрепил её конец на своём ремне. Потом он опустился на колени и осторожно пополз вперёд. Сердце учащённо забилося. Этот звук отдавался в голове чередой пульсирующих ударов.

— Ещё раз... — упорно повторял он про себя... — Ещё раз...

Руслан остановился на самом краю провала и с опаской посмотрел вниз. Вновь перед ним была она — огромная и мрачная бездна. Он снова почувствовал её холодное дыхание и опустил голову на руки, закрыл глаза и стал

медленно, как учил Паша, дышать, представил, как там внизу, в этой безмолвной пустоте, в которой нет ни времени, ни тепла, ни света, год за годом, век за веком капли воды настойчиво точат камни, крошат их, стирают в пыль, чтобы потом они снова когда-нибудь возродились. Так происходит этот бесконечный круговорот, и никто не в силах его изменить...

Руслан прислушался к себе, открыл глаза, посмотрел на руки. Они не дрожали. Тело расслабилось, дыхание стало ровным. Его взгляд коснулся стен впадины. Он заметил, как по её краям пробивается к свету темно-зелёный мох, в разные стороны расползаются глубокие, извилистые трещины, мириадами стекают куда-то вниз капли прозрачной росы. Руслан медленно протянул руку и провёл пальцами по извилистой, напоминающей змею расщелине, почувствовал её шершавую, холодную поверхность.

Он всё смотрел и смотрел вниз, и не сразу понял, что отчётливо видит всё, кроме одного — тех страшных, немигающих жёлтых глаз. Руслан вздохнул с облегчением. Кажется, дьявольское наваждение прекратилось, пропали колдовские чары. Его больше не мучил страх. Исчезло презрение к самому себе, которое вчера нахлынуло жёсткою волною, перевернуло и чуть не погубило. Его сердце зазвучало свободно и радостно.

Бездна больше не смотрела на него. Это видение исчезло, превратилось в прошлое и осталось лишь в его воспоминаниях, о которых он через много лет будет рассказывать своему сыну, поднимаясь с ним в горы по такому же извилистому и трудному пути.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕЗИДЕНЦИИ

Ассоциация союзов писателей и издателей (АСПИ) — объединение четырёх крупнейших союзов писателей и Российского книжного союза. Писатели самых разных направлений и взглядов собрались вместе для поддержки текущей словесности и литературного процесса. Занятия с начинающими литераторами, помощь писателям в трудной ситуации, создание сети литературных резиденций, творческие командировки писателей — число масштабных проектов АСПИ, охватывающих всю Россию от Калининграда до Чукотки, продолжает расти.

Представляем один из проектов АСПИ — «Литературные резиденции». Каждый месяц 42 писателя по направлению Ассоциации едут работать в дома отдыха и санатории на Орловщину, в Оренбуржье, в Каменск-Уральский и Пятигорск, под Благовещенск и в Бердск, в легендарное «ахматовское» Комарово. Ниже публикуются произведения, написанные в Сибирской, Уральской и Оренбургской резиденциях.

ЮРИЙ ЛУНИН



ПРЕОБРАЖЕНИЕ

РАССКАЗ

Аз же рех во изступлении моем: всяк человек ложь.
Пс.115:2.

Вот уже десять лет у меня на стене висит картина Дениса Логинова — его подарок на моё совершеннолетие.

Я привык называть это картиной, хотя, наверное, стоило бы подыскать более точное определение.

Хорошо: арт-объект под названием “То, что видел только я” представляет собой холст на подрамнике размером шестьдесят на сорок, заключённый в самую скромную деревянную рамку и перевёрнутый предполагаемым изображением к стене. Посередине видимой задней стороны на серую поверхность холста наклеен белый листок офисной бумаги (формат А4), на котором авторской рукой написан следующий сопроводительный текст:

“ВНИМАНИЕ! ВИСИТ ПРАВИЛЬНО! НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ И НЕ ПЫТАТЬСЯ ЗАГЛЯНУТЬ! ЛУЧШЕ ВООБЩЕ НЕ ТРОГАТЬ!”

Будучи повешенным именно таким образом, произведение в точности реализует авторский замысел. Необходимой составляющей его эстетического

ЛУНИН Юрий Игоревич родился в 1984 году в г. Партизанске Приморского края. Окончил Литературный институт им. М. Горького (творческий семинар А. Е. Рекемчука, 2010). Работает выпускающим редактором в звуковом журнале для слепых. Прозу пишет с 17 лет. Публиковался в журналах “Наши современники”, “Волга”, интернет-журнале “Literratura” и др., сборнике “Facultet” (2007), альманахах “Пятью пять” и “Радуга”. Лауреат премии “Справедливой России”, премии им. И. А. Гончарова, премии Л. М. Леонова, российско-итальянской премии “Радуга”. Женат, отец троих детей. Живёт в подмосковной деревне Следово.

и прочего содержания является категорический запрет на лицезрение его обратной стороны когда бы то ни было кем бы то ни было, не исключая владельца. Нарушение данного запрета квалифицируется как самый настоящий акт вандализма, ничуть не менее циничный, чем пальба по “Девочке с персиками” из автомата Калашникова.

Ввиду вышеизложенного все манипуляции с произведением следует осуществлять при строгом соблюдении соответствующих мер предосторожности.

Денис Логинов, автор.

Р. S. Настоящий листок частью произведения не является и может быть откреплён от него в ситуации гарантированной безопасности”.

Несмотря на то, что у меня дома картина именно в такой ситуации вроде бы и находится, откреплять листок я не стал. Может, он и не часть произведения, но всё же часть того, что я в этом произведении полюбил. Просыпаясь, я первым делом цепляюсь глазами именно за него.

Я и сейчас, в эту самую минуту, то и дело бросаю взгляд на шедевр Дениса. Это, кстати, уже вторая стена, которую он украшает. Первой была стена моей комнаты в маминной квартире. Перебираясь оттуда несколько лет назад на новое ПМЖ, я действительно должен был соблюсти “соответствующие меры предосторожности”: я закрыл дверь комнаты на щеколду, заранее расстелил на полу широкую простынь и аккуратно перенёс на неё снятую со стены картину, преодолев во время этой короткой процедуры властное искушение как бы ненароком скользнуть пальцами по запретной стороне холста и хотя бы на ощупь познать тайну, которая за многие годы не стала для меня менее волнующей. Помню, что простынь была белой, и, поднося к ней произведение, я и мечтал, и одновременно боялся увидеть на ткани цветковые рефлексы, бросаемые на неё невидимым изображением. К счастью, я не успел заметить ничего, кроме обыкновенной сероватой тени от самого предмета. Тайна осталась тайной.

Должен, впрочем, признаться: каждый мой взгляд на работу Дениса слегка омрачён — или, лучше сказать, запятнан — воспоминанием об одном инциденте, имевшем место вскоре после того, как я стал её обладателем.

Я пришёл тогда домой после института и, зайдя на кухню поздороваться с мамой, внезапно услышал:

— Там у тебя в комнате висит карти...

— Тихо! — среагировал я с такой быстротой, с какой, кажется, никогда и ни на что до этого не реагировал. — Не говори, пожалуйста, больше о ней! Там ведь всё написано: её никто никогда не должен видеть!

Мама явно опешила: никогда раньше я не позволял себе повышать на неё голос.

— Да я, собственно... — начала она говорить нечто такое, что должно было заменить мои опасения насчёт её действий чувством вины перед ней, но я и тут не дал высказаться, моментально заподозрив в её интонации признаки медицинской лжи, в которой боялся доподлинно убедиться, дослушав до конца.

— Ну пожалуйста, мам! — сменил я крик на умоляющее хныканье. — Просто забудем об этом и всё. Ты ничего не видела — я ничего не знаю. Точка. А сейчас я сразу в ванную...

Идея принять ванну явилась, видимо, оттуда же, откуда и молниеносная реакция на первую мамину фразу — из инстинкта сохранения тайны. Забив свой слух напористым бульканьем водяной струи, я давал маме возможность незаметно пройти в мою комнату и там тщательно замести все следы вандализма, если таковые имелись.

— Иди поешь, — сказала мама, когда я вышел из ванной, — *искусствовед несчастный.*

— Тищц... — приложил я палец к губам и поцеловал её в щёку.

Помню, поужинав, я зашёл в комнату и долго, не менее получаса, стоял перед картиной, всматриваясь и вслушиваясь в неё. Я ожидал от неё под- сказки: произошло — или нет?

Я до сих пор не знаю ответа. Хочется верить, что нет. Но кое-какие ковенные факты, от которых я не успел увернуть свой слух (хотя очень к этому стремился), дают основание предположить, что всё-таки что-то было.

Так или иначе, мне пришлось свыкнуться с этим маленьким тревожным инцидентом, похожим на крошечное пятно катаракты, которое словно бы наплывает на мои глаза при каждом взгляде на картину, лишая контакт с её тайной того кристального, девственного совершенства, что было даровано в самом начале.

Впрочем, с утратой совершенства этот контакт стал для меня, пожалуй, ещё более важным и трепетным. Побывав под угрозой, авторский замысел явил реальность своей силы.

В общем, я назвал это произведение шедевром без доли иронии. Для меня это действительно шедевр.

Самого же Дениса Логинова я считаю самым умным и одарённым человеком из всех, кого когда-либо встречал на своём пути.

Мы познакомились на вступительном экзамене по отечественной истории. Это был заключительный устный экзамен, который Денис сдал так же легко и блистательно, как и два предыдущих, я же — исключительно благодаря помощи Дениса.

С родной историей (как, впрочем, и с мировой) у меня никогда не клеилось. Карамзин, Костомаров, Соловьёв, Ключевский — труды этих учёных мужей я добросовестно читал в разные годы своей юности, но их содержание не удерживалось в моей голове, как вода в дырявом кувшине. Этот феномен можно было бы объяснить слабо развитой памятью, если б во множестве других областей память не служила мне более чем исправно. Складывалось ощущение, что у меня в мозгу просто-напросто отсутствует некий механизм, необходимый для усвоения именно исторического материала, — что-то вроде катушки с намотанной на неё хронологической лентой, на которую только и могут отпечатываться все эти факты, даты, имена и процессы.

Сегодня я склонен думать, что катушка была на месте, просто сам я упрямо, хоть и бессознательно, отказывался ею пользоваться. Что-то во мне непримиримо бунтовало против науки истории. Думаю, мне претила в ней её вечная обращённость к смерти. Величайший абсурд виделся мне в том, чтобы употреблять время своей единственной и безжалостно короткой жизни, своё драгоценное *здесь и сейчас* на копание в омертвелом прошлом, частью которого я сам когда-нибудь непременно стану. Мне достаточно знать, что я последую за мертвецами; зачем лишний раз напоминать мне о том, что все они тоже когда-то жили?

Весьма символичной была в этом смысле футболка, в которой я явился на тот экзамен. На ней красовался Сид Вишес, вдохновенно натягивающийся косяком через “воздушную камеру”, сделанную из собственных ладоней. Это был тот, кто выкрикнул на весь мир “no future!” — лозунг, подхваченный миллионами. Меня всю школу кормили афоризмом про выстрел в прошлое из пистолета, за который будущее обязательно отомстит выстрелом из пушки. Так вот: на моей футболке красовался “пистолет”, пристреливший это самое будущее и тем самым освободивший меня от всякого пиетета перед прошлым.

И всё же — как ни парадоксально — историю надо было сдать, и сдать как минимум на четвёрку с учётом не самой высокой суммы баллов за предыдущие экзамены. И если со вторым вопросом в билете мне более-менее повезло (я пролистывал эту тему накануне), то первый — про Древнюю Русь — стоял передо мной глухим чёрным лесом.

Всесторонняя образованность Дениса Логинова — этого худощавого уроженца нетривиального Калязина — на тот момент уже успела прошуметь в рядах абитуриентов и преподавателей. Меня, волей случая оказавшегося с ним на экзамене за одной партией, эта его слава одновременно привлекала и отпугивала. Привлекала по понятной причине, отпугивала же потому, что все без исключения эрудиты и вообще отличники, у которых я когда-либо до этого просил подсказки либо разрешения списать, оказывались почему-то или

торжествующими нарциссами, или образцами фарисейской законопослушности — в общем, людьми исключительно неприятными. То, как они выражали мне свой отказ, всегда оставляло в душе самый отвратительный осадок. Вот и сейчас, прося очередного эрудита о помощи, я с тоской готовился услышать что-нибудь вроде: “Я бы рад тебе помочь, старина, но разве это будет справедливо?” Пожалуй, я и не решился бы на просьбу, невзирая на всю судьбоносность момента, если б не футболка Дениса. (Видимо, поэтому я и запомнил их обе — и его, и собственную.) На ней был изображён Микки Маус с кровоточащими дырами глазниц, протянувший к миру свои надутые ладоши, на которых лежали в лужице крови его выдранные глазные яблоки. Не знаю почему, но именно этот принт подал мне повод надеяться, что вундеркиндю из городка с затопленной колокольней не чужда эмпатия.

И Микки Маус, к счастью, не подвёл. Осторожно придвинувшись ко мне, Денис кратко и ёмко изложил шёпотом суть какой-то мутной княжеской междоусобицы, разыгравшейся не то в XII, не то в XIII веке. Видно было, что он ориентируется в этих Свято-, Изя-, Яро- и Мсти-славах так же свободно, как я в своём родственном окружении. При этом казалось, что для него самого его глубокие познания не представляют ни малейшей ценности, что они не стоили ему ни малейших усилий, а так, сами собой, нечаянно, налипли к его памяти.

Ещё запомнилась сама его манера изложения, передать которую я вряд ли хорошо смогу. В ней, несмотря на шёпот и продиктованную ситуацией схематичность, ясно сквозило нечто глубоко ироничное — хотя сказать, в чём именно гнездилась тут ирония, было сложно. Денис не называл князей “чуваками” и “кренделями”, не говорил об убийстве какого-нибудь князя: “Они кокнули этого придурка” (хотя многие из нас охотно перетащили этот убогий школьный юмор в студенческий обиход). Нет, ирония была принципиально иного свойства: слушая простой, но поразительно зримый рассказ о дремучих временах родной истории, я, невзирая на обстановку, не слишком располагавшую к созерцательности, постигал людскую суету — вечную и бессмысленную. Древнерусские люди, ломающие друг о друга мечи и копыя, напоминали мне в этом рассказе скопление маленьких зверьков, запертых кем-то в тесную клетку. Они деловито ползали по решётке, неустанно исследуя пространство на предмет каких-то скрытых в нём выгод, набрасывались гурьбой на каждый брошенный в клетку кусок хлеба и напыживались от гордости, если им удавалось отхватить крошку покрупнее либо застолбить за собой более просторный уголок клетки...

Сейчас мне кажется, что вряд ли Денис надсмехался над ними: они ведь были не виноваты, что оказались взаперти. Ирония относилась скорее к само?й этой “заперти” — то есть к ситуации человеческой жизни вообще. И при этом, повторяюсь, ни в одном слове рассказчика ирония не обозначалась явно; языком Дениса можно было, в принципе, писать учебники. Более того: будь у меня такие учебники, я бы, может, любил историю чуть больше.

В итоге я сдал экзамен на “отлично”, что гарантировало мне прохождение на бюджет. Счастливым, сбросивший с плеч гору, я вышел из здания института, заметил сидящего на скамейке Дениса, подошёл к нему и спросил:

— Могу я в знак благодарности угостить тебя пивом?

— О, это замечательное предложение, — спокойно обрадовался Денис и поднялся со скамейки.

За пивом я спросил его, откуда он так много знает. То есть не откуда, а почему — как так вышло? Денис пожал плечами.

— Это какое-то неуёмное любопытство? — попытался я помочь ему с ответом.

— Нет, — возразил он, подумав. — Скорее, какое-то неуёмное страдание.

Я понял, что мой собеседник не рисует, что он действительно сказал всё, что может сказать по этому поводу. Его ответ странным образом меня удовлетворил. Удовлетворил — и разом сделал Денисовым поклонником. Я чувствовал себя рядом с ним счастливым вариантом Сальери, который принял своего Моцарта с восторгом, как живое чудо света.

Началось время студенчества — хорошее бодрое просторное время, которое, конечно, лишилось бы для меня существенной доли очарования, изымы оттуда личность Дениса. Я мог бы много чего о нём рассказать из этого времени, но уже не чувствую в этом необходимости.

Упомяну разве что о его романе с одной нашей красивой сокурсницей, которой он посвятил поэму с лаконичным названием “Ты”. Собственно, эта поэма и положила конец их отношениям. Текст представлял собой захватывающее путешествие лирического героя по организму любимой. Горячий восторг обожания причудливо сочетался здесь с холодком научной объективности. Я при этом действительно не понимаю, чем будущую искусствоведку могло так оттолкнуть это современное воплощение ветхозаветной Песни песней. Помню, что перечитывал поэму трижды или четырежды и каждый раз не мог от неё оторваться. Проходя сквозь всё, что обречено состариться, погибнуть и истлеть, автор на каждом шагу утверждал бессмертие любви. Странно, что упоминание о “невыгодных” уголках её тела затмило для девушки потрясающие фрагменты, где лирический герой осыпает поцелуями её сердце, танцуя и выкрикивая жизнеутверждающие лозунги под ритм его систол и диастол, или, например, сладко засыпает в колыбели одного из её лёгких, убаюканный ветром её дыхания. Анатомические пейзажи, в которых оказывался Денисов герой, могли настроить его лиру не только на любовно-лирический, но и на гражданский либо социально-политический лад; тогда он писал о страданиях угнетённых народов, о ханжестве мировых лидеров, о фальшивом блеске мегаполисов. Пожалуй, во всём этом — как и в рассказе о древнерусских князьях — сквозила его неподражаемая и неуловимая ирония, но для меня она не исключала искренности самого высокого порядка.

— Грустно... — признавался мне Денис, куря на скамейке и сплёвывая себе под ноги, как самый обыкновенный человек. — Нам ведь было ништяк. Я реально её любил.

Ну вот, теперь, кажется, ничто не мешает мне рассказать о лакированном чемодане коричневого цвета с четырёхзначным кодовым замком и золотыми уголками на клёпках.

Пришло последнее институтское лето. Дипломные работы были написаны и защищены, последний госэкзамен сдан. Нас ожидала награда, которую мы долго предвкушали: большое путешествие по Крыму.

Говоря “мы”, я имею в виду не только себя и Дениса, но целую компанию человек из восьми, к пятому курсу обретшую черты анархической коммуны. Все в этой коммуне ценили Дениса по достоинству и любили его ничуть не меньше, чем я. Он — как, впрочем, и никто из нас — не был здесь лидером и постоянным солистом, однако его присутствие всегда придавало нашим совместным переживаниям ощущение какой-то особой подлинности и глубины. Особой, я бы сказал, *пристальности* происходящего. Казалось, Денис выполнял в нашей компании роль всеобщего зрительного органа, и все мы уже тогда допускали, что когда-нибудь вспомним наше компанейское время, в первую очередь, как время, проведённое с ним...

День накануне отъезда я решил посвятить неторопливой подготовке к путешествию: примерял футболки и рубашки, вертел в руках разные мелочи, размышляя, брать или не брать, и занимался художественной укладкой всего этого добра в рюкзак. Приятно было немного поиграть в педанта на пороге огромной беспорядочной летней свободы.

Вечером, придя со всеобщей (вернее, *от* всеобщей, как она неизменно меня поправляла), мама втащила в мою комнату упомянутый чемодан.

— Сын, вот это надо обязательно передать отцу Иоанну, — сообщила она и положила руку на лоб, давая понять, что преодоление нескольких сталинских пролётов с этим предметом в руках до крайности её обессилило. Затем она назвала местечко в Крыму и храм, где служит адресат.

Я быстро прикинул, что мы окажемся в названном местечке лишь ближе к концу путешествия, подошёл к чемодану, не без некоторого усилия оторвал его от пола и многозначительно взглянул на мать.

— Ну, не можешь — не надо, — сказала она и с подчеркнутым усилением поволокла ногу обратно из комнаты. — Я понимаю, что тебе это всё как собаке пятая нога... Что для тебя это всё “лишние сущности”... “православные штучки”... — доносилось уже из коридора. Последнее словосочетание было произнесено с такой интонацией, будто оно бесспорно принадлежало мне, а не было только что придумано самой мамой.

Оставшись в комнате один и не имея, к кому обратиться свой страдальческий взор, я обратился к произведению Дениса. Я знал, что теперь мне предстоит довольно долго вытягивать из своей родительницы разрешения на то, чтобы взять с собой на море этот гроб.

“Стоит ли мне этим заниматься?” — словно бы спрашивали мои глаза у дорогого мне арт-объекта.

Арт-объект безмолвствовал, и я обречённо поплёлся на кухню.

Минут пятнадцать спустя переговоры увенчались так называемым успехом.

— Ты хотя бы расскажи: что за кирпичи там лежат? — спросил я у мамы из искреннего любопытства.

— Кирпичи... — повторила она скорбно-осуждающим тоном, и я понял, что снова рискую отправиться в Крым налегке.

— Ладно, ладно, — сказал я, примирительно выставляя ладони. — Можешь ничего не говорить. Но скажи хотя бы код от замка, чтобы я сообщил его вашему крымскому батюшке.

— *Наш крымский батюшка*, — снова повторила она за мной, правда, теперь уже не с осуждением, а, скорее, с некоторой победоносной гордостью и даже вызовом, — знает код! Потому что сам его и придумал.

Гроза, что называется, прошла. Оба мы улыбались. И всё же я в очередной раз подумал: “Как же всё-таки хорошо, что когда-то я проявил упрямство и отказался ходить с нею в храм”.

— Между прочим, — сказала мама, — отец Иоанн — потрясающе образованный человек. Специалист по истории церкви, известный византолог.

После этих слов я ощутил к ней жалость. И не только к ней, но и ко всему, во что я так и не смог поверить со своими “no past!” и “no future!”.

— Вот это саквояжик у тебя, — присвистнул Денис, когда мы встретились на вокзале.

— Да уж... — сказал я. — Мама привязала гирьку к ноге...

Я вкратце передал ему вчерашнюю историю.

— Интересно... — сказал Денис, сидя на корточках перед “саквояжиком” и задумчиво проводя ладонью по его лакированной поверхности. — Очень интересно...

До сих пор не понимаю, что именно его так заинтересовало. У остальных членов компании, которых я также посвятил в церковное происхождение этой единицы багажа, она, скорее, вызвала смех, становясь поводом для разнообразных антиклерикальных шуток.

— Куда ты его уберёшь? — помню, спросил меня Денис, когда мы зашли в вагон и началась плацкартная возня с рюкзаками и сумками

Я пожал плечами.

— Не знаю. А что, есть какие-то мысли?

— Да нет, — сказал Денис. — Просто не хотелось бы, чтобы его у тебя уперли. Будь я воришкой, я бы непременно положил на него глаз.

Сутки с лишним спустя, утром, поезд привёз нас в Феодосию, а ближе к обеду мы уже бросили вещи на съёмной квартире в Коктебеле, где собирались пробыть несколько дней, и пошли гулять.

В тот день мы много купались, упивались дешёвым, и не сказать, что первосортным, вином, а также небезуспешно добывали у местного населения различные вещества посерьёзнее алкоголя.

Где-то ближе к шести вечера в воздухе и на море случилась одномоментная перемена: всё вдруг стало ласковым и тихим. В эту минуту мы сидели и валялись на пляже под набережной, хлебая из горлышка передаваемое по кругу вино.

— Вот сейчас до меня наконец-то дошло, что мы на море, — сказал Денис и откинулся на песок; до этого он довольно долго бросал в воду камешки.

Все стали наперебой признаваться, что подумали в эту минуту о том же самом. Денис часто выдавал что-нибудь загадочное, понятное ему одному, но столь же часто выступал и выразителем общего настроения.

На пляже неожиданно появился клоун — в ластах радужной расцветки, в драной тельняшке, мешковатом комбинезоне, сзади которого болтался гребенчатый хвост, и хохлатом головном уборе в виде головы дракончика. К нему тут же подлетело несколько детей, как видно уже знакомых с ним. Клоун пожимал детям руки и размашисто обнимался с ними, приветствуя каждого писком вставленной в рот пищалки.

Наконец он показал пальцем “тихо”, отвернулся от детворы, поставил на гальку чемоданчик, сделанный в виде большой двустворчатой ракушки, и, хорошенько потеряв ладони, собрался было его с удовольствием раскрыть — как вдруг кто-то из малолетней публики дёрнул его за хвост и под всеобщий хохот отбежал. Похоже, это являлось ритуалом, без которого не обходилось ни одно выступление клоуна на пляже, и дети раз за разом с восторгом его повторяли; клоун же мудро шёл им в этом навстречу.

Уставив руки в бока, он медленно распрямился, развернулся к детворе и стал показывать пальцем то на одного, то на другого.

— Ты? — вопрошала пищалка. — Или ты? Нет, ты! Чу-у-увствую, что ты! — грозил он пальцем. — Или всё-таки он?

Разумеется, никто из детей не признал своей вины и не выдал настоящего хулигана. Тогда клоун показал банде кулак и снова склонился над возделенным чемоданчиком-ракушкой. Казалось, один вид этого предмета моментально заставлял его забыть обо всех на свете неприятностях: пищалка самодовольно затянула припев песни Антонова “Море, море”, пальцы энергично задвигались в приятном предвкушении... Но тут, разумеется, выискался новый смельчак, который подкрался сзади и проделал то же, что первый. Клоун распрямился, выпустил гневный писк в небо, ринулся за разбегающейся распробой, но тут же запутался в ластах и упал, вызвав очередной взрыв смеха...

Приятно и действительно смешно было наблюдать за работой этого дракончика. Это был, что называется, человек на своём месте. Люди, покидавшие пляж (как видно, чтобы поспеть к ужину в какой-нибудь местный отель), охотно бросали рубли и гривны в его ракушку, одна створка которой предназначалась для сбора пожертвований, а другая для реквизита: мыльных пузырей, длинных надувных шариков, мячиков для жонглирования и прочего.

Клоун работал не только с детьми, но и со взрослыми. Под конец выступления он, например, попытался закрутить роман с одной загорающей на шезлонге дамочкой бальзаковского возраста и, не добившись взаимности, пошёл тошиться в море. После каждого шага, сделанного вглубь, он оборачивался к ней и спрашивал пищалкой: “Нет? Не передумала?” Женщина, смеясь, мотала головой, и, горько удивляясь её жестокости, клоун делал следующий шаг. Дойдя таким образом до глубины по шейку, он в последний раз послал ей вопросительный сигнал и, снова получив отказ, взорвался вдруг возмущенным писком и деловито вернулся на берег. “Фиг тебе!” — показывал он дамочке дулю. “Лежит вся такая, ой, ой...” — потешно изображал он, как она подставляет солнцу разные части своего изнеженного тела, а затем махнул на неё рукой и стал выжимать, как половую тряпку, свой гребенчатый хвост. “Вот! — предъявил он дамочке хвост, выпустил его из рук — и тот смешно повис. — Вот! Посмотри, во что он превратился! Смеёшься?! Посмотрите, она ещё смеётся! — обратился он к публике. — Да ты мне ещё деньги за этот хвост заплатишь, понятно тебе?!” — пошуршал он в её сторону шепоткой пальцев...

Его выход продолжался в общей сложности минут сорок. Наконец он закрыл ракушку, с которой напоследок обежал пляжную аудиторию для финального денежного сбора, помахал отдыхающим рукой и, бормоча одному

ему известный марш, направился к бетонной лестнице, ведущей на набережную. Наша компания располагалась как раз невдалеке от этой лестницы, и когда клоун проходил мимо, я окликнул его:

— Маэстро...

Он остановился и окинул нас быстрым исследующим взглядом, в котором уже виднелся человек, не персонаж. Я протянул ему банкноту и сказал:

— Не хотите выпить с нами вина? Нам очень понравилось ваше выступление.

Он поколебался несколько секунд, а потом залихватски — как бы снова от лица клоуна — махнул рукой:

— А давайте!.. — и прошлёпал к нам своими ластами; присев на гальку, он первым делом их снял.

Мы познакомились. Антон, в образе — Тритоша. Родом из Киева. Увлекается индуизмом. Заинтересовался клоунадой как инструментом самопознания и записался на какие-то курсы, но дело вышло за дилетантские рамки, открылся настоящий талант, Антон продолжил обучение — и вот его клоунский заработок покрывает расходы на семейный отдых в Крыму.

Человек довольно образованный и по-своему интересный, Антон всё же чем-то разочаровывал, сменив Тритошин писк на русский язык с малороссийскими интонациями и фрикативным “г”. Он, кажется, и сам это чувствовал. Может, он к этому даже привык.

— Скажи, — обратился к нему Денис, — где проходит грань между тобой и твоим персонажем? Когда ты выступал, в тебе как будто действовала отдельная независимая от тебя личность...

— Та так оно, вообще-то, и есть, — сказал Антон, проделав классическую интонационную параболу малоросса. — Персонаж — это и есть твоя субличность. Ну а главная гхран пролегает не поверишь ггде — вот в этих вот ластах. Стоит мне их себе на ногхи нацепить и немногхо туда-сюда прогхуляться — и всё, понимаешь? я уже не Антоша, я уже Трытоша: сразу все повадки другие становятся.

— Круто, — сказал Денис. — А давай, если ты не против, представим такую ситуацию: ты попадаешь в костюме Тритоши на необитаемый остров. Условия для жизни там нормальные, голодная смерть тебе не грозит, но ты точно знаешь, что никогда оттуда не выберешься и проживёшь остаток дней в одиночестве. Ты будешь там включать своего персонажа?

Антон ненадолго задумался.

— Та не-е. Ну, может, если только с гхоря с ума рехнусь, — усмехнулся он. — А так... Ггде нет аудитории, там нет и клоуна, я так считаю. Это ж явление сугхубо публичное...

— Уверен? — спросил Денис. — Неужели не захочется побыть клоуном просто так, без публики? перед своим одиночеством?..

Я прекрасно, — может быть, как никто другой из тех, кто слушал этот разговор, — понимал, о чём говорит Денис, и ощущал такое волнение, будто в эту минуту решалось что-то важное в планетарном масштабе. Помню, я напряжённо вглядывался в морской горизонт. Мне казалось, что где-то там, далеко-далеко от присвоенной человеком жалкой полоски побережья, пахнувшей шашлыками, чебуреками и вином, среди одиноких и буйных волн свершается титаническая битва идей, которую я вот-вот разгляжу. Можно ли оставаться клоуном перед лицом одиночества — или нельзя?

— Та гхворю ж, — спокойно стоял на своём Антон. — Если только збоживолити, — почему-то на этот раз он решил выразиться по-украински. — Но это в мои планы, честно гхворя, не входит — даже на необитаемом острове. Ладно, мальчишки и девчонки, — сказал он, как-то совсем уже формально приложившись к дошедшему до него вину и передав бутылку другому. — Хорошо с вами, да уже, я бачу, дело к темноте, а мне ещё в Курортном надо оказаться.

Он сложил ласты и, сунув их под мышку, ушёл.

С минуту все молчали. Денис бросил два-три камешка в море, а потом встал и сказал:

— Ну что, братья и сестры? Будем есть и пить, ибо завтра умрём?

Я почувствовал, как всем стало свободно, азартно, таинственно-весело от этих его слов, прозвучавших в начале сумерек на берегу моря. Всем стало именно так, как мечталось по дороге сюда. Сейчас мы вернёмся в квартиру и учиним там наше всегдашнее, так любимое нами безумие. Море огромно, мы молоды, жизнь широка и свободна...

Я же ещё и предвкушал важный ночной разговор с Денисом. Я воображал это так: мы с ним основательно раздвинем двери восприятия в круг компании, а потом выйдем, не сговариваясь, на улицу и отправимся к ночному морю, где Денис скажет мне, наконец, что думает он сам о клоуне на необитаемом острове.

Пожалуй, нечто подобное в итоге и получилось, — правда, совсем не так, как я себе это рисовал.

Я серьёзно переборщил с расширением дверей восприятия. Под действием веществ во мне образовался избыток отчаяния, который стал активно проситься наружу. Мне страшно захотелось сделать с собой что-то особенное, бросить себя в какую-то тревожную историю с непредсказуемым финалом. В этом желании, помню, скрывалась лёгкая невыразимая обида на Дениса, который, казалось, не пожелал в эту ночь быть со мной в резонансе, а выбрал углубиться в себя.

В ту минуту, когда у меня внутри — не то в сознании, не то в животе, не то и там, и там — началось что-то вроде морской болезни — “метафизическая качка”, как я это называл, — я увидел, как Денис забирает со стола свои сигареты и, прикурив одну, удаляется в бесплодную комнату, увлекая за собой мой церковный чемодан. Похоже, он хотел ретироваться незаметно, и, похоже, ему это удалось в отношении всех, кроме меня. Я, конечно, не стал окликать его. Я только сполз по стене на пол и какое-то время лежал, внутренне призывая Дениса вернуться ко мне. Мне не хватало его. Прочие друзья и подруги, курсировавшие то туда, то сюда, перешагивали через меня, иногда нагибаясь, чтобы ласково взъерошить мне волосы и поинтересоваться, как я себя чувствую. Я отвечал, что всё в порядке, но в какой-то момент качка достигла той невыносимости, при которой мне стало ясно, что если я сейчас же не перейду к действию, то могу умереть. Я поднялся, проследовал в прихожую (линии гнулись и коверкались, а предметы распались на тысячи крошечных семян), сбросил с себя всю одежду и совершенно голым вышел на улицу.

В небольшом дворе, освещённом единственным фонарём, было безлюдно и тихо, только в зарослях акаций трещали цикады. Трёхэтажка, где мы снимали квартиру, находилась довольно далеко от моря, его шум и запах не долетали сюда, и легко было представить, что его просто нет. Присев на скамейку и ощутив оголённой кожей прохладу остывших досок, я испытал страх близкого человеческого появления. Кто-то вот-вот выйдет из подъезда или, наоборот, войдёт во двор, чтобы зайти в дом, и увидит на скамейке меня — совершенно голого человека. Этот страх разозлил меня на себя самого. “Сколько можно!” — сказал я себе, встал и отправился в направлении набережной. Мне трудно сейчас сказать, что именно двигало мной. Знаю точно: эксгибиционистских целей я не преследовал. Насколько помню, я просто ощущал, что ходить голым, сознавая опасность быть за это наказанным, — это сейчас единственный способ выразить себя, быть собой. Спрятать же себя мне было некуда. Я понимал, что как только вернусь в квартиру, мной тут же опять овладеет “метафизическая качка”.

Не повстречав на своём пути ни одного прохожего, я подошёл к началу набережной и затаился в тени. Путь предстоял длинный и хорошо освещённый. Встреча с людьми на этом пути была уже неизбежной. Несмотря на поздний час, на набережной работали кафе, звучало слегка тошнотворное смешение музык, формально различных, но одинаковых по своей навязчиво-пошлой сути; под фонарями медленно прогуливались компании и пары. Я почувствовал, как то, что возникло во мне как невольный порыв, превращается в почти трезвое испытание на смелость, и руки мои и плечи покрылись гусиной кожей. “Сколько можно”, — негромко повторил я сказанное во дворе. Повторил уже не столь уверенно, и всё же нашёл в себе смелость

выйти на свет. Я сказал себе, что пройду по этой набережной до самого конца и обратно и вернусь к друзьям.

Я шёл, стараясь сохранять как можно более невозмутимый вид и не смотреть людям в глаза. К моему удивлению, прохожие весьма натуралистично изображали безразличие к моей голой персоне. Быть может, это было продиктовано их страхом перед моей возможной невменяемостью. Допускаю, однако, что эта реакция была не такой уж наигранной, ведь совсем рядом находился нудистский пляж, известный на всё крымское побережье.

Всё же меня не оставляло чувство надвигавшейся беды. “Просто иди”, — говорил я себе непрерывно, забывая этими словами страх.

— Было бы чем хвалиться, — раздалось наконец из-под какого-то пивного навеса.

Фраза имела отчётливый провокативный характер. После того, как провокатор убедился, что я не буду на неё реагировать и собираюсь молча пройти мимо, в мой адрес вылетело несколько грязных матюгов. Не оборачиваясь, я полуавтоматически выбросил себе за спину короткое, но точное ругательство и через несколько секунд услышал позади догоняющий топот. “Куда придёте первый удар?” — гадало, покрываясь мурашками, моё тело. Удар пришёлся по голени. Одновременно с ним меня опрокинули на брусчатку, потом последовал страшный пинок в спину. Затем меня схватили под руки, подняли и вышвырнули с набережной в черноту пляжа — с той самой лестницы, возле которой мы сегодня пили вино и беседовали с клоуном. Галечник, ещё хранящий остатки тепла, которым напитался от солнца днём, принял моё тело ласковым постукиванием камешков.

Палачи спустились на пляж и направились ко мне для продолжения расправы. Их было двое. Под их подошвами галька шуршала жёстко и отрывисто, как бы перегираемая в мелкую крошку.

— Ну что, упырь, — сказал один из них и намотал на кулак мои волосы. — Конец тебе.

“Неужели правда убьют? — подумал я спокойно. — Неужели вот так это и происходит?”

— Не троньте его! — послышалось с набережной, и грубая рука тут же отпустила меня.

И я, и палачи — все трое оглянулись на голос. За парашютом стоял священник в камиллавке и золочёном праздничном одеянии. Я понимал, что это не только священник, но и Денис, и не мог в это поверить. Я даже подумал на секунду, что это я так умираю.

С решительной поспешностью священник спустился на пляж. В шелесте его тяжёлых одежд сквозила огромная сила — сила власть имущего. Я помнил эту силу священника по детским походам в храм.

— Зачем убиваете человека? — строго спросил священнослужитель. — А ну уходите отсюда прочь!

— А чего он?.. — начал было полуправдываться-полувозмущаться один из палачей, тот, что до этого не обозначался ни словом и, кажется, даже не нанёс мне ни одного повреждения, но другой, — оказавшийся, как видно, более богобоязненным, — велел напарнику заткнуться и поспешно увёл его с пляжа.

Я лежал на животе в ногах у Дениса, видел его полукеды, а над ними золото одежд — и смеялся. Картина происшедшего начинала складываться в моей голове.

Денис протянул мне руку и помог подняться на ноги. Не стовариваясь, мы двинулись по берегу вправо, в сторону Карадага, уже обозначившего свой силуэт в предутренних сумерках.

Несколько минут мы шли молча. Кажется, Денис не нуждался в словах. Я же не смог без них обойтись.

— Насколько я понимаю, ты сумел открыть чемодан? — спросил я его.

— Да, — сказал Денис.

— Как ты подобрал код?

— На удивление легко, всего-навсего со второй попытки. Сначала разыскал в интернете год его рождения — не подошло. Тогда вспомнил, что он

специалист по истории церкви, византолог и всё такое, и набрал первое, что пришло в голову на эту тему: 1054. Великая схизма. Сработало.

— Понятно. А почему ты в итоге решил всё это на себя надеть?

Я впервые оглядел переоблачённого Дениса с ног до головы и не смог сдержать улыбки. Камилавка и прочие элементы иерейского одеяния задавали принципиально иной характер его лицу, как бы стерев с него печать неординарного интеллекта и выпятив на первый план национальную принадлежность. Это было лицо обычного человека из русской глубинки, скорее крестьянских, нежели боярских кровей — курносое, с небольшими, глубоко посаженными глазами, тонкими губами и массивным подбородком.

— Не знаю, — ответил Денис. — Как только увидел это всё, сразу возникло ощущение, что по-другому просто нельзя.

— Очень правильное ощущение, — сказал я. — Если бы не твой духовный авторитет, я бы, может, сейчас колыхался на волнах.

Я заметил, что сам он то и дело оглядывает себя: смотрит то на одно, то на другое покато-золочёное плечо, поглаживает епитрахиль на животе и вообще совершает разные бытового характера жесты, наблюдая за тем, как отзывается на них облачение. Взгляд его при этом выражал нечто такое, чего я никогда не замечал в нём прежде: зачарованность *подлинной* находкой, детская увлечённость чем-то по-настоящему *новым*.

Ночь на глазах становилась ранним утром. Мы продолжали путь в направлении горы и вскоре увидели, что нас ожидает встреча: вдали показались костёр, прежде скрываемый от нас большими прибрежными глыбами. Вокруг огня сидели люди. Я взглянул на Дениса и убедился, что мысль о том, как выглядит со стороны наш дуэт, не останавливает его.

Когда нас отделяло от компании шагов пятьдесят, мы были замечены. Послышались удивлённые присвисты и, кажется, даже негромкие аплодисменты. Стало ясно, что мы имеем дело с сообществом “прогрессивной молодёжи” вроде нашего. Впрочем, другого рода компанию в диких окрестностях Коктебеля встретишь редко; ребята вроде тех, кто хотел со мной расправиться, в основном, держатся инфраструктуры.

Один человек в плавках и венке из водорослей — длинноволосый, бородастый и худой, как гольбейновский Иисус — медленно отделился от окружившей костёр группы и, шатаясь, выдвинулся нам навстречу с распахнутыми объятиями. Не дойдя до нас нескольких шагов, он пал на колени и, потрясая руками, воскликнул в небо:

— Господи, спасибо тебе, что я это вижу!

Когда мы поравнялись с ним и собирались молча пройти мимо, он кинулся Денису в ноги и взмолился, уткнув лицо в галечник:

— Пожалуйста, не проходите мимо, побудьте с нами хотя бы немного!

На его спине можно было сосчитать все позвонки и рёбра — такой он был тощий. Он явно был под чем-то, однако производил впечатление человека, питающего к нам (или, во всяком случае, к Денису) искреннюю симпатию, которая не грозила обернуться агрессией.

Денис волей-неволей остановился, я тоже.

— Побудьте с нами! — продолжал умолять юродивый, не поднимая головы.

Взглянув на остальных членов компании, мы увидели, что они поддерживают инициативу юродивого: нам кивали и призывно махали руками.

— Хорошо, — сказал Денис. — Ты бы, брат, поднялся с колен. Мы люди простые, в лице святых ещё не прославлены.

В его интонации я сейчас уловил тот же экспериментальный азарт, что и в недавнем его самооглядывании. Мой друг явно примерял на себя роль простого священника — в том виде, в каком её себе представлял. И получалось, надо сказать, очень естественно.

Поднявшись с колен, носитель венка из водорослей бережно взял Дениса под локоть и препроводил нас к компании.

— Ребята! Смотрите, кто нас посетил! — восторгался он по-детски. — Или я один их вижу?!

— Нет, — спокойно возразил крепкий человек лет тридцати в очках с чёрной роговой оправой, лежавший возле огня с вальяжностью негласного лидера, положив ногу на ногу и подперев голову ладонью. — Кажется, ты в этом не одинок. Если мы, конечно, видим одно и то же. Чем угостить вас, гости дорогие? Есть вино, есть чача. Есть наркотики.

— Я буду чачу, — сказал Денис.

— Я тоже, — сказал я. — И, если можно, что-нибудь прикрыться.

Мне почему-то уже не хотелось быть голым.

Человек в очках неторопливо обвёл взглядом компанию.

— Как видите, мы тут немногим более одеты, чем вы, — сказал он. — Я готов отдать вам свою футболку, но она не очень длинная, а вам, как я понимаю, надо прикрыться иначе...

На нём была чёрная футболка с белой надписью “DEATH OR DEATH”.

Красивая девушка с двумя по-хипповски ниспадающими на грудь хвостами пшеничных волос сняла через голову газовую мини-юбку бирюзового цвета, под которой у неё были плавки купальника, и протянула мне.

— Чем могу, — сказала она. — Забирайте на память.

Я поблагодарил её и влез в наряд.

— По-моему, так ещё волшебнее, — сказал человек в очках, несомненно имея в виду не столько мой персональный образ, сколько общий вид нашей с Денисом пары, скорректированный новой деталью.

Шатающийся человек в венке возник откуда-то перед нами и, насколько мог торжественно и сакраментально, как некий священный дар, протянул Денису на обеих протянутых ладонях пол-литровую пластиковую бутылку, наполненную прозрачной жидкостью.

— Чачечки, батюшка, чачечки... — он явно симпатизировал священнослужителю, мне, как видно, определив роль человека маловыдающегося и не по заслугам осиянного батюшкиной славой.

Денис принял бутылку, отвинтил крышку, сказал: “Ваше здоровье, ребята!” — и сделал хороший глоток. Затем выпил и я.

— Ну что, добрые люди, — обратился к нам распорядитель пира. — Должен признаться, ваш вид рождает множество самых невероятных и противоречивых предположений. Скажите сами, имеет ли смысл расспрашивать вас о чём-либо? Или ваши ответы могут лишить нас тех невероятных ощущений, которые все мы испытываем, просто глядя на вас?

— Пожалуй, лучше не рисковать, — ответил Денис, подумав, и многих так рассмешили эти слова, что даже раздались аплодисменты.

— Вот! Правильно! — поднял указательный палец водорослевый человек. — Не надо ни о чём спрашивать! Пусть чудо останется чудом! Пусть это посещение!..

— Это достойный ответ, — прервал его восторженный лепет не засмеявшийся распорядитель. — Приятно встретить тонких и понимающих людей. Что ж, в таком случае не смеем вас больше задерживать. Хоть и ни в коем случае не прогоняем: ваше присутствие здесь поистине прекрасно...

— Спасибо за тёплый приём, — сказал Денис и собрался было продолжить путь, но водорослевый человек, который всё это время не отходил от него ни на шаг и не сводил с него влюблённого взгляда, крепко обнял его и надолго застыл, не желая отпускать. Мне показалось, что из закрытых глаз этого человека потекли настоящие слёзы.

— Виталя, — сказал распорядитель. — Что-то я прежде не замечал за тобой такой нежности к церковнослужителям.

— Вы не понимаете! — Виталя медленно выпустил Дениса из объятий и повернулся к друзьям. Я увидел в его измождённой фигуре что-то от ветхозаветных пророков, равнодушных к поношениям и усмешкам толпы. — Вы *ничего* не понимаете! И даже *он* не понимает!.. — выбросил он в мою сторону указательный палец, и даже на секунду повернулся ко мне, чтобы прижечь не злым, но полным изобличительной силы взглядом. — Это *батюшка!* — с таинственным значением и трепетом произнёс он куда-то вдаль, поверх коктебельских холмов. — Понимаете? *Батюшка!*

— Что ж, очень может быть, — неопределённо сказал распорядитель.

— До свиданья, друзья, — показал Денис ладонь, и мы двинулись дальше по направлению к Карадагу. Время от времени оборачиваясь, я видел жалкую фигуру Витали, корчившуюся на берегу. Он собирал горстями гальку и то обрушивал её с силой на берег, то посылал ею голову, отчаянно что-то выкрикивая нам вслед, — шум моря не давал различить ни одного его слова.

Было уже неоспоримое утро. Небо было пасмурным, и я чувствовал в этом что-то правильное, надлежащее, неотделимое от того, что произошло и продолжало происходить.

Пройдя с полкилометра, мы увидели большой плоский камень, вдававшийся в море. Одной из семи-восьми волн, ударявших в него, удавалось окатить собой его ровную поверхность. Мы решили на нём постоять.

Я сел на породу, положив локти на согнутые колени. Денис стоял от меня по левую руку.

После очередного большого глотка жгучей чачи — нам её оставили в дар — я ощутил в груди мощный приток радости и глубины от всего пережитого и повернулся к Денису, чтобы впервые вдоволь насладиться его рассмотрением.

Лицо моего друга было серьёзным, взгляд устремлён в морскую даль. Простонародные черты его внешности, которые ещё так недавно бросились мне в глаза и вызывали улыбку, словно бы смыло волнами новых событий и таинственных осознаний, которые успели набежать на Дениса за это короткое время. Я вновь видел перед собой могучую личность — в облачении священника.

Денис повернулся ко мне и сказал:

— В этой одежде совсем не хочется курить. И водки не хочется. И наркотиков. Она как будто всё это заменяет. Ты в ней как пьяный... — Он снова проделал руками что-то вроде жестов регулировщика на перекрёстке. — Как какой-то космический воин света, которому ничего не надо, потому что ему и так зашибись. Прикольно...

Я заметил: такие простые словечки, как “зашибись”, “прикольно”, “ништяк” и прочее, он употреблял лишь в тех редких случаях, когда говорил о своих сокровенных чувствах.

Передо мной вспыхнула последняя галлоцинация, тающая вместе с ночью под первыми утренними лучами: я увидел в небе латинские двухбуквенные обозначения металлов: *аурум*, *плюмбум*, *купрум*, *аргентум*, *гидраргирум*. Галлоцинация быстро улетучилась, но какое-то время после неё весь мир казался мне металлическим: первый свет солнца, проделавший трещину в свинцовом панцире туч, был серебряным и, ложась на золото иерейских одежд, придавал им отлив более скромной бронзы. Море же было ртутным.

Ясность этого металлического мира порождала соответствующую ясность мыслей в моей голове. Я испытал нечто очень похожее на большое философское озарение и произнёс слова, благодаря которым могу теперь полагать, что этот рассказ — не только о Денисе, но немного и обо мне самом.

— Знаешь, — сказал я, — когда ты вчера спросил этого клоуна про необитаемый остров, у меня сердце запрыгало, как я не знаю что... — Я постучал себе кулаком по груди. — Я вдруг понял, что это вообще самый главный вопрос. Все пять лет мы изучали в институте историю одной большой игры, одного большого приподного кривлянья под названием искусство. Может, поэтому, кстати, я и разделся ночью: я увидел в этом свой необитаемый остров. Ты же понимаешь, о чём я?..

— Думаю, да, но попробуй развить мысль, — сказал Денис, продолжая глядеть вдаль прищуренным взглядом. Тёмно-фиолетовая камилавка словно приросла к его голове; мне уже трудно было вспомнить, как он выглядел без неё.

— Ты так натурален в этом облачении, — сказал я. — И вот мне представилось, что ты действительно идёшь в священники, только идёшь не из религиозных убеждений. Это будет твоё художественное произведение, твой, так сказать, перформанс: просто пробыть попом до конца своей жизни.

Можно так это и назвать: *поп-арт*. — Я повилял пальцем по воздуху, как бы написав это слово. — Представь: ты всё делаешь честь по чести: заканчиваешь семинарию, какое-то время служишь дьяконом. Потом тебя рукополагают, дают приход. Ты каждую неделю кричишь из алтаря на литургии: “Благословенно Ца-а-а-артство!..”, совершаешь так называемые таинства, произносишь глубокие проповеди, ведёшь курсы по катехизису. Помогаешь бедным и больным, разумеется. Ты, собственно, даже не прикидываешься попом, а по-настоящему вживаешься в его образ, как этот вчерашний Антон вживается в образ своего клоуна. Только в отличие от Антона ты не “снимаешь лапы” и не возвращаешься обратно в себя. Ты играешь по-крупному — один раз и до конца. Твоя жизнь становится тем самым необитаемым островом, на котором ты совершаешь свой *поп-арт*. О том, что всё это — один большой перформанс, будешь знать только ты...

Денис бросил на меня короткий чуть насмешливый взгляд.

— И ты?.. — спросил он, а затем, выдержав паузу, прибавил: — ...сын мой...

Я пристыженно усмехнулся и попробовал отшутиться:

— Ну... я никому не скажу, если что...

— Смотри... — произнёс Денис, уже снова глядя в неизвестную точку за горизонтом. — Не проболтайся никому.

Почему-то мне послышалась в его словах лёгкая обида на то, что я так запросто предлагаю ему употребить целую жизнь на сомнительный и, вдобавок, не им самим придуманный водевиль, а стало быть, не так уж высоко эту жизнь ценю.

— Ты только не подумай, что я тебя всерьёз на что-то агитирую, — сказал я. — Это так, наркоманская фантазия. Просто ты сам заговорил вчера про необитаемый остров, и вот меня только что осенило, что *поп-арт* — это прекрасный вариант замутить настоящую божественную комедию.

Солнце, наконец, раздвинуло тучи и ударило в глаза первым дневным золотом.

Почему-то я не был рад этому золоту. Я почувствовал от него усталость и приближение тоски. Казалось, в неких волшебных часах истёк песок — и время чудес сменилось временем обычной жизни. Как бы в доказательство реальности этого перехода моё тело разом ощутило всю боль от ночных побоев, а мысли, которые я с минуту назад высказывал с таким воодушевлением, показались мне до неловкости глупыми.

— Пойдём домой, — сказал Денис, как обычно поправ своим предложением в точку. — У тебя, кстати, синяк во всю спину.

Мы поднялись на холмы и другим, верхним, путём возвратились в посёлок.

Комната, где лежал раскрытый церковный чемодан, была пустой; все уснули вповалку в гостиной. Я сразу упал на диван и, засыпая, видел, как Денис разоблачается и аккуратно убирает одеяния обратно в чемодан.

Есть ощущение, что надо сказать о той поездке что-то ещё.

Что именно?

Не знаю. Ну, например, что она в общем и целом удалась, но не более того. Казалось, в ней наши пути — я имею в виду пути всех участников компании — уже начали расходиться. Мы видели в эти дни много красоты, но, казалось, не умели поделиться ею друг с другом, и поэтому она больше разъединяла, чем объединяла нас. Будучи студентами, мы любили презрительно-иронично отзываться о своей альма-матер, жаловались друг другу на деканат как на воплощение полицейского режима и думали, что институт скорее вставляет нашей дружбе палки в колёса, нежели питает её, а выяснилось, что без него — без этого заведения, созданного скучными дяденьками и тётеньками, на которых мы так не хотели походить, — она как бы выкинута на улицу, где ей уже не слишком-то интересно продолжать своё существование.

А может, всё не так. Может, эта поездка имела все шансы стать хоть и прощальной, но всё же феерической вспышкой в истории нашей вузовской дружбы, просто Денис после того ночного приключения заметно погрузился

в себя, и его отчуждение могло отразиться на общей тональности путешествия. Может быть...

Ничего интересного вокруг чемодана больше не происходило. Никто уже не обсуждал его содержимое. Он кочевал с нами по всему Крыму, пока не был благополучно передан адресату в одном из живописных посёлков на южном берегу полуострова. Вручая посылку византологу — седобородому человеку с какой-то дореволюционной высушенной статьёй, — я сказал: “Вот, пожалуйста”, — и не услышал в ответ ничего, кроме бесцветного “спаси Господи”.

Начались годы так называемой взрослой жизни.

От студенческой дружбы действительно мало что осталось. Кто уехал из Москвы, кто из России, кто — как я, например, — обзавёлся семьёй. Компанейские отношения лениво перетекли в социальные сети и там потихоньку обросли чем-то вроде студня, разглядеть сквозь который живую человеческую фигуру стало проблематично, да уже и не очень хотелось. Всех всё устраивало. Так обстоят дела и поныне.

Денису эта тенденция, как видно, сразу не пришлась по душе. Уже в первые послеинститутские месяцы на всех его персональных страницах красноречиво загулял ветер покинутости. Мошенники несколько раз просили у меня денег от его лица. На письма он, соответственно, не отвечал.

Личность выдающегося друга и теперь, в заунывном сетевом безвременье, продолжала кое-как скреплять наш некогда славный студенческий союз, сделавшись едва ли не единственной по-настоящему волнующей темой для обсуждений.

“Как там Денис? Ничего о нём не слышно?” — не забывали мы время от времени интересоваться друг у друга.

Наконец — года через полтора-два после окончания вуза — одна девчонка прислала мне в интернет-переписке маленькое и нечёткое поясное фото Дениса в иерейском облачении и сообщила, что он служит в одном из сельских храмов Тверской епархии. Она рассказала, что эта новость её “просто оглушила”: где наш Логинов — и где РПЦ?.. “У меня только одно объяснение, — писала она. — Что он готовит против них какую-то глобальную диверсию!”

Я же вдруг понял, что с того самого разговора на камне, когда меня посетила металлическая галлюцинация, меня ни на секунду не покидала железная уверенность в том, что всё будет именно так. Просто я её почему-то никому не высказывал — даже себе самому.

Внешность Дениса, как явствовало из фото, не претерпела никаких православных метаморфоз: стриженные волосы, ни намёка на бороду и усы. Он мало чем расходился со своим коктейльским портретом, разве что на груди его теперь блистал золочёный крест, а на голове не было камилавки; насколько я знал, до неё ему теперь ещё следовало дослужиться.

Да, я знал, что всё будет именно так, — и всё же теперь из меня как из рога изобилия посыпались вопросы.

Взаправду ли он уверовал в Адама и Еву, в непорочное зачатие, воскресение из мертвых, силу святых мощей и всё такое прочее — он, Денис Логинов?

Что же всё-таки произошло в его внутренней жизни за те часы, что он провёл в одеянии священника на берегу Чёрного моря (ведь именно они повлияли на его жизненный выбор)?

Было ли моё металлическое прозрение действительно прозрением и повлияло ли оно хоть как-то на Дениса?

Был ли вопрос о клоуне на необитаемом острове так же серьёзен и важен для него, как для меня?

И так далее...

На самом деле вопрос был всего один, и формулировался он очень просто: вера — или поп-арт?

Помню, задав себе этот главный вопрос, я невольно впился взглядом в картину Дениса, как никогда жалея, что мои глаза не обладают рентгеновским свойством.

“Хотя чем бы мне это помогло?” — быстро привёл я свои мысли в порядок.

Но привёл, похоже, не до конца.

Вечером того же дня в телефонном разговоре с мамой я как бы мимоходом уронил:

— Кстати, в вашем полку прибыло. Причём из нашего. Денис Логинов стал священником.

Я отчётливо понимал, что сообщаю об этом не просто так, а исключительно потому, что когда-то мама, вероятно, видела обратную сторону картины. Да-да, я опустился до того, что надеялся что-то у неё выведать, не нарушив при этом авторских запретов напрямую. По сути, я шёл навстречу вандализму, заручившись сомнительным алиби.

— А, так это тот... — вспомнила мама о чём-то, а затем, после непродолжительной паузы, которая, разумеется, показалась мне ужасно подозрительной, решила указать, о чём именно она вспомнила: — ...который у вас был самый умный... — Разумеется, я почти не сомневался, что вспомнила она на самом деле не об интеллекте моего друга, а кое о чём поинтереснее. — Ну-у... — протянула она и теперь уже замолкла довольно надолго, видимо всерьёз раздумывая, говорить ей или нет то, что она хочет сказать. — Честно говоря, — услышал я, наконец, её голос, — я подозревала, что он может выбрать этот путь...

Не знаю почему, но я сразу понял, что последние слова, которые она так долго не решалась произнести, — чистая правда. Она действительно подозревала об этом. Только вот на каком основании?

— С чего бы это вдруг? — поинтересовался я, чувствуя в груди лёгкое волнение: вдруг мама сейчас раскроет все карты? — Ты ведь с ним и не общалась ни разу.

Мама опять довольно долго молчала в трубку. Я подумал даже: не плохо ли ей там?

— Не общалась — и что? — возразила она спокойно. — Просто когда человек так щедро одарён Господом Богом (а ты много говорил мне о его талантах), он рано или поздно обязательно понимает, от Кого этот дар. По-другому, я считаю, просто и быть не может. Да и тебя должен же был Господь через кого-то уму-разуму научить. Не зря же я столько об этом молилась...

Наконец я подхожу к заключительному эпизоду.

Август этого года. Водный поход.

Я знал, что встречу в этом походе Дениса. Знал так же невыразимо, тайно от себя самого, как знал тогда, на камне, что он станет священником. Мысль о встрече с ним вспыхнула у меня в голове сразу, как только друзья предложили нам с женой сплавиться на байдарках по одной из рек Тверской области. Я не знал, будет ли наш маршрут пролегать мимо села, где, по сведениям сокурсницы, служил Денис, и не знал, служит ли он там до сих пор, но встретил предложение с удивившим жену энтузиазмом. Я не стал разьяснять ей природу этого энтузиазма. Сказал только, что что-то во мне откликнулось на эту идею.

Так оно, в общем-то, и было. Пожалуй, сегодняшний я чуть больше верит в неслучайность всего происходящего с ним, чем абитуриент в футболке с надписью “No future!”.

Стал ли я более религиозен за эти годы?

Не знаю. Наверное, нет. Но менее категоричен в своём богоотрицании — это точно. Думаю, эта перемена связана с тем, что мне довелось хорошенько прочувствовать на себе слова из известной песенки: “Не бывает атеистов в окопах под огнём”. Случились у меня за это время свои “окопы” и свой “огонь”. Я не имею в виду, что действительно побывал на войне, но прижало меня очень сильно — и в этом прижатом состоянии я оказался не таким гипербореем, каким казался себе раньше. И кое-что пересмотрел. Отчасти этому поспособствовала и моя жена — человек самой что ни на есть детской веры... Но это, как говорится, тема для отдельной истории.

Поход получился хороший.

За пару недель до него я бросил курить. В течение этих недель я мучился, вспоминая о сигаретах. Мне казалось, что без них — без этих точечных актов добровольного саморазрушения — я утрачиваю какую-то важную часть себя. В походе, где подобралась компания некурящих, мне стало значительно легче. Мне нравилось, что я просто человек, который просто работает вёслами, просто сидит у костра, просто ест кашу; человек, которому этого хватает.

День на пятый кто-то обмолвился за ужином (не помню уже, по какому поводу), что завтра Преображение — двенадцатый праздник Православной церкви. Тогда я решил взглянуть на карту и посмотреть, как далеко находится от нашей стоянки ближайший храм. Храм находился километрах в десяти. Я не помнил, как называлось село, на которое указала сокурница, но не стал поднимать переписку с ней, чтобы сверить это название с названием того места, куда я собрался завтра идти. Мне не хотелось ничего знать заранее. Хотелось только дать случиться тому, что может случиться.

На следующее утро, часов в семь, я вылез из палатки и бодро пошёл в сторону храма. С полчаса я шёл лесом, замечая грибы, чтобы собрать их на обратном пути, потом вышел на разбитую проезжую часть, по сторонам которой потянулись заброшенные деревни. Нигде их вид так не печален, как в Тверской области: выцветшие серые срубы, в своей однотонности похожие не на скелеты отдельных существ, а на разбросанные по земле кости одного огромного существа, некогда убитого в самое сердце; торжествующие, как злобный хохот, заросли борщевика — этого ядовитого укропа-переростка, занесённого сюда волей учёных недоумков; мёртвая тишина, нарушаемая только криками ворон, оспаривающих друг у друга какие-то неизвестные ценности в этом давно разорённом мире.

На подороге меня подобрал хозяин старенькой “Нивы” — загорелый крепкий мужик лет шестидесяти. Огромные ладони, толстый тельник под клетчатой байковой рубашкой.

— Печальное, конечно, зрелище, — кивнул я в сторону очередной россыпи безжизненных серых строений.

— А что делать, — сказал он бодро, с ударением на “что”. — Я всю эту ностальгию давно уже отпустил. Раньше было так, сейчас эдак, — он отвлёкся от дороги, чтобы коротко взглянуть на меня, — а жить всё равно надо. Раньше смерти, как говорится, не помрёшь... — он снова бросил на меня взгляд и на этот раз улыбнулся. — Но и живым в могилу не положат.

Какая-то смесь жалости и гордости сдавила мне горло и грудь от этих слов мужика, везущего меня по немилосердным колдобинам через кладбище некогда цветущей жизни.

Вдали показалась высокая облупленная колокольня. Я спросил у мужика, знает ли он что-нибудь о храме.

Он пожал плечами:

— Работает. Службы идут. Народу иной раз много оттуда выходит.

Мужик высадил меня у храма, и я проводил взглядом его “Ниву”, бодро удалявшуюся от меня по страшной дырявой дороге.

Как уже было сказано, я знал, что увижу в этом храме Дениса, — и всё же я не поверил своим глазам, когда действительно увидел его.

Он — настоящий Денис Логинов: худой, по-прежнему молодой, без бороды и усов — принимал исповедь у какой-то женщины в белой сетчатой козынке. Выслушав её и накинув ей на голову епитрахиль, он стал читать над ней молитву. Я обратил внимание, что лицо его при этом обращено не к потолку, как у большинства священников, которых я когда-либо видел за этим занятием, а вниз, строго к голове женщины.

Ещё с коктебельского камня я знал, что он будет священником, но сейчас эта мысль: “Он действительно священник!” — меня поражала.

Женщина, утирая платочком слёзы, отошла от аналоя и вернулась в ряды молящихся; Денис же широким шагом, шумя одеждами, устремился в алтарь, и через минуту оттуда донеслось:

“Благослове-е-е-енно Царство... Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веко-о-ов!”

“А-а-а-минь”, — ответил откуда-то дребезжащий дуэт старушек.

Началась служба. Я стоял возле одной из внутренних колонн храма и наблюдал за молящимися, но главным образом — пытался определить царящую здесь атмосферу: несёт ли она на себе ту же печать безысходности, горестной нищеты и уныния, которой, как мне показалось, были отмечены здешние поля с сотнями омертвевших человеческих жилищ?

Нет, атмосфера была другой. Храмовый полумрак не был безнадежно угрюмым и строгим, он готов был уступить место солнечному свету, и в какой-то момент солнце действительно ударило в окна, наполнило собой воздух и раскрасило пол, уложенный старинной мраморной плиткой, отрадными пятнами. Люди (их и в самом деле было в храме немало) приветствовали появление солнца улыбками и даже тихим перешёптыванием.

Среди прихожан моё внимание особенно привлёк один парень. Он явно был, как сегодня выражаются, с ментальными особенностями, а по церковным понятиям, наверное, подходил под определение “бесноватый”. Он размахивал руками, как ветряная мельница лопастями, и время от времени — каждый раз неожиданно для меня — оглашал храм угрожающим басовым рыком. Казалось, какая-то невидимая, но прочная цепь удерживает его от тех разрушительных действий, устремлённость к которым сквозила во всех его произвольных выходках. Меня они по-настоящему пугали, в то время как прихожане, окружавшие парня, никак на них не реагировали, видимо давно к ним привыкнув и приняв этого несчастного таким, какой он есть.

Когда Денис вышел с чашей на солею и начал произносить молитву перед причастием, парень забасил настойчивей и громче и даже нетерпеливо затопал ногами. Тогда женщина в белой сетчатой косынке подошла к нему, сложила его руки крестообразно и, положив ему ладони на плечи, заставила его опуститься на колени. Утихомирив его таким образом, она и сама приняла точно такое же положение.

Дальнейшая картина причастия отпечаталась в моей памяти, как сон наяву. Казалось, я наблюдал за ней не глазами, а каким-то другим органом чувств.

Вот что я помню: Денис — весь в гуляющих по нему солнечных зайчиках — с улыбкой семилетнего ребёнка, у которого сегодня день рождения и много-много гостей и подарков, бережно склоняется над каждым, кто подходит к нему, кормит каждого с ложечки (кажется, что кормит этими самыми солнечными зайчиками) и смешно шевелит губами...

Обнаружив себя на улице, идущим по обочине разбитой дороги в направлении лагеря, я спросил себя: что заставило меня покинуть храм? почему я не воспользовался возможностью поговорить с Денисом? почему хотя бы не выслушал его проповедь?

Вместо ответа на эти вопросы передо мной вдруг возникла картина, вот уже десять лет висящая на стене моей комнаты.

“ВНИМАНИЕ! ВИСИТ ПРАВИЛЬНО! НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ И НЕ ПЫТАТЬСЯ ЗАГЛЯНУТЬ! ЛУЧШЕ ВООБЩЕ НЕ ТРОГАТЬ!”

В сотый раз прочитав эту надпись, я улыбнулся ей, улыбнулся солнцу, полям, серым фигуркам покинутых жилищ и весело ускорил шаг, чувствуя, как начинаю жить чуть более по-настоящему.

АННА МАМАЕНКО



Фото Е. Скабардиной

“ПЕРЕКАТИ-СТОЛЕТИЕ”

* * *

Мой Бог сидит на берегу мелеющей реки.
Из головы его растут полынь и курослеп.
Хранят божественный покой глазастые мальки,
пока над степью высоко ржавеет лунный серп.

Пока испариной на лбу не выступит роса,
не шевельнутся пауки в созвездьях паутин,
он будет спать. И будет плыть сазан в его глазах
одновременно по реке и Млечному пути.

Бог мотыльков и пауков, камней и облаков,
Бог перепутанных корней и дремлющих зверей
вливается в рассветный пар мерцающей рекой
и полновесным сазаном резвится в серебре.

МАМАЕНКО Анна родилась в г. Краснодаре. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Член редколлегии молодёжного литературного журнала “Южный маяк”. Участник Всероссийских совещаний молодых писателей в Химках. Финалист конкурса “Илья-премия”. Стихи публиковались в журналах “Плавучий мост”, “Урал”, “Знамя”, “День и ночь”, “Новая Юность”, “Алтай”, “Юность”, “Литературная учеба”, “Слово Забайкалья”, “Симбирскъ”, “Журнал Поэтов”, “Кольцо “А”, “Чаша круговая”, “Образ”, “Дон”, “Южная звезда” и др. Лауреат Международного литературного фестиваля “Волошинский сентябрь”. Лауреат Всероссийского фестиваля-форума “Капитан Грэй” (Мурманск). Участник первого заезда проекта “Литературные резиденции” АСПИ (Оренбургская область, с. Чёрный Отрог). Член Союза журналистов России. Живёт в Краснодаре.

Бог осязаем, как сазан — создание глубин.
Как паутина невесом — тяжёлый, словно твердь.
Полынью плоть его горька. И пахнет, как полынь,
всего лишь тварь, что внутрь себя решила посмотреть.

* * *

Играет на сломанной флейте перекасти-столетье.
Днём за кирпичными стенами прячется — не отличить.
А ночью залазит на дерево.
Бормочет себе, насвистывает.
Или же всеми забытыми ключами тихонько бренчит.
Он очень похож на старую игрушку, которую выбросили.
На кусок сургуча от конверта, на ёлочное конфетти.
На шар голубой, что крутится.
На шар голубой, что вертится.
Но ни кавалера, ни барышни не сыщешь, как ни крути.
Все кавалеры и барышни давно ветрами украдены.
И вот он сидит на дереве, оставшись совсем один.
И снятся ему извозчики и добрые старые лошади.
Кружевные белые зонтики и солнечный крепдешин.
На паутинках тоненьких прилетают старые новости.
Танцуют сдобные запахи пасхального кулича.
Перекасти-столетие отмечает свой день рождения.
И медленно,
медленно,
медленно
тает его свеча...

* * *

...Шли Чекмарями деревянными, в закатных зарослях брели.
Там девушки, в забой ушедшие, манили нас из-под земли.
В палеозойских отложениях проходкой гулкой и пустой
они с восходом солнца мёртвого аукаются меж собой,
скользят значками комсомольскими на чёрном неподвижном льду
и антрацитовые ягоды в лукошки чёрные кладут...

Садилось солнце за бараками, и становилось слышно — в них
всё дышит мёртвыми деревьями и влажной зеленью живых.
Не потому ли, что всё ближе мы к зеркальным угольным дверям,
ночами вопли земноводные разносятся по Чекмарям.
Ревут забытые животные и светится болотный газ,
когда века тенями в зеркале проскальзывают мимо нас,
и умолкают. Лапкой хрупкою ведёт в горизонтальном сне
та ископаемая девушка по этой угольной спине.
И зверь сопит, смиренный ласкою, молочно — в ледяную тьму —
когда впрягаться и вытаскивать рассвет приходится ему...

Подвозят утро вагонетками и смотрят тихо, из глубин,
как сонно дышат шахта Кирова, инфекционка, магазин.

* * *

Расцветает жимолость сада посреди.
Серебра крылатого полон хрупкий куст.
Кто его загадывал, да не уследил —
пусть в окно дивуется. Не выходит пусть.

Чтобы не спугнуть его. Чтобы не спасти,
колыхнув нечаянно лист календаря.
Прорастая в сумерки, жимолость хрустит
в ледяном безветрии коркой декабря.
Тихие растения смотрят вглубь земли,
где весна неспелая ходит мехом внутрь.
Расцветает жимолость посреди зимы.
Выжимает жимолость тени на снегу.
Голубые сумерки обступают дом,
и, отмычки лунные пряча по углам,
жимолость бессонная бродит за окном,
замерзает жимолость в метре от тепла.
И пока не отперли спящие сады,
за дверьми зелёными, за седьмым замком
прячутся двуногие в метре от беды.
От замочной скважины слишком далеко.

ИОРДАНЬ

Озеро. Зеркало. Зримое дно.
Час опадания снежного шороха.
Час приближенья шагов за спиной
на полпути между тьмой и заборами.

Вмёрзший кораблик сбился с пути.
Вмёрзший воробушек грезит полётом
в тёплой безвыходной белой горсти
на полпути к самым светлым воротам.

Сонные рыбы скользят подо льдом.
В рыбьих глазах колыхаются души.
Ангелы вьют для скитальцев гнездо
на полпути между небом и сушей.

Сыплются пёрышки прямо на рыб,
на воробья, на кораблик, на город,
на безнадежный дорожный изгиб —
белой петлёй оттопыренный ворот.

На полпути из варяг в пустоту,
радостно выискав дырку в кармане,
катится звонкое слово по льду,
чтоб навсегда замолчать в Иордане

и, успокоившись, быть ни при чем,
вне расписаний, инструкций и правил.
Тихо за правым озябшим плечом
мёртвый воробушек крылья расправил.

* * *

Мне кажется, что я народоволец,
с мешком пустым на голове такой же.
И возвещают барабанной дробью
всё ближе исполнение приговора.
Мешок колючий пахнет земляникой.
Босые пальцы, как на фортепьяно,
играют на случайном рыжем ветре.

Но — руки за спиной. И шире крылья
бумажные сутулость осеняют.
И полем пахнет стриженный затылок.
А за спиной — нескошенные маки,
и светляки плывут в густую зелень.
На клиросе стогов выводят ноту
томительные пчёлки-работяги,
как будто души всех приговорённых
здесь дань с живых угрюмо собирают.
Мешок тюремный полон земляникой.
И прорастёт расстрельная команда
ромашкой, мятой, снытью полевою,
и роем бабочек вспорхнёт над нашим строем,
над земляничной зреющей делянкой.
А мы останемся ловить руками ветер,
пупырышками страха покрываясь.
Над тишиной, над синими столбами,
где всякая река впадает в небо.
И только махонькая божия коровка,
над этою картиной пролетая,
нам удивлённо и печально скажет:
“Скажи на милость, что вы тут забыли?
Ведь все уже давно ушли в разведку.
Пошли в раскрутку, сдав десятилетку.
Подумать только! Дайте сигаретку...”
А мы стоим и пахнем земляникой,
поскольку идеалы не пускают,
укоренившись в русских чернозёмах.

* * *

Тень птицы сквозь древесный лабиринт
замешкается. Отлетает семя,
впечатываясь в распостёртый день
и прорастая ночью через край.
Усталый путник ждёт у родника.
В его котомке притаилось время
несбыточное. Так вползает змей
по дереву в бесплодный чёрный рай.

На дне источника шевелится вопрос.
Ответ в гнезде на дереве таится.
Скиталец вертикальные зрачки
устало устремляет на закат.
В его древесных сумрачных руках
уснула предпоследняя граница,
и мерно вытекает из глазниц
забвение всему несущий яд.

В ручье томятся лица тех, кто пил
тяжёлую змеящуюся влагу.
Но там, где капли скатывались вниз,
росли деревья и алел восток.
Вниз по теченью путник уходил,
в зеркальном сне не делая ни шагу,
туда, где змеем оплодотворён
на древе распутившийся цветок.

ИГОРЬ КОРНИЕНКО



МАМИХЛАПИНАТАПАЙ

ОБСКАЯ ИСТОРИЯ

Малибу-малибубу

Собирать слова Фёдор начал до того, как научился писать и читать. Впитывал всё, что слышал от взрослых, из радио и телевизора, повторял как мог про себя и вслух, пробуя каждую букровку на вкус. “М” и “а” сладкие буквы, причмокивает маленький Федя, воротит нос от кислой “с” и морщит лобик от горьких “ж” и “х”. И первое слово, вернее даже словосочетание, которое чётко и ясно одним прекрасным днём выкрикнул годовалый Федор Вершинин, — “малибу-малибубу”.

— Малибу-малибубу! — звенело, булькало, визжало из детской кроватки и эхом по всем комнатам и ушам. — Малибу-малибубу!..

— Ни хухры-мухры, а сразу Малибу, — запищал водкой, “в честь такого события можно”, первое слово сына отец Иван. — Сразу видно, чей сын, в кого и куда пойдёт!

Жена Нина, тихая, покорная, как всегда согласилась. Неизвестное, недостижимое чудо Малибу навсегда останется в ней звеняще-обидным, ненавистным конкурентом слову “мама”.

КОРНИЕНКО Игорь Николаевич родился в 1978 году в Баку. По образованию слесарь-ремонтник 3 разряда. Прозаик, драматург, художник. Работал корреспондентом, ответственным секретарем, заместителем редактора в различных СМИ города. Произведения публиковались в журналах “Дружба народов”, “Октябрь”, “Сибирские огни”, “Москва”, “День и ночь”, “Полдень XXI век”, “Смена”, “Байкал”, “Енисей”, “Сибирь”, “Зелёная лампа” и др. Автор нескольких книг прозы. Лауреат Всероссийской премии им. В. П. Астафьева, конкурса Игнатия Рождественского. Лауреат Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края 2019 года. Создатель и координатор литературного проекта “Дебют плюс”. Член Союза писателей России. Живет в Ангарске Иркутской области.

А сводившее с ума домочадцев Малибу-малибубу исчезло так же неожиданно, как и появилось, и вернулось в жизнь Федора спустя без малого почти семьдесят лет.

Федя инопланетянин

Рассказ в четыре строчки, с ошибками, корявым почерком и запятыми после каждого слова, написал Федя во втором классе, окончательно и основательно решив — стану писателем! Усердно продолжая собирать слова в предложения, предложения в истории. Первая публикация и первый успех, но в рамке под стеклом всюду и всегда: напоминанием, выбором, направлением, смыслом жизни, судьбой — путеводная “Инопланетянская собака”.

Подружка

— А я ведь по правде нашёл тогда инопланетянскую собачонку, — любит вспоминать, или, как считают многие, сочинять-преувеличивать-привирать, Фёдор Иванович. Многие, но не тринадцатилетняя внучка Полина, для деда Полюша, чаще Солнце, Солнышко. Огненно-рыжая, сплошь в чайной заварке веснушек, дерзкая, обидчивая, верующая в чудеса Поля открывала, что на сердце, что под сердцем, только лишь дедушке.

— Это, конечно, не дело, что я у тебя подружка, — заворчит, бывало, дед, — но лучше уж так.

— Так, так, — поддакивает внучка, — это в твоей юности дружба была настоящей, сейчас подделка, а не дружба. Да и девочек я не люблю. Ни в школе нормальной, ни во дворе нет...

Дед засмеялся, Поля подхватила.

Смеяться вдвоем, как в одно горло, любимое занятие “безумной парочки” до тех пор, пока не заглянет мать Поли, дочь Иванoviча, — Ольга:

— Снова с ума от безделья сходите? Папа? Или что, опять пиво ей дал попробовать? Травку?

Закашлял от смеха и возмущения дед:

— Кого сочинишь?! Кхе-кхе... Когда это было? Хех... Самому бы кто дал!

Мать переключается на дочь:

— Ты тоже подружку нашла.

И вот это, сказанное суровым голосом, “подружку нашла” разрывает деда с внучкой в клочья. Смех валит с ног, в нокаут, старика и девочку, они валятся на ковёр, обняв животы, завывают, не в силах больше смеяться.

— Чёрт с вами! — хлопнула Ольга дверью.

Так у Ивана Вершинина родился сюжет последней, дописанной до конца, доведённой до ума истории, рассказ “Чёртова мать”.

В тот год работы над “Чёртоматерью” Полина стала замечать за дедушкой странную странность, тогда казавшуюся весёлой шалостью, игрой — путать слова, переставлять их местами, менять буквы. Поля так и прозвала новую забаву — “запутай слово”.

Толковарь, болонь, поромидка, зожеел, весурни, амутартепер, темаство-рин...

Голос крысы

Младенцем Фёдора укусила крыса. Хвостатая забралась в колыбель и прокусила пульсирующий родничок мальчика. Вкус собственной крови, как любит вспоминать Вершинин, особенно в ранних интервью, приторно-сладкий, сироп, остался в нём навсегда:

— Теперь всё, что бы я ни ел, у меня с привкусом крови. Испорченный вкус? Может, изысканный? Однозначно необыкновенный и особенный вкус... То же и с литературой, с моими историями. Зубы крысиного укуса видны и здесь, следы повсюду и, конечно, в рассказах-романах... Крыса виновата в том, что вам сейчас приходится меня читать! Читать и всё это слушать...

Избранным Фёдор рассказывал, что помнит ночь укуса.

— Сколько мне там было-то? Восемь месяцев. Девятый... А я и сейчас с лёгкостью вспоминаю её запах. Стоит закрыть глаза, это запах подгнившей пожухлой листвы. Ладони помнят жёсткий крысиный волос, я погладил её тогда, там в колыбели восьми месяцев от роду, погладил и услышал убаюкивающий шёпот... Колыбельная крысы обездвижила, обезболила... Заговор-заклинание шёпотом проник в голову через прокушенное темя, поэтому вместо того, чтобы заплакать, закричать, я обнял хвостатую гостью, обнял и... Шёпот, эти крысиные мантры так и остались во мне. Тайный, тёмный язык серой королевы крыс поселился и живёт моим вторым голосом, вторым “я”, и поздней ночью в час крысы его можно услышать...

Поля решила доказать всем правоту дедушкиных слов и как-то ночью, выпив шесть кружек крепкого кофе, засела в сторожах у изголовья кровати храпящего на все лады деда. Диктофон наготове.

Час крысы — время после четырёх, самый тёмный час, час до рассвета, до пяти.

— В пять, — убеждал дед, — крысы растворяются в крови, чтобы вернуться в положенный час.

В положенный час, сотый раз поборов дрему, Полина прислушалась, затаив дыхание. Палец замер над кнопкой записи, внучка с диктофоном согнулась над лицом деда. Храп стих. Комната растворилась в тишине. Поля считала про себя до шестидесяти, “минута”, а за ней вот уже и “пятая”, “восьмая”:

— ...десять, одиннадцать, двенадцать... — и думает Поля, что минутам не будет конца.

Тут-то и открыл рот любимый дедушка, да так широко, что страшно, “вдруг крыса оттуда выпрыгнет” или с дедом чего случится — рот-то вон как расшеперил, язык чего доброго проглотит, insult, инфаркт стукнет — пять-десять-восемь, пятьдесят-девять...

Дед зашипел, Поля включила “запись” на диктофоне, и с щелчком-командой дед закричал:

— Не тронь мою крыску!

Поля вскрикнула, уронила диктофон, но убежать не успела. Крепкие жилистые руки старика утянули внучку в кровать, прижали к груди, к сердцу.

— Ты ж моя крыска, — засмеялся.

— Деда, — сквозь смех и слёзы, — я же крысу записать хотела! Голос её! Чтобы всем рты позакрывать! Кто смеётся, кто не верит тебе... считает, что ты “того”, — захныкала, заёрзала, пытаясь выбраться из дедовых объятий.

— Это они все “того”, Солнце, — изменился в голос Иванович. — Я сжился со своей крысой... А они так и живут, и мучаются со своими внутренними зверьками: тиграми, волками, змеями, тарантулами... И не знают даже своего настоящего истинного “я”. Думают, что это говорят они, а на самом деле за них говорит и думает внутренний зверь. Не питомец, нет, вожак, повелитель, царь!

Обняла покрепче деда внучка:

— Во мне пантера живёт, — шёпотом на ухо, — иногда я прямо разорвать готова, особенно тех, кто говорит, что ты “того”, даже маму... Ты же веришь в мою пантеру, деда?

— Больше чем верю, Полوشка, — просветлела темнота дедушкиным признанием. — Я её чувствую, пантеру твою, я её вижу!

Секретика

Про свою первую любовь дед рассказал Поле в год последнего рассказа. Внучка тогда объявила голодовку и бойкот домашним — “деда ни в счёт” — а всё потому, что сосед, друг детства и одноклассник Кирилл Разный стал провозжать со школы до дома Любу Чайкину из параллельного восьмого “б”.

— Что ж я дура-то такая, у него ж фамилия говорящая, — жаловалась Поля деду, когда они прогуливались в тот день по книжному магазину.

От деда по наследству внучке перешла тяга к книгам. Достаточно подержать в руках пахнущий типографской краской и надеждой томик Ахматовой, Чехова, Достоевского, Гюго... и тревоги-волнения уходили с перевернутыми страницами. Перелистывались, переписывались... Книги забирали дурные мысли и желания, плохие сны и печали...

Поля открывала книгу, вдыхала аромат пропечатанных слов и вечных истин.

— Но не в этот раз, — громко хлопнул в бумажные ладоши Ремарк и вернулся на полку. — И эта Чайка набросилась на него, как чёртова чайка, и этот Разный безвольный повёлся, таскается за ней.

Не успокоили Цветаева и Муми-тролли Янссон, Поля, не сдерживаясь, шмыгала носом.

— Вот, — всучил внучке тоненькую книжечку Фёдора Вершинина “Секретик”, с морским берегом на обложке, — история про мою первую любовь. И сразу скажу, это была не твоя бабушка. Это задолго до бабули было, почти в твоём возрасте...

Дедушка улыбнулся, только Поля знала эту улыбку: грустную, скрывающую. История с Кириллом расплзлась в неестественной улыбке и обесцветилась. Поля взяла книгу.

— Как её звали? — прижала книжку к сердцу. — Первую любовь?

Вершинин подмигнул внучке:

— Вера.

“Секретик” вовсе не раскрыл секрет первой любви дедушки. История на восемьдесят восемь страничек пяти дней дружбы пятнадцатилетних Фёдора и Веры на берегу Обского моря заканчивалась закопанным на двоих секретиком и общением раскопать совместное сокровище после совершеннолетия.

— Но случилась жизнь, — рассказывал, чего не было в книге, дед. — За месяц до восемнадцати призвали в армию, в ЗАБВО, там, как-то на побывке в Иркутске, встретил твою бабушку, всё у нас случилось с ней быстро. Твоя бабуля, ты помнишь должна, та ещё была гонимая во всём. И всех делах торопилась жить и меня с собой торопила. А Обское море под Бердском я больше никогда не видел, только во сне...

Тени

После “Чёртовой матери” Фёдор начал писать “историю возвращения”, так он говорил Поле и остальным. Остальных у Вершинина после шестидесяти осталось немного, по пальцам руки: дочь, уверенная что отец “того”, из настоящих старых проверенных друзей — прозаик Влад Решетников, и тот в Израиль перебрался, лечащий врач, прототип всех медработников в историях Вершинина, доктор Антон Бердников, поклонница с первых строк старушка баба Гуля, прозванная писателя “Фёдор Верх вершины”, и — пятый большой палец любимой внучки Солнца-Поли, за него она хватилась месяц от роду и цепляется до сих пор.

Историю возвращения сначала прервала авария. Иванович перепутал красный свет с зелёным, светофора, отделался ушибами и сотрясением, потом дед Фёдор прошептал внучке по секрету, что это не его история:

— Я не мог такое написать!.. — демонстративно показывал блокнот с двумя страницами, исписанными своим мелким почерком, и уже не шептал, кричал. — Я так не пишу — это раз, и два — что это за слово такое “антиваксер”? Сроду не знал такое и знать не хочу! Не мой текст и точка. Интересно только, кому это надо? Для чего? Чтобы он был мой? Подставить меня? Выставить в плохом свете? Испортить репутацию?

“С дедушкой что-то не так”, — колело, щемило под сердцем Полины. И словно прочитав внучкино волнение, дед махом развеивал всякие подозрения:

— Попалась, которая кусалась?! — менялся он в голосе и лице. — Да и кто вместо меня писать будет? Разве что только ты. Кому ещё я могу доверить, передать свои мысли и слова?

Выдыхает внучка: “не того”:

— А я уж испугалась, что ты, деда, “того”...

— Кого? — отвечает-спрашивая. — Корову?..

И вроде всё, как и прежде: улыбается внучка, смеётся дед, но глубоко в себе, там, где обитает и царствует Поля-пантера, в джунглях души, ожили тени, закружились в хороводе, тени тревоги, тени страха, неуверенности тени, тени сомнений...

Теням известно многое, тайное... Что история возвращения останется недописанной, тени знали уже тогда, когда Поля наивно думала и убеждала себя, что всё как прежде, как раньше. Дедушка путал слова, терялся во времени, “куда возвращаться, если ниоткуда не уходил?”, а потом вдруг забыл, как зовут любимую внучку.

Вчера

Фёдор Иванович честно пытался вспомнить имя этой прелестной улыбочкой и доброжелательной рыжеволосой девочки Веснушки. Кто она?.. Вернется перед ним, называет дедом?

— Внучка?

— Да, деда? — отзывается мгновенно весёлая незнакомка.

— Деда? — спрашивает себя Иванович, пробуя, как в детстве, слово на вкус, “деда” с горчинкой надежды и веры.

И деда, не сдерживаясь, кричит:

— Вера! Ты же моя Вера! Море-Вера! — хватается за сердце старик, за седенькую голову, пригвождённый откровением к креслу. — Вера моя, я верил, что ты вернёшься, — задыхается, смахивает тихие слёзы, — глазам не верю, это ты?!

Тени побеждают, Поля всё ещё улыбается по инерции, от страха, расплавающегося до состояния ужаса — так улыбки превращаются в оскалы...

— Дед? Не шути так, — дрожит голос, в комнате, рабочем кабинете деда, где полки и шкафы с книгами до потолка, забродили тени...

— Ну что ты такое говоришь, Верочка? Разве я шучу? Разве секретик наш, схороненный на Обском море, шутка? Я помню, что написал в своём секретном послании тебе. Помню, как вчера, это ведь и было вчера? Вчера мы с тобой закопали наш секрет и думали, что встретимся через три года, а вот она встреча, — тараторил и тараторил дед, брал внучку за руки, обнимал и тут же, смутившись, отстранялся.

— Я не должен был отпускать тебя вчера! — мечется, кружит вокруг девочки старик. — Со вчерашнего дня до сегодняшнего словно прошли годы, десятки лет. Вчера я думал — не доживу!.. Вера, Верочка... Хорошо, что ты здесь, и всё по-прежнему! Пойдём! Давай пойдём к морю, на берег, отыщем камень в форме черепа и выкопаем наш секретик! Пойдём! — схватил Полю за локоть дед, потянул к двери. — Ну же, Вера?! Я больше тебя не отпущу, слышишь?! Вчера больше нет, только сегодня!

Тени заполнили всё пространство в комнате, что невозможно стало дышать. Состояние невесомости, нереальности, Поля как во сне, где всё замедленно, растянуто, липко, говорит и слышит свой голос издалека, из мира теней, царства джунглей:

— Да, Федя, я Вера. И я больше никогда тебя не оставлю.

Сон Полины

Море, Поля только коснулась воды, стало бумажным. Отдёрнула руку, вскочила с корточек, песок под босыми ногами и небо с одиноко парящей птицей — всё рисунок на бумаге. Раскраска?.. Поля испуганно отпрянула от карандашной береговой линии с плохо прорисованными серо-зелёными ракушками и камнями, обернулась, наткнулась на строгий взгляд бабушки:

— Это всё ненастоящее. Вчерашний день. Ты должна найти настоящее! Настоящие слова, слова не должны исчезнуть. Настоящего меня. Не позволяй мне стать бумажным, картонным... Верни меня. Верни нас в настоящее вчера. Если завтра ненастоящее, настоящее стоит искать во вчерашнем дне. Там, где секретик. Там, где Вера. Там, где Малибубу...

Бумажное небо лопнуло дырой, и ещё одной, и ещё... Вмиг небо стало решетом из рваных дыр, будто нечто большое, то, что всегда за небом наблюдает и за Землёй, продырявило небосвод карандашом. И принялось дырять море, и берег, и деда. Поля видела, как аккуратно на лбу у дедушки вспыхнула чёрным дыра. Поля закричала, крик разорвал бумагу в клочья и сон, и... всё ненастоящее...

На кухне

Слова исчезали. Незаметно. Приступами Вершинин не мог прочесть ни одного знакомого слова, знакомой буквы. Текст стирался, как стирались лица, стирались воспоминания.

— Подозрение на Альцгеймер, — выговаривалась Ольга дочери, — после шестидесяти пяти это бывает, а деду скоро семьдесят. Поэтому не надо ему потворствовать, лечить его надо. А он упёрся, как, как не знаю кто, говорила же, что “того”, нет, меня за дуру считали, теперь дед ни, как себя зовут, не знает, ни что вокруг происходит... Вчера газ включил и забыл, пока ты в школе была. Это хорошо у меня выходной, так бы весь дом на воздух взлетел к чёртовой матери. Я так просто не могу, за ним глаз да глаз нужен!

— В психушку, короче, дедушку хочешь сдать, всё понятно, — сидели на кухне, — а электрическую плиту не хочешь купить, собиралась же?

Мать ткнула длинным указательным пальцем в дочь:

— Не начинай мне тут опять! Дед болен, и ты ему ничем не можешь. Малибу чёртово, страна писательских грёз, рай с музами и чудесами... Нет никакому Малибубу! Он дальше Бурятии и Абхазии никуда не ездил.

Отбивает нервную чётку ногами по полу Полина, ну точь-в-точь дед по молодости, выслушивая редакторов и критиков.

— Малибубу это место на море в Новосибе, под Бердском.

Хлопает в ладоши мать:

— В Новосибе и моря-то нет, родная моя... Ненастоящее оно, это море Обское. Водохранилище на реке. Как и место это выдуманное ненастоящее. У деда сейчас всё ненастоящее, понимаешь? Дом инвалидов — это дело времени, Полина. Ни психушка, а дом инвалидов, где за дедушкой будет постоянный уход...

Ущипнула себя за бедро Поля до обжигающей боли, “не сон”:

— Деда не инвалид, — выпалила матери в лицо, — сами вы инвалиды! Я сама за дедом присматривать буду. Помогать!

Закатила глаза мать:

— Тебе самой помощь нужна. Ни друзей, ни подруг, со старым дедом круглосуточно! Безумие заразно, кстати. Вас двоих стоит проверить и полечить...

Кивнула дочь в ответ:

— Давай сдавай нас в психушку. Сказала же я, буду с дедом! Куда он, туда и я!

Вскочила Ольга, стул закачался, потянулся за хозяйкой, не устоял, грохнулся об пол — идите-ка вы в своё Малибу!

Язык теней

“Книга” — пишет разборчиво печатными буквами на чистом листе дедовского блокнота Поля. Дед читает по буквам, это слово он помнит, знает, это одно из любимых его слов.

— Книга, — говорит Фёдор Иванович, довольный ответом, собой и происходящим.

В моменты просветления, подметила внучка, к деду возвращается его настоящий голос, мягкий, тёплый. Но всё чаще деда окутывают тени, тени меняют облик, меняют голос. Тени говорят за деда странным, страшным языком теней. Это язык безумия, язык потустороннего, иного мира. Язык призраков...

Дело за малым, вспомнив и назвав слово, найти это слово в комнате.

— Книга, отлично, — подбадривает внучка, — теперь, деда, покажи, где у нас тут эта самая книга?

Всё ещё довольно улыбаясь, дед осматривает забытые полки книг, взгляд мутнеет, улыбка исчезла, тень пробежала по бледному лицу подчеркнула морщины, резкость скул, щетинистый подбородок:

— К-ни-га, — прикусил большой палец, — книга, книга, книга...

Тени просочились из трещин в потолке, выползли из стен и пыльных полок. Тени спрятали книги от Фёдора Ивановича, опутав и укрыв их чёрным туманом.

— Кни... да? — спросил.

— Кни-га, — спокойно и сдержанно подсказала Поля. — Книга!

— Да, да, га, га... — закивал, а глаза ищут загаданную загадочную книгу.

Время во власти теней, с каждой новой секундой тени покрывают всю комнату, забираются в Вершинина шипящим шепотом “да-да-га-га... книда, гакни...”

И дед повторяет сначала про себя, потом шепотом и громче, и громче...

— Книда, гакни, книда!..

С пятой попытки, на пятое утро дед уверенно показал на книгу — свой старый писательский портфель.

Место мечты

Память — это то, что нас заставляет жить. Часто повторяющаяся фраза в историях Вершинина. Сейчас у Фёдора Ивановича заезженной пластинкой, что Малибубу — возвращает жизнь.

Возвращает слова и память, и прошлое, и любимое, и настоящее, и должное... И обязательно вставит: “и Веру”.

“Вера” — соединительное слово, имя каждого записанного внучкой ускользающего слова.

“Книга-Вера, стакан-Вера, жизнь-Вера, сон-Вера, улыбка-Вера, диван-Вера, счастье-Вера, память-Вера, дом-Вера...”

“Вера — это уверенность в невидимом, оплот истинно-настоящего”, — утверждает дед. Но Поля знает, что дедушкина Вера — это хрупкая пятнадцатилетняя девочка из прошлого.

— В Малибубу обретаешь себя, это место такое: тихий, укромный уголок, кусочек рая, где сбываются мечты с одним лишь условием, что мечта эта одна на двоих. У каждого есть такое место. Место мечты, где двое обретают друг друга и становятся одним...

— Твоё Малибубу на Обском море?

В одно морганье изменился в лице Фёдор Иванович, на внучку смотрел другой человек: измученный, бледно-болезненный, чужой, потусторонний. Призрак. Старик захныкал, заплакал:

— Почему я здесь? Моё место не здесь... — надул на тонких полосках губ слюнявые пузыри, — моё место в другом месте. Отвези меня в моё место! Моё место не здесь! Отвези!..

Прижала рыдающего старика к груди Поля, в этот раз сдержалась, не заплакала в ответ:

— Отвезу дедушка, отвезу!

“Дорога-Вера, надежда-Вера, море-Вера, настоящее-Вера, возвращение-Вера”.

Случайности

Тридцать часов поездом до Новосибирска, дальше электричкой до Бердска. Поля выяснила, где жил летом шестьдесят седьмого юный и влюблённый дедушка, по улице Морской дом в паре десятков шагов от моря. Осталось всего ничего — найти камень-череп.

Сбежать без подозрений и запретов на три дня с хвостиком помог случай, Ольгу Фёдоровну по работе командировали в Москву:

— Вы тут без меня не вытворите чего, прошу, — наставляла, — все нужные лекарства, телефоны, контакты, деньги я оставила, звонить буду утром и вечером проверять. Ну и вы чуть что — звоните.

Дочь послушно кивает, со всем соглашается, всё идёт лучше задуманного. Дедушка, знает внучка, верит в случай. Неслучайные случайности.

— Случайности не случайны, — говорит герой Вершинина из романа “Все случайности мира”. — Они запрограммированы природой, высшим разумом, небесами. Случай — это шанс, возможность исправиться, подняться, вернуть и вернуться. Вырасти и стать лучше. Счастливей! Случайность сводит параллели, и не обманушь, если предположу, что случай стирает границы времени и реальности: прошлое может столкнуться с настоящим, мёртвое вернуться, пусть на миг, к жизни... Случай — это бог!

Читала вслух деду в купе его же книгу Полина. В купе только они, скорый поезд мчит в ночь, за театрально-оконным занавесом сумерки проигрывают чернилам ночи, мелькают звёзды семафоров-светофоров, полустанков и городов. Тишина в купе спорит со стуком колёс поезда. Поля думает о случайности, дед, глядя на представление за окном, вздохнул:

— Мамихлапинатапай, — сказал тихо. — Мамихлапинатапай — друг случая.

— Угу, — отозвалась внучка очередному путаному словечку, про себя ж попросила небо или тот самый случай, “только бы не приступ, пусть у нас всё получится, три дня со светлой головой и в памяти”, попросила за бабушку и за себя.

— Костры за окном, — кивнул в проносящуюся со свистом темноту дедушка. — Ночные костры — маяки из прошлого, из детства, из другого мира маяки. Если хочешь вернуться назад, разожги огонь. Иди на свет костра... По свету костров...

Зелёное Солнце

Дед плакал во сне, он теперь часто плачет и жалуется. Жалуется на сны, “будто не мои сны снятся, чужие сны, соседские”. Жалуется, что сны меняются с явными местами, настоящее с мечтами, с ненастоящим.

— Ненастоящее монолитно и фундаментально, потому что лживо, искусственно, поддельно. Настоящее же — оно раздроблено, обрывисто, непонятно, недосказано. Между строк и за рамками привычного — настоящее...

Разговорчив дедушка, чем ближе к его прошлому, к месту мечты Малибубу, смеётся и шутит всю дорогу на электричке вдоль стреляющего солнечными зайчиками и парусами яхт Обского моря.

— Вот Солнце наше, оно ведь настоящее, так? А какого оно настоящего цвета, большинство и знать не знает. Спроси, ответят белого и жёлтого, и дудки! Зелёного цвета Солнце, учёные в этом на девяносто с копейками процентов уверены. Наш глаз воспринимает усреднённый цвет всего солнечного спектра и зелёный видится белым... Да и мозг наш — большой шутник, обрабатывает сигнал, преобразует настоящий бирюзово-зелёный в ненастоящий...

Ненастоящее белое Солнце заполнило полупустой вагон электрички до Бердска.

Настоящий дедушка, обнявшись с рюкзаком, щурится:

— Смысл жизни — собрать вокруг себя побольше настоящего! Окружить себя им, пропитаться и стать по-настоящему настоящим! Всё в этой нашей жизни половинчатое, равно настоящему с ненастоящим, вопрос, что выберешь ты и сможешь ли определить, где, что, кто?... Ненастоящее претворяется настоящим и наоборот... Закатное Солнце вспыхивает своим истинным светом, зелёной вспышкой — раз, и Солнце зашло, но все, кто видел этот миг настоящего, уже изменились, прикоснулись к чуду, такому простому настоящему чуду...

Женский голос объявил следующую остановку. Дед с внучкой пересеклись взглядами, один взгляд на двоих:

“Это всё по-настоящему!”

Коршуны

Начало июля — жара плавит небо, асфальт, полуголые тела загорающих-отдыхающих, плавит мозги... и над всем этим величественно парят ленивые птицы коршуны.

Остановился дед, задрал голову, где три коршуна рассекают небесную синь:

— Слышишь, Солнце, как чёрный коршун кричит жалостливо, пить, пить, пить. Это он у Бога пить просит, ибо наказан, проклят пить одну лишь дождевую воду. За то, что не стал с другими птицами водоём, где Мать Божья рубашки Христа стирала, чистить от мусора всякого. Помутнела вода, так с тех пор обречённый пить лишь в дождь — он и просит у Бога прощенье, водички настоящей, не дождевой просит: пить, пить, пить!..

Вершинин помахал хищникам.

— Птице-чорна, смерти наша, ти нас не займай, обминай! — выдохнул.

Вера очень уж боялась этих коршунов, они в то лето кружили над нами вестниками скорой печали, вестниками разлуки, непоправимого вестниками...

Завибрировал сотовый Полины:

— Вот и нам вестники накричали вестей, — показала деду загоревшийся экран смартфона, звонила “Ма”.

Коршуны плыли над стариком и девочкой, бредущими к берегу рукотворного моря...

Ма подозрительно интересовалась посторонним шумом и погодой, странным голосом, и соседкой, и вдруг:

— Дедушке подобрали лечение с проживанием уже со следующей недели.

А сверху тоскливо-пронзающее: — Пить, пить!..

— Это в Иркутске, правда, но ты можешь его хоть каждый день навещать, так что не начинай!

— Пить, пить!..

— Я и не начинаю, — как отрубилась дочь, — это на твоей совести! Я деду не брошу, сказала же.

— Пить, пить!..

— Да что это у вас там за звуки такие? Лошади?

Поля ответила честно:

— Коршуны!

Мамихлапинатапай

Сине-зелёная гладь ненастоящего моря оживила Вершинина:

— Вот-вот, вот здесь, припоминаю, точно помню эту песчаную косу... — побежал по берегу спокойной и молчаливой воды дед Фёдор, сбросив сандалии. — Душа не мозг, она помнит всё чувствами, третьим глазом...

Побежала, как в раннем детстве, за бабушкой внучка:

— Деда, подожди меня-а-а!..

— Мы бродили здесь, разжигали наш костёр у камня-черепка. Впрочем, Вера ни в какую не соглашалась так его называть, говорила, череп похож на сердце, настоящее сердце, человеческое, а не это штампованное треугольничкообразное ненастоящее. И звала камень-череп своим камнем-сердце.

Третьим глазом души Фёдор Иванович видел себя прошлого, юного, начинающего писателя, длинноволосого, загорелого, по уши влюблённого... Верующего, что мир вращают такие, как он: смелые, мечтающие, непобедимые. Видел Веру, девочку с глазами, отражающими небо и море, душой и телом ангела: хрупкая, воздушная, как пёрышко, невесомая...

Они потянулись друг к другу с первого стеснительного взгляда, с первого слова “привет” они почувствовали, что произнесут друг другу все существующие слова на Земле.

“Мамихлапинатапай” произнесли одновременно поздним вечером у костра и совсем не удивились совпадению, такому невозможному, невероятному, чудесному...

Мамихлапинатапай, самое ёмкое и сложнопереводимое слово индейского племени яганов, стало символом, знаком, их объединившим. И хотя слово “мамихлапинатапай” означало “смотреть друг на друга в надежде, что другой человек предложит сделать то, чего и тот и другой очень желают, однако ни один из них не хочет быть первым”, для Феди и Веры тогда, в тот миг тишины. это слово обрело значение особого взгляда, которым обмениваются влюбленные...

Дедушка развёл костёр, тяжело вздыхал и совсем не разговаривал, смотрел на блестящую воду, на звёздное небо.

Между дедом и внучкой, между прошлым и настоящим, творился таинственный и непостижимый мамихлапинатапай. Настоящий, древний, вечный...

Третий глаз Поли

Стараясь заснуть, глядя на Млечный Путь, Полина тихо плакала, дед в спальном мешке, судя по вздохам, тоже не спал. В ночи плеск редких волн и дыхание.

“Третий глаз не подводит”, заверял дедушка, нарезая круги по памятному берегу. И ещё круг, и по-новому: “вдруг пропустили, зарос камень, утоп, за пятьдесят пять лет-то много чего могло случиться, но душа отыщет место с секретиком и без камня, найдёт, почует...”

Поля закрыла глаза, со слов деда, третий глаз есть у всех, потому что это глаз души.

Нужно всего лишь его включить.

— Включить, как включают свет?

Дед подтвердил:

— Так точно. Включи свой свет, свой внутренний фонарик!

За веками продолжается Млечный Путь. Здесь, внутри Поли, он живой, пульсирует, движется, сверкает...

“Собрать весь свет в одну точку, в центре груди, лба, да хоть на носу, — подсказывает дед, — все мысли собрать, самой собраться и представить, как открываешь этот третий глаз нажатием кнопки на фонарике, кнопки выключателя...”

Светящийся внутренний хаос Млечного Пути Полина стянула к переносице. Она была готова поспорить, что лоб зашипал, вспыхнул, когда она мысленно нажала кнопку “ВКЛ” и выпустила из себя свет.

Серебристо-белый луч рассеял темень на берегу. Полина с закрытыми глазами поднялась, камень-череп-камень-сердце смотрел на неё в метрах пяти от их места ночлега. Дедушка был прав, душа помнит, душа найдёт...

Поля разомкнула веки, в свете звёзд и моря камень блестел, украшенный ракушками, как стразами. Девочка снова заплакала. В душе, где-то в джунглях, на берегу её сердца, чёрная пантера заурчала, свернулась в пушистый клубок:

— Малибубу! Мы тебя нашли!

Секретик на двоих

— Будто в том лете проснулся, — скажет спросонья дед и добавит: — ненастоящее море обнажает настоящее, открывает и возвращает прошлое...

Солнце слепит и жарит, холодное кофе из термоса бодрит, Иванович при памяти и настроен оптимистично:

— Мы рядом, — говорит, и тут же: — Мне кажется, я вспоминаю все забытые слова, словно отлив вернул часть из морских глубин назад на сушу...

У Поли в руках складная лопата из дедушкиного рюкзака, и камень у ног, умытый росой, блестит осколками разноцветных ракушек самым настоящим маяком.

— Костром, — сказал дед, не отводя глаз от камня из прошлого, — костром горит!..

Шаг — минус десятилетие, ещё и ещё шагоч по песку навстречу прошлому, и дедушке пятьдесят лет, тридцать, пятнадцать...

В пятнадцать всё только начинается, и ещё столько всего неизвестно, столько слов не сказано, не написано...

А на глубине по локоть податливой чёрной земли ладонь стекла хранит укутанный секретик. Две записки. Одну Фёдор помнит наизусть, помнил всегда, и написана она его рукой, вторая записка от девочки с глазами, отражающими небо и море:

Я буду твоим голосом!.. Твоей памятью! Твоими словами! Буду всегда твоей и всегда с тобой! Твоя Вера.

Молча шевелятся губы в тишине, ни звука, стихло море и коршуны, притаилась Вселенная, замерла...

Дедушка открыл было рот, только Поля, так сильно похожая на Веру, поднесла к его губам палец:

— Тс-с-с...

Тс-с-с, растворяя прошлое в будущем, — тс-с-с, ненастоящее в настоящем, — тс-с-с, беспомыслие в памяти, — тс-с-с, реальность в Малибубу...

Один на двоих секрет.

Один на двоих мамихлапинатапай.

Тс-с-с...

НАТАЛЬЯ КОЖЕВНИКОВА



ЛЁГКАЯ ЛОДКА НА ВОЛЬНОЙ ВОДЕ

В БОРУ

Шагнёшь в него — лишь зной
и тишина.
Шалфеем дышит день, грозой
далёкой.
И кажется, вот-вот грядёт
она,
Сверкнёт с небес молниеносным
оком,
Над речкой громыхнёт —
и стихнет враз,
Уплыв за лес тяжёлой
тучей-тенью...
Цветы стоят, не закрывая
глаз,
Прислушиваясь к каждому
мгновенью,
Свистят стрижи и падают
в закат,

КОЖЕВНИКОВА Наталья Юрьевна — автор трёх поэтических книг, живёт и работает в Оренбурге. С 2008 года является главным редактором альманаха “Гостиный Двор”, член СП России, лауреат нескольких литературных премий — пушкинской премии “Капитанская дочка”, Аксаковской премии, премии им. Д. Мамина-Сибиряка и др.

Что в сумраке горит
уже нездешнем...
О, с кем они там тихо
говорят
На птичьём
языке своём безгрешном?
И радостно друг друга
узнавать
По шёпота травы, по гулу
грома,
И если здесь останусь
зимовать,
В сосновой зыбке буду я
как дома.

* * *

Саше

С ветки слетел богомол и притих:
Богу ли молится, солнышка просит?
Ворох монеток своих золотых
Бросила в ноги нам сонная осень.
Роца прозрачна, и русский простор
Робкую душу сегодня тревожит.
Стая ворон обогнёт косогор,
В небо вострёт и вернуться не сможет.
Только для тех, кого жизнь не страшит,
Поле пустое, в потёмках жилище.
Морок, огонь ли вдруг всё сокрушит —
Им возвращаться на то пепелище.
Утром скрести по сусекам, латать
Конную упряжь и солнцу вдогонку
В пашню зерно золотое кидать,
Песню придумать под стать жаворонку.
Знай же: загадочность русской души —
Лишь иноземцу лихому морока.
Пришлому тайну раскрыть не спеши,
Как на просторе она одинока.

* * *

Лишь лёгкая лодка на вольной воде,
Да солнце и небо, да радостный случай
Два дня и две ночи в счастливом стыде
Пред миром, где правит татарник колючий,
Где зыбкою строчкой колеблется дым
Над мазанкой сирой... Я помню, как милость —
Нечаянно чайка крылом молодым
Коснулась воды и, упав, разломилась
На тысячи звуков и брызг над водой.
И тут же, стремительно, в сини небесной
Возник перехватчик — и мёртвой звездой
Зловещие знаки расставил над бездной...
Качни мою лодку, степная река,
Я вижу и так, сквозь закрытые веки,
Как с гулом и треском проходят века,
Монахи, поэты, бойцы, дровосеки —

Меж жизнью и смертью, любовью и злом,
В серебряном мареве мерно качаясь...
И белая рыба плывёт под веслом,
Любить разучившись и выжить отчаясь.

* * *

Перелесок, дорога, тишь,
Голубая Польшь-звезда.
И не знаешь — живёшь?
Летишь?
Или падаешь в никуда?
Нет ни времени, ни границ,
И лишь долго хранят небеса
То ли ангелов, то ли птиц
Осторожные голоса.

* * *

Утром из дома выйдешь —
В инее каждый кустик.
Словно из сердца вынешь
Жаркий комочек грусти.

А тронешь — и тихий вздох
Беззвучно, внизу у ног
Серебряной пылью лёг.

ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВА

Друзья! Товарищи!

Одна из самых стойких традиций нашего народа – живая, действующая и в годы смуты, и в период первой и второй Отечественных войн, в счастливые дни возвращения Крыма и признания ЛНР-ДНР – это сплочение народа. Неистребимая потребность в духовном объединении на основе главных ценностей и достижений.

Объединиться, сомкнуть ряды, затянуть пояса, “Всё для фронта, всё для победы!” – это про наш народ, наш многонациональный, способный к братской любви и жертве великий народ России.

Подавляющая часть российского общества сегодня готова помочь и чем можно пожертвовать ради желанной победы в объявленной президентом В. В. Путиным специальной военной операции. Именно поэтому в обществе назрело слишком много вопросов, касающихся, прежде всего, морально-психологического климата в нашей стране, во многом определяемого как средствами массовой информации, так и частью властных структур и чиновничьего аппарата.

Тревогу, точнее не скажешь, именно тревогу вызывает атмосфера в средней и высшей школе. Уже несколько новых поколений живут в полном отрыве от живой отечественной истории. Создаётся впечатление, что наших детей, нашу молодёжь намеренно отрывают не только от героического прошлого, но и от ярких свидетельств героического настоящего.

История и культура неразрывно, органически связаны друг с другом – и это тоже великая русская традиция. В каком же смысле отечественная культура сегодня соответствует своей истории? Где её патриотический пафос, так уместный и соответствующий происходящему? Где её родившиеся “во дни торжеств и бед народных”, по выражению Пушкина, новые яркие стихи, песни, симфонии, художественные полотна, спектакли, фильмы, оперы? Или, может быть, всё это уже написано и создано, но кому-то очень невыгодно, чтобы это стало достоянием всего народа?

Мы отчётливо высказали свою позицию в поддержку решения президента провести специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины и решительно противостоять натовской агрессии.

Между тем вопросы материально-технического обеспечения вооружённых сил всё чаще волнуют наших граждан. Люди, готовые помогать армии, постоянно сталкиваются с препятствиями со стороны чиновничьей бюрократии или просто с прямым административным произволом. Пора назвать вещи своими

именами. Если эти противодействия квалифицируются как саботаж или диверсия, то определения должны быть оглашены, а виновные названы и наказаны.

Патриотическое настроение нашего народа можно выразить строками из известного стихотворения Константина Симонова “Если дорог тебе твой дом...” 1942 года:

Если ты фашисту с ружьём
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Всё, что Родиной мы зовём...
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Как известно, Вторую мировую войну принято было называть “войной моторов” и “войной боевой техники”. Однако у неё есть и другие определения – “война идеологий”, “битва цивилизаций”. Американский историк Дэвид Гланц определил Великую Отечественную войну в её противостоянии фашистской Германии и её сателлитам как “культуркампф”, то есть битву культур. Сегодня всем от мала до велика – от школьников до министров – следует погрузиться в изучение наследия культурной жизни СССР в годы Великой Отечественной войны. Тем более что в этом году мы отмечаем 100-летие образования Советского государства.

Громадная армия бойцов духовного фронта включилась в боевую жизнь с первых же дней войны 1941 года. На фронт в качестве военкоров ушли выдающиеся советские писатели Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Эммануил Казакевич, Константин Симонов, Александр Твардовский и многие другие. Военная публицистика, циклы фронтовой поэзии поднимали дух армии, укрепляли веру в победу на фронте и, что немаловажно, в тылу. Среди военкоров воевал всемирно известный татарский поэт, автор “Моабитской тетради” Муса Джалиль.

Необходимо напомнить новым поколениям статьи А. Толстого “Что мы защищаем” и Ильи Эренбурга “Что несут фашисты”, песню В. Лебедева-Кумача на музыку А. Александрова “Священная война”, стихотворение К. Симонова “Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...”, пьесу А. Корнейчука “Партизаны в степях Украины”, стихи Джамбула Джабаева “Ленинградцы, дети мои”. Голосом героического Ленинграда стала поэтесса Ольга Берггольц.

Всё это обязано быть в современном радио-, теле- и интернет-эфире! Именно сегодня детям и внукам было бы полезно увидеть фильм гениального украинского режиссёра Александра Довженко “Битва за нашу Советскую Украину”.

А какое впечатление производили плакаты И. Тоидзе “Родина-мать зовёт!” и Кукрыниксов “Беспощадно разгромим и уничтожим врага!”.

Наша выдающаяся советская культура всем своим духом и порывом противостояла геббельсовской “психотерапевтической” развлекухе в стиле “Лили Марлен”, ибо Геббельс считал, что “кино и радио надо перестраивать, они должны успокаивать, развлекать и утешать людей”.

В марте 1942 года состоялась премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в исполнении Государственного академического оркестра Большого театра СССР. Трансляция шла из города Куйбышева. На передовую в составе фронтовых бригад выезжали любимые и всеми признанные русские исполнители и артисты: тенор Сергей Лемешев, солистка Большого театра Надежда Обухова, легендарная народница Лидия Русланова. Именно она исполнила песню “Валенки” у стен поверженного рейхстага под аккомпанемент фронтовых баянистов в мае 1945 года.

Такая насыщенная культурная жизнь, естественно, требовала больших государственных расходов. И страна находила необходимые средства, хотя каждые сутки только на военные нужды тратилось в среднем 388 миллионов полновесных советских рублей. Все эти сложнейшие проблемы снабжения гигантской страны не могли бы решиться, если бы в ней, как в капитулировавших перед Гитлером странах Европы, царили коллаборационистские настроения.

Неудивительно, что люди искусства во всём мире заметили важнейшую черту “войны моторов”, которая превратилась в “битву культур”. Так, на митинге в Сан-Франциско 29 мая 1942 года, после триумфального показа в США документального фильма “Разгром немецко-фашистских войск под Москвой”, знаменитый режиссёр и артист Чарли Чаплин призывает к созданию Комитета помощи России и к открытию союзниками второго фронта. А далее Чаплин произнёс необыкновенные слова о народе, впервые за Вторую мировую войну нанёсшем ответный сокрушительный удар непобедимой до этого гитлеровской армии: “Русский народ, который может так сильно бороться за свою идею, — почти святой. Русские, должно быть, имеют чувство чего-то вечного в своих душах. Снова я повторяю — они почти боги, и Бог поймёт их, так как ему неинтересна техника”. Вот как гениальный артист почувствовал разницу между войной моторов и битвой культур.

Огромную мобилизационную и сплачивающую роль сыграла в годы войны русская советская песня. Необходимо познакомить нашу молодёжь с такими песенными шедеврами, как “Соловьи” Алексея Фатьянова, “В лесу прифронтовом” Михаила Исаковского, “Песня о Днепре” Евгения Долматовского.

Вклад советской культуры в Великую Победу — подлинный феномен в истории Второй мировой войны. И мы обязаны сегодня внимательно изучить и принять на вооружение бесценный опыт того героического времени.

Стоит задуматься также и над тем, что в отсутствие телевидения и интернета неприметная “тарелка” советского радио давала каждому гражданину в сводках Совинформбюро ощущение родственной связи со всей великой страной.

Ярчайший пример безупречно понимаемой важнейшей роли театра и кино в воспитании советских школьников выражен в Постановлении ЦК ВКП(б) “Об обслуживании детей и подростков театрами и кино” 1943 года, гласившем: “Обязать Комитет по делам кинематографии при СНК СССР организовать выпуск копий документальных, художественных и научно-художественных фильмов для школьных узкоплёночных киноаппаратов. Восстановить детские театры в течение 1944 года в Москве, Ворошиловграде, Ростове-на-Дону, Рязани, Сталинабаде...” А далее — в Киеве, Харькове, Днепрпетровске, Самарканде, Алма-Ате, Архангельске, Иванове...

Сегодня специальная военная операция на Украине очевидно перерастает в новую Отечественную. Действия “пятой колонны” в России, так долго и вольготно позволявшей себе обрабатывать общественное мнение, должны быть открыто осуждены законом.

Власти давно следовало понять, что насильственно навязанная либеральная модель категорически не отвечает кризисной ситуации в мире и в стране. Новая мобилизационная модель должна быть выработана незамедлительно на основе договорённости всех здоровых патриотических сил при всеобщем народном одобрении.

В связи с этим я хотел бы обратить внимание ещё на один факт нашей не такой уж далёкой истории. Речь идёт о событии 1922 года, известном под общим названием “Философский пароход”.

Высылка из страны представителей творческой и научной интеллигенции, а также чиновников и некоторых общественных деятелей, выразивших активное несогласие с политикой Советской власти, теперь видится как явление драматическое. Хотя на этом факте многие десятилетия спекулировали враги социализма, приписывая ему отсутствующие в нём смыслы. По существу же ленинское решение по высылке за рубеж несогласных с народной властью, хотя и ярких представителей российской гуманитарной интеллигенции, носило профилактический характер. И, возможно, являлось единственно верным решением в период особого положения в стране.

Сегодня, в сложившихся в России условиях, когда часть нашей либеральной публики добровольно покинула Родину, вспоминаемое нами событие читается при ещё более ярком свете. Но только отражаются “новые пассажиры” в этом событии уже, как в кривом зеркале.

В истории каждого народа есть периоды, когда забываются взаимные обиды. Есть законы, которые не отменяются ни при каких условиях, — “коней на переправе не меняют”. И философские дискуссии на переправе не устраивают. Это понимали те, кто принял Советскую власть и стал сотрудничать с нею. Среди них имена великих русских поэтов Блока и Есенина, учёных Вернадского и Павлова.

Не случайно в эти же трудные послереволюционные годы Сергей Есенин написал, можно сказать, программное стихотворение “Русь советская”. Признаваясь откровенно в своей растерянности перед новой жизнью и даже некоторых обидах, поэт говорит: “Ну что ж!.. Пускай меня сегодня не поют... Принимаю всё. Как есть всё принимаю... Отдам всю душу октябрю и маю... Но и тогда, когда во всей планете пройдёт вражда племён, исчезнет ложь и грусть, — я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названьем кратким “Русь”.

Это к вопросу о тех, кто, покидая сегодня Россию по воде и по воздуху, цинично охаивает её потом на всех европейских перекрёстках.

Анализировать прошлое полезно прежде всего тем, кто должен будет говорить о нём с новыми поколениями. От степени осведомлённости и умения понимать суть истории многое зависит и сегодня.

Вот только один из убедительных примеров, смысл которого рассудила сама жизнь. Наиболее известный из отпльвших в 1922 году русский философ Николай Бердяев назвал одну из своих работ “Судьба человека”. Бердяев был убеждён в том, что человек должен защищать свою свободу от государства и общества, так как они стремятся подчинить личность, сделать её орудием для осуществления общественных целей. Прямо скажем, малопримлемая теория для революционного времени в России — с его голодом, беспризорничеством, самоотверженным трудом и новым духом коллективизма.

А через 34 года Михаил Шолохов опубликовал рассказ, над которым работал десять лет, и тоже назвал его “Судьба человека”. Главный герой рассказа, чья жизнь была подчинена исключительно общественным целям, героически побеждает фашизм, побеждает смерть, побеждает уныние. Глядя на него, гениальный Шолохов, прошедший две войны — гражданскую и Великую Отечественную, — так заканчивает свой рассказ: “Хотелось бы думать, что... этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет всё вытерпеть, всё преодолеть на своём пути, если к этому позовёт его Родина”.

Дорогие соотечественники! Мы можем быть уверены: сегодня Родина позвала нас. Пора!

СЕРГЕЙ ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ

“...И ОТКУДУ РУСКАЯ ЗЕМЛЯ СТАЛА ЕСТЬ”

Историческое сознание: опыт типологии

Историческое сознание – сложный социально-психологический феномен, включающий в себя множество различных элементов: память о прошлом, политические, социальные, общенациональные и региональные оценки прошлых событий, образы исторических героев, традиции, исторические знания, символы, предметы и др. Историческое сознание присуще различным социальным группам: нациям, классам, сословиям, религиозным объединениям, корпорациям, кланам, профессиональным и даже антиобщественным объединениям (например, уголовным и т. п.). Зачастую именно историческое сознание играет важнейшую роль в определении отдельным человеком или социальной группой собственной идентичности и, как следствие, заметно влияет на выбор политических, социальных, религиозных и даже бытовых предпочтений. Источники формирования исторического сознания разнообразны: историческая память, фольклор, религиозные учения, историческая мифология, официальные государственные концепции, научные интерпретации, произведения литературы, искусства и архитектуры и др.

Историческое сознание – вполне устоявшееся явление, опирающееся на традиционные исторические ценности, но одновременно явление очень гибкое, податливое влиянию как извне, так и изнутри, меняющееся в зависимости от изменчивости различных внешних обстоятельств. Огромную роль в формировании исторического сознания играет государственная политика в области истории, реализуемая через систему образования, культуру, средства массовой коммуникации, поддержку тех или иных религиозных учений и др. Однако всегда существовала, а в современном мире намного увеличилась возможность негосударственного и антигосударственного влияния на историческое сознание. К примеру, любая универсалистская идеология, претендующая на всемирную

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Сергей Вячеславович (р. 1960 г.) — историк, философ, писатель, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, сопредседатель Правления Союза писателей России, член Бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора. Автор более 60 книг, среди них — “Россия. Великая судьба”, “Русский выбор: Очерки национального самосознания”, “Русские смыслы: Духовно-политические учения России X–XVII вв. в их историческом развитии”, “Родство по истории: Статьи. Очерки. Беседы” и др. Соавтор учебно-методического комплекта по истории России для 6–11 классов. Лауреат нескольких литературных премий, а также премии МГУ имени М. В. Ломоносова “Выдающиеся монографии”.

гегемонию, предполагает целенаправленные действия по размыванию и даже уничтожению традиционного национального, государственного или религиозно-исторического сознания с целью замещения в сознании людей традиционных представлений о прошлом собственным видением истории (“история – это борьба классов”; “история – это борьба за права человека” и др.). Подвержено историческое сознание и влиянию отдельных социальных групп, которые представляют собственные групповые или корпоративные исторические приоритеты как общезначимые. Поэтому историческое сознание во все времена было и продолжает оставаться ареной борьбы различных социально-политических сил с целью утверждения определённых целей исторического развития, ведь борьба за историю – это всегда борьба за настоящее и будущее.

Понимание сущности исторического сознания, его форм и процессов развития зависит от религиозно-философских предпочтений и методологических принципов тех или иных мыслителей, политических, религиозных, общественных и т. д. деятелей. В данной работе невозможно охарактеризовать все аспекты исторического сознания и продемонстрировать все подходы к анализу его сущности. Поэтому историческое сознание будет рассматриваться в определённых рамках: во-первых, с позиций традиционалистско-консервативной методологии; во-вторых, как явление, прежде всего, национальное, то есть как историческое сознание народа; и в-третьих, на примере развития исторического сознания русского народа, то есть с учётом русской национальной специфики.

* * *

Давно замечен один интересный феномен: в России все дискуссии, будь то споры о проблемах экономики, актуальной политики, культуры, да о чём угодно, довольно быстро превращаются в споры об истории. Видимо, это неизбежно, ибо без обретения определённого единства в решении исторических вопросов трудно обрести единство в решении вопросов современности и самое главное – в вопросах о будущем. Следовательно, для существования русского народа и Российского государства большое, если не решающее значение имеет единое историческое сознание.

Причины подобной значимости единого исторического сознания для России, думается, можно найти в далёкой древности. Дело в том, что у славянских народов ещё в очень древние времена основой социума стала территориальная или соседская община, члены которой были связаны не столько кровным родством, сколько общей хозяйственной жизнью, общей территорией, духовными и культурными предпочтениями. Более того, в такой общине вполне по-соседски уживались выходцы не только из разных племён, но даже выходцы из разных народов, то есть этнически отдалённые друг от друга. Но подобные исторические феномены обернулись тем, что практически у всех славянских народов отсутствует память о дальнем кровном родстве.

В самом деле, большинство русских обычно помнят своих родственников максимум до 4–5 колена, а дальше... или тишина, или надо проводить специальные изыскания. В то же время представители какого-либо кавказского народа или какого-либо из тюркских народов всегда готовы рассказать о далёких предках, включая прародителей, потому что память о них трепетно хранят семейные и родовые предания. А, к примеру, в скандинавских сагах перечислены имена предков из 30–40 предшествующих поколений. У русской же элиты, бояр и дворян, первые родословные появились только во второй половине XVI века, да и то чаще всего были вымышленными, особенно в тех частях, которые касались происхождения родов. Тогда было “модным” придумывать себе иноземных прародителей: с одной стороны, вроде бы почётно вести свой род от какого-нибудь знатного иностранца, а с другой стороны, пойдя, докажи, что это не так, ведь в Московской Руси практически ничего не знали о генеалогических связях Западной Европы. Самый яркий пример такой придуманной генеалогии – родословная сначала бояр, а потом царей из рода Романовых, начало которой возводили к мифическим предкам, въехавшим на Русь “из Пруссии” в начале XIV века. Подобные истории случались и позднее, причём на вполне официальном уровне. Так, в начале XVIII века по заданию Петра I была придумана мифическая родословная его любимца Александра Даниловича Меншикова, который, благодаря этой выдумке, получил титул светлейшего

князя Священной Римской империи. Основное же русское население, крестьяне, даже фамилии получили только в XVIII-XIX вв. в ходе ревизских переписей, а так каждое новое поколение прозывалось или по имени деда, или по профессии какого-то недавнего предка, или по его прозвищу. Отсюда среди русских столь много Ивановых, Кузнецовых да Зайцевых.

Таким образом, одним из кардинальных качеств русского национального сознания является не “родство по крови”, а **“родство по истории”**. А от ответов на исторические вопросы зависит не только современное положение, но и будущее русского народа, более того, само существование русского народа. Поэтому можно признать, что, в отличие от многих иных народов, у русских, как, впрочем, и у большинства других славян, вместо “крови” одним из объединяющих начал наряду с образом единой Земли, единым языком, единой верой, общей культурой и единым государством является и *единое историческое сознание* (то самое “родство по истории”).

Единое историческое сознание – это целый комплекс важнейших исторических событий, единая оценка которых отточена веками общей исторической судьбы, а признание этой оценки и обозначает, собственно говоря, принадлежность к народу; это и вполне реальное ощущение человеком причастности собственной, отдельной, частной судьбы к чему-то большому, значимому, великому, причастности современных поколений к исторической судьбе своего народа, понимание ими собственной исторической и нравственной ответственности за свою землю и свой народ перед прошлыми и будущими поколениями.

Само по себе единое историческое сознание состоит из нескольких условных “уровней”. В основе “родства по истории” лежит *общая историческая память народа*. **Общая историческая память народа – это чувство (осознанное или неосознанное) единства исторической судьбы народа и потому самая распространённая форма исторического сознания, чаще всего существующая в виде чувственных образов, представленных в различных устных и письменных источниках (преданиях, сказаниях, былинах, поговорках, песнях, литературных и художественных произведениях и т. д.).** Историческая память возникает в далёкой древности, но существует на протяжении всего времени исторического бытия народа, в том числе и в современном его состоянии. Именно в силу своей чувственной природы историческая память часто противоречит научному историческому знанию, ведь для неё далеко не всегда важны точные даты и места тех или иных исторических событий, реальные имена участников этих событий и даже реальность самих исторических личностей. Более того, историческая память народа существует преимущественно в мифологизированном виде и иной быть не может, ибо миф – это обыденное и совершенно нормальное состояние исторической памяти народа. К примеру, в исторической памяти русского народа очень популярен исторический персонаж по имени Владимир Красное Солнышко. Но ведь это персонаж русских былин, а значит, собирательный образ древнерусского князя (X-XIII вв.), имеющий мало общего с реальными историческими личностями. Однако даже в научной литературе можно иногда найти отождествление былинного Владимира Красное Солнышко с историческим киевским князем Владимиром Святославичем, Крестителем Руси (ум. 1015 г.), а в обыденной исторической памяти народа князь Владимир Святославич чаще всего и присутствует под прозвищем “Красное Солнышко”.

Помимо того, что историческая память может противоречить научному историческому знанию, она ещё и внутренне противоречива. Подобная внутренняя противоречивость исторической памяти особенно характерна для больших народов, проживающих на обширных территориях и контактирующих в различных регионах своего проживания с иными народами. По этой причине возникали и параллельно существовали, во-первых, многообразные варианты общих исторических преданий и, во-вторых, локальные предания, не имеющие аналогов. В русской исторической памяти, наверное, самым ярким локальным преданием можно считать “Слово о полку Игореве” (XII в.). В этом памятнике, с одной стороны, отразилась древнейшая южнорусская историческая и религиозная мифология, восходящая к IV в. н. э. и не имеющая аналогов ни в русских, ни в других славянских преданиях, а с другой стороны, никак не отражена уже существовавшая к тому времени летописная версия русской истории, представленная в “Повести временных лет”².

На определённом этапе существования народа, чаще всего в период создания государства, возникает необходимость в структурировании народной исторической памяти и создании определённой концепции истории, отвечающей государственным интересам (в первую очередь, интересам правящего рода). Постепенно из разных вариантов исторических преданий в ходе их целенаправленной редакции складывается *официальная государственная интерпретация истории*, которая по мере утверждения в сознании народа начинает оказывать решающее влияние на формирование его исторического сознания.

В истории России было несколько официальных интерпретаций отечественной истории, которые последовательно сменяли друг друга. В первые века существования Древнерусского государства (кон. IX–XI вв.) в историческом сознании населения различных регионов сосуществовали разные представления о том “откуда пошла Русская земля и кто на Руси стал первым княжить?”. На северо-востоке, в Новгороде, придерживались версии о призвании варягов Рюрика с братией, а на юге, в Киеве, считали “отцом-основателем” некоего Кия со своим семейством. Этот спор очень ярко отражён в “Повести временных лет” – первой русской летописи, где присутствуют обе версии. Но были несогласные и с этими двумя легендарными преданиями. Так, одни “несогласные” (среди которых был, например, первый русский митрополит Иларион (XI в.), автор знаменитого “Слова о Законе и Благодати”) первым русским князем считали князя Игоря Старого. Другие “несогласные”, в том числе неизвестный нам автор “Слова о полку Игореве”, родоначальником русов называли некоего Трояна, то ли языческого бога, то ли мифического предка, а саму Русскую землю именовали “землёй Трояна”³.

Судя по всему, рождению *первой официальной интерпретации русской истории* мы обязаны, прежде всего, князьям Владимиру Всеволодовичу Мономаху (1053–1125) и его сыну Мстиславу Владимировичу Великому (1076–1132). Это были два последних князя, боровшихся за общерусское единство, и последние правители единого Древнерусского государства. Именно в годы их правления, и, возможно, по их заданию в первой четверти XII в. русские книжники-летописцы в Киеве свели различные исторические представления, легенды и предания славянских и неславянских народов в единый текст “Повести временных лет” и тем самым создали первую единую интерпретацию отечественной истории. Тогда, во-первых, впервые были определены специфические черты Русской земли, во-вторых, отечественная история была впервые “вписана” во всемирную и, прежде всего, христианскую историю, было определено место Русской земли в христианском мире.

Наконец, именно тогда были сведены в единую последовательную цепь событий разные версии возникновения Древнерусского государства (“Русской земли”) и разные версии происхождения русского княжеского рода. Какие-то боковые варианты генеалогии киевских князей были отброшены (например, фигуры Аскольда, Дира и Олега, которых стали именовать не князьями, а “боярами” и “воеводами”. Следствие этого – отсутствие названных фигур на памятнике “Тысячелетия России”, поставленном в Великом Новгороде в 1862 г.). Зато выделялась главная фигура – общим предком всех русских князей объявлялся Рюрик. И это при том, что, судя по всему, до конца XI века в Киеве мало кто что-то знал о Рюрике, а летописцам пришлось искусственно связывать между собой узами родства Рюрика и Игоря, отстоящего от своего якобы “отца” минимум на два поколения!

Со временем предложенная авторами “Повести временных лет” интерпретация отечественной истории стала общепризнанной и затем включалась во все последующие летописи как повествование о начальных этапах существования русского народа (самый ранний вариант “Повести временных лет” сохранился в Лаврентьевской летописи, известной в рукописи XIV в.). Немного позже именно эта интерпретация русской истории наряду с единой православной верой помогла русскому народу выстоять в трагическую годину ордынского владычества и сохранить сначала призрачную, а в дальнейшем всё более реалистичную надежду на возрождение русского единства, в том числе и единства государственного.

Впрочем, нужно иметь в виду, что на Руси во все времена существовало несколько летописных центров. В XI–XIII вв. при изложении и оценке современных им и некоторых исторических событий между собой спорили Киев, Новгород, Ростов, Галич и др., да и в Киеве по-разному смотрели на историю,

например, отлично друг от друга интерпретировали события прошлого и настоящего книжники Десятинной церкви и Киево-Печерского монастыря. В XIV–XV вв. в северо-восточной Руси соперничали московские и тверские летописцы, кроме того, специфические взгляды на современность и историю сохраняли новгородские и псковские летописи. Эти разные летописные традиции повлияли на формирование последующих официальных и научных интерпретаций отечественной истории⁴.

Ещё более значимой для благодатного развития русского народа и Российского государства оказалась *вторая официальная интерпретация истории*, возникшая в XVI в. Причиной её возникновения стали изменившиеся исторические обстоятельства: в конце XV столетия Русская держава обрела независимость и одновременно после падения в 1453 г. Византийской империи осталась единственным в мире независимым православным государством. Именно поэтому в начале XVI в. в России происходит какой-то неимоверный по силе и последствиям духовный и интеллектуальный взрыв – церковные и светские мыслители начали напряжённейшую работу по поиску нового места Русского государства и русского народа в мировой истории.

Результатом этого поиска стало появление ряда важнейших для русской истории духовно-политических комплексов и образов (“Третий Рим”, “Новый Израиль”, “Новый Иерусалим”, “Святая Русь”), в которых нашли своё выражение все смысловые и целевые установки исторического бытия России и русского народа на земле. А в русской книжной традиции появились важнейшие, основополагающие исторические сочинения: “Сказание о князьях Владимирских”, “Лицевой летописный свод”, “Никоновская летопись”, “Степенная книга царского родословия” и множество других значительных произведений, на идейной основе которых потом выросло Русское царство, а затем росла Российская империя⁵. Официальная интерпретация, созданная в XVI в., оказала наибольшее влияние на формирование русского исторического сознания, предложив современникам и потомкам основную периодизацию, основные оценки и основных героев отечественной истории, которые во многом сохранились до нашего времени.

Причём Романовы, став царствующей фамилией в XVII веке и не имея прямого кровного родства с Рюриковичами, тем не менее всячески подчёркивали и обосновывали своё родство с предшествующей династией, что позволило им перенести на себя все сакральные, символические и легендарные представления, которые в русском сознании были связаны с царствующим от века родом Рюриковичей.

В то же время в этот период продолжали существовать *неофициальные интерпретации истории*: во-первых, до начала XVII в. в отдельных центрах сохранялось собственное летописание с оригинальными трактовками исторических событий, во-вторых, с середины XVI в. стали появляться историко-политические сочинения различных авторов, представляющих собственные интерпретации истории и современности (например, сочинения А. М. Курбского). Эти неофициальные интерпретации сыграли свою роль в формировании последующих концепций отечественной истории.

В XVIII столетии в ответ на многообразные преобразования русской жизни в ходе реформ Петра I и Екатерины II возникает не просто *третья интерпретация*, а, скорее, *целый комплекс новых интерпретаций отечественной истории*. При этом различные интерпретации существуют параллельно и оказывают примерно одинаковое влияние на историческое сознание народа.

Прежде всего, создаётся *научная интерпретация отечественной истории*. Появление научной интерпретации было неизбежным: смысловые и целевые установки бытия России необходимо было понять с точки зрения нового рационалистического мировоззрения. Поэтому существовавшие до той поры религиозные духовно-политические концепты отечественной истории были отброшены, а в понимании истории постепенно утверждается так называемый “научный подход”, то есть рациональный, критический взгляд на прошлое.

Начало этому положил первый русский историк В. Н. Татищев (1686–1750), а продолжилось дело в трудах М. М. Щербатова (1733–1790), Н. М. Карамзина (1766–1826), М. П. Погодина (1800–1875), Н. Г. Устрялова (1805–1870), Н. И. Костомарова (1817–1875), С. М. Соловьёва (1820–1879), В. О. Ключевского (1841–1911), С. Ф. Платонова (1860–1933) и других, теперь уже профессиональных историков. Важная особенность научной интерпретации состояла в том, что в ней не было никакого единства, ибо всякий историк или выстраи-

вал собственную концепцию истории России, или же примыкал к уже существующей, развивал и дополнял её. Таким образом, в этот период появляется сразу несколько научных интерпретаций отечественной истории, объединённых только общим методологическим подходом, – все они строились на рационалистических, научно-критических началах.

Кроме того, в XVIII – начале XX вв. существовало несколько *официальных интерпретаций истории*, последовательно сменявших друг друга. Причём они создавались на основе той или иной научной интерпретации, но редактировались в определённом духовно-политическом ключе при непосредственном участии российских императоров (особую заинтересованность в этом проявили в XVIII в. Пётр I и Екатерина II, в XIX в. – Николай I). Наиболее влиятельными можно признать официальные интерпретации, предложенные авторами гимназических учебников: в XIX в. – курсы русской истории Н. Г. Устрялова и Д. И. Иловайского, а в начале XX в. – курс русской истории С. Ф. Платонова.

После революционных событий 1917 года и установления советской власти создаётся новая, *четвёртая, официальная интерпретация отечественной истории* – “марксистская”. При этом в СССР изначально были запрещены иные трактовки истории, а их последователи подвергались репрессиям (можно вспомнить печально знаменитое “Академическое дело” 1929–1931 годов, по которому пострадали академики С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле и многие другие историки).

Эта интерпретация основывалась всё на тех же рационалистических началах, но поначалу довела их до абсурда: в первые годы советской власти в интересах подготовки населения к мировой революции предшествующая история России вообще отрицалась или же приобретала причудливые формы, как, например, в сочинениях “главы марксистской исторической школы в СССР” академика М. Н. Покровского. Только в середине 1930-х годов, когда большевистское руководство отказалось от идеи мировой революции и сосредоточило силы на собственной стране, появляется госзаказ на разработку концепции отечественной истории. Как результат, в 1940–1950-е годы массовому общественному сознанию была предложена вполне внятная конструкция под названием “История СССР”. Иначе говоря, вновь “сверху” была установлена гегемония одной из возможных интерпретаций истории. Однако нужно иметь в виду, что даже в рамках марксистской идеологии в советской исторической науке продолжались многочисленные дискуссии по различным историческим проблемам, и в целом советские историки внесли весомый вклад в развитие мировой исторической науки, особенно в области экономических и социально-политических исследований.

После распада СССР в России установилась ситуация “исторического плюрализма”: при отсутствии официальной интерпретации сосуществовали и дискутировали между собой различные научные, религиозные, идеологические и даже ненаучно-фантастические⁶ интерпретации отечественной и мировой истории. По мнению различных политических сил и общественных движений, “исторический плюрализм” обернулся настоящей “исторической вакханалией”, и возникла опасность разрушения единого исторического сознания народа, а значит, опасность существованию народа и государства. Ответом на эти опасения стала так называемая “Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории”, которая должна послужить основой создания комплектов учебников для общеобразовательных школ. Впрочем, в научном обществе (в том числе и авторским коллективом “Концепции”) идея разработки новой официальной интерпретации истории была воспринята скептически, а в некоторых случаях – критически. Думается, поэтому и сама “Концепция” получилась очень рыхлой по структуре и противоречивой по содержанию. Таким образом, на сегодняшний день вопрос о разработке новой официальной интерпретации истории России, которая послужила бы дальнейшему существованию и развитию единого исторического сознания народа, остаётся открытым.

* * *

Как можно видеть, споры об истории велись на Руси всегда, с самых стародавних времён. Но периодически удавалось вырабатывать некое единое представление о прошлом, некую признаваемую всеми (или большинством) интерпретацию истории. И затем на основании такой интерпретации прошлого выстраивалось будущее России, а сама эта интерпретация становилась частью

общего исторического сознания народа. Со временем появлялась новая интерпретация, которая дополняла, развивала или же заменяла собой предыдущую. Но в любом случае эта интерпретация становилась важнейшим фактором дальнейшего движения России и русского народа по историческим дорогам.

На каких принципах может строиться новая интерпретация истории России? Сегодня общепринято считать, что единственно верным является научное знание истории, то есть научная интерпретация, ибо именно научное историческое знание, основанное на критическом осмыслении источников, представляет некое объективное видение исторических событий. Следовательно, научное знание – это вершина исторического сознания народа. Иначе говоря, на первый план выдвигается именно *знание, обоснованное рационалистическими, научными методами.*

В подобном убеждении есть большая доля истины, однако не следует думать, что историческое сознание народа можно свести лишь к научному знанию. Всё-таки историческое сознание народа намного более сложное явление, нежели какая-либо из научных интерпретаций истории. Больше того, научное знание и не может претендовать на то, что сумеет вытеснить из исторического сознания народа всякую историческую память. Прежде всего потому, что наука не является обладательницей абсолютной истины, ибо наука – это собрание относительных истин (концепций, теорий, гипотез), каждая из которых основывается на определённой системе рациональных доказательств. Научное понимание любого предмета познания, в том числе и истории, предполагает равноправное существование различных трактовок, различных интерпретаций одних и тех же сюжетов. Вот почему не существует и, скорее всего, даже не может существовать “единственно правильной” и на все века принятая научной интерпретации истории вообще и отечественной истории, в частности. Обязательно параллельно или вслед существующей появится другая научная интерпретация, создатели которой будут считать её столь же “единственной” и “правильной”. А там и до третьей недалеко, до четвёртой, и так до бесконечности.

Собственно, именно так обстоит дело в науке вообще и в исторической науке, в частности: одновременно сосуществуют различные интерпретации как всей истории России, так и отдельных исторических периодов, сюжетов, событий, а сама историческая наука – это поле постоянной, непрекращающийся дискуссии. При этом различные интерпретации истории разнятся не только по степени приближения к исторической правде, но и по своим задачам, целям, по уровню общественного влияния и т. д. И по-другому в науке быть не может, да и не должно быть. Наука ведь только предлагает власти и обществу разные решения, разные пути, разные интерпретации прошлого, однако любой более или менее окончательный выбор – за самим обществом и властью. Впрочем, так было всегда, во все времена и у всех народов.

Следовательно, только *рациональное историческое знание* нельзя считать *единственной формой* единого исторического сознания. Но тогда какую именно интерпретацию истории можно рассматривать как основу для сохранения и развития единого исторического сознания народа? В данном случае *главным критерием* является **необходимость сохранения и дальнейшего существования народа в истории, а значит, на первый план выходят такие понятия, как субъектность народа в истории, национальный и духовный суверенитет, традиционные ценности, национальная, религиозная, социальная, политическая самобытность и др.** В таком случае меняется и понимание самой науки истории. С традиционалистско-консервативной точки зрения, **история – это наука, раскрывающая смысл исторического развития, а значит, наука о том, как с помощью знания и понимания прошлого устроить жизнь настоящую и будущую во имя жизни вечной.**

С этой точки зрения оказывается, что далеко не все интерпретации истории “одинаково полезны”. К примеру, одни интерпретации могут служить укреплению и становлению народа, формированию его единого исторического сознания, выработке и утверждению идейных, духовных, социально-политических основ народного бытия. Другие же, наоборот, своим гиперкритицизмом или же ориентацией на иные, не традиционные для России ценности могут способствовать дальнейшей атомизации и российского населения, и Российского государства.

Есть и ещё один сложный момент. Как уже говорилось, разные интерпретации истории как важнейшие составляющие исторического сознания по-разному

вливают на дальнейшее историческое развитие страны и народа. В частности, первые две официальные интерпретации отечественной истории (возникшие, соответственно, в XII-м и в XVI вв.) сыграли выдающуюся роль в истории России, обеспечили идейное и духовно-политическое становление и развитие русского народа и Российского государства. Но обе эти интерпретации не были научными. И первая, и вторая интерпретации истории были построены не столько на фактическом материале (хотя и с использованием определённых фактов), сколько на религиозной истине и исторических мифах, иногда даже созданных русскими любомудрами и затем введённых ими в историко-политический обиход. Например, в начале XVI века усилиями ряда русских мыслителей (по имени мы знаем только одного из них – некоего Спиридона-Савву) была создана мифологизированная версия происхождения династии Рюриковичей от римского императора Августа, которая считалась абсолютной истиной в XVI-XVII вв. и даже была перенесена на новую царскую династию Романовых, не имевших к Рюриковичам никакого отношения. Казалось бы, наши предки сильно погрешили против “исторической правды”. Но вот парадокс! Именно эти духовно-политические концепты и историко-мифологические сюжеты стали идейной основой всей будущей Российской империи и идейным обоснованием прорыва России в мировое пространство. Иначе говоря, подобный подход к осмыслению истории и утверждению подобного понимания российской истории в общественном сознании сыграли немалую, а иногда и решающую роль в мощном поступательном движении России по историческим дорогам.

И, наоборот, возникшее в XVIII-XIX вв. научное, то есть “правильное”, “критическое” (иногда – гиперкритическое) отношение к собственной истории, отказавшееся, казалось бы, от исторических мифов, сыграло свою значительную роль в подготовке крушения и Российской империи, и комплекса традиционных русских ценностей в начале XX века. Та же история повторилась и в конце XX столетия: “марксистская” интерпретация истории, при всей своей претензии на научность, оказалась насквозь, сплошь мифологичной. Но снова парадокс: именно этот советско-марксистский исторический миф в своё время значительно помог социалистическому строительству в России, однако со временем он потерял свои творческие силы, и единое историческое сознание советского народа, сформированное марксистской схемой, разрушилось под напором иных научных интерпретаций истории. А вслед за тем рухнул и Советский Союз.

Казалось бы, эти примеры доказывают обратное тому, что утверждает автор: научное историческое знание демонстрирует своё громадное преимущество перед мифологичностью традиционного исторического сознания, а значит, в современную эпоху только наука и может служить основой общенародного восприятия прошлого. Но следует иметь в виду, что утверждение истинности только рационального подхода к изучению истории – это или искренне заблуждение, или же намеренный обман. Заблуждение или обман заключаются в том, что всякая научная интерпретация также не лишена мифологии, тем более если эта интерпретация является частью некой исторической концепции, построенной на определённых религиозно-философских методологических основаниях. А всякая абсолютизация какой-то одной научной интерпретации истории – это уже целенаправленное создание очередного мифа, может быть, нового, а может, возрождение какого-то старого.

Иначе говоря, **противоречие между традиционным и научным представлением об истории не разрешается в результате победы одной из интерпретаций над другой, потому что в этом случае всего лишь торжествует какой-то очередной миф, причём с претензией на абсолютное преобладание.**

Все эти рассуждения вовсе не означают, что научное понимание истории – это плохо, а мифологическое представление – хорошо (или наоборот). Это всего лишь напоминание о том, что упование на всемогущую науку и человеческого рационального знания вообще – это тоже миф⁷. И ограниченность научного понимания окружающего мира и, в частности, ограниченность научного понимания истории нужно принимать как таковую. Поэтому строго научное представление об истории – это всё-таки дело относительно узкого круга профессиональных историков, которые понимают всю сложность и неоднозначность исторического познания, владеют специальными методами и методологиями и готовы к обоснованной защите своей точки зрения в дискуссиях со своими столь же подготовленными коллегами.

Но если говорить об историческом сознании народа, о том, как себе представляет историю большая часть общества, то здесь невозможно обойтись без признания того, что в этих представлениях значимую роль продолжает играть *историческая мифология как важнейшая часть общей исторической памяти*, а значит, и единого исторического сознания. И в этом нет ничего плохого и страшного. Попытаться превратить историческую память в исключительно “научную” — это не только очередной миф, но и разрушение исторической памяти, а значит, уничтожение народа, намеренное разрушение его национальной и духовно-политической идентичности.

Думается, что нынешнее поколение отечественных историков стоит перед необходимостью разработки и создания новой интерпретации русской истории, такой интерпретации, которая смогла бы стать идейной основой возрождения народа, помогла бы народу осознать своё место в новом мировом пространстве и которая была бы основана не только на научном знании, но и на традиционных ценностях русского народа и всех народов России⁸.

* * *

Если же говорить о процессах интеллектуального освоения истории в русской традиции, то здесь необходимо осознавать роль и место православного понимания истории.

Вообще, понятие “история” имеет тройное значение. Во-первых, история — это процесс жизни человечества, народов, отдельных личностей. Во-вторых, история — это наука, которая изучает этот процесс. И, наконец, в-третьих, история — это учебная дисциплина, основывающаяся на научно-историческом знании.

Разница между наукой историей и историей как учебной дисциплиной очень велика. В процессе обучения истории основное внимание уделяется накоплению знаний, при этом знаний, в той или иной степени общепризнанных, устоявшихся. В исторической науке дело обстоит совсем иным образом: историческая наука — это поле многообразных научных дискуссий, причём наличие единого мнения историков — большая редкость. Даже многие исторические даты, особенно в древней русской истории, нужно ещё доказывать. А большинство исторических событий и их оценка — это предмет споров, иногда очень ожесточённых.

История как наука не занимается изучением и поиском только фактов. *Настоящая задача истории — поиск закономерностей развития человеческого общества*. А в основе исторического познания лежит понятие “проблема”, иначе говоря, историку нужно уметь видеть противоречивость исторического бытия. И здесь важно понимать, что мир вообще крайне противоречив, а уж мир истории, наполненный противоборством людских мнений, интересов, устремлений — тем более. И с одним знанием фактов, событий, дат в истории не разберёшься, скорее, наоборот, окончательно запутаешься.

Но даже знание исторических проблем ситуацию не спасает, ибо проблем много, а их разрешений ещё больше! И это обстоятельство обязательно нужно понимать: *история как наука — это не абсолютно-истинное знание о прошлом, а совокупность научных проблем, совокупность исторических взглядов, концепций, гипотез, теорий*.

И вот чем больше погружаешься в изучение истории, тем больше укрепляешься в том мнении, что история как наука базируется не только (и не столько!) на знании (которое, конечно же, необходимо и составляет основу исторической науки), сколько на понимании исторического процесса. А это значит, что историк должен стремиться к осознанию смысла как всего исторического процесса, так и отдельных исторических событий.

Но понимание смысла истории зависит не только от знаний или научно-теоретических представлений самого учёного или любого человека, стремящегося к познанию истории, сколько от его религиозно-философского мировоззрения, а ещё точнее — от его веры. Поэтому наука история теснейшим образом связана и с философией, и с религией.

Если человек верит в то, что Бога нет, является последовательным материалистом, то и история представляется ему исключительно в виде деятельности людей. И если такой человек хочет увидеть смысл истории, то он осознает лишь

некую плоскую объективно-материалистическую необходимость. Тогда в исторической науке начинает главенствовать экономика, социология и политика как важнейшие факторы исторического развития. А движение истории предстает таким прямолинейным процессом, развивающимся от низшего к высшему — от низших форм экономики и общественного устройства к высшим. И всё. Одно время таковым высшим социально-экономическим строем у нас почитался коммунизм, теперь вот — некое постиндустриальное общество. Но перемена названия сути не меняет. Целью исторического развития в обоих случаях объявляется общество, в котором человек будет обладать максимумом материальных благ и жить на Земле с максимальным социальным и бытовым комфортом.

В том случае, когда историк ни во что не верит, объявляет себя агностиком (то бишь на самом-то деле верит, но только в самого себя), то он отказывается и от признания каких-либо длительно действующих исторических закономерностей. Но тогда и сама история теряет всякий смысл, ибо оборачивается хаосом поступков и процессов, друг с другом никак не связанных. В лучшем случае такой историк может более или менее связно пересказать исторические факты, а вот найти и проследить связи между этими фактами — вряд ли, да и не считает он это необходимым делать.

Оба указанных подхода к изучению истории были очень популярны в XIX–XX вв., да и сегодня остаются главенствующими в исторической науке. Но у обоих этих подходов есть общая негативная черта — они или полностью отрицают, или же низводят до второстепенных духовные факторы исторического развития.

Однако человек — это существо не только экономическое или социальное, а ещё и духовное. Ведь человек не просто копошится в хаосе исторических событий, а живёт ради какой-то цели и во имя какого-то смысла. И вот здесь и возникает эта непреложная связка — духовность и смысл. Человек всегда живёт во имя чего-то, всегда добивается какой-то цели и в этом видит смысл своей жизни. И всякий народ тоже живёт ради какой-то цели и во имя какого-то смысла.

Эти целевые и смысловые установки человеческого бытия не появляются ниоткуда, из небытия. Более того, ни сам человек, ни даже целый народ не могут придумать себе смысл своего бытия, а если и придумывают, то потом бывают за это жестоко наказаны, ибо ложным пониманием смысла своего бытия люди уничтожают самих себя.

Откуда же берётся смысл бытия человека и человечества? Ответ может быть только один — смысл бытия даруется Свыше, ибо он вложен в человека и человечество. В свою очередь, понятие “смысл истории” подразумевает то, что и у истории есть некая цель, к которой стремится человечество в ходе своего развития. А это значит и то, что смысл истории также дарован Свыше, вложен в человека, в народ, во всю человеческую историю Господом. Поэтому мы вправе утверждать, что, помимо иных, “человеческих” факторов исторического развития (экономического, социального политического и др.), существует ещё один фактор — духовный.

Эту глобальную суть смысла бытия и объясняет людям религия, потому что чистая рационалистическая наука этого объяснить просто не может — это не её задача. Более того, драма и даже трагедия чистой рационалистической науки и заключается в том, что такая наука, оторвавшись от религии, стремится сама сформулировать для людей смысл их бытия и... оказывается бессильной это сделать. И тогда оказывается, что чисто рационалистическая наука предлагает людям... ложные цели и ложный смысл бытия. Но ведь это означает и другое — сама наука без религии оказывается ложной. Зато настоящая наука начинается тогда, когда она осознаёт свою неразрывную связь с религией.

Вот такой, казалось бы, парадокс. Казалось бы, наука не имеет ничего общего с верой, которая, прежде всего, утверждает истинность Божественного, Сверхъестественного и Чудесного. Ведь наука — это рациональное изучение действительности, то есть познание с помощью человеческого разума так называемых “естественных законов”. На самом деле, главное противоречие между наукой и верой лежит в иной плоскости — это противостояние двух форм религиозного сознания. Ведь наука — это тоже вера, то есть форма религиозного сознания. Только это вера в человека, в его разум, в его способности. Иначе говоря, наука — это часть всеобщей религии человекобожия, созданной ещё в Эпоху Возрождения.

Вообще, всякое знание как результат научной деятельности имеет в своей основе веру в истинность этого знания, веру в истинность рациональных доказательств. Именно поэтому, кстати, в науке существует столько различных, противоречащих друг другу теорий и концепций, а сама наука (то есть рациональное знание) есть совокупность концепций – приверженность к той или иной концепции определяется верой в её истинность. А так как каждый учёный верит в свою истину, то и самих истин оказывается множество. *Наука как совокупность множества концепций есть совокупность множества относительных истин при отрицании абсолютной истины или же максимум при скептическом отношении к существованию абсолютной истины.* Однако если наука отрицает или скептически относится к существованию абсолютной истины, то о какой абсолютной истинности самой науки может идти речь?

Для человека, исповедующего традиционную религию, в частности, для православного человека, понятно: если Господь попустил возникновение науки, значит, Он вложил в это какой-то смысл. И если наука в своё время отвернулась от религии как носительницы абсолютной истины, но продолжает оставаться сегодня вполне реальной и актуальной силой, то наша задача состоит в том, чтобы вернуть науку в лоно истинной, традиционной религии, туда, откуда она, собственно говоря, и вышла. Иначе говоря, необходимо повернуть науку лицом к абсолютной истине и вернуть абсолютную истину в науку. Поэтому можно более образно сказать, что сейчас стоит задача воцерковления науки, как и, кстати, воцерковления образования.

Признание первенства религиозной абсолютной истины не означает огульного отрицания науки как совокупности истин относительных. Следовательно, необходимо соединение науки и традиционной веры. Можно ли это сделать? Можно ли соединить принцип критического восприятия всего (а это главный научный принцип, недаром у К. Маркса и Ф. Энгельса одна из работ называлась “Святое семейство, или **Критика критической критики**”) с религиозным догматом, то есть признанием того, что есть некие вещи, не подлежащие критике вообще? На самом деле, можно. И основа, база такого соединения – диалектика, диалектическое восприятие действительности. Именно диалектика позволяет нам понять, что традиционная вера и наука – это две противоположности, находящиеся в диалектическом единстве. Более того, именно на уровне диалектики наука и совпадает с верой.

Человеческий разум уже давно понял теснейшую связь науки с верой, что нашло своё выражение в многочисленных научно-идеалистических философских теориях – в учениях Платона, Аристотеля, Плотина, Канта, Гегеля, Фихте... Кажется, ничего больше не надо придумывать, и так уже всё в науке есть. Но в данном случае возникает одно большое заблуждение. Каждый из названных и неназванных здесь философов был плоть от плоти своего народа, своей истории, своей культуры, своей религии. Поэтому их философские системы представляют собой интеллектуальную аккумуляцию жизненного, религиозного, бытового, социального и т. д. опыта своих народов, своих культур, своих традиций. Следовательно, вполне пригодные для понимания и осмысления исторического развития одного или группы народов, эти философские системы оказываются бессильными, когда их накладывают на совершенно иной исторический, религиозный, бытовой, социальный опыт. И если все названные выше философские системы так или иначе применимы в данном случае к западноевропейскому историческому опыту, то относительно России... В России это понимали давно, недаром появилась пословица – “со своим уставом в чужой монастырь не ходят”.

Главная методологическая проблема познания истории России вот уже на протяжении трёх веков, с того самого момента, как в XVIII в. возникла российская историческая наука, и заключается в том, что отечественную историю изучали с позиций иного исторического опыта. Уже первый русский историк В. Н. Татищев предложил в основу исторической методологии положить принципы теории “естественного права”, разработанной в западноевропейских учёных кабинетах в XVII–XVIII вв. И затем какие только философские системы не использовались при познании нашего прошлого: гегельянство, кантианство, неокантианство, марксизм, позитивизм... Только славянофилы в XIX столетии, а затем мыслители из плеяды “русских консерваторов” (Данилевский, Леонтьев, Тихомиров и др.) попытались разработать самостоятельные принципы исторического познания, основанные на православной истине. Но, к сожалению,

их разработки так и остались невостребованными в отечественной исторической науке.

Однако именно русские мыслители этого круга первыми в полный голос заявили, что русская история многие века основывалась на Православии, а само Православие формулировало важнейшие смысловые и целевые установки бытия русского народа. А это означает, что когда мы начинаем изучать русскую историю, то без православного понимания, без православного отношения к самой жизни мы никогда в полной мере не поймём и жизнь наших предков, никогда не осознаем, во имя чего они жили, трудились, умирали...

* * *

Итак, если мы говорим о познании и изучении истории, то следует согласиться с очевидным: история человечества вообще и история России, в частности, развивается под воздействием многих факторов – природно-географического, духовного, политического, социального, этнополитического... При этом в отечественной истории духовный фактор всегда играл первенствующую роль. А так как ведущей религией в России было Православие, то нужно, в первую очередь, вспомнить важнейшие религиозно-философские и духовно-политические идеи, которое принесло человечеству христианство и, исходя уже из этих идей, сформулировать тот самый православный взгляд.

Несомненно, важнейшая идея христианства – это *идея единого Бога*. Показать людям существование могущественного и единственного Бога, а также доказать им необходимость веры в Него – это и одна из главных задач христианства. Поэтому вся Библия проникнута духом *монотеизма*. Первая и главная из десяти заповедей, дарованных Господом Моисею, так и звучит: “Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим” (*Втор. 5:7*). И далее: “Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой” (*Втор. 5:9*). Об этом же говорит и Иисус, отвечая на вопрос книжника о том, какая заповедь первая из всех: “Господь Бог наш есть Господь единый” (*Мк. 12:29*). В этом заключается основное отличие христианства от языческих религиозных верований. Если языческие религии были политеистическими, то есть они признавали существование многих богов, то христианство – это строго монотеистическое мировоззрение. И именно монотеизм христианство почерпнуло в иудаизме.

Но христианство кардинально отличается и от иудаизма, и от любой иной монотеистической религии тем, что христиане верят в *Бога, единого в Трёх Лицах: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога Духа Святого*, то есть воспринимают Господа как *Святую Троицу*. В соответствии с многовековой вероучительной традицией образ Святой Троицы присутствует в Ветхом завете в 18-й главе книги “Бытие”, где рассказывается о явлении праотцу Аврааму и его жене Сарре трёх мужей-ангелов: “И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатёр, во время зноя дневного. Он возвёл очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него...” (*Быт. 18:1–2*). Господь, принявший образ трёх ангелов и явившийся Аврааму, носит ещё одно именование – “*Троица Ветхозаветная*”.

Для христианства характерен *теоцентризм* – Господь является центром всего в мире: веры, мышления, познания и т. д. Иисус, продолжая свой ответ книжнику, говорит: “И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею” (*Мк. 12:30*).

Восприятие Бога как единственной и всемогущей мировой силы оказало влияние и на космологическую концепцию христианства. В основе этой концепции лежит *идея творения*. Если в античных религиях и древнегреческой философии, в мифологии других народов говорилось о том, что мироздание возникло из чего-то, и первоначалами космоса виделись некие божественные, но в то же время и природные объекты, то в христианстве Господь Бог творит мироздание из ничего. Начало мира – это Сам Бог, Который Своим словом, Своим желанием творит, создаёт весь мир: “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть” (*Ин. 1:1–3*). Более того, Господь не просто сотворил мир, но присутствует в каждом его движении, ибо всё, что происходит в мире, есть Промысел Божий.

С философской точки зрения, христианская идея творения снимает вопрос, который был одним из основных, например, в древнегреческой философии:

что такое бытие? Господь и есть несотворенное, вечное бытие. Всё остальное – это сотворённое одним Его Словом бытие и являющееся бытием потому, что Бог этого пожелал.

Непосредственно связанной с идеей творения оказывается и *идея откровения* – любое знание, доступное людям, есть Божественное Откровение; всё, что люди знают о мире, о себе и о Боге – всё это открыто им Самим Богом, ибо всякое знание тоже является результатом Божественного творения. Поэтому в христианском понимании вера в Бога, в его абсолютное всеисие и всезнание не просто выше всякого собственно человеческого знания, а является единственным истинным знанием. Апостол Павел так формулирует эту мысль в Первом послании Коринфянам: “Мудрость мира сего есть безумие пред Богом” (1-е Кор. 3:19). Впоследствии христианская Церковь сформулировала основные, с её точки зрения, знания о мире, человеке и о Боге в виде догматов – своеобразных установлений, истинность которых принимается без доказательства. Эти догматы не могут быть опровергнуты, ибо являются Словом и Волей Божией.

Бог, создав первых людей, Адама и Еву, наложил на них единственный запрет – не прикасаться к плодам дерева, которое даёт знания. Люди же, подстрекаемые змеем, вкусили этих плодов и тем самым попытались сами стать богами. Змей говорил им: “В день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло” (Быт. 3:5). Вкусив плоды с дерева познания, Адам и Ева совершили первое грехопадение. Грех в христианском понимании – это нарушение установленных Богом законов и запретов. И первый же самостоятельный поступок людей оказался греховным. Отсюда вытекает ещё одна важнейшая христианская идея – *идея грехопадения*.

С христианской точки зрения, человечество изначально греховно. Бог создал людей для вечного счастья, но они сразу же нарушили Божественную волю. За это, по воле Господа, греховность Адама и Евы была распространена на всё их потомство. И вся дальнейшая история человечества, по Библии, – это борьба немногих праведников, познавших Божественную истину, за распространение Слова Божиего в сердцах и душах остальных людей, погрязших в своей греховности, борьба за спасение человечества.

Спасение необходимо потому, что, по христианским убеждениям, история человечества конечна. *Учение о конце мира* – это тоже одна из главных идей христианства. Земной мир, земная жизнь людей – это их временное пребывание. По убеждению христиан, со временем грехи переполняют человеческую жизнь, и явится антихрист, посланник сатаны. Антихрист воцарится на земле, но его торжество будет недолгим. Сын Божий во второй раз придёт к людям (Второе Пришествие), и вместе с ним на землю сойдёт небесное воинство во главе с Михаилом Архангелом. По призыву Господа под знамёна небесного воинства встанут все, оставшиеся верными Христу, и вступят в Последнюю битву с антихристом и всеми силами Зла. А после победы в этой битве Господь призовет людей на последний, Страшный суд, на котором всем будет вынесен окончательный приговор. Истинно верующих Господь призовет в свои божественные чертоги и дарует им вечную жизнь, а нераскаявшихся грешников обречёт на вечные мучения. Яркая картина этой последней битвы, Апокалипсиса, представлена в “Откровении Иоанна Богослова”.

Но кто достоин спасения? И как человек может спастись? Многовековая история, изложенная в Ветхом завете, показала, что люди, в силу своей изначальной греховности, постоянно отворачиваются от Бога. И здесь в Библии возникает фигура Сына Божиего, Спасителя, посланного Самим Господом к людям, чтобы дать им последний и окончательный Завет. “Ибо Он спасёт людей Своих от грехов их”, – говорится в Евангелии от Матфея (Мф. 1:21). Иисус Христос Своей земной жизнью, мученической смертью и посмертным воскрешением показывает всем пример истинной жизни и истинного спасения – человек может спастись только тогда, когда он на протяжении всей своей земной жизни искренне и беззаветно соблюдает все Божественные заповеди.

В этом смысле очень важна христианская *идея о богочеловеческой природе Иисуса Христа*. Иисус – Сын Божий, Мессия, способный творить чудеса, рассказами о которых наполнены все Евангелия, единственный на Земле, кто абсолютно точно знает Божественную истину. Однако если бы Иисус был только Богом, Его Слово было бы далеко от сознания людей: что может Бог, то недоступно человеку. Сам Иисус говорит: “Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу” (Мк. 12:17).

Но Иисус не только Бог, он ещё обладает и человеческим телом — Он Бого-человек. Иисус претерпевает страшные телесные страдания во имя Божие. Более того, Он знает о том, что будет подвергнут мучительной казни, что тело его будет истекать кровью. Он знает и предрекает свою телесную смерть. Но Иисус не страшится её, ибо знает и другое — телесные муки ничто по сравнению с вечной жизнью, которую дарует Ему Господь за стойкость духа, за то, что в земной, телесной жизни Он ни на секунду не засомневался в истинности Своей веры.

Человеческие, телесные страдания Христа во славу Бога, столь ярко описанные в Новом завете, свидетельствовали обычным людям, что Сам Господь снизошёл до их человеческой природы и показал им пример настоящей жизни. Именно поэтому личность Иисуса Христа оказалась столь близка огромному количеству людей разных племён и народов, уверовавших в то, что за все их земные мучения будет дано Божественное воздаяние, воскресение после смерти телесной и жизнь вечная, если они будут блюсти Божии заповеди.

Эти заповеди, которые Господь даровал ещё Моисею, изложенные в Ветхом завете, Иисус заново приносит людям. В заповедях Иисуса и заключено, собственно, окончательное и последнее Слово Божие человеку. По сути дела, в них излагаются основные правила человеческого общежития, соблюдение которых позволит всему человечеству избежать войн, убийств, насилия вообще, а каждому отдельно человеку — прожить земную жизнь праведно.

Разница же заповедей в их ветхозаветном и новозаветном толкованиях в том, что в Ветхом завете Божественные заповеди носят форму Закона, который Бог требует соблюдать только от евреев, а в Новом завете Иисус несёт не закон, но Радостную Весть, Благодать и обращается уже ко всем, уверовавшим в Бога, как бы показывая, что Господь примет под своё покровительство каждого, кто проникся верой в Него.

Когда Иисуса спросили о главных Божественных заповедях, первой он назвал *любовь к Богу*, а второй — *любовь к ближним своим*: “Возлюби ближнего твоего, как самого себя”. И продолжил: “Иной большей сих заповеди нет” (Мк. 12:31). По сути дела, в христианстве произошла одна из самых глобальных переоценок ценностей в истории человечества. Языческие идеалы с их культом реальной, плотской жизни, культом человеческого тела оказались полностью перечёркнуты христианством. “Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное... Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю... Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное...” — говорит Иисус (Мф. 5:3–11).

Смирение, полное и добровольное подчинение самого себя Божественному Провидению — вот что становится основной христианской добродетелью. Идеал христианина — жизнь во Христе и во имя Христа. Без помощи Господа человек не может ничего. Недаром Иисус говорил: “Пребудьте во Мне, и Я в вас... Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам... Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей” (Ин. 15:4–9).

Основой такой жизни в христианстве становится любовь. Но эта любовь не имеет никакого отношения к любви в её языческом понимании как Эроса, плотского чувства. Христианская любовь — высшая духовная ипостась человека. Именно на любви — любви к Богу и другим людям — покоится всё здание христианской морали. Иисус в Новом завете дарует людям новую заповедь: “Да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга” (Ин. 13:34). “Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих” (Ин. 15:13).

Но “больше той любви” нет среди людей. Источником же человеческой любви может быть только Бог. Поэтому центром, средоточием любви вообще является Сам Бог, ибо только воистину возлюбивший Бога способен на любовь к другим людям: “Если заповеди Мои соблюдёте, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви” (Ин. 15:10).

Не менее значимы оказались христианские идеи, связанные с политическим устройством общества. В течение многих веков и мыслители, и правители, и простые люди искали ответы на вопрос об идеальном политическом строе именно в Библии.

Как рассказывается в Библии, древние иудеи долгое время жили под непосредственной властью Господа, а божественные указания им передавали судьи. Но в какой-то момент люди оказались недовольны судьями, ибо судьи стали пользоваться собственным исключительным положением. И тогда древние

иудеи потребовали у судьи Самуила, чтобы тот испросил у Бога царя. Самуил долго молился. В ответ на молитву Господь ответил Самуилу: “Ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними; ...представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними” (1 Цар. 8:7–9). Бог устанавливает и права царя: царь владеет всем в своём царстве и свободно распоряжается имуществом своих подданных; обладает полной властью; предводительствует воинству; является единственным судьёй; жители царства – рабы царя (1 Цар. 8:10–17). Устанавливает Господь и царские обязанности: царь – защитник народа; ответчик за народ перед Богом; помазанник Божий (1 Цар. 9:15); хранитель истинной веры (3 Цар. 11:38).

Если царь исполняет волю Бога, то его царство укрепляется. В том случае, если царь отступает от Божественных повелений, царя и народ ждёт Божий гнев. При поставлении царя Бог говорит народу через пророка Самуила: “И восстаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда” (1 Цар. 10:18). Божественное помазание не означает сакрализации самой личности царя – неугодного царя Бог может заменить и другим. Однако в Ветхом завете присутствует и сюжет покаяния негодного царя, а с ним и всего царства (яркий пример – царь Манассия, который “делал негодное в очах Господних”, был наказан нашествием врагов и пленением, раскаялся и был возвращён на своё царство, а народ тем самым был спасён от врагов).

Существует и обратная зависимость: если народ будет верен Богу и будет служить Ему от всего сердца, то Бог не оставит народ; но если народ будет творить зло, то погибнет и царь, и народ. “Если будете бояться Господа и служить Ему, ...то рука Господа не будет против вас; а если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас” (1 Цар. 12:14–15).

Таким образом, идеальным общественным устройством, по Библии, может считаться *Боговластие* или *теократия*. Отказ людей от Боговластия означает, что люди впали в грех и отказались от непосредственной власти Бога. Древние иудеи сами признают этот грех, говоря Самуилу: “Ибо ко всем грехам нашим мы прибавили ещё грех, когда просили себе царя” (1 кн. Цар. 12:19). Так возникает монархия – политический строй, дарованный людям Господом по их собственной просьбе. При этом царём может быть только тот человек, на которого укажет Господь, главным источником власти царя является Божия воля, сама власть монарха должна рассматриваться подданными как богоданная, а подданные – это рабы царя. Таким образом, следует учитывать, что монархия – это вовсе не идеальная форма власти, но лучшая из возможных.

Новозаветное понимание власти также включает в себе признание её богоустановленного характера. “Нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены” (Рим. 13:1). При этом Господь – это “владыка царей земных” (Откр. 1:4), а носители власти на земле являются “Божиими служителями”, призванными поощрять добродетельных и наказывать преступников (“начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых” (Рим. 13:3).

От правителя требуется быть “верным и благоразумным домоправителем”, заботящимся о вверенных ему Богом людях. Чем большей властью обладает правитель, тем бóльшая ответственность на него возлагается: “И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут” (Лк. 12:48). Подданные, в свою очередь, обязаны подчиняться правителям (“Всякая душа да будет покорна высшим властям”), платить установленные подати (“отдавайте всякому должное: кому подать – подать; кому оброк – оброк...”), воздавать необходимые почести (“...кому страх – страх, кому честь – честь”), оказывать послушание (“Противящийся власти противится Божию установлению” (Рим. 13:2).

Послушание начальствующим (а значит, и властям) становится не просто указанием, за невыполнение которого может последовать наказание, а нравственной заповедью, призывом к добросовестному и честному исполнению своего общественного долга. “И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?” (Лк. 16:12); “Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души” (Еф. 6:5–6); “И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести” (Рим. 13:5). Тем не менее принцип повиновения властям

теряет своё значение тогда, когда общественные нормы, учреждаемые властью, вступают в противоречие с евангельским учением. В этом случае долгом христианина становится противоление властям, осуществляемое в мирных формах.

Как видно, новозаветное понимание власти отличается от ветхозаветного тем, что, главным образом, делает акцент на духовно-нравственной основе любых властных отношений, предлагает общие нравственные нормы общественных отношений, тогда как в Ветхом завете большее внимание уделено вопросам легитимности власти и детальной регламентации различных сторон политической жизни.

Религиозно-философские и духовно-политические идеи, изложенные в Библии, поставили перед человечеством совершенно иные, новые цели по сравнению с теми целями, которые были разработаны в религиозно-мифологических и философских учениях античности, в языческой мифологии других народов. Христианство не только перевернуло представления человека о Боге, о мире, об обществе, но и развернуло совершенно новую концепцию самого человека, его способностей и жизненно важных идеалов. Христианство изменило отношение людей к самому времени, ибо с тех пор, как христианство стало господствующей религией у всех европейских народов, само летоисчисление стало вестись или от момента библейского сотворения мира (в России такое летоисчисление, как известно, существовало до начала XVIII века), или же от Рождества Христова. И недаром христианские народы называют период времени, начавшийся с Рождества Христова, новой эрой.

* * *

Опираясь на христианское вероучение, но при этом используя элементы рационального, научного подхода, вполне можно предложить некоторые принципы православного понимания истории.

Первый принцип: история есть воплощение Божественного Промысла. Следовательно, история имеет смысл и цель своего развития, а также законы развития, определяемые Божественным Промыслом.

Второй принцип: закономерности исторического развития проявляются в ходе исторической деятельности людей, ибо люди сотворены свободными. Историческая деятельность людей зависит от их сознания и воли. Но всякое сознание основано на вере, есть религиозное сознание, имеющее разные формы выражения. Следовательно, религиозное сознание является действенным катализатором исторического развития, оказывает реальное и непосредственное влияние на развитие конкретных исторических событий.

Третий принцип: историю необходимо понимать как реализацию в действительности Божественного Промысла, в виде сложного диалектического процесса взаимодействия сознания и бытия, общественного сознания и общественного бытия. При этом необходимо видеть ведущую роль именно сознания и, прежде всего, религиозного сознания в истории. Иначе говоря, деятельность человека определяется его сознанием. Поэтому необходимо осуществлять поиск смыслового содержания исторической деятельности людей, то есть отвечать не только на вопросы “как?” и “почему?”, но и на главный вопрос – “зачем?”. Исходя из ответов на этот вопрос – “зачем?”, – мы и можем осмысливать закономерности развития, как частные, так и общие.

Конечно же, перечисленные выше положения – это именно принципы, то есть некие общие методологические подходы. И настоящее раскрытие этих принципов возможно только в ходе конкретных исторических исследований, конкретного осмысления исторических событий. Но тем не менее, как представляется, осознание этих принципов необходимо.

Как необходимо осознание и ещё одного принципа. Он совсем не четвёртый, как вроде бы получается по счёту. Наверное, этот принцип следует назвать базисным:

Православие обеспечивает человеку вообще и учёному, в частности, мощнейшую нравственную основу, без которой наука превращается из орудия познания в орудие уничтожения.

Здесь мы и подходим к решению проблемы: что важнее – догмат или критическое восприятие действительности, которое иногда называют прогрессом науки, который вроде бы не остановить. Так вот, Православие, постулирующее

нравственные и вероисповедные догматы, помогает учёному понять, есть ли пределы знания, за которые он не имеет права заступать. Именно и только традиционная вера того или иного народа, а в нашем российском случае – именно Православие способно направить развитие науки в нужное человечеству русло и поставить преграды там, где эти преграды необходимы. А такие преграды – догматы – необходимы нам, людям, иначе мы можем уничтожить и собственное прошлое (как это не раз бывало, когда мы постоянно пересматриваем собственную историю), и собственное настоящее (клонирование, искусственный разум – конкретные тому примеры), но и будущее.

* * *

Однако рождается вопрос – как эти теоретические принципы воплотить в жизнь в тексте реального учебника истории России? При этом, во-первых, в тексте не одного, а минимум шести учебников (с 6 по 10 классы) и, во-вторых, в учебниках для общеобразовательной школы, где учатся дети разных вероисповеданий – православные, неправославные, придерживающиеся нехристианских и даже антихристианских убеждений. Казалось бы, это невозможно. Давайте разбираться. Для начала, опять же, немного истории и теории...

Что есть наше знание истории? Наверное, сегодня все уже понимают, что “абсолютно правильного”, “единственно верного” знания истории не существует, а есть различные интерпретации истории, которые разнятся не только по своему уровню приближения к исторической истине, но и по своим задачам, целям, по уровню общественного влияния и т. д.

К примеру, одни интерпретации истории могут служить укреплению и становлению народа, формированию его единого исторического сознания, выработке и утверждению идейных, духовных, социально-политических основ народного бытия. Такой была *первая известная нам письменная интерпретация отечественной истории*, выполненная в конце X – начале XII вв. русскими книжниками-летописцами, а также русскими религиозными мыслителями, а в ещё большей степени – *вторая интерпретация отечественной истории*, созданная в XVI в.

А вот интерпретации истории, возникшие в XVIII столетии и особенно в XIX веке, были уже иными, ибо преследовали иные цели: теперь России необходимо было “вписать” в новое мироустройство, основанное не на традиционных религиозных, а на рациональных началах. Поэтому существовавшие религиозные духовно-политические концепты отечественной истории всё меньше удовлетворяли новым идеологическим и философским веяниям. В результате в понимании истории постепенно утверждается так называемый “научный подход”, то есть *рациональный, критический взгляд на прошлое*. Наиболее ярко этот подход проявился уже в XX веке, когда большевикам потребовалось разработать собственное понимание истории, создать собственную, “марксистскую” интерпретацию. Именно тогда окончательно были сформулированы главные цели обучения истории с точки зрения научного подхода: 1) знания, то есть совокупность исторических фактов и причинно-следственных связей; 2) развитие у учащихся научного, то есть критического мышления; 3) воспитание у учащихся любви к своей социалистической Родине, патриотизма (то есть верность политическому режиму). Надо сказать, что этот подход продолжает сохранять господствующее положение и в нынешнем, XXI веке, только исчезло понятие “социалистическая”...

Каковы результаты понимания и, главное, подобного преподавания истории? В XIX–XX вв. чем больше развивалась в России система образования, чем больше становилось в стране образованных людей, чем большую силу набирал научный, светский подход к истории и, соответственно, только критическое отношение к прошлому, тем сильнее у образованных людей возникало желание... отказаться от собственной истории. Наиболее ярко это проявилось в шести попытках политических переворотов: 1825 год (“декабристы”), 60–80-е годы XIX века (“народники”), 1905–1907 годы (первая русская революция), февраль 1917 года, октябрь 1917 года и, наконец, рубеж 80–90-х годов XX века. Все эти события вызывались разными причинами и осуществлялись разными людьми, но имели одну общую черту: все они проходили под лозунгом “Отречёмся от старого мира!”. Впрочем, во второй половине XX века было ещё пуще, ибо

стремление “отречься” от собственного прошлого достигло полного абсурда, и теперь уже каждый новый правитель считал необходимым отказаться от своего предшественника: Хрущёв – от Сталина, Брежнев – от Хрущёва, Андропов и Горбачёв – от Брежнева, Ельцин – от Горбачёва. Таким образом, выявилась серьёзная проблема: **господство сугубо рационального, научного подхода к истории ведёт к разрушению единства исторического сознания нашего народа, более того, порождает у подрастающего поколения... неприятие, а то и ненависть к истории собственного Отечества.**

Поэтому сегодня нам стоит перевернуть нынешнюю систему преподавания истории с головы на ноги, то есть вернуть её в естественное состояние.

Во-первых, преподавание истории необходимо строить на нравственной основе, более того, именно нравственные уроки должны стать важнейшими целями исторического образования. Поэтому главное, что может и должен донести до детей учебный предмет “История” – это **любовь к своему Отечеству и к деяниям своих предков.** В таком случае знания и критическое мышление – не цель, но лишь средства обучения истории. Ведь какими бы ни были исторические деяния, какой бы ни была наша история – это **наша** история, **наше** прошлое, плохое, хорошее – всё равно **наше**. Вспоминаются слова Александра Сергеевича Пушкина: “Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал”. Вот эту идею мы должны донести до наших детей на уроках истории в первую очередь. Образно говоря: **сначала – любить, потом – знать.** А любовь, стоит напомнить, – это важнейшая христианская идея... **Поэтому возрождение сегодня в сердцах молодых людей любви к Отечеству – это первый шаг к возрождению в их сердцах любви к Богу...**

Во-вторых, необходимо признать, что единое историческое сознание нашего народа наряду с духовной, культурной и языковой общностью является важнейшей частью общенационального сознания. Во все времена опора на историческую память позволяла нашим предкам отрешиться от разногласий и сплотиться. Поэтому, наконец, пора уже понять и признать, что история как учебный предмет – это, прежде всего, поле освоения молодым поколением духовного и исторического опыта народа, приобщение к единому историческому сознанию народа. С помощью истории старшее поколение передаёт молодым опыт предков и свой собственный опыт. Для чего? Для того чтобы впоследствии сегодняшнее молодое поколение передало этот опыт последующим поколениям. Таким образом обеспечивается связь времён и поколений как важнейшее условие жизни, условие существования нашего народа на своей земле. И в этом смысле необходимо признать, что **история наряду с языком и литературой как явления стратегического порядка представляют собой средства, с помощью которых народ обеспечивает своё существование во времени, собственное самовоспроизводство.**

В-третьих, главной целью исторического образования должна стать как раз передача подрастающему поколению духовного и исторического опыта народа, опыта жизни народа на своей земле, в данных природно-климатических условиях при смене условий политических, экономических, социальных, идеологических, при этом опыта как положительного, так и отрицательного. Духовный и исторический опыт жизни народа на своей земле отшлифовывался веками и принял форму определённых ценностей, проверенных временем и выстраданных нашими предками и современниками. Можно выделить основные группы ценностей, которые были пронесены нашим народом на протяжении всей его многовековой истории и которые были ведущими мотивами преодоления практически всех кризисов, когда-либо наш народ постигавших: 1) духовно-нравственные ценности и, прежде всего, православная вера, которая, собственно говоря, и обеспечила основную ценностную ориентацию всего нашего общества и всей нашей истории; 2) социально-политические ценности (принципы организации общества); 3) трудовые ценности; 4) культурные ценности; 5) семейные ценности и некоторые другие (в своё время Всемирный Русский Народный Собор, проделав огромную интеллектуальную работу, ещё более конкретизировал “ценностный список”).

Наконец, исходя из уже накопленного и даже реализованного опыта, можно предложить ряд конкретных основополагающих установок, которыми необходимо руководствоваться при непосредственной подготовке текстов учебников по истории России для общеобразовательной школы.

Цели исторического образования:

- воспитание у школьников чувства любви к своей Родине, уважения к историческому пути России;
- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли России как активного участника всемирной истории;
- развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение конкретно-историческим подходом к событиям и явлениям прошлого, а также умение аргументированно выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам истории;
- овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с различными типами исторических источников.

Методологические принципы исторического образования:

- изучение гражданской, церковной и духовной истории России как единого неразрывного процесса, каковым он и был в исторической действительности;
- история России развивалась под воздействием нескольких факторов: природно-географического, духовного, политического, социального, этнополитического; при этом признаётся, что духовный фактор является одним из ведущих в отечественной истории;
- значение духовного фактора в русской истории раскрывается через: а) историю идеи святости (сущность и история идеи Святой Руси; рассказы о жизни и подвигах православных святых X–XX вв.); б) повествование о роли Русской Православной Церкви и других традиционных религий в истории России; в) демонстрацию ведущей роли православного мировоззрения для большинства политических деятелей России; г) концепцию “духовного противостояния” между традиционным религиозным и светским миропониманием в XVIII–XXI вв.;
- важным содержательным направлением курса является раскрытие роли выдающихся деятелей отечественной истории, особенно тех исторических деятелей, чьё имя было связано с духовным подвижничеством;
- образность и эмоциональность изложения конкретно-исторического материала являются важными условиями изучения истории, особенно для учащихся 6–8 классов;
- необходимость внимательной работы учащихся с текстом учебника, возможность проводить уроки в виде комментированного чтения, составления конспекта параграфа и др.;
- необходимость работы учащихся с историческим документом как важнейшим источником исторических знаний, формирование у учащихся навыков критического анализа исторических источников;
- анализ различных точек зрения представителей исторической науки на те или иные исторические события и процессы как важнейшее условие развития самостоятельного мышления учащихся, умения формулировать собственный взгляд на исторический процесс, на оценку различных исторических событий.

Именно на основе данных принципов и установок в своё время был подготовлен учебно-методический комплект (УМК) по истории России для учащихся 6–11 классов общеобразовательных школ (авторы С. В. Перевезенцев, Т. В. Перевезенцева), изданный в 2009–2013 годах издательством “Русское слово” в рамках благотворительного образовательного проекта “Гордиться славою наших предков”⁹. Опыт работы на основе данного УМК свидетельствует об удивительной вещи: если дети любят своё Отечество, любят его историю, они хотят знать её как можно лучше и стремятся к знаниям. Не случайно названные учебники оказались очень информативными и содержали гораздо более значительный фактический материал, рассказывали о гораздо большем числе исторических деятелей, чем учебники по истории России иных авторов. Но главное – весь материал в учебниках объединён единым комплексом идей, теми самыми ценностями, и единым методологическим подходом. Поэтому возникла логичность, целостность и единство содержания как всякого параграфа любого учебника, так и всей линейки учебников по истории России с 6-го по 11 классы.

О востребованности подобного подхода к созданию учебников по отечественной истории свидетельствует новый проект тех же авторов, осуществляемый с 2019 года совместно с Русской классической школой. В рамках этого проекта в 2019–2022 годах вышел в свет полный комплект УМК по истории России для 6–11 классов¹⁰. Все учебные пособия соответствуют требованиям современных

ФГОС. При этом нужно отметить, что все учебные пособия в рамках данного проекта по сравнению с предыдущими изданиями значительно расширены и углублены, некоторые вообще написаны заново.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Традиционалистско-консервативная методология предполагает сохранение в современном мире традиционных идеалов, ценностей, религий, с опорой на национально-государственные интересы народов мира; подразумевает необходимость возрастания сложности мира, ибо только сложные системы способны не просто к выживанию, но и к самовоспроизводству, приспособлению к новым жизненным условиям. См. подробнее: Перевезенцев С. В. Русский выбор: Очерки национального самосознания. М., 2007.
- ² См. подробнее: Перевезенцев С. В. Истоки русской души: Обретение веры. X–XVII вв. М., 2015. С. 142–150.
- ³ Нужно отметить, что это разнообразие представлений о прошлом было во многом связано с тем, что население Древнерусского государства в этот период состояло из разных этнических групп, даже некоторые славянские племена (например, поляне и древляне) заметно отличались друг от друга по традициям и обычаям.
- ⁴ Например, первый русский историк В. Н. Татищев (XVIII в.) свою “Историю Российскойскую” писал, опираясь в основном на региональное летописание, а Н. М. Карамзин (XIX в.) при создании “Истории государства Российского” использовал, прежде всего, общегосударственное летописание. В результате у обоих историков трактовка одних и тех же событий заметно отличается. Эта черта характерна и для современной исторической науки: оценка тех или иных событий во многом зависит от привлечённых тем или иным исследователем источников.
- ⁵ См. об этом подробнее: Перевезенцев С. В. Родство по истории: Статьи. Очерки. Беседы. М., 2015.
- ⁶ Имеются в виду “Новая хронология” А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского, “Русские веды” А. И. Асова и др.
- ⁷ См.: Ширинянц А. А., Васич В. Н. Политика. Культура. Время. Мифы. М., 1999; Ширинянц А. А. Миф и утопия демократии // Арзамасская сторона: Альманах. Выпуск 5. Арзамас, 2012. С. 386–392.
- ⁸ Вариант такой интерпретации отечественной истории представлен в работах автора: Перевезенцев С. В. Россия. Великая судьба. М., 2003; Перевезенцев С. В. Русская история: С древнейших времён до начала XXI века. М., 2018 и др.
- ⁹ См.: Перевезенцев С. В., Перевезенцева Т. В. История России с древнейших времён до начала XVI века: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. М., 2009; Перевезенцев С. В., Перевезенцева Т. В. История России. XVI–XVIII века: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М., 2010; Перевезенцев С. В., Перевезенцева Т. В. История России. XIX век: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М., 2011; Перевезенцев С. В., Перевезенцева Т. В. История России. XX – начало XXI века: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М., 2012; Перевезенцев С. В., Перевезенцева Т. В. История России с древнейших времён до конца XIX века: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. М., 2013.
- ¹⁰ Перевезенцев С. В., Перевезенцева Т. В. История России. XVI–XVII века: учеб. пособие для 7 кл. В 2-х ч. Екатеринбург, 2019; Перевезенцев С. В., Перевезенцева Т. В. История России. С древнейших времён до начала XVI века: учеб. пособие для 6 кл. В 2-х ч. Екатеринбург, 2020; Перевезенцев С. В., Перевезенцева Т. В. История России. XVIII век: учеб. пособие для 8 кл. В 2 ч-х. Екатеринбург, 2020–2021; Перевезенцев С. В., Перевезенцева Т. В. История России. XIX – начало XX века: учеб. пособие для 9 кл.: В 2-х ч. Екатеринбург, 2021; Перевезенцев С. В., Перевезенцева Т. В. История России. XX – начало XXI века. 10-11 классы: в 4-х ч. Екатеринбург, 2022. Помимо учебных пособий, в УМК входят также “Рабочие тетради” для учащихся и методические пособия “Книга для учителя” по каждой параллели.

ВАЛЕРИЙ ГУРОВ

ТРИ ЖЕЛАНИЯ

(невероятная быль)

Загадочное событие на одном из озёр Верхней Волги неожиданно отозвалось спустя три года на другом конце земли, в Соединённых Штатах Америки.

В 2006 году по завершении наших командировочных дел в городе Сакраменто мой русскоговорящий американский коллега вызвался отвезти меня в аэропорт. На выезде из города он задал дежурный вопрос о том, какую достопримечательность столицы Калифорнии мне хотелось бы увидеть ещё раз. Без раздумий я высказался о глубоком впечатлении от парка реликтовых секвой и о необходимости возвращения за получением запоздалого разрешения на фотографирование... Но тут мне резко возразил водитель. И, мол, время на исходе, и уже совершенную глупость не надо тиражировать.

Приводя в порядок свои мысли, я вкратце рассказал о загадочном событии трёхгодичной давности на берегу озера Волго, а главное – о предостережении относительно будущего неизбежного фотографирования у секвой в городе Сакраменто, мол, надо прежде испросить разрешения у хозяев ближайшего коттеджа.

Ничего случайного в жизни нет

Обретя с Божьей помощью духовное зрение, я перестал спорить с оголтелыми атеистами (равно как и с оголтелыми верующими: и те, и другие, на мой взгляд, обладают дисбалансом сознания). Вера – дар Божий. И зачем переубеждать тех, кого, может быть, ждёт прозрение, но кто ныне просто не задумался основательно о вере, и потому они бедны в своей опоре только на разум. Ибо разум человеческий – конечен, а Вселенная – беспредельна. И то, что недоступно разуму, доступно вере. Вера не только расширяет и усиливает возможности человека, но и меняет его мировоззрение. В частности, моё убеждение в том, что ничто не случайно в жизни, было сильно укоренено

ГУРОВ Валерий Игнатьевич – доктор технических наук, ветеран космонавтики России, специалист мирового уровня по решению проблем перекачки криогенного топлива в различных энергетических системах наземного, воздушного и космического назначения. Постоянно публикуется в нашем журнале. Имеет высокие правительственные награды. В 2012 году (после глубокой исповеди у скрытого старца Владыки Никона в Липецке) автор осознал итоги своего отшельничества на одном из озёр Верхней Волги. Многие предсказания, полученные отшельником, подтвердились во время его командировки в город Сакраменто (США). Спустя десять лет окончательно прояснился смысл пережитых автором событий.

происшедшим со мной на берегу озера Верхней Волги, где я провёл в затворничестве 11 суток. В этом малом промежутке времени сошлось с положительной для меня направленностью множество случайностей с вероятностью их суммарного проявления, пожалуй, в одну миллиардную долю. А, главное, я постиг то, что не даётся многим людям за всю их долгую жизнь. Постиг, опираясь на некоторый религиозный опыт (крещён в Православие в 1997 году), особенно в достижении порою духовного резонанса с Божественными силами, которыми поощряется и поддерживается деятельная вера с неизбежным преодолением трудностей. Через преодоление к усилению человеческих возможностей — это стало для меня жизненным правилом после завершения затворничества. К затворничеству меня вела и помогала, казалось бы, в безвыходных ситуациях неодолимая сила.

Неодолимая сила

В тот памятный 2003 год, казалось, всё восстало против меня. Кризис бытовой и кризис душевный. Нелады с автомобилем, что привело к распаду нашей троицы приятелей, много лет ездивших на пару недель в палаточном варианте на полуостров, с трёх сторон охваченный водой, а с четвёртой прикрытый болотом, тропу через которое знал далеко не каждый из местных жителей. На моё предложение ехать поездом до районного центра, а затем на такси какие-то двадцать пять километров приятели стали придумывать разные небылицы с обоснованием возможных трудностей предложенного варианта. И чем надуманнее были их аргументы, тем сильнее укреплялось во мне желание — поехать во что бы то ни стало. В итоге я остался один на один со своим желанием. А тут ещё и домашние стали досажать разговорами об абсурдности моего желания, что усиливало смуту в моей душе, порождая хаос настроения, а порою и действий. Надо было разобраться в себе, отрешиться от взбаламученности, сформировать определённую поведенья. . .

Твердо решил — еду один. Но одно дело — решить и совсем другое дело — реализовать. Такси в лучшем случае довезёт до кромки леса, а там километр ходу, причём триста метров через болото. До сей поры с приятелями мы доезжали до воды, надували пару лодок и сплавлялись до обустроенного нами места. А тут! Трёхместная двухкаскадная палатка, к которой я привык из-за возможности, прежде всего, полной защиты от комаров, змей и всякой ползучей живности — раз! Котелки, противень (для жарки рыбы), спальный мешок, какие-никакие съестные запасы, рыбацкие принадлежности, одежда с сапогами — два! Мелочёвка по части личной гигиены килограмма на полтора — три! В итоге: непосильный рюкзак, палатка на 4 кг, да ещё пакет с самым драгоценным. Продумал и успокоился: если такси довезёт до кромки леса, то буду перетаскивать поклажу по частям.

В науке итог моих рассуждений называется идеальной моделью. Но: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Жизнь вносит свои коррективы, порою довольно-таки значимые.

Звоню на вокзал и выясняю, что — против обыкновения — поезд, ходивший три раза в неделю с отправлением вечером, теперь отправляется утром с прибытием в районный центр в 20.00 часов. Кстати, изменение расписания коснулось только того памятного года. Ладно, думаю себе, у леса буду около девяти вечера. Запас времени вроде бы достаточный для того, чтобы дойти и установить палатку.

С посадкой на поезд жизнь стала вносить такие коррективы, что невольно приводило к мысли: тебя непременно ведут с одной целью — в чем-то убедить!

Трудности одолимы усердием и мольбой

Ты можешь приехать в ночь: поездам свойственно опаздывать. И куда ты денешься со своим скарбом? И даже таким слабеньким аргументом пытались отговорить меня от поездки мои домашние, когда их доводы о нынешней серьёзной опасности быть одному в лесу не были мною услышаны. Меня неостановимо тянуло на наш полуостров, что в своё время впервые остро прочувствовал, побывав в июле 2001 года в форпосте западного мира — в Америке. Проехав дивными автомагистралями (не в пример российским горе-шоссеям) три её штата, посетив при любезном сопровождении его руководства

Центр мормонов в Солт-Лейк-сити и художественную галерею в Денвере, отметившись в заповедной зоне вблизи Колорадо-Спрингс, насладившись их превосходным гостиничным супербытом, я загорелся одним порывом: скорее попасть на землю истока нашего — на берега озера Волго вблизи Селигера. Скорее погрузиться в очищающие его воды, затеряться в непроходимых лесных чащобах с замшелыми стражниками-валунами, опрокинуться в блёклое небо с озорными ночными зарницами, прильнуть к светлым, затаённым в глухомани родникам... Жующая сытая кипсмайловская (keep smile — держи улыбку) самоуверенная Америка пришла мне не по душе.

Я тянулся к моей России с её загадочной судьбой, непрогнозируемым народом, неодолимыми просторами, порою угнетающим бытом...

С тех пор ежегодное общение с природой в окрестностях озера Волго стало моей потребностью. И не только природа играла свою врачующую роль в моей привязанности к этим местам. То был не просто полуостров, то был пятачок площадью в 100 гектаров — свидетельство стойкости наших солдат в начале войны, ставших заслоном притязаниям немецких войск с противоположного пологого берега. Мои соотечественники практически полностью погибли: их бросили на пристреленный немцами лёд озера в начале 1942 года. Памятник их последнему броску на верную смерть стоит в сосновом бору. Остались и немые свидетели того времени: окопы, воронки и следы землянок в глубине леса. Я брожу среди этих примет войны, как бы ощущая присутствие душ молодых парней и зрелых мужчин. Я у них в гостях, а они остаются истинными хозяевами этого крохотного клочка земли, за который отдали свои жизни. Что-то незримое связывает и не отпускает меня — живого — с ними, ушедшими из жизни. Попробуй я объяснить своим домашним свои ощущения — точно устроили бы меня вместо поездки в лечебную клинику слабой психиатрической терапии.

Теперь таких клиник кругом навалом: были бы деньги, а всяческих медицинских услуг (нужных и ненужных) хоть отбавляй.

Итак, скорее всего, по наущению моих домашних поезд так опоздал на один час. Видимо, ещё машинист не освоился с новым расписанием. Но пока всё терпимо. Вываливаюсь из вагона, ковыляю кое-как до привокзальной площади, и таксист радостно распаивает багажник, заламывая несусветную, по моим представлениям, цену. И вместо того, чтобы удерживать в голове главную цель (успеть до темноты добраться до места и поставить палатку) и руководствоваться ею, я начинаю таксиста урезонивать. В итоге таксист отпускает меня на все четыре стороны. Иногда наша неизвестно откуда взявшаяся мелочность в самый неподходящий момент ставит неожиданную подножку (уловки лукавого — никак иначе, а может быть, и искушение иных Высших сил) нашим намерениям. В итоге ковыляю до перекрёстка с уверенностью, что возьму частника. Не тут-то было. И таксисты разъехались, и частники не останавливаются. Двадцати минут — из скудного лимита времени — как не бывало. Проходит мимо меня (видимо после смены) сердобольная вокзальная служительница и объясняет, что зря голосую: частники боятся таксистов, предлагая мне идти в привокзальную гостиницу. Уж такое предложение явно не по мне: менять теснину московской квартиры на удушливость гостиничного номера? И потом: отступить на начальном этапе пути от чётко обозначенной цели — значит проявить неуверенность, сдать позиции. А что же делать??? Сплошные вопросы!

“Святой Ангел Божий, мой Хранитель! Помоги мне добраться до места и до темноты поставить палатку”. Не успел осенить себя крестным знаменем, как раздался скрип тормозов. (Намного позже уяснил для себя, что молитвенное обращение выполняется не сразу: многое зависит от сути молитвенной просьбы — мольбы — и от Того, к Кому она обращена.) Возле меня остановился общарпанный “жигулёнок”, и водитель пригласил садиться, не испросив даже пункт назначения. Быстро погрузились и поехали. По дороге выяснилось, что водитель является школьным другом местного авторитета, который сейчас отдыхает на нарах во Ржеве и руководит братвой по мобильнику. Сам водитель после недельного бодуна первый раз выехал, дабы продышаться. А тут залётный гость — как не поговорить. Поговорили, доехали, распрощались, и от кромки леса я летел по тропе с непосильной для меня ношей, не помня себя, безостановочно до самого места за двадцать минут, необъяснимо минуя две топи по жёрдочкам. За пятнадцать минут поставил палатку, с которой одному

очень трудно сладить, и вырубился тут же беспробудным сном, даже не поблагодарив Ангела-Хранителя за помощь. Ему нужна благодарность только в качестве свидетельства твоего продвижения в воспитании высоких чувств. Спасибо — самая короткая и самая повседневная молитва. Спаси, Боже, того, кто оказал тебе услугу, кто поддержал тебя в трудную минуту, кто искренне готов придти к тебе на помощь... Из десяти первоисцелённых Иисусом Христом только один пришёл к Нему с благодарностью за исцеление.

Первая встреча на третий день

Моя затворническая жизнь полностью наладилась уже к обеду второго дня, когда дрова заготовлены, сетка на 6–10 рыбин в день выставлена, возможности приготовления грибных яств обозначены, земляничные поляны опробованы, наилучшие черничные места найдены, стол обновлён, полутораметровая яма-холодильник прочищена и накрыта ветвями... Живи и радуйся! Солнце светит, лес шумит, комаров нет, вода играет, рыба ходит, птички поют, лёгкий ветерок освежает... При наборе воды из озера протянул спасительный прут осе невиданных размеров, которая неизвестно откуда устремлялась к берегу, и почему-то рыбы её не трогали. Ночью услышал в палатке необычный шорох и, зажегши спичку, увидел в застывшей позе цыпленка табака маленького лягушонка. Утром о нём забыл, ибо не нашёл сразу в герметично закрываемой палатке. Отрадно во время заката солнца, распластавшись в расщелине двустольной, наклонённой к самой воде вековой берёзы, пофилософствовать час-другой...

На третий день, вставши поутру, присел на раскладной стульчик при входе в палатку, поставленную в 10–12 метрах от тропинки, беспечно бегущей вдоль достаточно высокого берега и соединяющей два противоположных мыса полуострова. Взглянул на часы — 6 часов 15 минут. Солнечные лучи из-за моей спины расправлялись с последними клубами предутреннего тумана, гладь воды отражала почти без искажений кучевые облака, воздух насыщен опьяняющей свежестью, кругом тишь да благодать...

На тропке появляется девушка в лёгком сарафане, босиком, с венком из ромашек на голове. Она будто соткана из солнечных лучей с ослепительно открытым и приветливым лицом, с изящным бесшумным шагом... Остановилась напротив меня, ещё притягательнее заприветилась лицом и сказала: “Здравствуй! А тебе не страшно одному?” Её неожиданное появление, фамильярное обращение и уверенность в моём одиночестве несколько смутили меня. Но пауза была недолгой.

— Здравствуйте. Но я не один: со мной Бог, — был ответ.

— Значит, ты верующий. Надеюсь, православный?

— Да. Во имя Христа молюсь и живу.

— И давно молишься?

— Почти шесть лет. Уже не считаю себя новичком в вере, а отсюда за последнее время сильно отступился от церковного ритуала: меньше причащаюсь, чаще просто захожу в Храм, но про утренние и вечерние молитвы не забываю. Главное: понял, что смысл жизни — в спасении души и что вера без дел — пуста.

Этот непонятно отчего доверительный диалог окончательно развеял моё смущение, я привстал, предложил девушке стульчик и попытался приблизиться к ней. Её лицо стало серьёзным, и взволнованным голосом она странно попросила: “Не подходи ко мне — я опалима”. Смысл этой фразы до сих пор не понимаю, но подчинился просьбе. Так мы и продолжали разговор на расстоянии. Из него я узнал, что девушка, назвавшись хранительницей леса, давно наблюдает за мной и с помощью дополнительных свидетельств лягушонка, а также повелителя ос составила обо мне мнение как о человеке добром, и это ей нравится, ибо всё живое боится и бежит от зла. Достаточно злему человеку посмотреть на гриб, особенно на короля грибов, и тот перестаёт расти. А природа имеет душу, и она равнодушна к тому, как к ней относятся. Благодарная природа может одарить тебя своими благами, только обратись к ней с ласковыми словами, ну, прямо как к женщине.

Я слушал девушку и удивлялся тому, как много она знает, как тонко чувствует и как образно повествует. Откуда у неё порою потаённые знания, обострённые чувства, умение красиво говорить? На эти мои вопросы она отговорила каким-то всезнающим камнем — валуном, который лежит вблизи

остатков блиндажа рядом с переплетённой парой берёзы и ёлки. Мол, она знает от деда Антона к нему подход, и он даёт ответ на любой чётко сформулированный вопрос. Тропа через болото называется Антоновой, и дед Антон узнал от камня, что надо почему-то удерживать полуостров до весны 1942 года, этот самый, с трёх сторон окружённый немцами и не имеющий никакого стратегического значения полуостров площадью 100 га. Но батальон наших солдат и офицеров за него всё-таки положили.

Хранительница леса посоветовала мне прочитать “Толковые Евангелия” Б. И. Гладкова, хотя бы главу 48, со страницы 755, под названием “Что Вы думаете о Христе?”, а также познакомиться с трудами философа Юрия Сохрякова. Выразила уверенность в том, что мир спасётся Россией. В завершение нашей беседы она ни к селу ни к городу порекомендовала испросить разрешения у хозяев коттеджа, что в Сакраменто, когда я захожу сфотографироваться под кроной секвойи. На память о нашей встрече положила на тропинку венок — как залог исполнения моих трёх желаний в пределах полуострова. При этом уточнила, что при загадывании желания венки надо надеть на голову и по отъезду оставить его у большой дороги. Я повернул голову в сторону венка, а она пошла в другом направлении. И только я развернулся в её сторону со словами благодарности и с пожеланием узнать её имя, как след её простыл. Остался лёгкий запах озона и венки на тропинке.

Взглянул на часы: 6 часов 15 минут. Диалог физически продолжался не менее сорока минут, а время осталось прежним. Что же тогда со мной было? Сон, наваждение, бред?.. Ерунда какая-то: это запротестовал во мне научный сотрудник. Но есть, в конце концов, свидетель — венки. Его явно не было вечером. Мне как научно-техническому дознавателю по роду своей профессиональной деятельности (специалисту по установлению причин аварий жидкостных ракетных двигателей) остаётся одно — приступить к дознанию. Итак, надеваю венки на голову и высказываю первое желание.

Три желания

Желание — не мечта, оно реально подпитывается ожиданиями изменения жизни к лучшему, праздничных дней, важных событий... Желание более мягкая, скорее, пассивная форма хотения. Когда хочу, то прилагаю усилия, когда желаю, то полагаюсь на удачу, благоприятное стечение обстоятельств...

В моём случае возможность реализации неожиданных желаний носила некий сказочный характер — по аналогии с той известной ситуацией с девочкой, которой “привалила” возможность осуществить семь желаний. Поучительность той сказки из детства заключалась в том, что только последнее желание девочка употребила на пользу своему сверстнику-инвалиду, а не впустую — на удовлетворение своих временных капризов. Нынешняя детвора более рациональна: некоторые из них предлагают первое же желание употребить на увеличение их количества, не догадываясь, видимо, о том, что при этом сила каждого желания снижается. Много — не всегда значит хорошо. Много игрушек, например, у ребёнка рассеивает его внимание и гасит подлинный интерес к ним. Задаривая своего дитя игрушками, родители как бы откупаются от него, оказывая плохую услугу его взрослой будущности.

Столь долгому введению обязан своим тогдашним мышлением на фоне некоторой растерянности перед неожиданно появившимся венком. Он оставался единственным материальным свидетельством того явно нереального, что было связано с появлением хранительницы леса. Уже по приезде в Москву по следам моего рассказа мне предложили книгу Владимира Мегре “Анастасия” о девушке, выросшей якобы в лесу. Воспринял тогда содержание книги как фантастику. Вместе с тем в Геленджике в то время появилось общественное движение “Анастасия” (что-то вроде клуба по интересам): видимо, многим людям встреча с подобными лесными девушками была не в новинку.

Любознательность исследователя принудила меня ускорить процесс установления свойств венка. Надеваю его на голову и скромно прошу о пяти белых грибах за палаткой: каждый вечер перед сном совершаю обход обжитой территории — вечером грибов не было. Не спеша следуя к обозначенному месту и вижу пять одинаково ровных чистеньких горизонтальными шляпками... сыроежек. Но я же просил белые грибы в нашем понимании (иначе боровики) и тут же вспомнил, что хозяйка венка их называла как-то иначе,

и оценил ее тонкий юмор. Знатоки знают, что сыроежка сначала выбивается из земли с куполообразной шляпкой, которая затем, проходя горизонтальную форму, обращается в форму чашеподобную. Не видел я вчера вечером зачатков каких-либо грибов.

Вхожу в азарт и без передышки высказываю второе желание: пусть сюда приплывут две сестры из Москвы, отдыхающие на другом берегу. Вчера с одной из них я разговаривал по мобильнику по поводу моего урожайного сбора грибов и улова рыбы: около двух килограммов очищенных и переложенных крапивой плотвичек, а также ведро лисичек хранились в холодильной яме. Однако несмотря на заманчивость моего предложения, сёстры категорически отказались от предложенной встречи, сославшись на отъезд через сутки в Москву. Переждав около двух часов (время, достаточное для лодочного хода на веслах с того берега), ушёл по обычному маршруту вглубь полуострова по грибы и ягоды, оставив перед палаткой записку с приглашением отвезти ухи и дожидаться моего возвращения. По возвращении услышал в отдалении у мыса женские голоса и, подойдя, увидел московских знакомых, уже сидящих в лодке для отплытия. На моё недоумение по поводу их вчерашнего категорического отказа услышал резонный ответ: “Женщина имеет право на каприз”. И вправду, женский каприз порою заменяет женщине логику в традиционном понимании мужчин.

Какие же уроки мне был преподаны? Во-первых, чудеса вокруг нас. Во-вторых, венок, скорее всего, обладает волшебными свойствами. В-третьих, я форменный балда и подобно той девочке с семью желаниями из сказки моего детства бездумно и поспешно распорядился предоставленными мне возможностями вместо того, чтобы попытаться установить – какие, например, высшие силы представляет венок. В-четвёртых, любое исполнение желания, безусловно, имеет ограничения по силе, месту и времени. А при сложившейся жизни на полуострове мне трудно было что-либо желать. И дабы не показаться самому себе слишком занудным, почему-то вспомнил высказывание писателя Игоря Губермана: “Главное богатство старости – полная свобода от желаний” (цитирую по памяти). Старым себя не считаю (в крайнем случае – пожилым) и поэтому решил отложить высказывание третьего желания до лучших времён, то есть взял тайм-аут, и хорошо сделал, ибо спешить – только народ смешить. А затем словно очнулся: зачем я вообще связался с этим венком? Почему я находился в некоем оцепенении какое-то время и не удосужился даже осенить себя хотя бы крестным знаменем, не говоря уже о наложении креста на видение? Удивила меня и та лёгкость, с которой надел венок на голову, продолжая находиться в том же оцепенении. Тем более на заре своего ученичества в Православии внятно изложил своё понимание молитв в религиозной практике, что было опубликовано в газете “Православный голос Кубани” (№ 9, 2001 г.), чему и ныне присягаю. Я как бы заново перечитал текст того давнего очерка.

Молитвы и поэзия

В начале было Слово. Твари – это творения Творца нашего по Слово Его. По примеру Всевышнего, у человека созидание любого дела предваряется словесной конструкцией. Одной из них является молитва. Что человек сказал, проснувшись поутру, так его день и складывается. Проснулся рано, поблагодарил Всевышнего за пробуждение в светлой радости, и светлее становится предстоящий день. Выругался бесовским словом (нецензурная брань как бы антимолитва) – и день пойдёт кувырком. Отсюда и самая короткая молитва, которую ежедневно и многократно повторяют и верующие, и атеисты. “Спасибо!” – это Спаси, Боже! Спаси того, кто оказал тебе услугу, кто поддержал тебя в трудную минуту, кто искренне готов прийти к тебе на помощь... “Спасибо” – молитва, обращённая к Господу нашему во спасение того, кто обращён к тебе с добром. А главное, спаси, Боже, нас от ошибочного начинания и наполнения каждого дня. Молитва сродни высокой поэзии. Она и запоминается, как правило, с ходу – с двух-трёх прочтений. С ходу – коль включаешься сердцем в процесс осмысления: тогда и Бог помогает.

Помню, как неожиданно открыл для себя Ивана Бунина, “профессора изящной словесности”, лауреата Нобелевской премии, – открыл через его хвалебные стихи Всевышнему:

— И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
“Был ли счастлив ты в жизни земной?”
И забуду я всё — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

Отточенность поэтического слога придаёт молитвам особую силу воздействия. Какой удивительный шедевр сотворил Лермонтов в форме молитвы о возлюбленной:

— Я, Мать Божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного,
Но я вручить хочу деву невинную
Тёплой заступнице мира холодного.
Окружи счастьем душу достойную:
Дай ей спутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную —
Ты воспрять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

Молитвенно осмысленная поэзия создаёт земные шедевры, но они несопоставимы с шедеврами Божественными. Непревзойдённым гимном Матери Бога нашего и как бы всем устремлённым к Богу матерям звучит хвалебная песня Пресвятой Богородице:

“Богородице, Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших”.

Признаком высокой поэзии является её запоминаемость, а результатом её воздействия, на мой взгляд, является ограждение человека на некоторый срок от совершения им неблагоприятных поступков. Во время совершения молитв человек, как правило, защищён от бытовых невзгод. Вывод напрашивается сам собой: учи высокие стихи и учи молитвы, как высокие стихи. И пусть при этом напутствием мне станут проникновенные строки Фёдора Михайловича Достоевского: “Юноша, не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если искренна, мелькнет новое чувство, а в ней и новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя; и поймёшь, что молитва есть воспитание”.

Молитвенная поэзия наших дней

На представленный (в газете “Православный голос Кубани”) очерк мне пришло много откликов, в некоторых из которых сквозила мысль: мол, моё мнение о молитвенной поэзии характерно для той эпохи, когда вера была доминирующим фактором в обществе. Теперь, мол, вовсе не так! И как бы в противовес моим оппонентам мне поведали о случае, который всколыхнул всю Тверскую область и о котором я писал в “Экономической и философской газете”, в номере 21 за 2005 год. Работала в Осташкове начальником ихтиологической контрольно-наблюдательной станции Любовь Викторовна Егорова. Задача сотрудников станции — контроль за состоянием и использованием рыбных ресурсов верхневолжских водоёмов. Определяется прирост рыбы за год и устанавливается лимит её лова с выдачей лицензий. С ограничений и начинались проблемы для Л. В. Егоровой. В интересах общества она несколько раз не

подписала разрешительных документов на расширение лимитов. В результате обрела себе врагов и лично многожды пострадала, но не сдалась. О её бедах писала в своё время газета “Вече Твери”: “Дважды поджигали преступники квартиру ихтиолога Осташковской межрайонной инспекции Любви Егоровой. Только по чистой случайности в огне не погибла семья: сын вытаскивал на себе отца... Потом долго собирали деньги на ремонт, а когда отремонтировали, то квартиру подожгли вновь”...

Не удивишь ныне русских разгулом преступности. Мафия правит бал. Что же ей противопоставить? Ответ на зло добром – так учит нас Господь наш Иисус Христос. И Любовь Егорова ответила. Она вылила свои чувства на бумагу:

— Он где-то есть, наш Бог-Спаситель,
Мне с этой верой легче жить.
Побереги мою обитель
И помоги врагов простить.
Пускай раскаяние излечит
Им души, выжженные злом.
Зажгу за здоровье их свечи
И осенью себя крестом...

Для себя ставлю этот стих-молитву по проникновенному смыслу в один ряд с молитвенной поэзией наших классиков XIX века. До поездки на озеро Волго мне трудно было представить, что такое самоотречение от совершения ответного зла на зло хотя бы в помыслах возможно в России в наши времена. Времена, когда американизация нашего общества считается чуть ли ни одним из достижений перестроечной поры. Времена, когда под видом возмездия террористам кипсмайловская самоуверенная Америка расширяет свою сферу влияния, а значит, укрепляет свой капитал. Но Россия с её высоким духовным потенциалом – не Америка. И это укрепляет мою Православную веру и, надеюсь, частично объясняет, почему вне России горел одним порывом: быть всегда ближе к моей истерзанной, но не побеждённой России.

Молитва Любы Егоровой далеко не исключение. Послушайте, что пишет Лидия Перцева в сборнике стихов наших современников (Молитвы русских поэтов. XX–XXI век. М.: Вече, 2011). Привожу только первые три строфы:

Всё-то просим Господа:
— Господи, нам дай
Блага всевозможные,
На земле бы рай...
Хвори нас бы минули,
Детям преуспеть,
Чтоб друзья не сгнули,
Жить да песни петь.

И не скажем: — Господи!
Забери, что есть,
А оставь нам, Господи,
Крест, Отчизну, честь...

Приведённые стихи Л. Егоровой и Л. Перцевой не нуждаются в комментариях. Скажу одно: молитва – надёжная защита от возможных посягательств лукавого. Но лукавый не дремлет. Уж коли допущена оплошность, то будь настороже. Чтобы внести определённую ясность, стал продумывать способы выявления природы венка, может быть, даже с загадыванием третьего, последнего желания.

Девушка с венком – кто она?

Формирование третьего желания тесно сопрягалось с попыткой понять, какие силы стоят за девушкой с венком. Божественные созидательные или сатанинские разрушительные? Добро или зло? Истина и любовь или ложь и ненависть? Истина – это правда, одна на всех. Истина – Иисус Христос, Сын Божий! Вот высота нашего предельного преображения!

Осмысление высказываний девушки с венком выявляет её осведомлённость о моём прошлом, настоящем и будущем. Она попала в точку с толкованием Гладкова, которое является с 2002 года моей настольной книгой. Именно раздел 48 со страницы 755 часто перечитываю. Что касается Юрия Сохрякова, то его фундаментальную монографию «Русская цивилизация: философия и литература» целенаправленно приобрёл в 2010 году. Теперь труды двух талантливых авторов лежат и не пылятся на моём письменном столе. Отсюда вытекает заключение: зачем лукавому укреплять меня базисными Богосносными идеями? С другой стороны, зачем девушке с венком ввергать меня в оцепенение, выкладывать очень ёмкую полезную информацию и при этом кокетливо маскироваться под хранительницу леса? В результате раздумий последнее, снимающее все вопросы желание окончательно сформулировал, решил его высказать на всякий случай в день перед отъездом и успокоенный итогом положил венок под полог палатки подальше от солнца и дождя, а также от моего намерения погрузиться без комплексов в прежнюю негу.

Жизнь в затворничестве за несколько дней успокоила мою душу, укрепила дух во славу Божью за его неохватные милости нам грешным и оздоровила тело. Многоразовое купание, заготовка дров, ежедневные многокилометровые прогулки, лесная земляника (минимум два стакана в день), черника (3-4 стакана), преобладание в меню рыбных и грибных блюд, сливание с дивной природой играли свою врачующую роль: запела душа и взыграло тело. Важную роль в моём раскрепощении играло запойное чтение на закате солнца без всяческих отвлечений. Прихватил с собой тонюсенькие брошюры (взамен фонарика) рассказов великого безбожника Марка Твена и труды нашего уникального современника – святителя Луки, учёного с мировым именем Войно-Ясенецкого, который, трижды пройдя все адские круги довоенных советских ГУЛагов, в 1946 году удостоен Сталинской премии Первой степени за труд «Очерки гнойной хирургии», выпущенный в свет в 1935 году. Труды святителя Луки «Дух, душа, тело», а также «Наука и религия» – непревзойдённые для меня образцы научного осмысления Православия. Вместе с тем я получил истинное наслаждение от непринуждённой и высокой игры воображения Марка Твена при чтении его рассказа «Человек, который совратил Гедлиберг». Вымышленный город Гедлиберг считался до некоторых пор самым честным и самым безупречным городом во всей близлежащей округе. Считался до той поры, пока не был искущён хитро адресованным мешком с золотом. Итог рассказа восхитительно иллюстрирует дьявольскую силу денег – воистину «люди гибнут за металл». Они, однажды попавшись на уловку лукавого, меняют свои имена, названия города своего обитания, становятся сами не собой, дабы не подвергнуться светскому осмеянию. Насколько силён классик мировой литературы в осмеянии жителей Гедлиберга, настолько он оказался слаб в натужно сконструированном рассказе «Христианская наука», как бы принуждая себя к служению философии без Бога.

Буквально в неге духовной, душевной и телесной прошло пять дней, шестой день выпал на воскресенье.

Шампань-настрой, или Праздные женщины в лесу

К шестому дню оскудели мои запасы хлеба и овощей. К тому же затосковал по деревенскому борщу. А главное – надо бы навестить старушку, ставшую недавно вдовой боевого фронтовика, моего знакомого егеря, по инициативе которого установлен памятник защитникам полуострова. Одним словом, настала пора выходить на большую дорогу и совершать 15-километровый (туда-сюда) мини-марафон. Заготовил сумку с московскими гостинцами, а также лесными дарами и против обыкновения пошёл после завтрака поперёк тропинки с выходом на взгорье естественной просеки, разделяющей прибрежный смешанный лес с преимущественно осиновым лесом, берегущим черничные плантации.

Буквально через пару сотен шагов услышал женские голоса, умерил ход и через пяток минут увидел живописную сцену раскрепощения одетых по-городскому женщин. Остановился понаблюдать. Крупная женщина (обозначил её Лидершей) с сигаретой в левой руке на отлёте и с подбоченившейся правой рукой напоминала своей застывшей позой монумент. Она сосредоточилась на импровизациях своей рыжей подружки (назвал её Резвушкой). Та,

подбрасывая вверх и слегка вбок соломенную шляпку, пыталась её поймать в своих изящных пробежках. И снова, и снова подбрасывала, и снова, и снова, порою ловила, а чаще поднимала с земли со звонким заразительным смехом. Наконец всё. Устала. Тут же легко бросилась на землю лицом к пахучей землянике и, согнув ноги в коленках, стала слегка раскачивать их то попеременно, то врозь. Быстро надоело близкое общение с землёй, плавно опрокинулась на спину, закинула руки за голову, полежала недвижно какое-то время с обзором неба, затем, приподнявшись, присела и стала оглядывать местность окрест себя. В её движениях не было суеты, ощущалась пластичность и владение своим привлекательным телом. При круговом обзоре её взгляд остановился на мне и осмысленно оформился – с некоторой паузой – в виде возгласа: “Ой, девоньки, мужчина!” И только тут я обратил внимание на третью женщину в скромном платочке (явно Тихоня), повязанном под подбородком, которая, присевши, собирала землянику и тут же разогнулась, услышав изумлённый возглас Резвушки.

Доверительный контакт состоялся (во мне, видимо, признали желанного собеседника), и я был приглашён в их круг. Начался этап удовлетворения чисто женского любопытства. Кто такой, откуда, зачем и так далее... А после полученных разъяснений в ответ: они, мол, празднуют двадцатилетие окончания школы, что делают каждые пять лет с неизменным припльтием на катере в эти места. Пока мужья после праздничного и шумного совместного разлития шампанского ловят рыбу и продолжают по-мужски бражничать, их жены отпущены на кратковременную прогулку. При таких обстоятельствах велика сила ни к чему не обязывающего общения, тем более так хочется хоть на миг почувствовать себя женщиной, оценённой пусть даже набором достаточно завуалированных комплиментов. Ведь женщины любят ушами. Предложил им на выбор одно из трёх коротких утверждений:

- *Не гребь под себя – не поднимешься в небеса.*
- *Умная женщина следит за собой, неумная – за мужем.*
- *Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже.*

Лидерша и Резвушка без колебаний выбрали второе утверждение, а Тихоня – первое, которое характеризовало её как человека с высокой потребностью духовного. Тихоня призналась: поёт в церковном хоре и старается жить по Христу.

Выбор второго утверждения характерен для женщин с переполненными ресурсами всех систем организма, требующими порою выхода. В таких женщинах сильна готовность без оглядки пойти навстречу большой любви, но поди разберись, где – большая, а где – маленькая. Обычно броские с крепким, почти мужским умом женщины выбирают то, что не выбрали мои собеседницы.

Но тут игриво выступила Резвушка. В её распевном голосе было столько пригласительного очарования, что зыграла во мне кровь и так захотелось порезвиться с ней без свидетелей, что даже смутился самого себя. Взглянул в её глаза, и она прочитала мой плотский призыв и захохотала, откинув голову, и слегка коснулась моего рукава, а я для успокоения телесной смуты прочитал девушкам три своих стихотворения.

Единодушно и Лидерша, и Резвушка выбрали одно из них, а Тихоня, сняв платок с головы и распустив волосы, резко высказалась: “Выбирать не из чего: избитые мысли и притворство, облачённые в цветастые рифмованные обёртки”. С некоторых пор для неё “Господня молитва” звучит лучше многих стихов. Видимо, у Тихони накопилось, коли так страстно выговорилась. Завершению нашей встречи послужил мужской голос по громкоговорителю с берега: “Бабоньки, на палубу быстрее, к отплытию готовы!” Огорчилась Резвушка невозможностью побывать в моём пристанище, Лидерша, в свою очередь, пригласила в гости: “Будете в нашем городе, спросите у первого прохожего интеллигентного вида о местонахождении венерологического диспансера. Я заведу отделением, а муж – главный врач. Фамилия наша легко запоминается по аналогии с фамилией художника – автора картины “Сватовство майора”. Тихоня на прощание поделилась своим открытием трёх условий достижения духовного резонанса с Божественными силами. Эти условия, естественно, отличаются от условий физического резонанса, когда, например, мост может разрушиться под воздействием единого шага марширующего

строю солдат, что известно из школьного учебника. Я им подарил грибы, предназначенные для старушки, а сам вместо мини-марафона вернулся к палатке, отложив намеченный визит к вдове егеря на следующий день.

На обратном пути я раздумывал над последним разъяснением Тихони. Оно носило явно извиняющий характер, ибо было неуместно, как неуместен был её страстный монолог в пользу Христа. “Не поминай Бога всуе”. Народ издавна заметил: кто всуе Бога призывает, всуе век свой проживает. Тихоня как будто бы знала о моём пристрастии к пониманию условий достижения духовного резонанса. Вот они: верь без сомнения в Богочеловека Иисуса Христа и Его воскрешение на третий день после распятия, стремись через повседневные полезные дела возвращать свой дух и искренне молись. Более того, меня словно осенило: Тихоня говорила голосом хранительницы леса. Известно, что в фанатично верующих женщин, находящихся в миру (а не в монастыре), чаще, чем в мужчин, вселяются порою невидимые сущности. Одержимым таким недугом требуется отчитка особых священников или старцев. На такое я насмотрелся в скитаниях по монастырям: видел сам, но больше слышал. А много позже узнал, что девушка с венком очень плотно опекала меня на своей территории.

Очарование ушедшего

Встреча с праздными женщинами выбила меня из привычной колеи безмятежной жизни и своей незавершённой (я даже не узнал их имена) породила во мне чувство, схожее с опустошающим чувством поручика – главного героя чудного психологического рассказа Ивана Бунина “Солнечный удар”.

Мои воспоминания нарушились протяжным гудком с воды. Я приподнялся и увидел белоснежный катер, лихо выполняющий крутой вираж перед берегом напротив меня. На борту стояли Лидерша с Резвушкой и прощально помахиwali мне руками. Ответил им тем же с чётким пониманием того, что уникальность лесной встречи заключается в её неповторимости и невозвратности: что было – то прошло. Пусть три женщины останутся в моей памяти в образе одной – волевой, иривой, деловой, умной и ревностной.

Деревенские будни

На следующий день по задумке пришёл в деревню, встрепенул и Ольгу Филипповну, и соседей. Быстро собрались за столом, наскоро заставленным деревенскими дарами и московскими гостинцами. Откуда-то появилась и бутылка со сливовой наливкой. Человек из Москвы, доверие к которому завещано ушедшим из жизни боевым фронтовиком Николаем Архиповичем, – что желанный дождь в нестерпимую по длительности жару. И поговорить, и обсудить последние новости, и отвлечься на время от повседневных, порою непосильных забот – это было вроде нежданного праздника. По первой – за встречу: жизнь продолжается. А какова она теперь в деревне? Слово Ольге Филипповне – как самой авторитетной и по возрасту, и по жизненному опыту: прошла войну от Прибалтики до Дальнего Востока. Она сетует на то, что от более чем ста домов до 60-х годов теперь только в 15-ти живут постоянно. Коровы были в каждом дворе. Никита-кукурузник, мол, сильно обложил деревню налогами – вот из неё и побежали. А ведь деревня после войны приняла на жительство почти 12-миллионную армию, ибо многие города были разрушены основательно. (Я, например, знаю, что в Воронеже до середины 50-х годов люди жили в землянках: более 90% его жилого фонда было разрушено войной). Раньше, продолжает вдова Николая Архиповича, у нас были школа, маслозавод, молочная ферма, почтовое отделение, магазин, медпункт... А теперь? Ничего этого нет. Да и коровы остались только в пяти дворах, а фермы на 120 коров уже нет...

Вступили в разговор другие женщины с сетованием на повальное пьянство мужиков и продажу земельных наделов очень многими прежними колхозниками. Неожиданно вспомнили о небывалом прежде явлении – сельских бомжах. Завелись в деревне два брата – Игорь 27 лет и Сергей 31 года. Пьют беспробудно, дом содержат абы как, огород не засаживают, стали приворовывать... Но мужики, собравшись, их по-мужицки урезонили: “Ещё заметим, – сдадим ментам”. Объяснение сельского бомжатства по-бабьи простое:

испортили малолетних сирот жалостью. Вот и выросли Игорь с Сергеем с потребительской психологией — им все должны. На земле нельзя жить без потребности с малолетства к тяжёлому крестьянскому труду. Не поработаешь в лето — не проживёшь в зиму.

Так за разговорами подошли ко второй — в память о Николае Архиповиче, ушедшему из жизни 16 ноября 2001 года, ушедшему спокойно, как и подобает воину, выполнившему сполна свой земной долг по защите Отечества и по восстановлению разрушенного. Вдова в слёзы, а женщины для отвлечения затаили любимую духоподъёмную песню фронтовика: “Идет война народная, Священная война...” Успокоилась Ольга Филипповна и, в свою очередь, выдала неожиданно соло, которое дружно подхватили соседки: “Иисус воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...” А дальше неостановимо: “Шёл отряд по берегу, шёл издалека, / шёл под красным знаменем командир полка...” А уж после третьей стопки и вовсе перешли на частушки:

Вот окончилась война,
Я осталась одна.
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик.

Выговорились бабонки, песней выпустили пары, размякли от сладенькой наливочки, но в деревне свои законы: застолье не бывает долгим. Разом засобирались, быстро освободили стол, помыли посуду и даже не соблазнились предложением остаться на чай. Остался я с вдовой наедине. Опять слёзы, опять причитания... Попросил показать архив её мужа. Принесла памятный альбом боевого пути его Краснознаменной дивизии, и среди его страниц я нашёл свою публикацию в многотиражке о Николае Архиповиче к 55-летию Московской битвы. Привожу ту давнюю публикацию без изменений.

“Несгибаемый воин

Нынче жить в деревне трудно, особенно старикам. Молодёжи почти нет, зарплату не платят, и поддерживать самим натуральное хозяйство не всегда под силу. Но каждое утро в пять часов вслед за супругой Ольгой Филипповной встаёт на несгибающиеся ноги 75-летний фронтовик и расхаживает их часа полтора-два. Ноют старые раны, просят пощады суставы, боль всего тела в непогоду становится невыносимой... Но фронтовик заставляет себя вставать и идти по избе, словно в атаку. Он, бывший секретарь парторганизации колхоза (17 лет), председатель сельсовета (12 лет), егерь (18 лет), а ныне староста шести деревень, знает: за него его дел никто не сделает.

Здесь волки до сих пор знают манеру старого егеря — он объясняется с ними на одном языке. Ваба — это воспроизведение волчьего воя. Учат этому уникальные специалисты. Матёрые волки идут на вабу молча и осатанело (кто посмел нарушить меченые границы), молодые — с ответным воем. Бывал я на этих зрелищах — страшно. Фронтовику Морозову до сих пор не страшны волки и никогда не были страшны фашисты. По его словам, перебил и тех, и других уйму. Он хозяин земли своей. И земляки тянутся к нему, хотя Николай Архипович порою бывает крут, особенно когда видит несправедное дело. “С Морозовым дружбу веди, но палку наготове держи”, — так говорят про него односельчане. Глубоко симпатичен мне Николай Архипович, часто не хватает мне его несгибаемости. Трудно ему, но он стоит, потому что так нужно Земле русской.

12 декабря 1995 года позвонил Морозовым в день 75-летия Николая Архиповича. “Еле ходит, — говорила Ольга Филипповна, — а вот на тебе — пошёл потихоньку”. Долгих тебе лет жизни, дорогой Николай Архипович, и поменьше болей от старых ран. Болей физических и душевных”.

Напутствие вдовы воина

Нашу встречу за столом мы завершили чаепитием. Ольга Филипповна, аккуратно складывая архив своего супруга, обратила внимание на фотографию поздней осени 1981 года, на которой Николай Архипович представлен со шкурой убитого им матёрого волка, долгий поединок с которым выиграл

опытный охотник всего в четырёх километрах от своего дома. В это время забежала на один миг соседка с огромным пакетом всяческих овощей для меня, что побудило хозяйку забеспокоиться о моём возвращении в такой невыносимый полуденный зной. Она подошла к проводному телефону, быстро набрала номер и попросила какого-то Мишу подбросить Валерку (это, стало быть, меня) к лесу, где памятник на бору. Из разговора я заключил, что о моём чудачестве по поводу затворничества (на взгляд деревенских обитателей) знала вся деревня. После приглашения Ольги Филипповны посидеть на скамейке возле крыльца в ожидании машины мы продолжили перед домом беседу о страшном военном лихолетье. А ты знаешь, — говорила фронтовичка, — теперешние времена ненамного лучше тех времён: не жизнь, а сплошные бедствия или ожидание бедствий. Очень переживал мой Коленька (так она называла своего супруга) за то, что не может ничего сделать, — вроде бы нет зримого врага, как в войну. Но тем не менее немало добивался, особенно через Совет ветеранов”.

Неожиданно вдова перешла к обсуждению моего лесного бытия, сказав, что болото иногда шалит: некоторые люди теряют сознание, возможно, от удушливых испарений, а возможно, от каких-то необычных явлений. Приходя в сознание, те люди ничего не помнят. “Но ты не бойся, — заключила она на прощание, — ты ведь не один: Бог с тобой, и Коленька не даст в обиду. Очень много сил он истратил на пробивание и установку памятника, и были очень любезны ему те места. Уж он-то никого и ничего не боялся! И ты не бойся! Главное — ни при каких заманках не снимай с себя крестика: он твой оберег!”

Мы с Михаилом быстро доехали, путь через болото я прошёл благополучно, оставленная перед входом в палатку картонка форматом с бумажный лист А4 со словами “Храни, Господи!” оставалась на месте, жизнь продолжилась в привычном русле. До последней ночи предстояли четыре полных дня. Напутствие вдовы воина навевало мысли о силе слов, сказанных русскими женщинами в крутые периоды жизни страны. В июле 1941 года Анна Ахматова на всю страну произнесла своё напутствие в виде стихотворения “Клятва”:

И та, что сегодня прощается с милым,
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянёмся, клянёмся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!

А уже через полгода в феврале 1942 года, когда немцев отбросили от Москвы, великая поэтесса продолжила мужественные обращения к народу, в частности, под названием “Мужество”, которое завершалось пронзительными словами:

...И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!

Русская речь — кладёзь нашей истории, опора независимости страны, объединяющая сила многонациональной державы... Ныне русская речь с трудом выдерживает осаду от натиска мутного потока иностранных и русских бранных слов при навязывании взамен проверенной десятилетиями системы школьного обучения болонских штучек вроде ЕГЭ. Не ведала Анна Ахматова, что противники России могут поменять стратегию её ослабления: ныне прямые агрессии заменены тихим и последовательным воздействием на подсолнечное подрастающее поколение — наследников нашей Родины.

Но Россия продолжает рождать великих женщин с необыкновенной жертвенностью. В лихолетье ельцинских разрушительных реформ середины 90-х годов мне довелось услышать в одном из монастырей выстраданное откровение монахини: “Жить стоит ради того, ради чего ты готов не задумываясь умереть!” Тогда ся не смог возразить той монахине. А теперь умереть за Россию и за Христа смогут многие православные. Но умереть нужно так, как это готова сделать Татьяна Васильевна Грачёва, которая своим словом и своими

книгами, например, “Память русской души”, обращается к своим соотечественникам с пламенными строчками (наподобие “Клятвы” русской поэтессы):

Правда сильнее лжи.
Любовь сильнее смерти.
Не бойтесь!

Разве можно не верить в Россию, которая пестует таких женщин в трудные для мужчин времена?

День перед последней ночью

В этот день против обыкновения вышел на прощальную прогулку по лесу с опозданием часа на три, ибо занимался частичным приготовлением к отъезду. День состоялся солнечным, и было важно, чтобы завтрашний день обошёлся без дождя. Дождь намного утяжеляет поклажу и создаёт дополнительные трудности возвращения. Издали, прежде чем услышать голоса, почувствовал табачный запах. Вышел вблизи памятника на двух парней, собирающих чернику. Остановился, понаблюдал за тем, как они периодически и поочередно прикладывались к полиэтиленовому литровому баллону и судорожные глотки закусывали ягодой. Увидели меня, поздоровались, предложили выпить, я отказался. По разговору оказались теми самыми братьями – бомжами, о которых на встрече у Ольги Филипповны рассказывали соседки. Я был удивлён тем, что выбранное место сбора черники было далеко не самым лучшим на полуострове. На моё удивление они ответили тем, что здесь меньше комаров, а им нужно набрать всего 3-литровую банку для обмена её на три литра самогона. У меня был сварен суп из всего, что осталось, включая итальянскую красную фасоль, белорусскую тушёнку (одну-единственную банку хранил до последнего дня в резерве), лисички взамен моркови и остатки деревенских овощей, в том числе с протёртым малюсеньким кабачком. Мне интересна была психология жизни братьев, и к тому же хотелось угостить их горячим блюдом. Моё приглашение они охотно приняли.

На месте своего обитания объяснил им, что в наличии всего две ложки (металлическая и деревянная). В ответ младший из братьев, достав нож, быстро смастерил из какой-то коряги подобие ложки, и мы стали обедать. Ели они, в отличие от меня (с полуголодного послевоенного детства сохранилась дурная привычка есть быстро), по-деревенски степенно. Игорь всё любопытствовал, что за диво такое – красная фасоль, рассматривал пустую тару с иностранными надписями и приговаривал: “Как же так вкусно можно приготовить в лесу без печки!”. Предложил им зелёный чай вприкуску с хлебом, нагруженным остатками мёда. После обеда Игорь размяк, растянулся на траве, а старший брат смастерил удочку и спустился с ней к кромке воды.

Спросил Игоря о причине отсутствия (в отличие от брата) крестика на шее. Ответил, что мать не крестила – значит, так надо. Я замолчал, а он продолжил, что Сергей, хоть и крещёный, а ведёт себя хуже по жизни его – некрещёного. И потом: “Что мне Бог дал, чтоб его любить и желать его защиты?” Обычно я не спорю с хулителями Бога, но фраза Игоря выдавала в нём элементарную потребительскую упрощённость. Ведь всякий серьёзный человек рано или поздно задумывается о смысле жизни. Смысл жизни по Иисусу Христу – в спасении души для жизни вечной. Телом человек находится на земле, а духом устремлён в небо. Дух – это крылья души, и насколько человек возвысит свой дух против соблазнов земных, настолько он окажется выше по иерархии неба, вплоть до Царствия Небесного. Без Бога, без Его Благодати мы попадаем под власть сатаны и его нечисти. Послушал Игорь мои элементарные доводы и вяло заметил, что у него нет денег для возвращения из райцентра после предполагаемого крещения, и к тому же паспорт утрачен. Он сам поставил на себе крест, и это ясно. Подошёл Сергей без улова и предложил для покупки удочку и банку червей за пятьдесят рублей. Грустно мне стало, но отдал полсотни и вызвался проводить братьев до черничных плантаций.

Проводил братьев, объяснив им, как выйти на тропу по солнцу, а сам вернулся к палатке и почувствовал какую-то тягостность в атмосфере: что-то явно изменилось вокруг и во мне за время общения с бомжами. Мне почудилось, что и природа затихла, как перед грозой, однако солнце в этот день

закатывалось за ясный горизонт, и ветерок был совсем лёгким, что вовсе не предвещало дождя, тем более грозового. Перед сном достал венок (совсем не увядший) и опять стал раздумывать: “Зачем мне это надо?”. Но стремление постичь природу девушки с венком и узнать от неё судьбы пленённых защитников полуострова возобладало во мне, и появился некий азарт – нужно ли мне бояться возможных нечистых сил, коли моя защита – крест и молитва! Какими же самоуверенными бывают порою мужчины!

Итак. Надел на голову венок и проговорил третье желание: “Явись, хранительница леса, с крестиком Христовым на груди!”. Проговорил, снял венок, положил его опять под полог палатки, заполз в палатку, закрыл её плотно и расположился в спальном мешке. Но сон не шёл. Думал о Сергее с Игорем, моих недавних гостях. Как они могли украсть у Ольги Филипповны газовый баллон из сеней избы с попыткой продать его дачникам своей деревни? Крепко же их прихватил сатана.

Стало темнеть. Привычные шорохи и звуки стали казаться шагами и пробежками. Подумалось, что братья вернулись, потеряв тропу. Вспомнил, что не прочитал вечерние молитвы перед сном. Стал сбивчиво проговаривать их вслух. Но мысли о братьях перебивали молитвы. Постепенно сосредотачивался и, похоже, стал погружаться в дремоту. И тут началось!

Ночь перед отъездом

Загукал филин. Никогда в прежние заезды с приятелями и никогда в моей нынешней жизни филин не объявлялся. Почти одновременно с гуканьем понеслись с воды невысказанные звуки: хохотание, свист, визг, улюлюкание, чего прежде никогда не было. Звуковая какофония то приближалась к берегу, то отдалялась от него. Необъяснимые при полном предзакатном штиле внезапные и резкие порывы ветра стали как бы испытывать крепость постановки палатки. Сверху с шуршанием что-то упало, похоже, сухой сук с рядом стоящей вековой берёзы, хотя загодя, в первый же день пребывания спилил все сомнительные ветки. Загрохотали кастрюли на кострище, посыпалась поленица дров, захлопали полотенца на сушильной верёвке...

На меня нашло необъяснимое оцепенение. Не мог пошевелить ни рукой, ни головой. Всё внимание сосредоточилось на кажущейся тяжёлой поступи вокруг палатки. Кто бы это МОГ быть? Или обман слуха? Дыхание моё стеснилось, и будто что-то навалилось на меня, лишая возможности проговорить молитву и тем более осенить себя крестным знамением. “Сними крестик, – глухой, будто из-под земли, голос прозвучал рядом, – сними, и она наденет его. И взамен она раскроет тайну этого леса, укажет могилы трёх немцев-разведчиков, пленённых русскими солдатами, расскажет о жизни после войны русского солдата в Америке. Сними крестик, и она познакомит тебя с камневедунном, предсказывающим будущее”.

Одна мысль не оставляла меня: “Снять добровольно крестик – значит отказать себя от Христовой веры, значит предать Христа”. Расплывчато вспомнил и напутствие вдовы воина перед последним нашим расставанием. С трудом пробуждающаяся мысль о сохранении веры стала крепнуть. Вот и молитвы пошли: “Пресвятая Богородица, спаси меня, грешного”; “Господи наш Иисус Христос, помилуй меня, грешного, одари своей милостью и придай мне благодати Святого Духа”. Навалившаяся тяжесть стала слабеть, мой голос становился внятной, правая рука нащупала крестик, и он словно огнём прожёл мою ладонь, практически полностью сняв оцепенение. И тут раздалась дуплетом два выстрела. В наступившей затем тишине донесся далёкий крик петуха с хутора, что на большой дороге, по прямой, пожалуй, в километре от моего пристанища. Станный, импульсивно подумалось мне, хутор со странной одинокой сорокалетней хозяйкой при двух коровах, свинье и множестве кур...

Совершенно разбитый, с гулким учащённым пульсом, весь в липком поту, я, наконец, смог выкарабкаться из спального мешка. Распахнул входные полы палатки, раздвинул молнию на сетчатой обечайке, вдохнул свежий воздух и выполз наружу. Тьма отступила, брезжил рассвет, а я лежал недвижно, ни о чём не думая, тем более об отъезде. Постепенно стал приходить в себя от потока нелепых мыслей, в частности, о том, что опять браконьеры бьют уток (но почему было только два выстрела?) и откуда мог появиться филин. Может, мне все приснилось? Но сухая ветка охватила верх палатки, кастрюли

разбросаны вокруг кострища, трава на поляне чрезмерно помята (или раньше я этого не замечал)... И ещё: из-под полога палатки виднелся венок, совсем сегодня увядший, хотя ещё вчера оставался свежим. Вспомнил о девушке с венком. Подумалось о её возможной зависимости от нечистой силы, и вместе с тем хотелось верить в её чистые Христовы устремления, явленные мне при нашей встрече. Надо прихватить венок и оставить его при дороге, как того хотела хранительница леса.

Здравые рассуждения прибавили мне сил, к тому же прибегнул к выполнению трёх условий достижения духовного резонанса и уже через час начал собираться в путь. Путь через болото одолевал дважды, по частям переносил поклажу, заметно облегчённую по сравнению с исходной при заезде. Тем не менее возвращение к большой дороге далось мне непросто – с затратой около двух часов. Оставил венок на обочине, тормознул чёрную “Волгу” с одиноким водителем и неожиданно в качестве немислимого поощрения (видимо, за моё стойкое затворничество) получил приглашение от водителя ехать до Твери без предваряющих оговорок насчёт вознаграждения. Быстро поехали, бросил прощальный взгляд назад и... увидел в клубах пыли на обочине девушку с венком. Растерянность моя затянулась, поворот скрыл видение, я откинулся на спинку сидения, закрыл глаза и впервые во взрослой жизни за все три часа езды не вымолвил ни одной внятной фразы. В Твери сел на последнюю электричку до Москвы. Отрешённость от окружающего мира не покидала меня. Даже с прибытием на Ленинградский вокзал долго не мог сообразить, где я и что со мной. Шум, суета людей, световая реклама оглушительно обрушились на меня по контрасту со спокойствием и величием практически не тронутой человеком природы. Похоже, так происходит одичание людей, их отрыв от “прелестей” цивилизации. Такси домчал до дома, принял душ и рухнул в постель, прослав около суток.

Завершилась моя 11-суточная затворническая жизнь, много мне подарившая в понимании духовной (не материальной) жизни и открывшая запрограммированность нашей судьбы. В жизни ничего случайного нет. Заранее определено, что к важным вехам жизненного пути мы можем приходиться разными дорогами и с разными результатами: либо опустошенными, либо обогащёнными духовно. Духовности без Бога нет.

Эпилог

Спустя три года после случившегося вновь загорелся желанием окунуться в затворничество после сбывшихся в 2006 году предсказаний девушки с венком применительно к моему пребыванию в Сакраменто. Тем более подвернулась оказия. В июне 2007 года мой добрый приятель Дима Кочетов, технарь от Бога, атеист по определению (но атеист умеренный – без ханжества), предложил поехать с ним на полторы недели в частный пансионат на противоположном моему месту берегу озера Волго в пяти километрах по воде. Предложение Димы оказалось простым до изумления: мы едем на его машине до пансионата, оттуда он на моторке подбрасывает меня до моего пристанища и таким же способом реализуется возвращение после моего десятисуточного затворничества, благо мобильная связь легко может устранить всякие непредвиденные обстоятельства. Как на такое не согласиться! Всё получилось по плану, кроме одного: повторение прошлого с явлением хранительницы леса за все десять дней моего одиночного пребывания на стоянке не состоялось, и филин не объявился. И шумовая какофония на воде не повторилась. Младший из бомжей Игорь вскоре после памятной встречи в лесу умер смертью праведника: вечером заснул в своей постели, а утром не проснулся. Старший брат Сергей завершил свой земной путь иначе: нашли его мёртвым в канаве дальней деревни после обильного употребления палёной водки. Бедные ребята – братья-бомжи. Не нашлось для них авторитета. Никто не вправил им мозги, не разбудил душу, не растревожил сердца. Полуостров продолжает притягивать меня своей загадочностью и своей очищающей атмосферой. Пока еду в те края каждый год, однако после 2007 года останавливаюсь на пару недель у Ольги Филиповны и преодолеваю свой 15-километровый маршрут почти каждый день. Возвращаюсь в Москву просветленным телом, душой и духом.

Пожалуй, главным итогом моего отшельничества явилось окончательное формирование к 75-ти годам кредо из четырёх правил, отражающих основу

моего мировоззрения. Уместно заметить, что все четыре не заимствованы, а выстраданы, осмыслены, сформулированы и литературно оформлены лично мною. Итак...

1. Не гребь под себя – не поднимешься в небеса.
2. Сказал – сделал, не сделал – тоже сказал.
3. Дари себя людям и не жди за это награды.
4. Если человек с годами не обретает потребности стать лучше, то к старости он становится хуже – как правило – во всех отношениях.

Позор селёдке

Утром того, казалось бы, обыкновенного дня я шёл многократно исхоженной мною сельской грунтовой дорогой к озеру Волго. Протяжённость всего маршрута около семи километров, причём после поворота к лесу (с притаившимся в нём болотом) остаётся всего с полверсты пути, но две трети этого пути через болото, в центре которого две жёрдочки, являются главным препятствием для путника.

Итак, иду себе в радость быстрым уверенным шагом, солнце слегка припекает в затылок, половина маршрута пройдена, до ближней деревни меньше километра. Душа поёт, ибо впереди встреча с озером и приятелем – молодцеватым отважным парнем, не перешагнувшим сорока лет жизни. Встреча с ним всегда в радость, ибо доброту и стройность он унаследовал от русской матери, а юмор и смекалку в торговых делах от отца-еврея.

Со светлыми мыслями о предстоящей встрече (с неизбежным русским выпивоном под изобильную рыбную закуску) с воспоминаниями об обстоятельствах нашего знакомства во времена моего второго отшельничества в 2007 году... И вдруг ощутил парализующий взгляд в затылок... Стоп! При тормозил, мигом прочитал спасительную молитву и резко оглянулся в сторону заросшего мелким кустарником края дороги. Солнце принудило зажмуриться, и в тот же миг раздался оглушительный звериный рык в три раската. Медведь! Со времён работы на лесосплаве знаю: бежать нельзя, смотреть в его глаза нежелательно и лучше всего ответить криком изо всех сил. Не успел я закричать, как кустарник зашевелился в сторону от дороги. "Господи, слава Тебе, что явил силу Свою в моей немощи". Троекратно перекрестился и быстро загашал к деревне, где спустя восемь минут хозяйка из первой избы рассказала мне о медведице, которая с двумя медвежатами обжилась в окрестностях. Но когда она спешит на свидание к своему избраннику в брачный период, то оставляет медвежат в густых малиновых зарослях, так как медведь (в отличие от других зверей, а порою и от некоторых людей) не допускает любовных утех при свидетелях.

Распрощался с хозяйкой избы и поспешил на встречу с приятелем. Увидев меня в непривычном напряжённом состоянии и выяснив причину, приятель необычно быстро завёл мотор лодки, мы доплыли до стоянки его машины, и он поспешил отвезти меня до места моего постоянного жития в избе бывшего егеря, неоднократно извиняясь при этом за такое своё решение. По пути нашего следования он пояснил, что медведица непременно зайдёт ночью на стоянку. У медведей очень развит нюх: они до двух вёрст узнают по запаху людей. Поэтому он и отвозит меня (как виновника отказа медведицы от встречи с её избранником), так как через час он встречает на стоянке своих домашних. Я согласился с его доводами и старался (как мог) его успокоить, зная о том, что для меня он специально поставил шикарную гостевую палатку. Приятель настолько спешил поскорее отвезти меня, что даже не снабдил никакими съедобными припасами, не говоря уже о каком-либо алкоголе. Но, что ни делается – всё к лучшему! Оставшись один, я отварил картошку, разделал селёдку и сотворил салат из огородных даров. Картошка дымится на столе, салат притягивает своим видом и запахом, а селёдка просится на вилку с тем, чтобы вслед за водкой порадовать хозяина гармонией типичной русской закуски с типичным алкогольным питьём для снятия всякого рода напряжения. Вспомните (пишу по памяти) знаменитый вопрос киноактёра Басова в адрес непьющего молодого родственника: "Как же ты ешь селёдку, коли не пьёшь водку?". И только я захотел приступить к безалкогольной трапезе, как меня остановила необычная фраза. До сих пор её нигде не слышал: "Селёдка без водки – позор селёдке". И всё: напряжение ушло! Спасибо Господу за этот день!

Тайное оружие России

На протяжении веков Россия изумляла и продолжает изумлять весь мир своими просторами, своеобразием, неповторимым менталитетом, мировыми достижениями, непокоримостью внешним завоевателям... История России вершилась на благословенных русских полях в исторических битвах. Своё право оставаться независимым государством она доказывала и на поле Ледового побоища во времена князя Александра Невского, и на Куликовом поле под руководством князя Дмитрия Донского, и на поле в пределах Красной площади в Москве при изгнании захватчиков-поляков из нашей страны, и на Бородинском поле при мудром водительстве князя Михаила Кутузова, и на улицах одноимённого с Главкомом Сталиным города... А в наше время земля Сирии стала русским полем битвы с мировым злом. В этой битве, как на острие иглы, проявился национальный интеллект в создании непобедимого оружия, мощь и непобедимость русского воина, стремление русского человека к свету во мраке. Уместно напомнить, что русский человек тот, кто, по высказыванию Петра I, любит Россию и верно ей служит.

Встаёт неизбежный вопрос – в чём тайное оружие России? Почему её нельзя покорить ни нашествием, ни соблазном лучшей жизни, ни блокадой, ни санкциями, ни информационным штурмом? Почему она после 30-летнего либерального опустошения снова становится лидером и в научно-техническом прогрессе, и в политике, и в искусстве, и в военных свершениях? Можно с достаточной верностью ответить на поставленные вопросы с опорой на три главных понятия: сакральность русской земли, готовность к самопожертвованию русского воина и уникальность русской женщины. Если аллегорически представить нашу планету живым организмом, то европейская часть России является сердцем планеты. Сердечным откликом, прежде всего, реагирует наш человек на события земной жизни и тем более на события высшего небесного проявления. В наших былинах богатыри черпали свою непобедимость соприкосновением с матушкой-землёй. И в нынешние времена призывом звучат проникновенные строки (как мне помнится, поэта Леонида Бородина): “Земля родная, ради Бога / храни меня теперь и впредь. / Чтоб мне по глупости до срока / впустую не перегореть”. Вот почему в русских полях в исторических битвах с любым захватчиком наши воины неодолимы. Они неодолимы ещё и потому, что на генном уровне проникнуты соборным мироощущением, когда каждый в ответе за всех и все в ответе за каждого. Где ещё в мире можно найти изречения “на миру и смерть красна” или “положи живот за друга своего”. Они неодолимы ещё и потому, что, кроме воинов, “может собственных Платонов / и быстрых разумом Невтонов / российская земля рождать”. Рождать тех, кто своим развитым умом способен создавать победоносное оружие. Напомню, что ныне Россия является мощной ракетной державой (наши жидкостные ракетные двигатели закупаются в США: американцам не по силам создать современные мощные ЖРД) и неоспоримым мировым лидером в атомной энергетике на быстрых нейтронах.

Особую роль в державном становлении России играют её женщины. “Кона на скаку остановит, / в горящую избу войдёт” – эти огненные строчки Некрасова нам известны со школы. Русские женщины ВДОХНОВЛЯЮТ своих сыновей на бессмертные подвиги во имя непобедимости и независимости великой России, её права на владение бескрайними просторами, несметными богатствами земли и во имя её великой истории.

Это письмо-представление было написано Юрием Бондаревым в 2017 году. В нём Юрий Васильевич размышляет о творчестве, личности и судьбе Станислава Куняева как об огромном явлении не только русской литературы, но и русской жизни.

В Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству

Представление на соискание Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства

Я, Бондарев Юрий Васильевич, лауреат Ленинской премии 1972 года, дважды лауреат Государственной премии СССР в области литературы и искусства 1977, 1983 годов, представляю на соискание Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства Куняева Станислава Юрьевича.

Куняев Станислав Юрьевич – большой русский поэт, тонкий критик, блестящий публицист, историк и мыслитель, переводчик, главный редактор журнала “Наш современник”, патриот, поднимающийся на защиту России в самых трудных ситуациях, – всё это вместе складывается в огромное явление не только русской литературы, но и русской жизни.

Поэзия Станислава Куняева – одна из наиболее выразительных страниц в целостном поэтическом полотне России второй половины XX века. Его знаменитая строчка: “Добро должно быть с кулаками...”, ныне повторяемая в разного рода политических и культурных дискуссиях, давно уже стала хрестоматийной. Но и целые циклы стихотворений 1960–1980-х годов, собранные в книгах “Метель заходит в город”, “Ночное пространство”, “Вечная спутница”, “Свиток”, “Глубокий день”, “Мать сыра земля”, “Сквозь слёзы на глазах”, говорят о Ст. Куняеве как об одном из самых содержательных поэтов последних десятилетий, чей гражданский пафос неподделен. В стихах Ст. Куняева сосредоточены и мир родной Калуги, и Восточная Сибирь с её великими стройками – Братской ГЭС, Иркутской ГЭС, дорогой Тайшет–Абакан и др., и Русский Север, и Тянь-Шаньские горы, по которым бродит геологическая вольница, и Первопрестольная. И везде воплощена личная судьба поэта, его духовная биография очевидца, осознающего себя “как современника всем эпохам”. Тонкая лирика в поэзии Станислава Куняева органично сочетается с воплощением разных эпох в “вещных” материальных приметах.

О поэзии Станислава Куняева со свойственной им пронизательностью писали такие замечательные критики, как Вадим Кожин и Олег Михайлов. Великий композитор Георгий Свиридов нашёл самые высокие и точные слова: “Стихи Куняева отличает страстность чувства и страстность мысли. Его поэзия нагружена большим смыслом, большими идеями, не поверхностными, а лежащими на глубине духовной жизни. Поэзии Куняева свойственно кровное ощущение Родины, Родины не в отдельных её приметах и деталях, а именно как целого – со всей её историей, со всеми её громадными приметами и потрясениями, со всеми её радостями и печалью. Это мне кажется чрезвычайно ценным именно сейчас, в наше бурное время. Всё это есть в ярких, глубоко трогательных и сильных стихах Станислава Куняева”.

Одна из значимых и впечатляющих страниц творческой биографии Ст. Куняева – его многолетняя плодотворная деятельность на ниве художественного

перевода поэзии, его вклад в дело дружбы народов. Он подарил любителям поэзии превосходные высокоталантливые переводы “Поэмы о Зубре” Н. Гусовского, стихов и поэм бурята Д. Узытуева, алтайца Б. Укачина, коми И. Куратова, татарина Р. Хариса, башкира Р. Бикбаева и многих других писателей братских народов России.

Станислав Куняев – автор более 50 книг стихов, литературной критики, публицистики. Наиболее выдающаяся из написанных в новое время – книга “Сергей Есенин”, созданная в соавторстве с сыном, известным критиком и литературоведом Сергеем Куняевым. Книга вышла к 100-летию поэта в 1995 году и с тех пор переиздавалась 12 раз. Книга воспоминаний “Поэзия. Судьба. Россия”, вышедшая в 2000 году, выдержала 5 изданий. Книга “Жрецы и жертвы Холокоста”, опубликованная в журнале “Наш современник” в 2010 году, трижды издавалась – в 2011-м, в 2012-м, в 2014 годах.

Особо следует сказать о двух наиболее актуальных сегодня книгах Станислава Куняева. Это “Шляхта и мы” (М., “Наш современник”, 2002) и “Нет на свете печальней измены...”, или “Ще не вмерла Украина” (М., “Голос-пресс”, 2015).

Книга “Шляхта и мы” впервые увидела свет в журнале “Наш современник” (№ 5, 2002), и эта публикация настолько всколыхнула польское общественное мнение, что “Московские новости” в июне того же года писали: “Польша бурлит от статьи главного редактора “Нашего современника”.

В России “Шляхта и мы” стала историческим бестселлером – вышло пять изданий книги. Новые издания дополнены стихами русских и польских поэтов, начиная с Пушкина и Мицкевича, о “споре славян между собою”, главами, написанными по следам драматических российско-польских событий, произошедших в последние годы, а также новыми открытиями историков, касающихся пакта Молотова-Риббентропа, Катюни, Варшавского восстания, гибели польского самолёта под Смоленском и т. д. Автор даёт жёсткий и убедительный отпор фальсификаторам истории.

Книга “Нет на свете печальней измены...” посвящена событиям на Украине. Оголтелой антирусской пропаганде нынешней “элиты” с Майдана Ст. Куняев противопоставляет другую Украину – славянскую сестру, тысячами связей связанную с Россией. “В этой книге я вспоминаю обо всём, что породило меня с Украиной, с её сыновьями и дочерьми, чьи судьбы, лица и голоса живут в моей памяти”, – пишет Ст. Куняев. Издание дополнено перепиской автора с видными деятелями украинской культуры, а также отрывками из публикаций замечательного писателя Олеса Бузины, страстно выступавшего за союз Украины с Россией.

Новым словом в изучении русской литературы XX века стала книга Станислава Куняева “Любовь, исполненная зла...” (М., “Голос-пресс”, 2012; переиздана в 2017), посвященная творчеству поэтов Серебряного века. Эта книга оценивает культурные процессы, происходившие в России в XX веке, с религиозных и нравственных высот евангельского христианства, великой православно-традиции. Духовная ценность книги особенно значима в наше время, когда христианские постулаты подвергаются целенаправленному извращению и поруганию в так называемом цивилизованном мире, стремящемся заменить двухтысячелетний опыт новозаветной веры философией “прав человека”, освобождающей его от грехов и покаяния.

Попытка автора разобраться в тайнах гибели Николая Рубцова привела его к новому осмыслению поэзии Серебряного века. Внимательное прочтение наследия Ахматовой, Цветаевой, Ходасевича, раннего Маяковского, Георгия Иванова, Михаила Кузмина, Фёдора Сологуба, Валерия Брюсова и прочих “идолов” русского декадентства привело автора к убеждению, что их творчество является в гораздо большей степени антипушкинским, чем это было принято считать критиками, публицистами, историками либерально-демократического склада в эпохи “оттепели” и “перестройки”. Именно в эти периоды в обществе воскресали и размножались бациллы растления, насилия и воинствующего антихристианства, свойственные Серебряному веку, талантливые чада которого жаждали всевозможных революций – политических, экономических, религиозных, сексуальных.

Неоценим многолетний подвижнический труд Станислава Куняева на посту главного редактора ведущего литературно-художественного и общественно-политического издания – журнала “Наш современник”.

Журнал сохраняет классические традиции русской литературы, пушкинскую ясность и некрасовский демократизм. В этом заслуга Станислава Куняева. Он пришёл к руководству журналом в 1989 году, когда нарастали процессы развала и деградации Советского государства. В этих условиях сохранить один из оплотов российской культуры, литературную трибуну русских писателей – журнал “Наш современник” – было трудно и тем более необходимо. Станислав Куняев как главный редактор избрал основной творческой линией журнала патриотизм, отстаивание народных интересов, поощрение писателей-реалистов, всё творчество которых обращено к освещению народной жизни, показу лучших качеств русского человека и представителей других народов нашей многонациональной страны.

Славу журналу в эти годы составило творчество Василия Белова и Валентина Распутина, Юрия Кузнецова и Вадима Кожинова, Леонида Леонова и Виктора Лихоносова, митрополита Иоанна (Снычёва) и Владимира Солоухина, Леонида Бородина и Владимира Крупина, и многих других. Под руководством Станислава Куняева журнал не только выжил в труднейшие 90-е, но и стал основой возрождения новой российской духовности в XXI веке.

Станислав Куняев с законной гордостью заявляет: “Наш современник”, благодаря ходу истории, естественно ощутил себя как журнал, утверждающий во всех сферах жизни патриотические и национально-общественные интересы России. Недаром же мы приветствовали все знаменитые речи Путина – Мюнхенскую, Валдайскую, Крымскую”.

“Наш современник” и сейчас продолжает свою созидательную творческую работу под руководством Станислава Куняева. Журнал публикует произведения современных писателей, поэтов, публицистов, привлекает к сотрудничеству как известных политиков, так и талантливых учёных. Следует отметить обращённость “Нашего современника” к творчеству молодых. Регулярно выходит молодёжный номер журнала, где предоставляется литературная трибуна поколению, которому предстоит строить Россию будущего.

Во всём этом огромная заслуга главного редактора, выдающегося поэта, публициста и литературного критика Станислава Юрьевича Куняева.

Станислав Юрьевич Куняев награждён орденами: “Знак почёта” (1980 г.), “Дружбы народов” (1984 г.), “Дружбы” (2014 г.); по повелению Патриарха Алексия II и Патриарха Кирилла отмечен орденами Сергия Радонежского (2002 г.) и Даниила Московского (2017 г.). Он является лауреатом многих литературных премий: Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1987 г.), Большой литературной премии (2001 г.), премии Союзного государства (2006 г.), Патриаршей премии (2013 г.).

Во всех своих произведениях – в стихах, в критических и публицистических статьях, – в редакционной и общественной деятельности Ст. Куняев отстаивает нравственные, патриотические ценности, несёт читателям разумное, доброе, вечное. Несомненно, Станислав Юрьевич Куняев достоин присуждения Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства.

Предлагаю присудить Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства 2017 года Куняеву Станиславу Юрьевичу за многолетнюю плодотворную деятельность на ниве отечественной культуры.

Юрий Васильевич Бондарев

ПЁТР ТКАЧЕНКО

“ВСЁ, ЧТО БЫЛО ОТМЕЧЕНО СЕРДЦЕМ...”

Литературно-критическая повесть

Читая книгу Станислава Куняева “К предательству таинственная страсть...”

*Узоры человеческой жизни
расшиваются по вечной канве.*

А. Блок, “Катилина”.

Революция или контрреволюция?..

Когда Станислав Юрьевич Куняев начал выпускать свои литературно-публицистические книги, тогда подумалось, прежде всего, о том, что он, теперь уже патриарх русской литературы, один из самых талантливых поэтов послевоенного периода советской истории второй половины XX века и начала века нынешнего, блестящий публицист, глубокий мыслитель, волею судьбы оказавшийся в эпицентре духовно-мировоззренческих противоборств, терзающих наше российское бытие, многие годы – главный редактор литературного журнала “Наш современник”, причём в самое трудное для литературы время, конечно же, имел полное право на воспоминания и мемуары. Не могло не поражать и не восхищать то, что писатель в столь почтенном возрасте сохраняет остроту ума и ясность сознания, работает с такой же энергией, как и ранее, как и работал на протяжении всего своего творческого пути. Эти книги с новой силой подтвердили цельность и последовательность его творческой и человеческой личности. А их, этих книг, оказалось действительно много, начиная с целой серии “Поэзия, судьба, Россия”, “Возвращенцы”, “Стас уполномочен заявить”, “Умом Россию не понять”, “Терновый венец России”, “Любовь, исполненная зла...”, “И бездны мрачной на краю...” и других. Вплоть до нынешней “К предательству таинственная страсть...” (М., “Наш современник”, 2021). Книги в определённом смысле итоговой, канонической и монографической. Канонической в том смысле, что в неё отобрано то, что имеет прямое отношение к главному и основному духовно-мировоззренческому противоборству в русском мире между либерал-западниками и славянофилами; “шестидесятниками” и “почвенниками”; революционерами и традиционалистами; в конечном счёте, между государственниками и космополитами. Извечному противостоянию и противоборству, принимавшему в миновавшем веке и в веке нынешнем своеобразные формы.

В этом смысле книга Ст. Куняева оказалась крайне своевременной и даже злободневной, так как природа этого противостояния в обществе на духовно-

мировоззренческом, метафизическом уровне остаётся во многом неяснённой, сокрытой, нередко толкуемой ложно.

Правда, тогда, когда начали выходить эти книги Ст. Куняева, подумалось и о том, а до таких ли серьёзных книг теперь, пусть не о столь отдалённом, но всё-таки о прошлом, когда у нас в России, самой литературоцентричной стране произошло и пока ещё происходит, казалось, немыслимое и невозможное: великая русская литература, являющаяся формой народного самосознания, содержащая код нашего российского бытия, уже спасшая нас в революционном XX веке, по сути, вытеснена из общественного сознания и образования, подменена тем, что ею не является, когда казалась утраченной сама природа художественного творчества.

Хотелось от патриарха прямого и лаконичного ответа на вопрос о том, как быть теперь литератору в такое нелитературное время, перед этой вдруг разверзшейся бездной? Как уже бывало в нашей истории, *здрав штаны, бежать* за этим сомнительным “новым” и “прогрессивным”, где всем правит лицедейство и позёрство, и оказаться “в тренде”? Или же остаться с литературой и её традицией, в пределах народного самосознания. Но при этом “быть вытесненным постепенно” из информационного пространства, оказаться “на обочине”, помня о том, что жизнь человеческая устроена так, что первые, как правило, бывают последними, а последние – первыми.

Но чем больше я вчитывался в книги Станислава Куняева, тем больше убеждался в том, что пример, образец не только писательского, но и человеческого поведения уже явлен. А понадобится ли он новому племени, зависит уже не от автора. Оказалось, что это вовсе не воспоминания и не мемуары в привычном их понимании. Это продолжение постижения писателем через личный человеческий и литературный опыт родины, России. Постигание трагического XX века, трудной, но уникальной послевоенной советской эпохи. И – с точки зрения не только собственно событийной или идеологической, как зачастую бывает, но именно мировоззренческой, в согласии с духовной природой человека. Со страниц книги “К предательству таинственная страсть...” предстаёт не только литературно-историческая, но, прежде всего, мировоззренческая летопись того, что происходило и происходит у нас в литературе, в общественной мысли, в жизни.

Это книга не для единовременного прочтения, так как насыщена такими фактами литературной жизни послевоенной эпохи, которые, кажется, нигде, кроме сознания и души автора, более не сохранились, но без которых трудно понять смысл происходящего, суть того духовно-мировоззренческого противоборства, которое закончилось для всех нас трагически – и для правых, и для виновных – очередным революционным крушением страны, духовным падением общества, умалением человека, разложением культуры и литературы, погружением людей в апатию, утратой самого смысла существования. Хотя это – не только наше российское, но и мировое явление, исход которого пока ещё не вполне ясен.

Теперь, “на руинах великих идей” (Ю. Кузнецов) книга Станислава Куняева побуждает нас задаться не наивными и никчёмными вопросами “кто виноват?” и “что делать?”, но – к размышлению о том, почему так произошло, по причине каких попущений? Какой выход из этого безвременья и падения диктует нам человеческий, народный и государственный опыт, и опыт великой русской литературы?

Да, это в определённой мере “разбор полётов”, необходимый и неизбежный после таких разрушительных событий, какие мы пережили и всё ещё переживаем. Во всех областях жизни. Это выявление “вклада” всех, вольного или невольного, в постигшую нас катастрофу. При этом благие намерения и степень искренности в расчёт не берутся, так как они не могут быть ни извинительными, ни оправдательными. Ведь и глупцы не чужды вдохновения. А время понятной политкорректности прошло, так как общество уже доведено до того предела, который можно определить разве что блоковскими словами: “Развязаны дикие страсти”. Да и война уже идёт на наше народное и государственное уничтожение.

Станислав Куняев выявляет истинный смысл происходившего, остающийся сокрытым и загромождённым приличной, но лживой риторикой о благих намерениях. Даёт нелицеприятные характеристики персонажам, оказавшимся в центре этих событий и полагавшим, что они творят “историю”, а не

тормозят наше народное и государственное развитие, отбрасывая его далеко назад.

Станислав Куняев различил феномен “шестидесятничества” изначально, при самом его появлении. Характеристика и само имя его выходит не из хронологии эпохи, не из того, что они жили в шестидесятые годы миновавшего века. Это специфический комплекс воззрений на мир, на человека в этом мире, на социальное устройство жизни, на Россию. Словом, комплекс “ценностей”, которые “шестидесятники” исповедовали, считая их “передовыми” и “прогрессивными”, но представляющих собой набор дежурных догматов исключительно либерального толка. Примечательно, что “шестидесятниками” назывались и называются только представители либерал-западнической, радикальной революционной мысли.

И он вовремя распознал так же, как и авторы знаменитого сборника “Вехи” в 1909 году, грозящую от них опасность человеку, обществу, народу, стране.

Знаменательно и то, что он не отстранялся от них, а жил и работал с ними рядом, постигая суть этого туманного явления, продираясь через официальные идеологические установки. И, как видно по всему, истинная суть “шестидесятничества” вполне открылась ему только в начале девяностых годов, в результате либерально-криминальной революции...

— Да неужто не ясно, что именно произошло у нас в России в начале девяностых годов и всё ещё происходит? — может спросить наивный и доверчивый читатель. И мы, к сожалению, должны ответить на это со всей определённой ясностью: да, не ясно. В общественном сознании по крайней мере, на духовно-мировоззренческом уровне, а не на позитивистском и материалистическом. И не на социальном только. И уж тем более не на идеологическом. А без этого, без уяснения смысла происходящего невозможно наше дальнейшее развитие и спасение, ибо “все на свете вещи должны быть определены с точностью” (Ап. Григорьев). Да и вообще “недопустима путаница слов” (Ст. Куняев)...

В самом деле, прошло более тридцати лет с тех пор, как у нас в стране что-то произошло. Произошло столь значимое и грандиозное, что и страны в прежнем виде не осталось, переменялся сам воздух жизни; произошло нечто и с самим человеком, а определения, названия, имени происшедшему так до сих пор и нет. Собираются люди грамотные, образованные, опытные, скажем, на телевизионные публичные обсуждения, чтобы задаться этим сакраментальным вопросом, и не могут на него ответить, что противоречит опыту времён предшествующих. Одни говорят, что в России произошла *контрреволюция*, другие — что это, новая, очередная *революция*. В конце концов, сходятся на том, что это, мол, не столь важно. Но постойте! Как это неважно? Это и есть главное, основное, ибо это далеко не пустая игра слов.

Нет названия эпохе. Словно и не было до этого целых гор действительно глубокой, в терзаниях и муках рождаемой литературы, которая могла бы помочь нам теперь сориентироваться во вдруг изменившемся мире... Происходит явный интеллектуальный срыв, сброс предшествующего опыта, явный кризис цивилизации. Причём произошло это столь стремительно, словно выключили свет, как будто повернули некий невидимый рубильник. И это наводит на мысль о рукотворности данного мирового, пока незнаемого нами явления.

Те, кто полагает, что у нас произошла контрреволюция, исходят из вроде бы убедительной логики. Если в начале миновавшего века произошла революция, то теперь, по социальному закону бытия — контрреволюция. Вроде бы так, но, приняв такую логику, мы игнорируем, вольно или невольно отрицаем всё то, что происходило у нас в России потом, после революции, вместе с Великой Отечественной войной, по сути, вычёркиваем из истории самый трудный XX век.

Да, после всякой революции неизбежно и неотвратимо наступает контрреволюция, реставрация, то есть созидание нового и никому пока не ведомого государственного строительства и народного устройства. *И такая контрреволюция у нас уже была.* Происходила она в тридцатые годы, точнее, начиная с 1934 года. Такой поворот, такая “смена вех” произошла окончательно, можно сказать, с победным завершением Великой Отечественной войны, когда окончательно сформировалась советская цивилизация. Это был, главным

образом, поворот от революционного типа сознания к традиционному, в конечном счёте, к народному самосознанию, естественно, при сохранении марксистско-ленинской догматики, которая была *“национализирована”* и которая изначально была принята и навязана на государственном уровне *вместо* исконной народной веры, что, как понятно, носило все признаки иноверного завоевания страны... “Не заметить” теперь этого грандиозного поворота в жизни страны можно только преднамеренно, из каких-то идеологических соображений.

Эта “смена вех” была предпринята во всех сферах жизни, и прежде всего, в области сознания, образования, культуры. Особая роль отводилась русской классической литературе. Её издания с точки зрения научной превосходили дореволюционный уровень. О повороте к литературе свидетельствует новое её преподавание и грандиозное чествование А. Пушкина в 1937 году. Был создан Союз писателей. Изменилось изучение и преподавание истории — теперь уже истории страны, а не только истории партии... Народ и страна наконец-то отходили от революционной катастрофы начала века. Вот как вспоминал об этом выдающийся композитор Георгий Свиридов, который писал Станиславу Куняеву: “Я помню те времена! — До первого съезда писателей, до 1934 года русским людям в литературе, музыке, в живописи не то чтобы жить и работать — дышать тяжело было... Но даже мы, музыканты, почувствовали, как после 1934 года жизнь стала к нам, к людям русской культуры, поворачиваться лучшей стороной...”.

Происходило всё это по понятным причинам негласно, никак не декларируемо. Но это была именно контрреволюция, предпринятая сверху. Об этом убедительно писал в тридцатые годы философ Г. Федотов: “Общее впечатление: лёд тронулся. Огромные глыбы, давившие Россию семнадцать лет своей тяжестью, подтаяли и рушатся одна за другой. Это настоящая контрреволюция, проводимая сверху”. И даже более определённо: “Кончился марксистский пост”. Философ сильно сомневался в действительном марксизме тогдашнего руководства страны, так как не на него теперь уже делалась ставка: “В спешном порядке куётся национальное сознание, так долго разрушавшееся”. В таком новом режиме он усматривал даже имперское создание и даже то, что оно “вполне заслуживает названия монархии”. (Впрочем, не только Г. Федотов различил это новое преобразование страны. Уже гораздо позже об этом писал выдающийся поэт русского зарубежья Георгий Иванов: “Погоны светятся, как встарь, / На каждом красном командире. / И на кремлёвском троне — царь / В коммунистическом мундире...”. Или в стихах 1935 года “К России” неизвестного поэта первой волны эмиграции, в шестидесятых годах вернувшегося из Парижа в Россию, в Краснодар, Ивана Прилепского: “Господь тебя благослови, / Некоронованный живи... / И в дальний путь ушедших нас, / Хотя бы и в последний час, / Нас — в обновлённую семью / всех собери под сень свою”).

Да, идеология оставалась прежней, так как она уже не могла быть отброшенной. Она получала *новое истолкование*: “Марксизм, — правда, не упразднённый, но истолкованный — не отравляет в такой мере отроческие души философией материализма и классовой ненависти. Ребёнок и юноша поставлены непосредственно под воздействие благородных традиций русской литературы. Пушкин, Толстой — пусть вместе с Горьким — становятся воспитателями народа. Никогда ещё влияние Пушкина в России не было столь широким”.

Это был уже совершенно новый уклад жизни, трудно воздвигаемый на развалинах былой России: “Новый советский патриотизм есть факт, который бессмысленно отрицать. Это есть единственный шанс на бытие России. Если он будет бит, если народ откажется защищать Россию Сталина, как он отказался защищать Россию Николая II и Россию демократической республики, то для этого народа, вероятно, нет возможностей исторического существования” (“Судьба и грехи России”, т. 2. СПб: София, 1992). Заметим, что писалось это задолго до Великой Отечественной войны...

Но какие вопли ненависти поднялись на это действительное возрождение России, на её новое бытие со стороны людей с революционным типом сознания! Эту возрождающую Россию неореволюционные “шестидесятники” нашего времени обозвали “советским тоталитаризмом” и повели с ней борьбу. Борьбу не против идеологии, их родной, революционной идеологии, разрушившей Россию, а против страны, с таким трудом возродившейся. Догмат

оказался для них дороже и ценнее самой страны. В какое межеемочное положение они попали – ведь они сами были исповедниками и защитниками “революционных ценностей”.

Таким образом, сложилась парадоксальная мировоззренческая ситуация: официальной идеологией были *национализированные* “революционные ценности”, в личине которых с потерями, но жила традиционная Россия. И “шестидесятники” были людьми с революционным типом сознания, исповедовавшими те же ценности, блюли их первозданную “чистоту”. Сокрыто, а то и прямо, декларативно, как Е. Евтушенко и А. Вознесенский ... Из всего многообразия и сложности советского цивилизации они усвоили только эту внешнюю, вынужденную и изживающую себя догму – “революционные ценности”. Был тут и чисто психологический аспект. Коль советская цивилизация сформировалась в результате революции, значит, всякая революционность есть благо, а “революционные ценности” её являюся тем единственным, на чём может восстанавливаться и строиться страна.

В этих догматах и до сих пор блуждает наше общественное сознание, не находя для их преодоления интеллектуальных сил, так как *мировоззренческая* картина советского периода истории до сих пор остаётся не созданной. В конце концов, удалось навязать обществу и народу, что всякая революционность – это хорошо, это обновление. У нас и “перестройка” оказалась не иначе как “революционной”. Мы же бегло касаемся этой в общем-то нехитрой, но сокрытой от большинства людей хронологии и последовательности событий нашей недавней истории, дабы подчеркнуть со всей определёностью, что “шестидесятники” под догматом “советского тоталитаризма” повели решительно борьбу против в трудах и муках, лишениях и жертвах сложившейся традиционной России, последовательно сталкивая её, по причине интеллектуальной немощи, идеологизированности и догматичности, в новую революционность, для которой уже не было никаких причин, так как прежнюю революционность Россия наконец-то преодолела.

И люди были готовы такому интеллектуальному ничтожеству отдать свою народную, государственную и личную судьбу... В основном по причине того, что общей картины советского периода истории, её, так сказать, парадигмы развития, в сознании людей не было. Да что там, если даже историческая наука её не описала, потопив всё в последовательности событий и их подробностях.

Между тем как соккрытие того, что реставрация у нас уже произошла, что был совершён крутой и решительный поворот от революционности к традиционности, имело трагические последствия для страны и народа. Ведь если реставрации не было, значит, революционный анархизм, беззаконие, геноцид первых лет советской власти продолжаютя? Значит, с ними надо бороться в девяностых годах? Но ведь всего этого уже давно не было. На таком упрощённом до примитивизма шулерстве было построено уничтожение советской цивилизации. Обличительный вал ведь был направлен на существующую власть, к геноциду начала века отношения уже не имеющую. Так с помощью нашей трагической истории была вновь разрушена кое-как устроившаяся жизнь... Но ведь сознание людей должно быть сильно травмировано, чтобы вполне серьёзно повести борьбу с “коммунизмом” не в 1920-е годы, когда она была праведной, а в 1991–1993-х годах, уже не против него, а против сформировавшегося уклада жизни. И когда, кстати, таким “борцам” никакая опасность уже не грозила. Так запоздалая борьба против “коммунизма” стала борьбой против самой России, в чём особенно преуспел А. Солженицын.

Никаких объективных причин для новой революции в России к девяностым годам уже не было. Кроме людского стяжательства, которое государство и общество обуздывает. Пример Китая, в относительно краткий период превратившегося в великую державу, это подтверждает. Никакого капитализма никто возрождать и не намеревался. Этот образ жизни строится на совсем иных началах, чем те, которые были предложены обществу. Справедливо писал по горячим следам событий С. Кара-Мурза, что “ни о каком строительстве капитализма речь не идёт... Речь идёт именно об экономическом геноциде... И цель эта – тотальное разрушение этой ненавистной, неправильной страны” (“Наш современник”, № 5, 1992). А потому и вышла новая революция, точнее – либерально-криминальная революция: “Во многих отношениях перестройка оказалась революцией, принципиально отличающейся по своим

разрушительным последствиям от всех революций, которые пережило человечество” (С. Кара-Мурза).

Потому и “не заметили” интеллектуалы в 2009 году *столетия!*) знаменитого философского сборника “Вехи”, предсказавшего революционное крушение России. В это время всё ещё полным ходом шло либеральное “строительство” страны, а этот сборник обнажал всю ложность либерального курса, так как давал характеристику не интеллигенции вообще как образованной части народа, а радикальной её части с революционным типом сознания. Кажется, что и очередной, уже объявленный поход “цивилизованного” запада на Россию, на всех нас без исключения, всё ещё не вполне вразумил нашу властную элиту. То ли она не может всё ещё поверить в агрессию, в коварство Запада, то ли действительно непросто расставаться с былыми ложными кумирами.

Но ведь это ничем не оправдано, недопустимо и несправедливо, что 1930-е годы мы знаем только и исключительно по репрессиям, забывая о значительно больших первых потерях, которые принесло революционное крушение страны и гражданская война. А о том, что в это время происходили важнейшие и спасительные для страны и народа *реставрационные* процессы, об этом неведомо до сих пор даже в среде людей образованных. Разумеется, репрессии были, что в любом случае ужасно. Но ведь надо объяснять, чем они были вызваны, в какой мере они были неизбежны. У нас же это, по сути, возмездие, объясняют только и исключительно дурью тогдашнего руководства страны или несовершенством, низкой природой самого народа, что является хамством по отношению и к стране, и к народу: “Всё это может показаться / Смешным и устарелым нам, / Но, право, может только хам / Над русской жизнью издеваться” (А. Блок, “Возмездие”). Русская литература устами шестнадцатилетнего пророка М. Лермонтова давно (1830) обнажила эту закономерность в стихотворении “Настанет год, России чёрный год. / Когда царей корона упадёт...”: “И зарево окрасит волны рек: / В тот день явится мощный человек, / И ты его узнаешь – и поймёшь, / Зачем в руке его булатный нож: / И горе для тебя! – твой плач, твой стон / Ему тогда покажется смешон...” К чему же теперь такая литература, которая пророчествует столь беспощадно не о прошлом, а о нынешнем...

Итак, коль реставрация в нашей истории уже была, то в начале девяностых годов произошла *новая революция*, со всеми её признаками, когда вопросы о власти, идеологии и собственности были “решены”... Теперь же перед руководством страны, правящим классом стоит неимоверно сложная задача реставрации, в смысле возвращения к традиционным ценностям, прежде всего, в культуре и литературе, в строительстве новой государственности. По принятой терминологии, это и называется *контрреволюцией*. Чем дольше это будет откладываться, чем больше будет длиться такая неопределённость, тем горше будет для нас кровавое похмелье... Взывать в такой ситуации к новой революции, после смуты снова выкликать смуту можно только или по причине смутного представления о природе революций вообще, или исповедовать убеждение, что всякая революционность – это величина безусловно положительная. Вот один из примеров такой путаницы: “Спору нет, Кремль осуществляет свою революцию сверху во многом вынужденно, как бы нехотя, наступая на горло собственной песне...” (“После смуты”, Виталий Аверьянов, “Завтра”, № 32, 2022). Словом, заблудились мы в “революциях” окончательно. Ведь власти теперь предстоит наступать на горло собственной песне, либеральной и революционной, которая всё ещё длится... А это ох как непросто.

Но как уже бывало в нашей многотрудной истории, всё происходит по неслучайному в нашей памяти присловью: “Не было бы счастья, да несчастье помогло”. “Цивилизованный” Запад, уже отбросив всякие дипломатические условности, объявил нам войну. Уже американские пушки с американскими расчётами бьют не только по бывшим украинским городам, но и по российским областям. Если и в этих условиях власть будет поддерживать в обществе достигшую предела *американизацию*, играть в либеральные идеологические игрушки, давно показавшие свою несостоятельность, всё ещё запоздало заигрывать с “деятелями культуры”, давно порвавшими с истинной культурой и уже давно ничего не создающими, а только отравляющими сознание людей, она неизбежно будет становиться коллаборационистской со всеми вытекающими из этого трагическими последствиями – для неё, для страны, для народа...

Дальнейшая имитация, скажем, литературы, да и не только её, теперь уже, когда гремит оружие, недопустима. По радио России постоянно провозглашается: “Поэзия большой страны”. Но читается зачастую такое, что неволь-но закрадывается сомнение в том, что дела наши пока плохи, так как такая “поэзия” ни о чём более не свидетельствует, кроме как о духовной скудости. Формально, да, в кои веки заговорили о поэзии. Но не *темой* же самой по себе жива поэзия... Имитацией же поднять людей на большое дело защиты Отечества невозможно...

Но почему так опрометчиво повёл себя Запад? Видимо, глядя на то, что происходит внутри России, в нашем обществе и, прежде всего, в сфере сознания и культуры, Запад решил, что время пришло. Значит, уверен в том, что давно, сразу после войны провозглашённая программа по разложению нашей страны выполнена. И мы не можем не признать, что кое-что ему удалось, что его агенты влияющие в нашем обществе действительно влиятельны, иначе уже давно произошли бы изменения в образовании, в культуре и в литературе. Реакция молодёжи на войну, количество бегущих от войны беспрецедентно в нашей истории. Это ведь прямое следствие долгое время проводимой политики в образовании, в культуре, в литературе.

Но к этому неожиданно примешалось и другое, более глобальное, пока загадочное, как некая мировая болезнь, неведомая земным врачам. Что-то стало происходить с самим человеком. Симптомы этого стали явно проступать в тех глупостях, в действиях, которые предпринимаются лидерами мировых держав. Не только не согласующихся с национальными интересами, экономической выгодой, но противоречащих им и всякой человеческой логике. Пока не зная названия этому явлению, люди чувствуют, что наступила некая беда, какой ранее не было. Но такая болезнь периодически возвращается в человеческую цивилизацию. И называется она *вырождением*. Об этом писал, к примеру, А. Блок в очерке “Катилина”: “Это воспитание подготавливает к чему угодно, кроме самого главного и единственно нужного человеку; результат его был на глазах у всего Рима, он на глазах и у нас: большинство тупеет и звереет, меньшинство хиреет, опустошается, сходит с ума. Глаза Рима, как и наши глаза, не видели этого; а если кто и видел, то не умел предупредить страшной болезни, которая есть лучший показатель дряхлости цивилизации: болезни *вырождения*. За этим опошленным словом стоит довольно жуткое содержание”.

Мы ещё не знаем, по каким парадигмам эта болезнь движется, не хотим верить в то, чем она может закончиться, но только явно ощущаем, что она пришла... Не желая признавать её в себе, ибо нас-то она точно “не коснётся”, мы замечаем её симптомы в окружающих. Это – безволие, инфантилизм и интеллектуальная немощь. Словно кто-то незримый сдерживает наше дальнейшее развитие, дабы мы в своей горделивой одержимости не натворили непоправимых бед с собой и с Землёй. Что ж, видимо, приходится рассчитывать за нашу выделенность душой и разумом из природы, ибо так нелегко и непросто удержаться человеку на предназначенной ему высоте...

Вот чему надо бы учить новые поколения, помимо, конечно, практических навыков, технических и технологических построений: как сохранить свою человеческую духовную сущность среди стихий этого мира. Ведь сам по себе “прогресс”, без человека, не идёт впрок, оборачивается *кабаком* для “крещёного мира”, как писал А. Пушкин в “Евгении Онегине”:

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды.

И заведёт крещёный мир На каждой станции трактир.

“Просвещение” в том виде, в каком оно пришло к нам, “благое просвещение”, понимаемое только как бунт, такой “прогресс”, доведённый до предела, приводит к ненужности человека вообще, к его вырождению. Информационные сети при всех их удобствах остаются пока варварски несовершенными, являясь скорее не помощниками человеку, а напоминая вора, приходящего в дом без спросу и незваным – в душу. Кажется, они в таком виде только затем и придуманы, чтобы затормозить интеллектуальное развитие человека, так как создают иллюзию осмысления предоставляемой ими информации. Степень их сложности не свидетельствует о степени их совершенства. А тотальная слежка за человеком, которая уже представляется неизбежной и естественной, при падении нравов будет употреблена, прежде всего, во зло, ибо “мешать” жить остальным будут наиболее талантливые, и с ними надо будет что-то “делать”. Отрицательный отбор людей заработает на всю мощь. Извечный спор культуры и цивилизации вроде бы разрешается в пользу цивилизации, но не идёт впрок ни культуре, ни цивилизации, ни во благо человеку, ибо цивилизация в таком виде только загромождает мир, а не объясняет его.

Видимо, люди найдут выход из этой дилеммы, но пока мы находимся в этом тупике спада во всех сферах жизни. И что бы ни предпринимали, выходит пока “трактир” и кабаки, голое и тупое потребительство во всевозможных его разновидностях.

Книга Ст. Куняева “К предательству таинственная страсть...” побуждает к размышлению о смысле теперь происходящего, давая для этого обширный фактический материал. А это уже признак её крайней необходимости. Я же останавливаюсь на тех аспектах человеческого бытия, которые в нашем общественном сознании не получали объяснения или толковались ложно.

Вольтеровский соблазн

Два революционных крушения России в одном XX веке – в начале и в конце его – побуждают наконец-то задуматься о природе революций в истории человеческой цивилизации вообще. И достойно не только уважения, но и восхищения то, что Станислав Куняев, родившийся в скудные предвоенные годы, детство и ранняя юность которого совпали с войной, живший и работавший в обезбоженной, а то и в атеистической среде, каким-то чутьём поэта распознал природу грандиозных потрясений. Не в пример многим своим современникам, не сумевшим выбраться из-под догматических глыб и впадавшим в сектантский патриотизм. Видимо, это подсказал ему духовный опыт русской литературы, которую он не просто прекрасно знает, но, как и должно, переживает заново: “Шестидесятники”, думавшие, что они восстанут против несправедливого порядка, на самом деле бросали вызов Божественному мироустройству”. Ведь все революционные потрясения имеют, прежде всего, духовную, а не только социальную природу и причину. Это, прежде всего, бунт против Бога, а вовсе не декларируемое намерение справедливого устройства жизни. Ни одна революция в истории никогда не достигала декларируемых ею социальных задач. Потому-то творцы революции всегда и неизбежно “разочаровывались” в их результатах. Всякая революция имеет целью разрушение существующего порядка вещей и ничего более, вне зависимости от степени его справедливости или порочности. И уже только потом, на развалинах былой жизни, невероятными трудами и муками создается новая государственность, никому пока не ведомая.

На эту адскую работу, как понятно, “нужны” особого склада и особой организации люди с революционным типом сознания, неистовые и беспощадные. Это можно понять, над их нелепыми судьбами можно попечалиться. Но выставять их некими творцами, как это делают “шестидесятники”, по крайней мере несправедливо. Их пример можно выставять для предостережения, но никак не для подражания...

Станислав Куняев прозревает духовную сущность и преемственность нашего и мирового “шестидесятничества”: “При внимательном изучении глубинных причин этой революции всемирного “шестидесятничества” обнаружилось нечто поразительное: самые радикальные и разрушительные её цели исходили

из самых древних, почти мифологических времён человеческой истории — из ветхозаветной эпохи “восстания ангелов” и содомской свободы от всяческих табу, воцарившейся в Содоме и Гоморре”.

Там предлагали богов извне, а тут — сомнительные “ценности” внутри страны и общества, по причине, видите ли, того, что страна — “неправильная” и её надо переделать. Но поскольку не говорится, как и во что переделать, а только “переделать”, это значит, что её надо уничтожить: “Наш главный краеугольный камень заложен неправильно, сделан из неправильно материала”. Изначально и всегда, ещё со времён Ивана Грозного (Д. Быков, “Обречённые победители: “шестидесятники””, ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 2018).

Надо сказать, что человек с революционным типом сознания бунтует не потому, что его “душа страданиями человеческими уязвлена стала”, а потому, что иного способа заявить о себе в этом мире, кроме разрушения, у него нет. Такова его природа. Такова его “миссия”, но беда приходит, когда она получает преобладание в обществе, причём абсолютное. А декларации о народе и его страданиях — всё это для самооправдания, что подтверждается многовековой историей революционных потрясений. А то и для обычного обмана.

Радикал бунтует и разрушает, по сути, без причины, кроме самоутверждения, так же, как и Каин убивает брата своего без *причины*: “И сказал Каин Авелю, брату своему” (4: 8). Что именно сказал Каин, в книге Бытия не говорится. Это неважно, так как всё равно он убьёт брата своего. Без мотивации... В первом соборном послании св. апостола Иоанна Богослова: “А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны” (3: 12). То есть, опять-таки, без причины, по своей натуре...

Нам скажут, что этот всеобщий закон бытия в каждую историческую эпоху имеет свои формы проявления. По какой незримой парадигме развивается человеческая цивилизация сегодня? Мне кажется, что тот соблазн, в который впала человеческая цивилизация со времён Вольтера (1694–1778), просветителя революционных потрясений, закончился или заканчивается, проявил в своём развитии всю свою сущность, исчерпал себя. Это вольтеровский зигзаг цивилизации или, точнее, *соблазн*. Он однозначно доказал, что человек не может быть устроен на Земле вне его духовной природы. Такой прогресс, многое совершив на энтузиазме, в конце концов, неизбежно приводит к отрицанию человека. Как от “социальности” человеческое сообщество перейдёт собственно к человеку, к его духовной сущности от нынешнего потребительства, сказать трудно. Но вопрос стоит именно о духовной природе человека. Сошлусь на размышления Василия Розанова 1912 года. В его размышлениях противопоставлены “Революция” и “Церковь”. Но совершенно очевидно, это противопоставлены природная, социальная и духовная природа человека: “Вестник Европы” нужен 6000 своих подписчиков, Евангелие *было* необходимо человечеству двадцать веков, *каждому* в человечестве... Через 1900 лет после Христа из проповедников слова Его (священники) всё же на десять — один порядочный и на сто — один очень порядочный. Всё же через 1900 лет попадают изумительные. Тогда как через 50 лет после Герцена, который был тщеславен, честолюбив и вообще с недостатками, нет ни одной *такой же* (как Герцен), т. е. довольно несовершенной фигуры. Это — Революция, то — Церковь. Как же не сказать, что она вечнее, устойчивее, а след., и *внутренне ценнее* Революции. Что из двух врагов, стоящих друг против друга, — Церковь и Революция, — Церковь идеальнее и возвышеннее. Что будет с Герценом через 1900 лет? — с Вольтером и Руссо, родителями Революции? Ужаснётся *тысяча девятисот годам* самый пламенный последователь их и воскликнет:

— Ещё бы *какой срок взяли!!!* — через 1900 лет, может быть, и Франции не будет, может быть, и Европа превратится в то, чем была “Атлантида”, и вообще *на такой срок — нечего загадывать...* “Всё переменится” — самое имя “революции” станет смешно, едва припоминаемо, и припоминаемо как “плытие Приама в Лациум” от царицы Дидоны (положим).

Между тем священник, поднимая Евангелие над народом, *истово говорит возгласы*, с чувством необыкновенной реальности, “как бы живое ещё”. А дьякон громогласно речет: “Вон-мем”. Дьякон “речет” с такой силой, что стёкла в окнах дрожат: как Вольтер — в Фернее, а вовсе не как Вольтер в 1840 году, когда его уже ели мыши. И приходит мысль о всей Революции, о “всех их”, что они суть *снедь* мышей.

Лет на 300 хватит, но не больше — пара, пыла, смысла (вот он, вольтеровский зигзаг! — П. Т.)... Что сказал Вольтер дорогого человечеству на все дни жизни и истории его? Не придумаете, не бросится в ум. А Христос: “Блаженны изгнанные правды ради”. Не просто “они хорошо делают” или “нужно любить правду”... Евангелие бессрочно. А всё другое срочно — вот в чём дело”.

По В. Розанову, вольтеровский соблазн, или зигзаг, завершится нескоро. Но он ведь твёрдо и не настаивал на таком сроке. По его же шкале ценностей поверим Евангелию: “Не пройдёт род сей, как все сие будет” (Евангелие от Матфея, 24: 84). То есть “все сие” произойдёт в нашем роде, в нашем поколении... А то, что этот соблазн столь обострился на наших глазах, принимая самые бесцеремонные формы, является верным признаком того, что он действительно заканчивается и развязка близка.

Но как сильно это вольтеровское поветрие захватило умы и души людей у нас, в России! Со времён спора В. Белинского с Н. Гоголем (1847) до сего дня во всей неизменности. Екатерина Великая разобралась с этим поветрием куда как быстрее писателей. Примечательно, что Н. Гоголь ещё полагал, что это поветрие приходит для того, чтобы лучше истолковать учение Христа: “Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации. Но какое это беспредельное и безграничное слово. Хоть бы вы определили, что такое нужно разуместь под именем европейской цивилизации, которое бессмысленно повторяют все... Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущество и грабить тех, которые нажили себе состояние? Опомнитесь! Вольтера называете оказавшим услугу христианству и говорите, что это известно всякому ученику гимназии. Да я, когда был ещё в гимназии, я и тогда не восхищался Вольтером. У меня и тогда было настолько ума, чтоб видеть в Вольтере ловкого остроумца, но далеко не глубокого человека. Вольтером не могли восхищаться полные и зрелые умы, им восхищалась недоучившаяся молодёжь”.

Н. Гоголь оказался прав, но правота его, кажется, ничего не изменила в умах и душах его соотечественников и столько времени спустя: “Нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, в занятиях лёгкими журнальными статейками и романами тех французских романистов, которые так пристрастны, что не хотят видеть, как из Евангелия исходит истина, и не замечают того, как уродливо изображена у них жизнь... Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства” (Н. Гоголь).

Влияние Вольтера сказывалось в том, что оно формировало какой-то поразительный комплекс воззрений, предполагающий конечность познания, а значит, тормозящий всякое познание и развитие. Как у П. Чаадаева — “тайна времени”, которая была ему, конечно же, “известна”, и он горел пламенным желанием посвятить в неё А. Пушкина. О том же, что его горделивая самонадеянность оказалась ничтожной, а “тайна времени” — ложной, что в его воззрениях был принципиальный изъян, свидетельствует отсутствие хоть какого-то предвидения. А ведь сила ума человека проявляется именно в этом.

В письме А. Пушкину от 7 июля 1831 года он пишет: “Спора нет, бури и бедствия ещё грозят нам, но уже не из слёз народов возникнут те блага, которые им суждено получить: отныне будут лишь случайные войны, несколько бессмысленных и смешных войн, чтобы отбить окончательно у людей охоту к разрушениям и убийствам”. О, знал бы он, какие “смешные войны” произойдут после него, какие уже идут и какие грядут... На такую фундаментальную, но закономерную опрометчивость можно сказать разве что словами Н. Страхова: “Подчинение чужой истории, чужой духовной жизни, как, например, сделал Чаадаев, не есть выход, а только продолжение той же нелепости, того же разрыва”. А по каким ещё критериям оценивается ум человеческий? По внешнему виду и манерам что ли...

И — в том же письме П. Чаадаев наставлял А. Пушкина: “Мы не думали, что Европа готова снова впасть в варварство и что мы призваны спасти цивилизацию”. Это — прямо-таки словно сегодня писано. Но даже в такой ситуации, когда наши войска были уже в Париже, вопреки всякой логике, его претензии были не к коварной Европе, а к нашему “несовершенству”: “Мы в сущности — не более как молодые выскочки и что мы ещё не внесли никакой лепты в общую сокровищницу народов”. Называется эта опрометчивость

его последователями, нашими “шестидесятниками”, патриотизмом “с открытыми глазами”. . . Но ведь хорошо известно, что там, где патриотизму начинают подбирать эпитеты, типа – “просвещённый”, “непросвещённый” – он в большой опасности, так как это есть форма отрицания его.

На это беспричинное уничтожение России А. Пушкин, как известно, ответил знаменитым письмом от 19 октября 1836 года: “Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. . . Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал”. Но сколько было предпринято усилий, в том числе и нашими “шестидесятниками”, для того, чтобы вопреки очевидным фактам выставить П. Чаадаева наставником и учителем А. Пушкина, хотя всё обстояло как раз наоборот. Правда, П. Чаадаев оказался учеником нестарательным.

“О, либералы – фавориты Эпохи каждой и любой...”

Книга Станислава Куняева “К предательству таинственная страсть...” не могла не появиться. Кто-то должен был создать такую справедливую духовно-мировоззренческую картину литературы и литературной жизни второй половины XX века и начала нашего века. Выбор пал на него. По праву талантливого поэта, глубокого и осведомлённого мыслителя, находящегося в эпицентре этих противостояний и противоборств, всю жизнь отстаивавшего русскую литературу. И, безусловно, обладающего мужеством.

И вот после всего, происшедшего со страной и с нами, с русской литературой и общественной мыслью, когда “гуманистический туман” (А. Блок) от былых нешуточных сражений рассеялся и обнажились их печальные результаты, когда стало абсолютно ясно, кто был прав, а кто вольно или невольно повинен в происшедшем, настало время ответить на вопрос – что произошло и что же победило? Тем более что за нестерпимым информационным шумом это далеко не очевидно в общественном сознании.

Казалось, что теперь, после всего “шестидесятники” и их последователи если не повинятся, не покаются, то забудутся в свои идеологические норы или хотя бы виновато промолчат. Произошло же иное, даже прямо противоположное. “Шестидесятники” и их последователи как ни в чём не бывало, словно они здесь абсолютно ни при чём, опрометчиво продолжили своё нашествие на народное самосознание, на русскую литературу, на здравый смысл, не проявляя никакой мудрости или хотя бы понятной человеческой осмотрительности. Опрометчиво потому, что их идеи умерли, доказав свою полную несостоятельность в практических делах. Доставать снова жупел этих идей на свет Божий – значит снова отравлять сознание и души людей, перекрывая какое бы то ни было народное и государственное развитие, вызывая законный гнев и протест людей здравомыслящих, устоявших, в отличие от них, в этой брани духовной.

Но “шестидесятники” не покаются за свои вольные и невольные грехи, за свою непрозорливость, за то, что поверили в такие “ценности”, которые ни к чему, кроме катастрофы, привести и не могли, так как в основе своей содержали фундаментальный изъян неполноты восприятия мира. Не покаются за свою неистовость и нетерпимость, за то, что нещадно мордовали народ этими своими “ценностями”. Не покаются, наконец, за народную кровь, пролитую по их вине. . . А последователи их с новой энергией продолжают теперь их несостоятельное и опасное для всех нас дело.

Это вопрос уже не к самим “шестидесятникам”. Человек, как правило, не изменяется, а если изменяется, то очень редко. Это вопрос к власти, к тем её структурам, которые отвечают за состояние культуры и литературы в обществе. Можно же, наконец, привлекать в сферу культуры и образования не идеологизированных до невменяемости, а людей действительно образованных, помня о том, что школьный учитель одерживает победу на поле брани. . .

То, что не сделали сами “шестидесятники”, либералы от литературы, не проанализировав происшедшее, то сделал Станислав Куняев. Он вынес им суровый, но справедливый приговор: “Вклад известных писателей-“шестидесятников” в разрушение советского общества и государства был куда более значителен, нежели вклад научных работников, технарей, интеллектуалов,

актёров, военных людей, партийных функционеров и прочих персонажей культурной жизни”. И его объективная картина куда как непохожа на то, что мнили и думали о себе “шестидесятники”.

Хотя надо отдать должное наиболее осмотрительным из них, ужаснувшимся тому, что они наделали, натворили, и, не убоясь обструкции, показавшим неприглядную роль “шестидесятников” в нашей послевоенной истории. Некоторые из них высказались столь определённо и даже жёстко, как не отзывались о “шестидесятниках” никакие “консерваторы” и традиционалисты. Помнится небольшая, но примечательная, можно сказать, знаковая статья Станислава Лесневского “Затянувшаяся гордыня” в “Литературной газете” (№ 27, 1995) – моего давнего знакомого ещё с 1970-х годов в наших блужданиях по блоковским местам Подмосковья, когда ещё не была восстановлена усадьба в Шахматово и не был создан Музей-заповедник А. А. Блока. Станислав Стефанович предпослал тогда к своей статье два эпиграфа: “Печально я гляжу на наше поколение...” (М. Лермонтов), “Я горжусь нашим поколением” (Евг. Евтушенко). И задался неудобным, а по сути, убийственным для “шестидесятников” вопросом: “А есть ли чем гордиться?": “Защищая имя и честь поэта-фронтовика, младший собрат в длинном стихотворении упрямо, с вызовом повторяет не один раз: “Человек, написавший “Коммунисты, вперёд!..”. И выходит как-то двусмысленно, дважды двусмысленно. Получается также, что Евг. Евтушенко и сегодня готов твердить под красным знаменем: “Коммунисты, вперёд!” ... Мне по-прежнему дороги мои друзья-“шестидесятники”, но не побоимся правды... Египетские пирамиды стоят, а “Братская ГЭС” Евг. Евтушенко, спорившая с ними, в общем, рухнула, как и рухнул и “Казанский университет” (того же автора), и “Лонжюмо” Андрея Вознесенского, и “Двести десять шагов” (или сколько там?) Роберта Рождественского, и “комиссары в пыльных шлемах” Булата Окуджавы... Не в том дело, что все эти произведения совершенно невозможно перечитать или произнести, что все они на глазах потонули в Лете (для новых поколений). Ведь “шестидесятники” создали и другие, более подлинные вещи. Но рухнул сам фундамент мировоззрения “шестидесятников”. И что же? Прочувствовано ли это кем-нибудь из наиболее звонких запевал поколения? Осознано ли? ... Но осознайте, что это наши строки держат мёртвое тело и сердце страны!” Отметим, что писалось это во время, по сути, по горячим следам трагических событий в стране. Юлий Даниэль в стихотворении “Либералам” и вовсе дал “шестидесятикам” уничтожающую характеристику:

Отменно мыты, гладко бриты,
И не заношено бельё...
О, либералы-сibarиты,
Оплот мой, логово моё!

...И в меру биты, вдоволь сыты,
Мы так рвались в бескровный бой!
О, либералы — фавориты
Эпохи каждой и любой.

...О, либералы — паразиты
На гноище беды людской.

Согласимся, что далеко не каждый человек во имя правды способен на такой пересмотр своего “оплота” и “логова”, тем самым винясь за свою непрозорливость: “Ну, а если все же греюсь / возле вашего огня, / значит, совесть или смелость / не в порядке у меня” (Владимир Корнилов). Это ведь не просто признание, а личная трагедия. И боль – за всю непоправимость происшедшего, как в стихах Лидии Григорьевой из Лондона: “Нет, чтобы с горя мне околеть бы... / Что ж я ношусь над землёю, как ведьма, / в поисках стойбища и пристанища, / видимо, всё же я пройда та ещё...” (“Литературная газета”, № 32, 2015).

Деятельность “шестидесятников”, и не только собственно творческая, напоминает извечное вавилонское строительство. Вавилонское строительство же является непрекращающимся. Оно только изменяет свои формы.

Книга Бытия (11:1-9) допускает говорить о нём в современных понятиях. Но Вавилон делается блудницею, “жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу”. “И голоса играющих на гусях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами, в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе” (Откровение святого Иоанна Богослова, (18: 22)). Важно отметить, что с пресечением художества, литературы прекращается и “шум от жерновов”, то есть всякая хозяйственная, как сказали бы сегодня, экономическая жизнь... В “шестидесятничестве” мы и видим пример такого вавилонского строительства со всеми неизбежными из него последствиями.

Теперь, ввиду всего происшедшего ясно, что в этом противостоянии и противоборстве с “шестидесятниками” прав оказался Станислав Куняев, “Кто скажет нам, что жить мы не умели, / Бездушные и праздные умы” (А. Фет)... Он исполнил свою писательскую миссию и свой человеческий долг. Но последствия нашествия “шестидесятников” оказались слишком уж трагичными и труднопоправимыми, а здоровое понимание русской литературы и жизни не получило своего преобладания в обществе, старательно контролируемом...

После “сумасшедшей популярности” и бесконечной стихотворной публицистики Е. Евтушенко, умирающей уже при своём изготовлении; после расчётливого буйства и “всемирной известности” А. Солженицына русская литература утратила не только свою глубину и величие, но и общественное значение. Кажется, что в тине “рынка” она утратила и саму свою природу, превратившись в какое-то декларативное антисоциальное явление. Стала всеобщей, стойко сохраняемой уверенностью в том, что “изготовить руками” можно всё что угодно, были бы только деньги, выдав за литературу то, что ею не является, в угоду неким “высшим” соображениям, а на деле – “низшим”; что без талантов можно обойтись, их может заменить пропаганда и рукотворные кумиры; что собственно писательские тексты необязательны. Для лицедейства и позёрства, “шумихи и успеха” достаточно и сомнительных “репутаций”, далёких от истины. После них русская литература вступила в какую-то серую, тусклую полосу злого обличительства, выход из которой пока трудно представить.

Вместе с “шестидесятниками” умерла и их поэзия, чего с истинной поэзией не происходит. За исключением, может быть, только Беллы Ахмадулиной. Не случайно именно её строчка стала для их характеристики убийственно точной: “К предательству таинственная страсть...” И всё бы ничего, в конце концов, и такие стихи были нужны людям определённого интеллектуального уровня и духовного развития. Справедливо сказала А. Ахматова о стихах Е. Евтушенко, что это не стихи, а эстрадные номера. Но всей мощью пропаганды такие поэты выставлялись как продолжение русской литературной традиции от А. Пушкина до А. Блока. В то время как это направление литературы было вне этой литературной традиции. Оно, идущее от революционных демократов, Н. Добролюбова и Д. Писарева, боролось с истинной литературой, не находя в ней практичности и утилитарности. Грех их был в этой подмене, в этой порче и литературы, и сознания, и вкуса, и нравственности... Хотелось быть непременно *первыми*, но первые бывают последними...

Невозможно теперь вообразить нормального, здорового человека, знающего и любящего русскую литературу, восхищающегося писаниями А. Солженицына. Скажу словами либерала с репутацией “патриота” В. Лихонсова: “Всё-таки он какой-то... советский писатель. Писатель-математик. Он единственный в русской литературе классик, которому льстят из-за политики и из-за этой же политики скрывают друг от друга, что романы его читать невозможно – там никого нет, кроме него, стреляющего в большевиков публицистикой, и такого же однобокого, как они” (“Тоска-кручина”, Краснодар, 1996). Эти немудрые, наивные и лукавые инструкции по “обустройству” России, которым мощью пропагандистских средств был придан статус неких откровений, инструкции, которые изготовлялись не для обустройства страны, а для её разрушения. Сколько ни выпускай его собраний сочинений и ни рассылай их по библиотекам, где они будут стоять нетронутыми рядом с трудами А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, А. Блока, М. Булгакова, М. Шолохова... Неужто таким балаганом может закончиться великая русская литература, берущая своё начало с XII века, со “Слова о полку Игореве...”? Не хочется и не может в это верить...

“Шестидесятники” приближали, как могли вовсе не освобождение народу от “советского тоталитаризма”, а новую беду, исход которой, судя по проводимой в стране культурной политике, пока неочевиден. По какой логике, зачем и с какой целью такую деятельность их можно продолжать и “увекочивать”? Цель тут единственная: довести их дело, вне зависимости от того, что они мнят о себе, до конца, до нашей государственной и народной гибели. И их гибели тоже. Довести до того, чтобы на этот раз уже не было никакой возможности и даже надежды на новое возрождение России...

И эта, говоря словами В. Розанова, “ошибка узкого ума” должна пребывать в обществе в качестве некоего интеллектуального эталона и откровения? Когда лидеры западных стран высказывают такое, что не согласуется не только с национальными интересами, но и со здравым смыслом, мы усматриваем в этом вырождение европейской цивилизации. Но судя по нашему мировоззренческому и духовному состоянию, должны признать, что это явление мировое, в том числе и наше, нашей страны как “части Европы”. Иначе на каком основании с таким идеологическим обеспечением по “обустройству России”, а это пока последнее официальное слово по её “обустройству”, мы рассчитываем на победу? Неужто опыт начала Великой Отечественной войны с проводимой тогда культурной политикой нам ничего не говорит?.. Как духовная демобилизация общества и народа согласуется с уже реальной военной мобилизацией на объявленную нам войну? Правильная патриотическая риторика без конкретных действий на этом поприще только усугубляет напряжение в обществе. Разве это не та же европейская болезнь нашей западной элиты?.. С этого, прежде всего, должна была бы начаться мобилизация общества и народа на войну за само своё существование.

Мы не знаем, как можно остановить разрушение России, защитить её в уже идущей против нас войне, сохраняя прежнюю разрушительную идеологию, которая и привела к такому катастрофическому положению...

В день начала массированных бомбардировок украинской инфраструктуры 10 октября 2022 года в Москве, в конференц-зале Дома русского зарубежья в рамках семинара “Труды и дни Александра Солженицына” состоялась презентация выставки “Москва в “Красном колесе” 1914–1917”. В самый раз изданное-переизданное, читанное-перечитанное, уже давно “увекоченное”, снова “увекочивать” именно сейчас... Революционное сознание в обществе, угасающее на глазах, заслоняемое уже совсем иными трагедиями, потрясениями и переживаниями, надо поддерживать постоянно. “Красное колесо” должно кататься по России бесконечно. Уже на фоне идущей войны, угрозы самому нашему народному и государственному существованию. Если ранее целили в “коммунизм”, а попали в Россию, то теперь-то куда тем самым целят? “Идол”-то уже вроде бы давно повержен. Или под “идолом” как разумели, так и разумеют саму Россию? И это – то сознание, а точнее – те заморочки, с которыми мы должны уцелеть и победить? Нет, это и есть мировоззренческое обеспечение нашего поражения. Уже однажды происшедшего... А иначе зачем эта “ошибка узкого ума” как ни в чём не бывало снова навязывается общественному сознанию?.. Уже ведь по ней, по этой идеологии, “обустроили Россию” так, что и до сих пор никак не удаётся собрать её осколки... И надо снова начинать то же самое?

Выдающийся критик, литератор Юрий Селезнёв на памятной дискуссии “Классика и мы” сорок пять лет назад с тревогой говорил о том, что Третья мировая война против России началась. Как видим, он оказался, к сожалению, прав. Но неужто и почти полувек недостаточно было для того, чтобы это хоть как-то уяснилось в общественном сознании?.. Ну, ладно, за эти годы много чего произошло в стране, было и беззаконие либерально-криминальной революции. Но теперь-то, когда уже идёт война, теперь-то что значит всё ещё продолжающаяся духовная демобилизация с помощью тех же “деятелей культуры”, которые идеологически обеспечивали крушение страны? Ответа на этот вопрос не обойти, что подтверждает весь исторический опыт и особенно опыт XX века...

Что говорить о литературе, если лакейский и пошлейший американизм и западничество въелись в сознание людей уже и на бытовом уровне? Разумеется, не сами по себе, а в результате долгой и методичной пропаганды. В регионе, на Кубани, а не в столице покупаю бутылку лимонада, произведённую Ставропольским пивзаводом. Называется он “Лимонадный Джо”. На этикетке – похабная самодовольная рожа, иначе не скажешь, американского ковбоя.

В руках он держит, нет, не кольты, а бутылки лимонада. Ракетные кольты он поставляет на Украину, от которых гибнут наши офицеры и солдаты. Но это же надо было так свернуть сознание людей, чтобы, глядя на эту рожу, они считали, что это “круто”... Произведено это в том крае, откуда вышел лидер страны, столь прозападный, что за пустые лестные слова сдал противнику не то что национальные интересы, а страну. Там же покупаю тройной одеколон на французский лад: “О-де-колонь от Наполеона”. В красочной виньетке — сам Наполеон. Ну, почему так почитают “одного из самых вредных людей во всей истории человечества” (Д. Писарев)? Уже ведь “в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир”, как писал А. Пушкин в стихотворении “Клеветникам России”. И ненавидят нас за то, что “мы не признали наглой воли того, под кем дрожали” они. Теперь, оказывается признали, что ли? Кто и почему так настойчиво пытается убедить россиян в том, что теперь — это их кумир? Ах да, такой одеколон выпускала фирма в XIX веке, ныне реанимированная. Но мы-то теперь знаем, что отсутствие “нашей умственной и нравственной самостоятельности” (Ап. Григорьев) заканчивается катастрофой страны и гибелью миллионов людей... Или так, исподволь нам уготовляется то же самое? Неужто с образом Наполеона в душе наши воины отразят теперь агрессию Запада на Украине?..

Поражает то, на каком упрощённом уровне остаётся осмысление этого духовно-мировоззренческого противостояния в нашем обществе. Наше бедное сознание, “разрешая” эту главную дилемму бытия, рождает, кажется, однуединственную мысль: надо *объединяться и соединяться*... И это является абсолютной интеллектуальной несостоятельностью. Так как никакого соединения, объединения в нечто единое и целое, как предполагали “шестидесятники”, быть не может. Это невозможно по самой природе человеческой цивилизации. Ведь человечество разделено изначально и существует в двух видах цивилизации: *каинитской и сифской*; разделено на последователей Каина, снявшего с себя образ Божий, и на сынов Божиих, потомков Сифа, — это верное Богу человечество. И это неустрашимо. Видимо, потому, что каждый человек, входящий в этот мир, несёт в себе лишь потенциальную возможность стать человеком, ему только предстоит вочеловечиться, то есть сохранить свою духовную сущность в результате брани духовной, преодолевая искушения. И далеко не все справляются с этой трудной задачей жизни: “Много нас, свободных, юных, статных, умирает, не любя...” (А. Блок).

Призывы же к некоему объединению, внешне привлекательному, но невозможному, уже содержали в себе семена глобализации, вавилонского строительства, то есть устройства человеческого сообщества по образцу тюрьмы или казармы. Как, к примеру, демагогический призыв Е. Евтушенко на знаменитой дискуссии 1977 года “Классика и мы”: “Нам нужны дискуссии соединительные, которые бы вместе всех сплотили нас на базе нашего общего наследия”. Но такое соединение невозможно, так как оно предполагает, что кто-то должен отказать от своих воззрений как от заблуждений, от своей чуждости и образа жизни. Предполагает, что истины вроде бы и нет, а есть только “мнение”. Речь может идти только о *сосуществовании*. Но на это у “шестидесятников” не хватило ни ума, ни широты души, ни понятной человеческой осмотрительности.

Доказательством того, что никакое объединение невозможно и что тирады Е. Евтушенко были пустословием, является то, что как только властная узда в стране была ослаблена, он, согласно своим революционным воззрениям, захватил власть в Союзе писателей: “Через несколько дней после августовской провокации в Союз писателей России пришла толпа — некий 267-й “батальон нацгвардии”. На второй этаж из неё поднялись трое шпанят-хунвейбинов с бумагой, подписанной префектом Центрального округа Москвы Музыкантским, о том, что наш Союз закрывается как организация, “идеологически обеспечившая путч”. Я тогда разорвал эту бумагу напополам и бросил обрывки к ногам хунвейбинов. Именно тогда мы узнали, откуда ветер дует: оказывается, не кто-нибудь, а Евтушенко в эти подлые дни отправил за своей подписью письмо Гавриилу Попову с требованием закрыть “бондаревско-прохановский Союз писателей”. Сам автор письма уже восседал в бывшем кабинете Георгия Маркова на улице Воровского” (Станислав Куняев). Таким вот на деле оказалось “соединение”...

Но не умея управлять Союзом писателей и не намереваясь этого делать, Евтушенко просто разрушил Союз писателей и убежал в США. Из этого следует, что целью такой революционной ментальности является именно только разрушение и ничего более. Никакое соединение невозможно, так как мир изначально устроен иначе. Он един в своём *многообразии*, но никак не в *единообразии*. И это понимали пророки: “Они соединятся чрез семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною” (Книга пророка Даниила, 2; 43). Только слабые тяготеют своей природой, пытаюсь её изменить, не справляясь со своей ношей, с присущим человеку “жизни тяготеньем” (М. Лермонтов), нередко выдавая его за “недуг бытия”, который, стало быть, надо лечить. В действительной жизни всё обстоит иначе: “Призван ли кто обрезанным, не скрывайся, призван ли кто необрезанным, не обрезайся” (Послание к Ефесеянам святого апостола Павла, 7; 18). То есть человек должен и обязан оставаться человеком, самим собой. Действительно, “всё забытое, ветхозаветное вдруг всплывает из доисторической вавилонской бездны” (Ст. Куняев). Всплывает потому, что остаётся неизменным и незыблемым, так как “узоры человеческой жизни расшиваются по вечной канве” (А. Блок). Никакое соединение немислимо и невозможно. Разве не об этом в стихах Ст. Куняева: “И нас без вас, и вас без нас забудет...”.

Призыв же “шестидесятников” к невозможному соединению вовсе не является чем-то неведомым и новым. Такой призыв звучит всегда, во все эпохи, правда, изменяя свои формы, но не изменяя своей сути. Вспомним хотя бы “белый синтез” З. Гиппиус где должно соединиться язычество с “новым” христианством, Христос с дьяволом, который она втолковывала молодому А. Блоку уже при первом знакомстве, пытаюсь совратить его и обратит в свою “веру”. Не вышло, не получилось А. Блок сначала возражает ей, а потом пишет в письме от 14 июня 1902 года из Шахматова, по сути, указывая на то, что такой “синтез” уже есть в “Откровении святого Иоанна Богослова”: “Вы говорили о некотором “белом синтезе”, долженствующем сочетать и “очистить” (приблизительно): эстетику и этику, эрос и “влюблённость”, язычество и “старое” христианство. ... Спорил же я с Вами только относительно возможной “реальности” этого сочетания, потому что мне кажется, что оно не только и до сих пор составляет “чистую возможность”, но и конечные пути к нему ещё вполне скрыты от нашей “логики”. ... Вы, если я понял до конца, считаете эти пути доступными нашему логическому сознанию, даже настолько, что мы можем двигаться по ним. ... Мне иногда кажется, что рядом с этим более “реальным” синтезом... существует и уже теперь даёт о себе знать во внутреннем откровении, но отнюдь не логически, иной — и уже окончательный “апокалипсический” синтез” ... всякий *сколько-нибудь реальный синтез* есть “человеческий” угол зрения”. И уточняет в письме от 2 августа того же года: “Ваши слова о двух синтезах примирительны; но я не всегда могу принять их. Иногда из-за логической гармонии смотрит мне в лицо безмирное отрицание”. То есть молодой поэт понимал, что такой “белый синтез” — это то “единство”, которое неизбежно доходит до соединения Бога и сатаны... А в письме матери от 22 ноября 1910 года сетует на Мережковских, на их религиозно-философскую секту и уже не на шутку спорит с ними, до прямого конфликта: “Смешивают всё в одну кучу (религию, искусство, политику и т. д.) и предаются истерике. Мережковскому мне просто пришлось прочесть нотацию. Они уже больше, кажется, ничего не чувствуют и не понимают”.

Такое объединение и смешение — абсолютный догмат и наших “шестидесятников”, вынырнувший из небытия в неизменности. Из этого следует, что не о невозможном соединении надо думать и печалиться, а о естественном соотношении противоположных воззрений, чтобы никакое из них не получало абсолютного преобладания... А это уже дело рук человеческих. Истинный поэт постигает нередко те или иные аспекты жизни бессознательно. Мне кажется, что именно так произошло в стихотворении Станислава Куняева “Реставрировать церкви не надо...”, — об этом соотношении: “Совершилась житейская сделка / Между взглядами разных систем...”. Но сделка есть сделка, она неустойчива. И вот в наше время вновь оказалась нарушенной. Под абсолютную неумную догматическую риторику “шестидесятников”, что “патриоты и космополиты — / разногласия забыв навсегда”, сольются в некое немислимое братство. При этом словно не замечается, что такое нарушение никому не идёт впрок. Оно разрушающее по самой своей природе.

На самом деле в жизни всё гораздо сложнее: “Но не так-то просто перейти из одной веры в другую. Это легко получалось у Евтушенко или Вознесенского. Сегодня “Сталин”, завтра “Бухарин”. Сегодня Маяковский, завтра Ален Гинсберг. Но попытки поменять веру у поэтов более серьёзных, вроде Межирова или Слуцкого, стали трагедией их жизни” (Ст. Куняев). Да и понятно, ведь смена веры равносильна, как правило, переливанию крови, не подходящей по группе. Может быть, за редким исключением. Как, к примеру, в стихах Павла Антокольского: “Я много видел счастья в бурной / И удивительной стране. / Она что хорошо, что дурно / Не сразу толковала мне...” Только эти-то “шестидесятники” – Евтушенко, Вознесенский и прочие – никуда не переходили, оставаясь людьми с радикальным, революционным сознанием. Верные заветам своих дедов, реанимировали “революционные ценности”...

“Патриоты и космополиты” никогда не соединятся, “распри забыв навсегда”, как бы внешне это красиво ни звучало. Это и невозможно, и ненужно, так как такое соединение, такое вавилонское строительство, в конце концов, приводит к ненужности самого человека: “Великому всемирному “прогрессивному” делу вавилонской стройки ограничением стал сам человек... Человек – вот цель... “Сотворим себе имя” – означает желание изменить свою человеческую природу... Человека надо переделать, человека надо изменить” (Е. Авдеенко, “Тема “Каин” в современном мире”. М.: Классик, 2014). Имя человеку уже дано – человек. И всякие попытки изменить имя и воспитать “нового человека” влекут за собой изменение его сущности. Кстати, отсюда проистекают те трансгендерные “проблемы”, в которых корчится сегодня цивилизованный мир. То есть “проблемы” эти существуют изначально и всегда, но они грозят гибелью человеческой цивилизации, когда получают абсолютное преобладание. Отсюда следует, что регулировать и поправлять *соотношение* видов цивилизации – дело вполне человеческое и рукотворное. Невозможно изменить природу человека, ибо “природа человека вечна” (В. Розанов), и это дело Божеское, обустройство же его на земле – дело уже его самого. Но так часто человек впадает в соблазн переделать самого себя, полагая, что это благо... Результат-то такого адского действия он узнает только потом, когда что-либо поправить уже невозможно...

“Ошибка узкого ума...”

Этот экскурс в русскую литературу здесь просто необходим, дабы прояснить обычные, традиционные представления о ней, которые оказались zagrożёнными, заслонёнными какими угодно соображениями и устремлениями вульгарного толка. Это необходимо и для того, чтобы понять, какую традицию в ней защищает Станислав Куняев. Это, прежде всего, *борьба за литературу*, за народное самосознание, за народ, а значит – за Россию. Именно в такой нерасторжимой последовательности. Он весь выходит из этой традиции. Хотя вместе с тем глубоко и последовательно, как мало кто, защищает советский период истории как закономерный этап нашей судьбы. Как уникальный период в нашей истории. И чем далее, тем это будет проявляться всё яснее.

Станислав Куняев защищает Россию в той мере, в какой защищает литературу, то есть народное самосознание. А это и есть для писателя самое главное. И тут у него особое положение в нынешней литературе. Ведь у нас немало писателей-патриотов, говорю именно о писателях, для которых литература – лишь средство в делах якобы более важных. Полагая, что высокая идеологическая или даже политическая цель это оправдывает. И, как правило, ни политики не делают, ни литературы. Всё это – приснопамятная “добролюбовщина” с её убеждением, что литература – это “помощница” в более важных делах... И никакие примеры из истории литературы при этом не идут впрок.

А. Блок 5 мая 1917 года заносит в записную книжку: “Если меня спросят, “что я делал во время великой войны”, я смогу, однако, ответить, что я делал дело: редактировал Ап. Григорьева, ставил “Розу и Крест” и писал “Возмездие”. Можно добавить, что поэт издавал в это время “Стихи о России”, когда уже надвигалось, как чума, революционное крушение страны, уже явно угрожало уничтожение России. Но заметим, он не пишет о том, что он, как и многие, был мобилизован, призван в армию, служил в строительной дружине в Пинских болотах Белоруссии... Не пишет об этом, тоже важном в его

жизни событию, перед которым он даже ездил прощаться с Шахматовым, потому что у поэта — иное служение: стоять на страже духа, внешне и вовсе не броское, но крайне необходимое для народа, с которым решается всё.

Типичным примером “шестидесятника”, с полным набором догматов, присущим ему, был, безусловно, Е. Евтушенко. Поэтому Станислав Куняев и уделяет так много внимания духовному диалогу с ним. Е. Евтушенко — редкий случай поэта, который как бы всецело занимался не столько собственно творчеством, в котором он был довольно небрежен, сколько популяризацией себя, полагая, что степень известности — быть постоянно на виду — это и есть масштаб дарования поэта. Глеб Горбовский в своё время писал, что популярность его “была, да и поныне остаётся, феноменальной”, что его отличало “умение быть на виду, то есть личная жажда популярности, культовое служение ей”. Служение не литературе, а популярности... (“Феномен поэта”, “Аврора”, № 9, 1988.) “Шестидесятники”, а теперь и последователи их всё ещё считают его “главным поэтом эпохи”. Критерий-то какой, нелитературный... Хотя теперь совершенно очевидно, что “шумиха и успех” проходят быстро, не оставляя никакого следа ни на площадях, ни на эстраде, ни в душах, а “жалкие потуги “шестидесятников”, прославляющих стройки коммунизма, окончательно обнаружили свою ничтожность” (Ст. Куняев). И уж тем более выглядят теперь самонадеянными и наивными потуги представить “шестидесятничество”, а Е. Евтушенко в особенности, продолжателями русской литературной традиции: “Всё наше “шестидесятничество”, все его идеологи и апологеты потратили немало сил и бумаги, чтобы объявить творчество Евтушенко прямым продолжателем и поэтическим, и мировоззренческим традиций двух веков — пушкинского “золотого” и блоковского “серебряного” (Ст. Куняев).

Увы, Е. Евтушенко, как и все “шестидесятники”, был преемником и продолжателем совсем иной мировоззренческой традиции. Это, конечно, критика революционных демократов, последователей В. Белинского. Об этой традиции убедительно писал В. Розанов: “Страшная бедность мысли, отсутствие какой бы то ни было вдумчивости — вот что сильнее всего поражает нас в этом поколении, одним из самых жалких и скудных одарённых в истории” (“Почему мы отказываемся от “наследства 60–70-х годов”). Не грубость чувства даже, а “ошибка узкого ума” поражала в них В. Розанова; читать труды их нормальному человеку сегодня невозможно: “В этой душевной скудости и заключалось главное зло”: “С возникновением критики Добролюбова произошло раздвоение нашей культуры: всё слабое и количественно обильное подчинилось ей; напротив, всё сильное отделилось и пошло самостоятельным путём, собственно, только этот второй поток и образует собой новый фазис в развитии нашей литературы”. То есть совершалась попытка представить литературу собственно без истинной литературы. Ложность почти всех литературных оценок, которые давал Н. Добролюбов, поражает и теперь. (Выделено мной. — П. Т.)

Словом, “это были дети, которые, найдя в поле яблоко, поняли только то, что его можно съесть”: “Простая ошибка в умозаключении была причиной, что мир поэзии, религии и нравственности остался непонятным и навсегда закрытым для поколения, которое должно бы сетовать на себя только, а между тем сетует на других” (“В чём главный недостаток “наследства 60–70-х годов?”). Но это имело, конечно, не только мировоззренческую, но, прежде всего, духовную природу и причину.

Это очень важное наблюдение В. Розанова: литературное направление в силу определённых мировоззренческих допущений начинает бороться с самой литературой... Это важно отметить теперь потому, что такое “раздвоение нашей литературы” сохранилось потом, по сути, в неизменности, разумеется, изменяя названия. Особенно оно было острым в революционном XX веке, во второй его половине — между “шестидесятниками” и традиционалистами, патриотами.

Отстаивая только “социальность” в литературе под предлогом того, что такая литература и отражает “саму жизнь”, они отрицали “эстетическую” критику, выразителем которой был Ап. Григорьев. Но это означало отрицание литературы вообще, и ничего более: “В самом деле: что значит восставать против эстетиков, как не утверждать в конце концов, что писать плохо лучше, чем хорошо” (В. Розанов). И о них, и о наших “шестидесятниках” можно сказать

только это: “Им всё казалось, что они лучше всех других узнали человеческую природу, хотя в действительности они только беднее всех её поняли”.

Порча литературы, слова, сознания, нравственности – всего начинается тогда, когда по причине малого таланта писатели начинают вменять литературе практические, утилитарные задачи, которых она не призвана решать по самой своей природе. Внешне это так соблазнительно и привлекательно, что находит многих и многих сторонников. Какая, мол, “связь с жизнью”! Но связь литературы с жизнью такой прямой, вплоть до натурализма, не бывает. На деле это оказывается обманом. В этом ряду – и броская, зацитированная фраза Е. Евтушенко: “Поэт в России – больше, чем поэт!” Но “больше”, выше поэта – только Бог. В этой же фразе подразумевается, что он “больше” потому, что решает практические дела самой жизни. И эта летучая фраза в устах Е. Евтушенко на самом деле имеет значение прямо противоположное: что поэт “меньше”, чем поэт. Видимо, он этого не хотел. По всему видно, что он хотел сказать о самом высоком, а вышло о низком. Утилитарные задачи, вменяемые литературе, означают “штурм неба”, низвержение высокого на землю. Это то, о чём писал Ап. Григорьев А. Майкову 24 октября 1857 года: “Везде папство, т. е. низведение царства Божия на землю, в *определённые*, прекрасные, но чисто человеческие идеалы”. Он прямо-таки взывает в письме к тому же А. Майкову: “Любезные друзья! Антихрист народился в виде материального прогресса, религии плоти и практической, веры в человечество как в genus (род. – П. Т.) – поймите это, вы все, ознаменованные печатью Христовой, печатью веры в душу, в безграничность жизни, в красоту, в типы – поймите, что даже (о ужас!!!) к Церкви мы ближе, чем к социальной утопии Чернышевского, в которой нам остаётся только повеситься на одной из тех груш, возделыванием которых стадами займётся улучшение человечество”. И он, который никогда “не отделял мышления от жизни, слова от дела”, в письме к Н. Страхову 18 июля 1861 года писал о том, какие “вопросы жизни” должен и обязан решать писатель: “Есть вопрос и глубже, и обширнее по своему значению всех наших вопросов – и вопроса (каков цинизм?) о крепостном состоянии, и вопроса (о ужас!) о политической свободе. Это вопрос о нашей умственной и нравственной *самостоятельности*”. Вот, по его же словам, великое дело порядка и правды: “Никакого *нового* искусства не будет. Оно вечное – как душа человека. Мечты о *новом* искусстве – судороги истощённого германо-романского мира. . .” Но утилитаризм в литературе и бездуховность по причине своей упрощённости и поддерживаемые сильными мира сего заполнили всё. И Ап. Григорьев горько жалуется Н. Страхову в том же письме: “Пока не пропердятся Добролюбовы. . . истинному и уважающему свою мысль писателю нельзя *обязательно* литераторствовать. Негде!”

Вот результат того “болезненного уклонения”, того “страшного переворота, который окончательно содействовал раздвоению направлений русской мысли”, о чём писал Ап. Григорьев в статье “Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина”. Об этом “страшном перевороте” можно сказать разве что словами Н. Страхова: “Эти умы пришли к полному отрицанию русской жизни и несмотря на то, что уже существовала обманчивая история Карамзина, не усомнились вычеркнуть жизнь русского народа из истории всемирного развития. . .”. Но Боже мой, как они неизменны во все эпохи и времена, “эти люди”, вплоть до сегодняшнего дня. . . Но не их случность, хорошо известная теперь, поражает, а то, что они вновь и вновь получают абсолютное преобладание, способствуя *вырождению* человека. . . И, кажется, человеческая цивилизация никаких защитных, спасительных средств против этого мыслительного поветрия и нашествия пока не выработала. . .

Самое неглубокое, самое упрощённое и даже примитивное направление мысли, так называемое “социальное”, было раздуть до невероятных масштабов, заполонило все сферы жизни, подавляя, ведя непримиримую борьбу со всем глубоким, духовным, настоящим, как “реакционным”. Всю меру горечи от этого мыслительного нашествия испытал на себе Ап. Григорьев, дойдя до трагического ощущения своей “ненужности” и уйдя из жизни в 42 года. . . А потомки “шестидесятников”, такие же плоские, как и их предшественники, всё ещё полагают, что он “убегал от действительности”. Такое абсолютное преобладание под видом “прогрессивности” самой примитивной вульгарно-социологической мысли, продолжившейся и в последующие времена, конечно, было преступлением перед человеком и народом, так как тормозило их развитие,

пресекло тот самый “прогресс”, которым и революционные демократы, и “шестидесятники” клялись: “Суждены им благие порывы, но свершить ничего не дано”...

Но ведь и в нашу эпоху, во весь послевоенный советский период портреты Н. Чернышевского, Н. Добролюбова, Д. Писарева — во всех школьных классах. А выдающегося критика Ап. Григорьева узнали недавно, собрание сочинений его выходит только теперь и то тиражом триста экземпляров, что не восполняет потребность даже людей науки, которым оно крайне необходимо. А таких, как Валериан Майков, пока и вовсе не узнали по причине его неиздания. Такое тенденциозное и несправедливое дозирование мысли в обществе и соотношение её разных направлений — дело ведь вполне рукотворное, а не стихийное, дело человеческое.

Но стоят наши духовные столпы незримо и прочно, как некие вехи и маяки, указывая путь живым душам. А. Пушкин — с назойливыми приставаниями к нему П. Чаадаева со своим мёртвым фетишем “тайны времени”. Н. Гоголь, обруганный В. Белинским, носящимся с “социальностью”, как дурень со ступою или с аршином, которым ничего нельзя измерить. Ф. Достоевский с примирительной речью на открытии памятника А. Пушкину в Москве. И не приехавший на чествования А. Пушкина Л. Толстой. Молодой А. Блок, выслушивающий сектантские речи З. Гиппиус, которая пыталась вовлечь его в секту с внешне приличным названием: “Религиозно-философское общество”. В нашу эпоху — дискуссия “Классика и мы” 1977 года после десятилетий издевательств над народным сознанием и литературой, когда одно только упоминание о русском тут же намертво накрывалось клеймом “великодержавного шовинизма”. Дискуссия “Классика и мы” — уже с нешуточными оргвыводами и тайными доносами властям для расправы над своими оппонентами, с обманчиво лёгким звоном то ли тридцати сребреников в их карманах, то ли ключей от тюремных камер... А дальше — пока тишина. Но не та всегдашняя, “вековая”, но эта зловещая, которая громче и опаснее всякого шума...

(Продолжение следует)

ВАЛЕНТИН СВИНИННИКОВ

СТРАСТНОЕ МУЖЕСТВО СТАНИСЛАВА КУНЯЕВА

Размышления над книгой “К предательству таинственная страсть”

Читаю и перечитываю новую его книгу, изумляюсь: как свежо, мужественно и страстно звучит она в наши дни. Когда очередной переломный момент в развитии государства Российского вызвал бешеный всплеск активности “пятой колонны” в связи с проведением специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Какой стон о бедной демократической и устремлённой на Запад Украине, обиженной и униженной “тоталитарным режимом”! В очередной раз сотни ножей в спину России, где им, несчастным, довелось жить – и круто зарабатывать в печати, на радио и ТВ, в театре и кино, причём на деньги простых налогоплательщиков. Да и немалая финансовая поддержка из-за рубежа отнюдь не за красивые глаза поступает по различным, чаще всего тщательно скрываемым каналам. И опять сливаются в экстазе те, для кого в творческой же среде существует шутивая аббревиатура “хлам” – художники, литераторы, артисты, музыканты. Конечно, это не относится ко всем в интеллигентной среде. Тем паче к большинству выполняющих свой профессиональный долг педагогов, врачей, инженеров, научных работников.

Откуда же взялся такой “хлам” в стране, где после революции была создана возможность получать достойное образование уже не для десятков тысяч, а для миллионов “простых” людей. Но вспомните (а Станислав Куняев очень аргументировано, на документах и свидетельствах очевидцев, представляемых, что очень важно, с той и другой стороны, показал), кто задавал тон в первые же годы после революции. Откуда взялись эти РАППовцы и другие “борцы за новую культуру”, где уже не отводилось места для русских классиков, где сбрасывали “с парохода современности” Пушкина, не говоря уже о Достоевском, которого “бесы разны” прямо зачислили во враги, а других истинно глубоких мыслителей записывали в лучших случаях в “попутчики”. А что говорить о “творцах”, паразитирующих на русской классике и в те времена, и ныне...

Поэт и писатель, яркий публицист Станислав Куняев анализирует корни появления “к предательству таинственной страсти” преимущественно на материале литературы, разоблачая известное племя “шестидесятников”. И первая же глава его новой книги названа весьма библейски – “В начале было слово...”. Она – об ответственности за слово, тем более сказанное публично. Сразу хочу напомнить, что систематическая открытая его борьба начинается

с дискуссии “Классика и мы”, где вступительный доклад Петра Палиевского представлял широкую картину положения дел вообще в нашей культуре: в театре, кино, на телевидении и т. д. А Станислав Куняев впервые капитально затронул тему предательства классики именно в поэзии. Да что там – затронул. Он взорвал не только битком набитый Большой зал ЦДЛ, но нажил себе не одну сотню врагов в “интеллектуальной тусовке”. В эту его книгу не вошёл тот достопамятный доклад с анализом творчества Эдуарда Багрицкого. Но ещё пятью годами раньше увидела свет документальная книга “Классика и мы” – дискуссия на века”, составленная его сыном Сергеем Куняевым. В сборник вошли не только расшифрованные по стенограммам доклады и выступления, но и связанные с этим событием документы партии, воспоминания самых различных людей как из России, так и из-за рубежа, сторонников и противников “бунтарей-русифилов”. Уже с тех пор Станиславу лепили ярлыки не только чуть ли не антисоветчика (как же, поднял бунт против “гордости советской поэзии”), но и ярого антисемита. Тираж этой уникальной книги всего одна тысяча экземпляров, а так хотелось бы видеть её хотя бы в библиотеках вузов, и не только гуманитарных.

Но основные тезисы того доклада Куняев использует и в новой книге – и дополняет многими новыми фактами и аргументами. И как же хлёстко звучат приводимые им строки не только Э. Багрицкого, но и других. Например, такое вот саморазоблачение Е. Евтушенко: “Мы лицемеры, богомазы, / дуррили головы господ. / Мы ухитрились брать заказы, / а делать всё наоборот”. Нашёл чем гордиться – своей органической способностью к лицемерию, – припечатывает его Куняев. Но разве не пользуется и нынешний “хлам” подобными уловками, чтобы получать бюджетные деньги для собственного “творческого самовыражения”?

Станислав – умелый, опытный полемист. Он не обвинениями бросается, а приводит факты, обильно цитирует оппонентов – и читатель возмущается вместе с ним. К докладу на дискуссии в защиту классики подтолкнул его тогда выход в свет книги “Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников” (М.: Советский писатель, 1973). А замутило его то, что Багрицкого, ничтоже сумняшеся, поставили вровень с цветом русской классической поэзии, которая, как известно, никогда не воспевала грубое насилие, учила в любом “маленьком человеке” видеть, прежде всего, человека. Куняев не просто обвиняет Эдуарда Багрицкого в абсолютной противоположности традиционным нравственным ценностям нашего народа, а приводит убедительные примеры его жестоких строк. Так, Багрицкий созывает своих друзей, “весёлых людей его стихов”: “Чекисты, механики, рыбководы, / Взойдите на струганое крыльцо! / Настала пора – и мы снова вместе! / Опять горизонт в боевом дыму! / Смотри же сюда, человек предместий: / – Мы здесь! Мы пируем в твоём доме!”

И кто же эти “мы”, пирующие в чужом доме? Случайно ли пёстрое это собрание друзей он начинает с чекистов? О, какой явный триумф революционеров – не создателей, а разрушителей, захватчиков-победителей! А в другом случае: “Оглянешься – а вокруг враги. / Руку протянешь – и нет друзей. / Но если он (век имеется в виду) скажет: “Солги”, – солги. / Но если он скажет: “Убей”, – убей”. И как призыв к будущим “шестидесятникам” звучат строки: “Возникай содружество / Ворона с бойцом, –/ Укрепляйся мужество / Сталью и свинцом. / Чтoб земля суровая / Кровью истекла. / Чтoбы юность новая / Из костей взoшла”. Откликнется потом Булат Окуджава: “Я всё равно паду на той, / На той единственной гражданской, / И комиссары в пыльных шлемах / Склонятся молча надо мной”. А за Булатом – и прочие Новодворские...

Что, это революцией продиктовано с её призывом “Весь мир насилья мы разрушим / до основанья, а затем / мы наш, мы новый мир построим. / Кто был ничем, тот станет всем”? Неужели на первом плане разрушения, жестокость – непрременные законы её? И бесчеловечность... Помню, в прославленной светловской “Гренаде” меня царапнула строчка: “Отряд не заметил потери бойца / и “Яблочко” песню допел до конца”. Как это – не заметил? Я-то мальчишкой в годы войны пел на районном радио песню о том, как поддерживали друг друга раненные наши бойцы: “А ну-ка дай жизни, Калуга, ходи веселей, Кострома!” И получил в подарок фронтовую открытку с надписью: “Товарищ, выручай товарища в бою. Ты жизнь спасёшь его – он жизнь спасёт твою”. Но я и не подозревал, что у Михаила Светлова есть в другой его “Песне” куда более жестокие строки: “В такие дни таков закон: / Со мной, товарищ,

рядом / Родную мать коли штыком, / Глуши её прикладом. / Нам баловаться сотни лет / Любовью надоело. / Пусть штык проложит новый след / Сквозь маленькое тело". Да мы же не что подобное ежедневно слышим или видим сейчас на Украине, где оголтелые националисты, даже обречённые на неизбежное поражение, прицельно и последовательно обстреливают жилые кварталы, больницы, школы и детские дома в Донбассе! Как живым щитом прикрываются женщинами и детьми!

Откуда же подобный жесточайший экстремизм мог появиться в нашей отечественной поэзии? Ну, служили в ЧК Багрицкий и Светлов, так где здесь следствие, а где причина? И откуда очередной всплеск "пятой колонны" в культуре?

На этот раз поводом для исследования послужил Куняеву специальный номер журнала "Знамя" в 2018 году, посвящённый юбилею знаковых для той "элиты" событий: закрытому докладу Хрущёва XX съезду КПСС, венгерскому восстанию 1956 года и вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году. И в первой же главе новой книги Станислав Куняев "берёт быка за рога": показывает, например, кто стоял за восстаниями в Венгрии. Расхожее мнение: поднимались венгры и в 1919-м, и в 1956 году против коммунистов, но автор прямо показывает, что это были за "коммунисты". Бела Кун, возглавлявший в 1919 году восстание, оставил вместе с Розалией Землячкой-Залкинд кровавый след и у нас в Крыму. Тысячи русских казаков и воинов Белой армии, сложивших оружие под честное слово Михаила Фрунзе о сохранении им жизни, были пущены под нож приехавшей из центра "тройкой" в составе Бела Куна, Розалии Землячки и Ионы Якира. Невольно задумываешься о том, кто преобладал в событиях 1917 года, становлении советской власти, разжигании гражданской войны. Для многих, пожалуй, откровением прозвучит цитируемое в книге признание В. И. Ленина, что без местечкового еврейства революция в столицах и крупных городах потерпела бы поражение: "Эти еврейские элементы были мобилизованы против саботажа. Таким образом, они имели возможность спасти революцию в этот критический период. Мы имели возможность захватить административный аппарат только потому, что имели под рукой этот запас разумной, образованной рабочей силы". (Из бюллетеня "Института по изучению СССР, — № 4/30. 1959. Мюнхен). "Рабочей" звучит здесь привычно, однако чужеродно, поскольку они представляли собой всё, что угодно, но только не рабочий пролетариат. Кстати, яркие свидетельства приводятся в книге и о роли латышских стрелков не только в охране первого советского правительства. Из "Воспоминаний" А. Мариенгофа: "На улицах ровными каменными рядами шли латыши. Казалось, шинели их сшиты не из хорошего солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано: "Мы требуем массового террора". Не их ли последователи и ныне маршируют по улицам современной Латвии, но уже с нацистскими лозунгами?

И вот ещё какие грустные мысли возникают по поводу "горючего материала" в любых революционных потрясениях. В России в ту пору было немало китайцев из тех, кого ныне называют гастарбайтерами. Когда рушилась экономика империи, закрывались заводы и многие даже мелкие предприятия, они оказывались на улице без каких бы то ни было средств к существованию. А руководимая тогда Троцким Красная армия и кормила, и одевала-обувала — только служи. И сколько ещё было "революционных элементов" из военнопленных "мадьяр", как Бела Кун, чехов, поднявших в итоге восстание против советской власти... Но, конечно, самый деятельный слой возник из сотен и тысяч евреев. И не надо упрекать автора в антисемитизме — отражён объективный исторический факт. Надо ли удивляться, как этот горючий материал "работал" на революцию? И как оберегали его её вожди? Приводится в книге официальный "Декрет Совета народных комиссаров о пресечении в корне антисемитского движения", опубликованный 27 июля 1918 года и подписанный В. Ульяновым (Лениным), Вл. Бонч-Бруевичем, Н. Горбуновым. Удивляешься вместе с Куняевым: как мог Ленин — опытный юрист и расчётливый профессиональный политик — одобрить и подписать написанный провокатором Свердловым кровавый декрет, который призван был неизбежно раздуть пламя гражданской войны?

Надо ли удивляться, как тёмная эта сила, развернувшаяся вновь при Хрущёве, попыталась воскреснуть в годы перестройки и распада Советского Союза, распалась Ельцина с парламентом страны? С первых же страниц книги Станислав пишет: "Обо всём этом и о том, в каких оборотней выродились "верные ленинцы" после 4 октября 1993 года, высказалась Валерия

Новодворская в статье, названной строкой из Булата Окуджавы “На той единственной гражданской” (“Огонёк”, 32-3, 1994):

“Я желала тем, кто собрался в Белом доме одного – смерти /... / Они погибли от нашей руки, от руки интеллигентов /... / не следует винить в том, что произошло, мальчишек-танкистов и наших командос-омоновцев. Они исполнили приказ, но этот приказ был сформулирован не Грачёвым, а нами...”

Статья была написана от имени всех 42 подписантов позорного известного письма (5.10.1993), подписанного “шестидесятниками” А. Адамовичем, Б. Ахмадулиной, Г. Баклановым, А. Борщаговским, А. Гельманом, А. Дементьевым, Р. Казаковой, А. Ивановым, Ю. Карякиным, Ю. Левитанским, Б. Окуджавой, Р. Рождественским, Ю. Черниченко и другими “детьми XX съезда КПСС”. И сколько ещё таких документов приводит Станислав Куняев! В той же статье Новодворской совсем уж кровожадные строки: “Я благодарна Ельцину... пойдём против народа. Мы ему ничем не обязаны. Мы здесь не на цивилизованном Западе. Мы блуждаем в хищной мгле, и очень важно научиться стрелять первыми, убивать...” В ту же пору (11.12.1993) Окуджава и сам заявил на всю страну: “Для меня это был финал детектива. Я наслаждался этим... Никакой жалости у меня к ним не было”.

Не случайно Булата в одной из его поездок встретили плакатом:

В Москве палач царил кроваво,
И наслаждался Окуджава.

А бывшие его пылкие поклонники демонстративно ломали пластинки с его песнями...

Может, для таких “пламенных революционеров” потому и Бога нет, что “Бог есть Любовь”? И понимаю, какую жестокую струю вливали в разбуженное революцией бушующее людское море такие вот местечковые революционеры. Прямо-таки ветхозаветная жестокость. И, наверное, можно её объяснить тем, что в мировой революции надеялись они отомстить за века унижений вечно гонимого племени? Ведь пока выбившиеся в экономическую элиту ростовщики всё больше богатели, основная его масса перебивалась, чем попало: мелкие ремесленники, портные, торговцы. Как не использовать представляемый революцией шанс: “Кто был ничем, тот станет всем”. Может, здесь, в опоре на такую “рабочую силу” высвечиваются и корни многих ошибок в строительстве социализма, задуманного как общество социальной справедливости. Знаю из достоверных источников, как переживал Леонид Леонов страшные эти ошибки. Ведь он-то сам и защищал революцию на фронтах гражданской, и поддерживал реальные шаги в строительстве нового мира, но знал же не понаслышке, изнутри, как воспринимали “перегибы” в этом строительстве крестьяне и городские низы, те самые “жители предместий”. Тогда же зарождались и всячески приспособлялись к власти, “переобуываясь на лету” во времена перемен, будущие “шестидесятники”. Этот процесс Куняев и анализирует на примере “знаменитых советских поэтов”, которые после известного доклада Хрущёва на XX съезде КПСС вдруг проявили себя совсем с иной стороны.

Скрупулёзный анализ начинается в следующей главе, вызывающе названной “За Родину! За Сталина!” Вообще-то автор, как мне думается, поначалу задумывал только сорвать маски с этих “знаменитых” и отмеченных государством, успевших до этого воспеть в стихах и поэмах и Ленина, и Сталина, и социализм, а потом вдруг начавших “подчищать” и переписывать былые свои творения, выбрасывая, как Евтушенко, целые главы из прежде опубликованных вещей. Это само по себе очень интересно: где грани лицемерия и приспособленчества. Как изменились они в одночасье: изменили Сталину, но не себе, потаённым! Окуджава в книге, вышедшей в Калуге перед самым XX съездом, поместил цикл восторженных стихов, в том числе и о Сталине. Промахнулся, не угадал! Но как изощрялся, когда прозвучала с верхов словно команда “фас”, образ “мудрого” “человекобога” Сталина “опуская” на кухонно-коммунальный уровень: “Он маленький, немый и рябой, / И выглядит растерянным и пьющим, / Но суть его – пространство и разбой / В кровавой драке прошлого с грядущим”. Впрочем, “находясь в маниакальном состоянии, – подчёркивает Куняев, – он впал в другую крайность: ему стал снится соплеменник, но уже не “растерянный, а властный и даже всесильный в своём зле: “Сталин трубочку раскурит – / Станут листья опадать. / Сталин бровь свою нахмурит – / Трём народам не бывать”.

Что написано пером — не вырубишь топором, как ни пытались вырубить позднее. Меняя личину, “шестидесятники” не уставали самозвано причислять друг друга к русской классике, клялись в любви и к Пушкину (которого уродовали как могли в своих фельетонных опусах), и к Пастернаку. Но Куняев беспрестанно ловит их на слове: “Проклиная Сталина, Андрей Вознесенский предавал Пастернака, перед которым якобы благоговел, потому что именно с Пастернака, с цикла его стихотворений о Сталине начиналась поэтическая сталиниана:

А здесь на дальнем расстоянье
За древней каменной стеной
Живёт не человек — деянье,
Поступок ростом с шар земной”.

В работе над этой, может, важнейшей главой открылись для Куняева и кладези произведений глубоких, искренних, отражающих настоящую гражданственную и нравственную позицию поэтов известных и мало известных, нередко гонимых властью, испытавших на себе репрессии, приписываемые Сталину. Таковы созданные в заключении стихи Даниила Андреева и многое пережившего Ярослава Смелякова, поздние стихи тех, кого “шестидесятники” числили своими: Новеллы Матвеевой, Виктора Бокова. Приводит Куняев и яркий ответ всем, кто пытался Сталина изобразить вровень с Гитлером:

ХОЗЯЙСТВО

Когда бы жили вы в Европе
При Геббельсе и Риббентропе,
Где европейского еврея
Швыряли в топку, небо грея,
Тогда бы спорить вы не стали:
Кто хуже — Гитлер или Сталин?

Когда бы жили вы в Европе
При Геббельсе и Риббентропе,
Где европейские фашисты
Пушисты были и душисты
На мыловарне, где, зверея,
Варили мыло из еврея, —
Тогда бы спорить вы не стали:
Кто хуже — Гитлер или Сталин?

Зато хозяйства корифей
Прозрели (в том числе еврей),
Что Гитлер, мыслящий злодейски,
Хозяйство вёл по-европейски,
А Сталин вёл по-азиатски,
Отстав от европейцев адски.
Кто хуже — Гитлер или Сталин?

Кто хуже — Гитлер или Сталин,
Который был опьедестален
И зверски выиграл войну,
Спася от Гитлера страну?
Но, блям, хозяйства корифей
Прозрели (в том числе еврей), —
Что Гитлер, победив злодейски,
Хозяйство вёл бы европейски!..

Как же злободневно звучит этот ответ известной поэтессы Юнны Мориц былым друзьям-“шестидесятникам” и нынешней “пятой колонне”! Особенно теперь, когда мы видим ужасные преступления последователей гитлеровского

прихвостня Бандеры, выполняемые по приказу президента Украины Зеленского! И переживаем санкции тех, кто “хозяйство ведёт по-европейски”...

Упомянутые светлые открытия могут поистине украсить задуманную Куняевыми, отцом и сыном, даже собранную уже, ждущую благоприятного времени антологию стихов о Сталине. А я ловлю себя на мысли, которая многим может показаться спорной: как же Сталин умел ценить настоящую литературу! Ведь он поддерживал, а то и спасал от неминуемой гибели настоящих классиков XX века: Михаила Шолохова, Михаила Булгакова, Леонида Леонова. Именно к нему обратился Шолохов, ускользнув от рук местных чекистов. У Леонова и вовсе необычное сочетание: шесть (!) ордеров на арест — и семь орденов Ленина. Из множества советских писателей, согласитесь, отметил Сталин самых русских...

“Шестидесятники”... О самых “легендарных и бессмертных”, как они сами себя рекламировали, — Евгении Евтушенко, Андрее Вознесенском, Булате Окуджаве, Владимире Высоцком, их ближайших предшественниках Александре Межирове, Семёне Кирсанове и других — Станислав Куняев рассказывает с такими подробностями, что диву даёшься! Как один и тот же человек может быть совсем не тем, кем хотел бы казаться. И всё это на примере их стихов, других выступлений в печати, документов их сторонников и противников. И всё это пропущено через сердце самого Куняева: он не просто знал многих лично, с кем-то дружил, с кем-то выступал вместе в знаменитом Политехническом...

Как “создавались” кумиры? Обязательно находились покровители если не на самых верхах, как у Евтушенко (хвастал “прямым телефоном” Андропова), то среди близких к Кремлю “элит”. Всё-таки потомки “комиссаров в пыльных шлемах”... После XX съезда КПСС потомкам “пламенных революционеров” были предоставлены роскошные условия: издания и переиздания, известный Политехнический, где царствовали Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Борис Слуцкий и другие. Справедливости ради признаем, что для разнообразия в Политехнический допускались и поэты “из простонародья”, тот же Станислав Куняев. Но как же поддерживали “шестидесятники” своих, не уставая подчёркивать избранность, талантливость, да что там — гениальность друг друга...

Но... приводит Куняев и пример прямого подлога. Марлен Хуциев снимал в Политехническом сцены для своего фильма “Застава Ильича”. И что же? Русский студент Литинститута Сергей Поликарпов затмил всех “кумиров” стихами простыми, искренними, честными так, что зал взорвался овацией, долго не отпускал его, требуя всё новых и новых стихов. Но напрасно ждал он выхода фильма на экран. Эти кадры были вырезаны. Хуже того: овация, предназначенная ему, была... отдана другим. Когда однажды Лариса Васильева спросила режиссёра, почему он выбросил кадры с Сергеем Поликарповым, тот ответил без объяснений: “Его выступление не укладывалось в формат фильма”. Ещё бы! Человек, в чьём имени соединил Маркса и Ленина его отец Хуцишвили, чья карьера заместителя наркома внешней торговли оборвалась в 30-е годы, конечно, всем сердцем был с “детьми XX съезда партии”. Мог ли он пропустить строки, выслушанные тогда “в мёртвой тишине”:

Едва над входом гробовым
Вчерашнего всея владыки
Рассеется кадильниц дым
И плакальщиц умолкнут клики,
Как восприемлющие власть,
Как будто бы кутьёй медовой,
Обносят милостями всласть
Круг приживальщицкий дворцовый,
А прочим — вторят старый сказ,
Что бедам прошлым не вернуться...
Меняется иконостас,
Но гимны прежние поются...

В книге Куняева, естественно, много места уделено Евгению Евтушенко, хотя, казалось бы, он и без того раскрылся не только своими стихами, но и многими гадостями, высказываемыми о России и русских... Так сказать,

идейный вечный борец против лабазников-антисемитов... И крепко же приложил его поэт-фронтовик Николай Старшинов (между прочим, составитель поэтических разделов во всех 12 томах антологии "Венок славы" о Великой Отечественной войне) в эпиграмме: "Полухохол, полуполяк, / полулатыш, полутатарин, / полурусак, полупрусак, / полупростак, полумастак, / да что ж ты, мать твою растак, / России так неблагодарен!"

Дотошный Куняев разыскал с огромным трудом и уже чуть ли не во Франции и Германии, где она была опубликована, перевод ренегатской "Исповеди рано созревшего человека" Евтушенко. Оказывается, был её перевод и в Англии, и в США, причём с предисловием... Аллена Даллеса. Автор небезызвестной "Доктрины..." подрыва СССР изнутри по достоинству оценил откровения ренегата Е. Е., он считал, что именно на таких, как он, перевёртышей и надо делать ставку. Правда, Хрущёв, узнав о публикации "Исповеди...", обрушился на Евтушенко, Вознесенского и других "шестидесятников". Впрочем, ничего в их положении не изменилось. Ну, покаялся Е. Е. в Союзе писателей, так разве меньше стало его выездов за "железный занавес"? И он, и Андрей Вознесенский объехали весь свет, "достойно представляя" советскую "современную" поэзию.

Насколько "достойно" – можно судить и по делам, и по стихам Андрея Вознесенского, строчкой которого "Лежу бухой и эпохальный" Куняев открыл одну из глав. Вот впервые попадает он, известный советский поэт, лауреат и пр. в США. И куда приводит путь борца за свободу и права человека? Прежде всего, к битникам, буквально в объятия к содомиту Аллену Гинзбергу, который и становится его идолом и даже постоянным спутником в его поездках в другие страны "свободного мира". Какая мерзость – "свита" этого кумира тех, кого ныне называют трансгендерами, а в народе – грубее и точнее... О нравах такой "элиты" не стесняется упоминать в своих воспоминаниях даже воспетая Вознесенским "Оза" – Зоя Богуславская. Кстати, интересен и сам процесс попадания в "свободный мир" поэтов, художников, музыкантов – через салоны Лили Брик и её сестры, мужем которой в Париже был прогрессивный писатель, признанный и в Советском Союзе. Мало было поддержки "верхов", нужны были те, кто мог ввести в среду западной "интеллектуальной элиты". Для Вознесенского стала таковой Зоя Богуславская. Подобный путь послужил потом и Владимиру Высоцкому.

Что останется от Вознесенского, восклицавшего: "Вы думали – я шут? / Я – суд! / Я страшный суд! / Молись, эпоха!" Ну, не создавшая же ему имя и признание верхов поэма "Лонжюмо". Может, почерпнутое от Гинзберга: "Бог – иронии сегодня, / Как библейский афоризм / гениальное: "Вались!". И к чему всеу поминал он Бога? Может, его "генитальное", а не "гениальное": "Чайка – плавки бога", – относится всего лишь к его божку-Гинзбергу? Может, подхватят нынешние последователи его косвенное издевательство над "Маленькими трагедиями" истинно великого Пушкина: "Не Анна, Дон Жуан, твоя богиня, / На Командоре поженись! / Влечение через женщину к мужчине. / Донжуанизм". А его доведённые до изысканного кощунства, как считает Куняев, строки из поэмы "Андрей Палисадов" о "первой из женщин", вошедшей для греха в алтарную, – не предтеча ли бесноватых плясок "Pussy Riot"?

И надо ли удивляться, читая приведённый в книге документ о том, как просил руководство Союза писателей присылать в Канаду именно Андрея Вознесенского печально известный "прораб перестройки" А. Н. Яковлев? Понимал один из губителей Советского Союза, какую роль в разращении молодёжи играл "плейбой" Вознесенский...

Страстное мужество Станислава Куняева отчётливо видится мне в том, что на прямое полемическое сражение вызывал он самых "громких", самых популярных из них – и побеждал! Так, полемическая статья "Инерция аккомпанемента" с подробным анализом слабостей Окуджавы как поэта вызвала огромный скандал. А ведь тогда Куняев впервые подметил вред "эстрадности" в настоящей поэзии. Те пустоты, огрехи, которые незаметны в песне, да ещё исполняемой популярным бардом, режут глаз в их же попытках "чистой поэзии". Как посмел Куняев поднять руку на кумира миллионов?! Посмел – и убедительно доказал. Сейчас пик популярности Окуджавы давно позади. Но о яростных его сторонниках напомнила же Новодворская, захлёбываясь ненавистью в страшные октябрьские дни 1993 года. А песня его с призывом "Возьмёмся за руки, друзья, / чтоб не пропасть поодиночке" не случайно стала гимном тех, кто "страшно далеки от народа".

Ещё один бой “с открытым забралом” дал Станислав кумиру тех, кто восторженно восклидал в письмах: “Через сто лет Высоцкий будет стоять рядом, а может, и выше Шекспира!” Словно продолжая разговор об “эстрадности” поэзии Окуджавы, Евтушенко, Вознесенского, автор развивает вопрос о массовой культуре, о “творчестве” на потребу самым низменным вкусам толпы. Перечитывая вместе с Куняевым стихи и тексты песенок Высоцкого, с грустью думаю, какие надежды подавал он в первых своих опытах, о том, как всё ниже “спускался” он “с покорённых вершин”. Оставив несколько хороших “военных” стихов, вскоре и в этой теме спускался всё ниже: “А ежели останешься живой, / гуляй, рванина, от рубля и выше”. Кто-то назовёт его блатные и полублатные стихи “современным шансоном”, который и в XXI веке снова в моде. Но и для нынешней ТВ-программы “стихи” Высоцкого далеко не всегда подходят – настолько опускает он своих “героев” во мрак безнравственности, да просто скотства. Даже Евтушенко, который считал его своим учеником, возмущился: “Володя, как страшно меж раем и адом / Крутиться для тех, кого мы презираем”...

Но как объяснить его откровенные издевательства над русской классикой? И как верить военно-патриотическим его стихам, когда он, “перелицовывая” на свой лад знаменитое и огромной глубины пушкинское Лукоморье, заодно измывается и над святым, рождённым в Великой Отечественной войне понятием “сын полка”? Зачем нужно было “перекладывать” на низменный свой блатной уровень и другие творения Александра Пушкина? Его сказки, закладывающие фундамент нравственности бесконечных поколений русского народа, его “Песнь о вещем Олеге”? Хоть так “приблизиться” к великому из своего ничтожества при всей временной популярности? Или есть ещё нечто подспудное?

И тут задумываюсь я вместе с Куняевым над творчеством и судьбою советского поэта Бориса Слуцкого, одного из учителей Станислава, с которым жизнь развела из-за глубоких мировоззренческих противоречий. Куняев цитирует многие его хорошие стихи, всё глубже проникается его стремлением быть не просто советским, но “русско-советским” поэтом. И понимает, как всю жизнь тяготело над Слуцким родовое проклятье. Он даже Пастернака публично осуждал за роман “Доктор Живаго” (в чём каялся потом). Сорвался же он всё-таки один лишь раз, споря в стихах о Сталине со своими соплеменниками – “шестидесятниками”: “Он был не злобное ничтожество, / скорей – жестокое величество”. Очень трезво относился он к тем, кто входил в литературу вместе с ним: “Стали старыми евреями / все поэты молодые, / свои чувства поразвевали, / свои мысли охладил. / Кто бродил Путиями Млечными, / верен был Прекрасной Даме, / стали все недолговечными, / а не вечными жидами”... “Евреи хлеба не сеют. / Евреи в лавках торгуют. / Евреи раньше лысеют. / Евреи больше воруют”... И после такого разоблачения в шутку ли, всерьёз ли, вдруг пронзительные строки: “Не воровавший ни разу, / Не торговавший ни разу, / Ношу в себе, словно заразу, / Эту проклятую расу...” “Созреваю или старею – / Прозреваю в себе еврея. / Я-то думал, что я пробился, / Я-то думал, что я прорвался. / Не пробился я, а разбился, / Не прорвался я, а сорвался. / Я, шагнувши одной ногою / То ли в подданство, то ли в гражданство, / Возвращаюсь в безродье родное, / Возвращаюсь из точки в пространство”. Как страшно и скорбно сказано!

Так, может, и над Высоцким тяготело невидимо нечто подобное? Он, сын советского офицера, полковника, знал (или узнал), что дед его по отцовской линии – Вольф Шлиомович Высоцкий и бабушка Дебора Бронштейн не скрывали своего происхождения. А родители его мамы Нины Максим Иванович и Евдокия Андреевна Серёгины – русские. Ну, с чего вдруг написал он странное стихотворение “Антисемиты”, переплюнув даже Евтушенко с его “Бабьим Яром”? С чего вдруг вырвалось такое с подлинно человеческой болью: “Казалось мне, я превозмог / И всё отринул: / Где кровь, где вера и где чей Бог? – / Я в середине. / Я вырвался из плена уз, / Ушёл – не ранен. / И, как химера, был наш союз – / Смешон и странен. / Но, выбирая окольный путь, / С собой лукавил. / Я знал, что спросят когда-нибудь: / “Где брат твой Авель?” / И наяву, а не во сне / Я с ними вкуче, / И гены гетто живут во мне, / Как черви в трупе”.

А кто предшественники “шестидесятников” и их последователи в нашем обществе? Книга Куняева во многом открывает секреты их предков. Булат – из семьи профессиональных революционеров. Родной брат его отца Мишико Окуджава приехал с Лениным в “запломбированном вагоне”, с Кировым работала

его мать. Василий Аксёнов – сын русского политкомиссара и еврейской девушки Евгении Гинзбург, с юности ушедшей в революцию, пострадавшей в 1937 году и написавшей книгу воспоминаний “Крутой маршрут”. Из клана Гинзбургов известный сценарист советских фильмов Александр Галич, более “прославившийся” злыми антисоветским песенками и умерший в эмиграции. Поэты Виктор Соснора и Роберт Рождественский – из семей военачальников-чекистов 30-х годов. У Беллы Ахмадулиной отец был генералом таможенной службы, подчинённой НКВД, матушка–переводчица сначала на Лубянке, потом в США, в ООН. В интеллигентной её родне нашёлся даже дед Стопани, друживший с Лениным. У Александра Межирова, автора книги “Коммунисты, вперёд!”, умершего в эмиграции в США, кого только не было в родне, воспетой им от племянников до внучек, но – ни малейшего упоминания о знаменитой тётке – Розалии Землячке-Залкинд. Не афишировал он своё родство и с известным в своё время режиссёром Григорием Залкиндом. Удивляться их образованности и устремлениям в творческую элиту не приходится. Их предки были довольно образованной “рабочей силой”.

Задумчиво-грозно ответил поэт Станислав Куняев тем, кто своим отечеством считал заселённый победителями-революционерами московский Арбат! Я живой свидетель того, какую реакцию вызвали “Размышления на старом Арбате” в одном из московских институтов, где проводили мы устный выпуск “Нашего современника”. Когда к микрофону подошёл Куняев, зал загудел, раздались выкрики с мест, стало понятно, сколько здесь противников у него, успевшего “поднять руку” на Багрицкого и Светлова, на Окуджаву и даже самого “модного” тогда Высоцкого. Но прозвучала первая же строка: “Где вы, несчастные дети Арбата?” – и воцарилось молчание. Предгрозовое? “Наша возникшая разом элита, / Грозного времени нервная свита, / Как вам в двадцатые годы спалось?” И ответ-напоминание: “Вы танцевали танго и чарльстоны, / Чтоб не слышать беломорские стоны / Там, где трещала крестьянская кость”... Слушают! Может, кто-то вспомнил и о “нежных костях” у Багрицкого, когда звучало: “Вам ли не знать, что история катит / Не по коврам, а по хрупким костям”... Может, кто-нибудь задумается о переключке со строками Николая Некрасова: “Иди и гниби безусловно. / Умрёт недаром – дело прочно, / Когда под ним струится кровь...” Но Куняев-то напомнил о смраде, “ежели кровь не своя, а чужая”! И какой же гром аплодисментов сотрясал битком набитый студентами зал после заключительных строк: “Радуюсь, что не возрос на Арбате, / Что обошло мою душу проклятье, / Радуюсь, что моя Родина – Русь, / Вся – от Калуги и аж до Камчатки, / Что не арбатских страстей отпечатки / В сердце, а великорусская грусть!...” Нет, ещё не потеряна думающая молодёжь, не отдана на откуп потомкам “комиссаров”...

Потом Станислав расскажет и о том, где завершали свои дни “дети Арбата”, “дети XX съезда партии”, в каких чужих землях. Кому-то ещё повезло упокоиться на еврейском кладбище близ Нью-Йорка с претензионным названием “Холм вечности”, но далеко не всякий из бывших “шестидесятников” мог позволить себе заплатить семь тысяч долларов за место здесь. Безвестные могилы большинства – их теперь трудно и сыскать во Франции, Германии, США... А вот все наши русские классики XX века, напоминает Куняев, покоятся в родной земле, к ним всегда можно придти, принести цветы и слова благодарности за вечную верность своему великому народу.

Впечатляет в книге подборка оценок и творчества, и человеческих качеств этих потомков “комиссаров в пыльных шлемах” в воспоминаниях... людей одного с ними круга. Так, в воспоминаниях Ю. Нагибина – совершенно унизительные случаи, связанные с Бэллочкой, с Мариной Влади и Владимиром Высоцким. Иосиф Бродский, сравнивая Евтушенко с другим “кумиром”, писал: “Вознесенский – это явление гораздо более скверное, гораздо более пошлое. В пошлости, я думаю, иерархии не существует, тем не менее Евтушенко – лжец по содержанию, в то время как Вознесенский – лжец по эстетике. И это гораздо хуже”. Юлий Даниэль, сам диссидент и эмигрант, “припечатал всё либеральное болото одним махом” в стихотворении “Либералы”: “О, как мы были прямодушны, / Когда кипели, как “Боржом”, / Когда, уткнувши рты в подушки, / Крамолой восхищали жён. /... / Вся жизнь – подножье громким фразам. / За них – на ринг, за них – на риск. / Но нам твердил советник разум, / Что есть Игарка и Норильск / И мы, шипя, ползли под лавки, / Плюясь, гнусавили псалмы, / Дерьмо на розовой подкладке – / Герои, либералы, мы! /

И вновь тоскуем по России / Пастеризованной тоской, / О, либералы – паразиты / На гноище беды людской”. Философ и публицист Александр Зиновьев, тоже побывавший в эмиграции, высмеял всех этих “легендарных и бессмертных” в сатире о стране “Ибании”, где каждому придумал ядовитую кличку (например, Евтушенко стал “Распашонкой”).

А знаете, книга Станислава вовсе не только путешествие в душевные потёмки особой, отмеченных “к предательству таинственной страстью”. Нет, в ней много света! Он страстно и убеждённо противопоставляет этим ложным кумирам 20-х, 30-х, 50-х, 70-х годов поэзию людей, не предавших Родину даже в самые трудные её времена. Он цитирует стихи и свои, и друзей своих “из простонародья”, рассказывает об их трудных и светлых судьбах. “Да сгинет тьма!” – так назвал он главу о дружеской переписке с великим русским композитором Георгием Свиридовым, который кратко и точно назвал “мировой антрепризой” шабаш издававшихся над русской национальной культурой “шестидесятников”, многим из них дал краткую и точную уничижительную оценку.

Кредо Станислава Куняева: “... нас, государственников, патриотов и почвенников, как правило, вышедших из крестьянского простонародья, бесповоротно отделили от “шестидесятников”, “оттепели” социальные, исторические, национальные и даже религиозные различия”. И он с любовью называет имена тех, кто в октябре 1993 года, буквально за день до трагедии, высказался против бесчеловечности развязываемой сторонниками Ельцина гражданской войны, заклинал от кровопролития. А это подлинный цвет нашей культуры, нашей прозы и поэзии. Но... предатели-либералы, захватившие тогда средства массовой информации, постарались заглушить этот голос чести и совести. Опубликовать письмо удалось только в полуподпольной к тому времени газете “День”.

И вот, возвращаясь к открытым революцией возможностям развития образования и культуры миллионов, убеждаешься, сколько талантов выплеснулось, вопреки тёмным силам, из глубин этого “простонародья”. Кстати, и генеалогия самого Станислава Куняева – живой пример. Три дочери его бабушки-крестьянки Дарьи крестьянками не остались: одна – директор швейной фабрики, другая – главный диспетчер на железной дороге, третья – врач-хирург (по стопам других предков Станислава, о которых сохранилась благодарная память как о земских врачах). И о ком бы ни говорил он из своих друзей и соратников – всюду находились корни в самых глубинах народных.

О разных формах предательства сказано в книге Куняева. В частности, и о глубоко личном – предательстве лучшего друга, поэта Игоря Шкляревского, которого в тупик завела мечта о славе и... богатстве. Изменил-то он не только другу – себе самому, человеку с талантом. И о том, как ни в чём не изменил себе Николай Рубцов в пути, и как сложно складывалась жизнь у другого “пилигрима” – Иосифа Бродского. А я думаю о твёрдом жизненном и творческом пути самого Куняева. И завершу эту статью стихами Юрия Кузнецова, посвящёнными 30 лет назад Станиславу к его 60-летию:

Жизнь прошла. А значит, будь спокоен.
В общей битве с многоликим злом
Ты владел не рукопашным боем —
Ты сражался духом и стихом.

В этот день, когда трясёт державу
Божий гнев и слышен плач и вой,
Назовут тебя друзья по праву
Ветераном Третьей Мировой.

Бесам поражения не внимая,
Мы по чарке выпьем горевой,
Потому что Третья Мировая
Началась до Первой Мировой.

Но жизнь-то продолжается, и вечный бой, и ныне Третья Мировая вступает в новую, возможно, заключительную стадию. И книга Станислава – свидетельство его верности своим убеждениям “государственника, патриота, почвенника”. Верности вечной и великой России.

ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВА

ИСТОРИЯ ОТСТУПНИЧЕСТВА В ЗЕРКАЛЕ ПОЭЗИИ

Куняев С. Ю. “К предательству таинственная страсть...” — М.: “Наш современник”, 2021. — 688 с.

Есть ли в России ещё один писатель, который берётся распутывать самые сложные, самые болевые вопросы истории, политики, литературы нашего Отечества?

Названия книг Станислава Куняева говорят сами за себя: “Шляхта и мы”, “Поэзия. Судьба. Россия”, “Жрецы и жертвы Холокоста”, “Любовь, исполненная зла...” (о поэзии и нравах Серебряного века). Открываешь первую страницу любой из них и не можешь оторваться до последней, погружаясь в переплетение исторических событий, литературных судеб, собственных переживаний автора. Как доказательство исповедуемых писателями истин привлечено множество документов по исторической и политической публицистике, воспоминания и дневники писателей, письма, и, конечно, отрывки из сочинений.

Подобное характерно и для книги “К предательству таинственная страсть...” Но больше всего бросается в глаза бесстрашие автора в разборе переломных событий XX века и отношения к ним известных поэтов, менявших свою позицию вместе с меняющимся миром. Такой редкостной страстью — воспринимать историю страны и судьбу своего поколения как единое живое целое — наделены немногие. Предпринятое поэтом и публицистом исследование даёт повод для размышлений о путях современной России, что особенно важно во время глобального раскола между Россией и Западом.

Сознавая всю неохватность развёрнутой картины, ограничусь страницами, что взволновали, заставили задуматься и что-то уточнить для себя.

* * *

“С кем вы, мастера культуры?..” Однажды обращённый к российской интеллигенции вопрос перешёл в разряд вечных. Не вдаваясь в подробности (а надо бы!), является интеллигенция классом или прослойкой между классами, как было ей определено в советскую эпоху, заметим, что во времена социально-политических потрясений её голос становится востребованным и властью, и обществом.

Что разделило представителей литературного поколения, в нашем случае, поэтического? Пафос Станислава Куняева направлен против “шестидесятников”, активного крыла творческой советской интеллигенции, выбравшей

это слово в качестве самоназвания. Интересно, что в нём сошлись несколько литературных течений. Во-первых, это молодые поэты, взявшие на себя роль рупора хрущёвской оттепели 1960-х годов (отсюда и название): Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Давид Самойлов, Владимир Высоцкий и другие. Во-вторых, свой вклад внесли талантливые поэты традиционного направления, такие как Николай Рубцов, Николай Тряпкин, Владимир Соколов, Владимир Солоухин, Юрий Кузнецов, Станислав Куняев, Анатолий Передреев, Анатолий Прасолов, Ольга Фокина, а также представители других жанров: прозаики-фронтовики Константин Симонов, Константин Воробьёв, Василь Быков, Евгений Носов, Виктор Астафьев, “деревенщики” (некоторые соединили тему войны и деревни): Владимир Тендряков, Борис Можаев, Василий Белов, Фёдор Абрамов, Чингиз Айтматов, Сергей Залыгин, Валентин Распутин, Юрий Казаков, Виктор Лихоносов; публицисты и критики Вадим Кожин, Юрий Селезнёв, Александр Солженицын, Игорь Шафаревич, Ксения Мяло, драматурги Виктор Розов, Александр Вампилов... Их всех, старших и младших, объединяет время: они составили мощную когорту писателей “новой волны” периода конца 1950-х – начала нового века.

* * *

Нельзя равнодушно читать полные горечи строки, идущие от сердца автора: “Но что случилось с нами, людьми одного поколения, в 1960–1990-е годы? Почему так разошлись за эти тридцать лет наши стёжки-дорожки? Я ведь помню, как мы улыбались друг другу, как читали в застольях стихи, как хвалили друг друга за талант, за гражданскую смелость, как выступали одной командой на вечерах в Лужниках, в зале Чайковского, в Политехническом...” (с. 201). Далее приведены автографы на подаренных автору книгах Андрея Вознесенского, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского, Василия Аксёнова, Александра Межирова, Бориса Слуцкого, Игоря Шкляревского – с душевными дружескими надписями.

Но, прежде чем говорить о том, что разделило, надо бы добавить к вышесказанному ещё несколько объединяющих моментов.

После бурных и трагических 1920–1930-х годов, после того, как правители новой, Советской империи провели, можно сказать, жёсткое *принуждение к миру* её граждан, обратив их в новую веру социализма-коммунизма и отменив сословные, политические, идеологические, национальные и другие различия, наступило пусть не абсолютное, но достаточное для продолжения жизни и трудов успокоение.

Примером может послужить самое беспокойное – писательское – сообщество, коль мы говорим о литературе. В 1934 году был создан Союз советских писателей (ССП), на I съезде которого в докладе Максима Горького была поставлена амбициозная задача: советские писатели должны достичь в мастерстве уровня мировой литературы. Разумеется, на платформе курса, проводимого партией.

Работа закипела, и не только литературная. Писатели должны были участвовать в строительстве страны рабочих и крестьян, вести культурно-просветительскую работу в массах и в то же время заниматься напряжённой литературной учёбой. Итоги подводились на собраниях писательских организаций, съездах и пленумах ССП. Выявлялись и награждались лучшие произведения. Книги выходили в государственных издательствах с выплатой авторского гонорара.

Такие “питомники” создавались и в других сферах творчества. Это открывало перспективы роста, способствовало сплочению писателей вплоть до середины 1980-х годов. Даже политические репрессии 1930-х годов, прервавшие созидательное движение страны, поначалу сплотили как общая беда: будущие “шестидесятники” тогда были детьми и теряли своих отцов. Поэтому развенчание культа личности Сталина на XX съезде КПСС было всеми воспринято как исправление ошибок. Объединила и Великая Отечественная война, после огромных потерь одарившая всех радостью Победы.

Что бы мы ни говорили сегодня о советской эпохе, надо признать, что общность под названием “советский народ” всё-таки сложилась в особый,

узнаваемый тип. Над её созданием Советская власть трудилась неустанно, привлекая в помощники всю надстройку над экономическим базисом: науку, культуру, образование. Характерные черты этого типа – верность социалистическому выбору, самоотверженность в бою и труде, стремление к саморазвитию.

* * *

Отчего же во второй главе книги появились такие слова: “Крайне важно понять, что нас, государственников, патриотов и почвенников, как правило, вышедших из крестьянства и простонародья, бесповоротно отделили от “шестидесятников”... социальные, исторические, национальные и даже религиозные разногласия. Но кроме них, в наших распрях было немало всяческих болевых точек, из-за которых мы с каждым годом всё дальше и дальше отплывали друг от друга” (с. 42).

Напомню главные.

- Антисоветские путчи в Венгрии (1956 г.), Чехословакии (1968 г.).
- Хрущёвская “оттепель” 1960-х годов.
- Отношение к исторической роли Иосифа Сталина.
- Расстрел Белого дома 4 октября 1993 года.
- История России, отношение к “родному пепелищу”.
- Судьбы “пламенных революционеров” – дедов и отцов “детей Арбата”.
- Отношение к Православию, раскулачиванию...

Опираясь на многие источники, в своих суждениях автор отдаёт предпочтение свидетельствам участников и очевидцев событий.

* * *

Куняев подтверждает наблюдение из советского времени: гражданская война между красными и белыми не закончилась в 1920-е годы. Она раздробилась на новые маленькие войны. Самое первое, классическое понимание “революция пожирает своих детей” хорошо прописано в романе “Боги жаждут” Анатоля Франса о французской революции 1790-х годов. Видимо, наши революционеры считали, что с ними подобного не случится. Однако борьба с общим врагом после победы перерастает в междоусобицы среди недавних соратников – хотя бы за лидерство.

Как разрешались конфликты межпартийные (самые первые), международные (при создании СССР), между верующими в Бога и атеистами, хорошо известно: новая власть подавляла их недрогнувшей дланью. Победители в гражданской войне творили новую историю и нового человека, и ничто не должно было им мешать.

Тема репрессий была осмыслена не сразу, а лишь в 1980-е годы. Споры об их неизбежности, как и о масштабах жертв, продолжаются до сей поры, но одно можно сказать твёрдо – это была трагедия, имевшая долговременные последствия. При том, что началась реабилитация невинно осуждённых и их возвращение в нормальную жизнь, поспешность, с которой была дана оценка Сталину, вызвала смятение в массах и подспудный раскол в среде интеллигенции.

Картина, открывшаяся в стихотворении Станислава Куняева “Размышления на Старом Арбате” 1987 года (оно приведено в книге, с. 280–282), показывает, что у этой трагедии были разные оттенки. Дети страдали от гибели отцов одинаково, но отцы оказались из разных слоёв нарождающегося общества. Отцы “детей Арбата” верно служили революции и вождям, за что имели среди общей разрухи благополучную жизнь – вселялись в барские квартиры, заводили нянь и домработниц, то есть ощущали себя новой элитой, заслужившей предоставленные блага. И вдруг на их головы обрушивается разящий меч. Кто кого предал? Потерпевшие из числа недавних победителей, наверное, считали, что не они предали, а их предала изменившаяся власть. Приходило ли кому-нибудь в голову: а не означало ли уничтожение царской элиты, что впредь никаких элит не будет? Все должны быть равны. И как только вызревала очередная, за чистку принимался неистовый практик строительства

социализма и аскет тов. Сталин с его на тот момент сподвижниками. Так называемого “комчванства” не терпел и Ленин.

Читая об этом, понимаешь, что детям отцов, пострадавших при раскулачивании, в каком-то смысле было легче. К ним беда пришла извне, со стороны новой власти, разделившей крестьянство на кулачество и бедноту и бросившей первых под колёса революции. “Дети Арбата” были уязвлены сильнее, поскольку их отцы попали хоть и под те же колёса, но сидели-то они в той самой колеснице, что неслась по кровавому пути переустройства мира. И потому потребовались большие усилия, чтобы оправдать отцов и воссоединить их с системой, их уничтожившей. Трудно пережить состояние, когда “не за что, а воздаётся сполна”, как верно заметил Куняев в своих “Размышлениях”. Показательны романы Юрия Трифонова с их мучительными попытками осмыслить парадоксы пылающей эпохи, ломку судеб (“Дом на Набережной”, “Старик”).

Отсюда вполне логично упование “детей Арбата”, назвавших себя “детьми оттепели”, “детьми XX съезда”, развенчавшего культ личности Сталина, на Ленина. Им хотелось доказать, пишет Куняев, что период сталинского правления был выпадением из “нормального ленинского пути”. Когда стало понятно, что это не выпадение, а продолжение, детей свергнутой элиты постигло жестокое разочарование в идеалах отцов.

Потомственные атеисты, они искали новое прибежище для души. Куняев отмечает: если молодёжь из престолярства, меньше пропитанная навязанным безбожием, постепенно обратится к религии предков – Православию, то потомки “комиссаров в пыльных шлемах” соблазнятся очередной земной религией “свободы и демократии”, “прав человека”, пришедшей с Запада на смену христианству.

Таким образом, на первое место выдвинулось духовно-идеологическое несовпадение недавно единого поколения. Оно и определило дальнейшие расхождения. Раскол интеллигенции пришёлся на традиционную трещину: западники и славянофилы, либералы и почвенники, а в перестройку 1990-х – демократы и патриоты. Валентин Распутин в очерке “Из огня да в полымя” (первое название “Интеллигенция и патриотизм”, 1992 г.) прибавил новые оттенки: “бунтари”, которые ведут войну с собственной страной, и “целители национальных язв”, дополнив вторую половину духовными светильниками Православия.

* * *

Одной из первых среди раскольных тем стало отношение к Сталину. Многие годы Куняев пытается говорить о И. В. Сталине как о фигуре противоречивой, но имеющей немалые заслуги перед страной. В главе “За Родину, за Сталина...” приведены стихи тех, кто сначала воспевал вождя, потом ниспровергал, и наоборот. Особенно поражает честное признание поэта из народа Виктора Бокова, бывшего узника ГУЛага, как изменилось его восприятие вождя со знака минус на плюс, и глубина осмысления личности Сталина Даниилом Андреевым – тоже узником, поэтом, сыном известного русского писателя Леонида Андреева.

Знакомясь с фактами, опубликованными после раскрытия архивов, читатель имеет возможность более объективно представить сталинскую эпоху и вождя в его “деяниях и злодеяниях”. Один из таких фактов, приведённых Куняевым, – яростная критика киноповести Александра Довженко “Украина в огне”, высказанная Сталиным на её обсуждении в 1944 году:

“Если судить о войне по киноповести Довженко, то в Отечественной войне не участвуют представители всех народов СССР, в ней участвуют только украинцы. Значит, и здесь Довженко опять не в ладах с правдой. Его киноповесть является антисоветской, ярким проявлением национализма, узкой национальной ограниченности...” (с. 97-98). Эта критика звучит сегодня как упрёк советским руководителям последних десятилетий, оставившим без должного внимания развитие агрессивного национализма и русофобии, что ввергло Украину в нынешний пожар. Или ещё более яростная тирада против тех, чьи действия могут ослабить СССР, идущая от убеждения, что поодиночке не выжить

ни одной части государства, ни одной национальности. “Поэтому каждый, кто попытается разрушить это единство социалистического государства, кто стремится к отделению от него отдельной части и национальности, он – враг, заклятый враг государства, народов СССР... И мы будем уничтожать каждого такого врага, хотя бы и был он старым большевиком... За уничтожение всех врагов до конца их самих и их рода!” (из тоста на банкете 7 ноября 1937 г., в честь 20-летия победы Октября) (с. 95).

Сталин предстаёт последовательным продолжателем дела Ленина. Никому нет пощады: ни Еврейскому антифашистскому комитету, пожелавшему создать еврейскую советскую республику в Крыму (и это после усилий, приложенных Сталиным к появлению государства Израиль!), ни ленинградскому руководству, ратовавшему за создание компартии РСФСР (и это после здравницы в честь русского народа в 45-м победном году!). Об этом, кстати, подробно рассказано в очерке В. Кузнецовского “Ленинградское дело” 1949–1953” в “Нашем современнике” (№ 2, 2020 г.).

Сегодня многое видится яснее. Метания Сталина напоминают метания человека, плывущего по горной реке на неопробованном плавсредстве, когда надо попасть в ту струю, которая вынесет к спасительному течению, а не ударит о прибрежные скалы и не посадит на подводные камни. Ошибиться так легко! А тут – после Победы, давшей дорожкой ценой, – в тот же 1945 год начата “холодная война” против “отдельно взятой” страны социализма недавними союзниками! Расслабляться никак нельзя, и метод, испытанный со времён гражданской войны – уничтожение каждого врага – опять выходит на первое место. Может, “Ленинградское дело” – последний всплеск отчаянья от предчувствия, что Советскому Союзу не устоять?..

Нам никогда не ответить на вопрос, возможно ли было иначе укрепить страну и сделать её ядерной державой. Мы смотрим на небывалую по трагизму и прорыву эпоху из дня сегодняшнего, более благополучного. Куняев прав, поддерживая мнение историка Роя Медведева, чей отец был расстрелян в 1937-м, что нельзя судить Ленина и Сталина по обычным человеческим меркам – “они сыграли историческую роль”.

Сегодня, в год 350-летия со дня рождения Петра Великого невольно возникает параллель между двумя преобразователями Российской империи. Образ Петра I тоже неоднозначен, как точно передал А. С. Пушкин восприятие этой личности с позиции интересов государства и с позиции простого человека в “Медном всаднике”. Однако его историческая роль высоко оценена потомками. Попутно отмечу, что слова императора о прорубании окна в Европу сегодня приводятся в варианте, который не звучал раньше: “Возьмём с Запада всё, что нам надо, и повернёмся к нему задом”. Он успел только первое, второе совершилось при Сталине в XX веке, когда СССР был отгорожен от Запада “железным занавесом”. Перипетии с “занавесом” известны: начавший обрушаться во времена “оттепели” 1960-х, он окончательно падёт в 1990-е годы и будет вновь возведён, теперь уже Западом, в начале XXI века!

* * *

На этом историко-идеологическом фоне Станислав Куняев даёт портрет той части своего поколения, которая отвернулась от советского патриотизма в сторону либеральных “граждан мира”.

Поражает художественная сила, с которой прописаны представители громкоголосого “шестидесятничества”. Их общая черта – отступничество. Общие истоки – бунт против сталинизма без учёта того, что в сталинской эпохе стали прорастать традиционные духовно-культурные ценности; соединение с бунтарским духом минувшего Серебряного века, следование голосу “агитатора, горлана-главаря” Маяковского и будущее приобщение к западной молодёжной революции 1960-х – одновременно антибуржуазной, антикультурной и антиморальной. Таким видит Куняев путь бывших друзей, перешедших в лагерь оппонентов.

Надо оговориться, что в книге не идёт речь о художественном таланте как таковом – им в достаточной степени обладали все персонажи. Речь идёт о направлении таланта, о том, чему служит слово поэта в России.

О своём расхождении с “громкими” поэтами-ровесниками автор пишет не впервые (см. книгу “Любовь, исполненная зла...”). Потому подробно останавливаться на тех, кто менял свои взгляды в соответствии с общественно-политической обстановкой, не буду. Остановлюсь на тех немногих, чьи изменения в судьбе и творчестве свидетельствуют о более глубоких причинах перелома в сознании, чем политические.

Первый, к кому относятся слова сожаления Куняева об утрате былого единства в семье поэтов, это Борис Абрамович Слуцкий – поэт-фронтовик, с “душой, распахнутой в стихах”, покровитель молодых талантов. Ему отданы слова благодарности и признания автора книги вместе с пониманием неизбежности ухода из его поля притяжения.

Подчёркиваются главные черты поэта Слуцкого – его не поддающаяся политическим переменам честность и смелость, с которой он говорил о жизни и о себе. Словосочетание “честный поэт” повторяется у Куняева на нескольких страницах. Его образ в главе, не случайно названной “Не пробился я, а разбился”, высвечен с разных сторон. “Противоречивый и несогласный с собой”, из поколения ифлийцев (выпускников Института философии, литературы и искусства), воспитанный на идеях мировой революции и готовый к ней. Но воевать пришлось в Великую Отечественную политруком, а как юристу военного времени – участвовать в работе особых отделов, военной прокуратуры.

“Человек своей эпохи”, Борис Слуцкий не бросился вместе с другими обличать Сталина, лишь назвав его “жестоким величеством”. По словам Куняева, “Слуцкий понимал правовую ущербность сталинского социализма” (с. 338), но считал себя “ответственным за все деяния государства”, “которые вершились при нём”. “Всем лозунгам я верил до конца”, – не скрывал он.

Куняев приводит подходящие к этой характеристике строки поэта:

Мы кашу верно заварили,
А ежели она крута,
Что ж! Мы в свои садились сани,
Билеты покупали сами
И сами выбрали места.

Это с одной стороны. С другой – Куняев ссылается на стихи “трогательные... полные сдержанной, аскетической любви к маленькому человеку: “Старухи без стариков”, “Расстреливали Ваньку-взводного”, “Сын негодяя”... Стихи о пленном немце, которого расстреливают “перед тем, как отступить”. И добавляет – “этот ручеек человечности у Слуцкого упрямо пробивался из-под железобетонных блоков его коммунистическо-интернациональных убеждений” (с. 387).

Борис Слуцкий – наглядный пример того, что для честного поэта нет запретных тем. Одна из них – русско-еврейский вопрос. Куняев касался его неоднократно, в том числе и в одной из начальных глав “Я люблю эту кровную участь...”, выступая против политизации национальной темы. Но то, как мучительно переживал советский поэт, ни в чём не желавший кривить душой, своё еврейское происхождение, поражает безоглядной откровенностью.

Автор книги приводит стихи, в особых комментариях не нуждающиеся. Для поэта, который добивался ясности во всём, чего касалось его перо, отношение к своей национальности стало проблемой, неожиданно возникшей в 1960-е годы. Об этом можно много говорить, но лучше повторить за Куняевым две цитаты из книги Слуцкого “Теперь Освенцим часто снится мне”, подтверждающих его страстное желание быть “русско-советским” поэтом.

Я инородец, я не иноверец,
не старожил? Ну, что же — новосёл.
Я, как из веры переходят в ересь,
отчаянно в Россию перешёл.

У меня ещё дед был учителем русского языка!

.....

Родословие — не простые слова.
Но вопросов о происхождении я не объеду.
От Толстого происхожу, ото Льва,
Через деда... (с. 374).

Открывается драма многих нерусских по крови литераторов, возросших на русской культуре и потому считающих себя русскими. После революции они старались перейти в русскость как в религию — в недавнее для них царское время в паспорте вместо графы “национальность” стояло “вероисповедание”, и этого было достаточно для единства нации. Но когда в стране ослабевает общая идеология, каждый народ обращается к своим корням. Слуцкий не был к этому готов и был неприятно удивлён, когда со временем обнаружил, что

Стали старыми евреями
Все поэты молодые,
Свои чувства поразвели,
Свои мысли охладили.
.....
И акцент проснулся, Господи,
И пробились, Боже, пейсы... (с. 377).

Так недоумевал он по поводу наступивших перемен.

Главной же причиной пошатнувшегося душевного равновесия Слуцкого, приведшего к душевной болезни, Куняев считает “атеистическое отчаянье”, которое, подобно морю, поглотило музу поэта в последние годы, “когда поэт понял, что идея социальной справедливости неосуществима”, чего не случилось с Пастернаком, Заболоцким или Ахматовой, нашедшими опору в христианской вере (с. 392).

Таким образом, автор подчёркивает — национальный вопрос не первый, что приводит к личной и исторической драме. Эта мысль проходит красной нитью через всю его книгу.

* * *

Совсем другими интонациями проникнут очерк об Андрее Вознесенском. Все главы книги, кроме одной, названы по строчкам из стихов поэтов, о которых идёт речь. Главу “Лежу бухой и эпохальный...” читать просто тяжело.

Это уже торжество тотальной свободы, свободы, оправдывающей всё: смену настроений, убеждений, готовность испробовать в этой жизни всё. Здесь и отсылка к греховности Серебряного века, и привлекательная новизна впечатлений автора поэм о В. И. Ленине от Гринвич-виллиджа — пристанища нью-йоркской порочной богемы и т. д.

Ограничусь лишь одним высказыванием исследователя: “Прочитал я все эти откровения (из книги Владимира Соловьёва “Не только Евтушенко”. — В. С.) и подумал: а не сужаю ли я понятие “шестидесятники” до “детей оттепели”, до “детей XX съезда КПСС”? А может быть, наше “шестидесятиничество” было лишь частью “мирового шестидесятиничества”, куда входили со своими противоестественными страстями и американские битники с лесбиянками, и французские студенты, совершавшие в 1960-е годы антидеголлевскую и сексуальную революцию одновременно?” (с. 312).

Задуматься есть о чём. Что несёт человечеству глобализм и до какого края может дойти русская поэзия, если она отвернётся от таких имён, как Пушкин, Николай Рубцов, Анатолий Передреев, о которых напоминает автор в конце этой главы.

* * *

Большое место в портретной галерее занимает Евгений Евтушенко. В редкой главе не увидишь его имени. Глава “Давайте после драки помашем кулаками...”, названная по строчке из стихотворения Бориса Слуцкого, полностью

посвящена Е. Е. Она включает в себя даже прямое обращение к нему: “Если бы Евтушенко сейчас был жив, то я сказал бы ему: “Женя, ты докопался до настоящей золотой жилы...” — так, можно сказать, продлён поединок, не оконченный в своё время. Все извивы во взглядах автора крылатого выражения: “Поэт в России больше, чем поэт...” — прослежены и откомментированы с привлечением обширной доказательной базы.

Возникает вопрос: “Надо ли так подробно?” Дело в том, что человек, изменяющий кому-то или чему-то, неизбежно изменяет и себе. С этим трудно смириться тому, кто шёл с ним рядом многие годы. Отсюда негодование, обида, азартное желание доказать старому товарищу его неправоту. До самого последнего момента, когда Евтушенко со своими сторонниками в 1991-м предпринял попытку закрыть Союз писателей России как “идеологически обеспечивший путч” ГКЧП, неудачно попытавшегося остановить развал СССР. Имелось в виду “Слово к народу”, под которым поставили свои подписи писатели-парии Юрий Бондарев, Валентин Распутин, Александр Проханов и другие.

Будучи сам одарённым художником, Куняев создал образ-явление, образ-символ, знаковую фигуру времени. Как поэт и как гражданин, не отступивший в схватке с Евтушенко за Союз писателей России, он имел право провести исследование на материале, ему хорошо известном. Другое дело — задаться вопросом, как же случилось, что многочисленные поклонники поэтов, претендующих на особую роль, не смогли отличить приспособленчества от умения “держатъ руку на пульсе времени”?

Собственно, мы бы о многом догадались, если бы в своё время обратили внимание на “Пролог. Я разный...” из поэмы Евтушенко “Братская ГЭС”. Он выглядит длинным за счёт множества коротких строк, порой в одно-два слова или даже в один предлог. “Пролог” исполнен самоупоения и предчувствия либеральных свобод:

Я разный —
Я натруженный и праздный.
Я целе-
И нецелесообразный.
.....
Я так люблю,
Чтоб всё перемежалось!
И столько всякого во мне перемешалось...
.....
Я знаю — вы мне скажете:
“Где цельность?”
О, в этом всё огромная есть ценность!
Я вам необходим...
.....
Да здравствует движение и жаркость,
И жадность!
Границы мне мешают.
Мне неловко
не знать Буэнос-Айреса,
Нью-Йорка.
Хочу шататься, сколько надо, Лондоном,
Со всеми говорить —
Пускай на ломаном.
.....
Хочу искусства разного,
как я!
.....
Я в самом разном сам собой увиден...
и т. д.

Креативность, говоря по-современному, зашкаливает! Уважаемая публика предупреждена, что может ожидать от поэта всего, чего ей, публике, угодно. Молодой Евтушенко как будто предвидел, а может, уже ощутил приближение со стороны Запада общества потребления и громко объявил о своей

ему необходимости. В итоге было много написано и издано, много прочитано со сцены. При свойственном поэту артистизме его литературные вечера сольются с эстрадными номерами. Придёт успех, слава и любовь публики, признание сильных мира сего, в разных, как и мечталось, частях света! Чего ещё нужно от жизни?

Но вдруг, как из-под земли, забил родник “тихой” поэзии, напоминая о том, что существует другое восприятие мира. Оно ближе Есенину, а не Маяковскому, и не Серебряному веку, а Золотому. Поэтов поддержали критики Вадим Кожин, Юрий Селезнёв, поэт и публицист Станислав Куняев и многие другие. Так заявило о себе патриотическое крыло в литературе. Известно, что Евтушенко поначалу отмахнулся от “тихий”, как от маленьких “фетят” (имеются в виду последователи известного поэта Афанасия Фета).

Размежевание сил рассмотрено Куняевым тщательно и подробно. Мирозренческий раскол состоялся, каждая сторона пошла своей дорогой. И тут бы хотелось подчеркнуть, что раскол и конфликт были именно духовного порядка, по принципу “мы не такие, как вы” (Лев Гумилёв). Корни уходят в представления о ценностях, а ценности – в религию, что в атеистической стране стало очевидным не сразу. Это во-первых. Во-вторых, в СССР при идее всеобщего равенства столкнулись две цивилизации – городская (как более передовая) и деревенская (как уходящая в прошлое). Не случайно поднялись вместе “тихая” поэзия и “деревенская” проза.

Итог раскола таков – в 1990-х победило либеральное крыло. Если на первое место в культуре вышли зрелищные искусства, то из литераторов привечались те, кто ближе к либералам, – грантами, фондами, проектами, участием в престижных книжных выставках и т. д.

Затянувшийся спор Куняева с Евтушенко – не просто разрыв отношений двух поэтов. В нём отпечаток глубокого разлома, повлекшего за собой удар по патриотическому крылу интеллигенции, больше “деревенскому”, чем “городскому”. По тем писателям, для кого слова, с которых начинается свою книгу автор: “Литература в России – это вторая религия”, – не потеряли своего значения.

* * *

Причина негодования Куняева состоит в той “золотой жиле”, которую стал разрабатывать Евтушенко, бичуя в стихах призраков из российского прошлого – “охотнорядцев”, “черносотенцев”, а из настоящего – современных “вандаев”, “русских коал”, и особенно – антисемитов. Из всех стрел последняя оказалась самой ядовитой.

В постсоветском обществе быстро выстроилась идеологическая цепочка: патриотизм – национализм – фашизм. Действенный приём, чтобы писатели-патриоты были записаны в маргиналы и замолчали.

Недавно на глаза попала газета “Консерватор” № 18 (34) 2003 года со статьёй Армена Асрияна “Антисемитофобия” и врезкой: “Борьба с антисемитизмом, приобретающая вселенский размах, потеряла всякую связь с реальностью”. В ней говорилось о том, какой вред наносит эта “фобия”, в том числе и евреям. Что ж, судя по имени, автор – армянин, ему можно говорить прямо. . .

В итоге Россия, запуганная “русским фашизмом”, просмотрела реальный фашизм на соседней Украине, вовремя не открыла против него хотя бы информационную войну и в результате вынуждена бороться с оружием в руках! Наши либералы до сих пор пребывают в заблуждении, что нацизм на “Незалежной” – это ничего серьёзного. Если Запад решил бросить нацистов на самую грязную работу, а потом аккуратно стереть из истории (или убрать в запас), то для таких “стратегов” действительно ничего серьёзного.

* * *

Глава о Георгии Свиридове под названием “Да сгинет тьма!..”, наверное, самое светлое, что есть в этой книге.

Посвящённая великому русскому композитору XX века, она даёт ощущение выхода на целебно-освежающий воздух, в мир чистых отношений.

Он пропитан взаимопониманием, душевной привязанностью людей, у которых Родина одна и взгляды на искусство и жизнь близкие. Из воспоминаний Куняева и монологов Свиридова предстаёт образ русского витязя от музыки, аскетичного по отношению к материальным благам, приверженного русскому пути в искусстве, одинокого, но не впадающего в уныние в свои немолодые годы. Полны благодарности композитору строки автора книги за поддержку его критики творчества Владимира Высоцкого и других кумиров массовой культуры в статье “От великого до смешного...” 1982 года, вызвавшей бурю читательских откликов.

По-хорошему удивила в письмах Свиридова оценка стихов друга-поэта. В ней не только восхищение, но и чуткое проникновение в смысл, несогласие с какими-то строчками, совет что-то переделать. И ответная честность публикатора писем, не сделавшего сокращений на этот счёт. Такое встречается редко. Чаще наблюдаешь обратное: одно замечание – и недавний друг становится врагом надолго, если не навсегда. А ведь откровенность – одна из лучших черт русского характера.

Русский характер, русский вопрос... Вот на чём надо сосредоточиться сегодня. Где наша объединяющая сила, наша соборность? Почему так мало согласия? Какие ещё нужны опасности, чтобы мы прозрели?..

В монологах Свиридова задевается тема мировой закулисы – сети, раскинутой теми, кто претендует на то, чтобы повелевать миром. При этих словах либерально настроенный читатель наверняка поморщится – опять мифы о заговорах! Мифы или не мифы, но ведь сегодня “коллективный Запад” действует по сговору заодно против одной страны – России!

Говоря о Мусоргском, Свиридов отмечал в его музыке прозорливый “грохот разрушающихся царств”. Мы сами живые свидетели падения империй. А царства зла разве непоколебимы и вечны? Тогда скажите, в чьё всемогущество будем верить: Бога или дьявола?..

* * *

Страница “шестидесятничества” перевёрнута. В поэзии, как в зеркале, отразился путь отступничества и соблазнов, подтолкнувший Россию к последней черте. Но только ли эта страница канула в Лету? Не наступило ли время заключительных итогов истории цивилизованного человечества?..

Сдвиг в безвременье начался с череды предательств, прикрывшихся гуманитарными свободами. Для множества людей эти свободы обернулись убаюкивающей тягой к комфорту, для правящих меньшинств – возможностью манипулировать сознанием обывателей в своих интересах. Встречный пал, пущенный в ответ на огонь в сторону России, раздуваемый Западом и Америкой начиная с Югославии, призван уничтожить пожар. Но пока орудия бьют, не переставая, трезвый взгляд на грянувшее лихолетье пробивается с трудом. Он придёт, как и положено, после событий. Главное, чтобы это *после* наступило.

АЛЕКСАНДР НЕСТРУГИН

“ДАЙ МНЕ
САМОМУ ЕЁ ПРОЙТИ...”

Размышления о творчестве Евгения Семичева

Это правда Евгения Семичева. Поэта большого, подлинного – и душевно близкого мне. И я тянусь к нему, тянусь – сердцем, словом своим взволнованным. И знаю точно: это не Семичеву, а нам повезло, что он, не искавший в поэзии лёгких дорог, сумел к нам выйти.

*В том, что меня не замечали,
Давно уж нет моей печали.*

Евгений Семичев

1

Когда-то, уже в годы зрелые, явились мне, написались-выдохнулись эти строки: “А стихи – это тонкие первые книги, / Что стесняются юной своей худобы”.

Конечно, в этом непритязательном поэтическом вздохе – только доля истины, но какая она, эта доля, горько-весомая... Особенно применительно к нашему поколению – тех, кто начинал “проламываться в литературу” (Ф. Искандер) в семидесятые годы прошлого века. Сколько было тогда всяких семинаров-пленумов, совещаний молодых – от областных до всесоюзных! Как водится, всякий раз кого-то открывали, и книги у этих ребят выходили – иной раз и в довольно юные годы, в двадцать с небольшим. Но для всех талантливых авторов места в обоях не находилось – по разным причинам. Был в этом, наверное, и практический смысл: издательские позиции не безразмерны, всех не втиснешь. Потому-то большинство авторов первых

НЕСТРУГИН Александр Гаврилович родился в 1954 году в селе Скрипниково Калачевского района Воронежской области. Автор шести сборников стихов, вышедших в Москве и Воронеже. Стихи и эссе печатались в журналах “Дон”, “Подъём”, “Простор”, “Русское эхо”, “Гостиный двор”, “Сура”, “Огни Кузбасса”, “Вертикаль-21 век”, “Роман-журнал 21 век”, “Новая книга России”, “Молодая гвардия”, “Москва”, “Наш современник”, “На любителя. Русский литературный журнал в Атланте” и других, в газетах “Российский писатель”, “Литературная Россия”, “День литературы”, “Литературная газета”. Лауреат премии воронежского комсомола имени Василия Кубанёва (1988), всероссийской литературной премии “Имперская культура” имени Эдуарда Володина (2008). Член редколлегии журнала “Подъём”. Член Союза писателей России.

книг уже вполне годилось для участия в культмероприятиях под девизом “для тех, кому за тридцать”.

Ощущение это – многолетнего ожидания – не из приятных, по себе знаю, но ведь не зря говорят, что нет худа без добра. В то время даже самые serene первые книжки не давали послевкусия “самогона с махрой”, высокий издательский уровень был тому порукой.

А иногда казалось, что за поздним дебютом стояла сама судьба: столь зримо и твёрдо, неоттеснимо-неуступчиво проступала она сквозь припозднившиеся вроде бы строки, что о каком-то ином, внешне счастливым развитии событий не хотелось даже думать.

Именно таким был дебют Евгения Семичева.

Как ни удивительно, этот ныне широко (насколько это возможно в рамках сложившихся литературных реалий) и заслуженно известный художник слова из советской литературы, можно сказать, выпал напрочь. Родился Семичев в 1952 году, а первая его книга “Заповедный кордон” вышла только в 1991 году, на изломе времён. Вышла она в Самаре, объём – печатный лист с небольшим, тираж – тысяча экземпляров. Не надо даже вычитать в столбик, чтобы прикинуть: дебютанту – почти “сороковник”. А страна распадается, рушится, вокруг – отчаяние, безденежье, безнадёга.

Скажите, разве человек, обладающий “зрело-взрослым” умом, мог бы при таких обстоятельствах поставить неопределённую будущность свою, даже жизнь саму – на поэзию?

Нет, конечно.

А вот Семичев – решился.

Вряд ли решение это далось ему легко. Но рядом с ним была в ту минуту его первая книга – та самая, тонкая, *стесняющаяся своей худобы*.

В его стихах была та непередаваемая, не поддающаяся лабораторно-книжному возвращению внутренняя дрожь, которая – прикоснись только – перехватывает горло, обнимает, прижимается к тоскующему сердцу.

Собаке снится речка, не иначе...
Вот почему, вздымаясь среди сна,
Колышется ребристо грудь собачья —
Как за волной вздымается волна.

А лодке снится, что она собака,
Прикованная к берегу реки.
И вздрагивают волны среди мрака,
Как вздрагивают спящие щенки.

В этих строках – ни единого поэтического изыска, манерно-затейливого, притянутого за уши образа, самовлюблённой метафоры, цветисто-пышного эпитета. Но как зримо, влекуще, волнуяще сказано, не правда ли?

Здесь, на страницах этой тоненькой книжки, многому ещё – необычному, точному, зримому – нашлось место.

Это и речка, которая “спала с лица” (какое ненатужное, тёплое олицетворение!). И птица-подранок, приходящая на помощь человеку, которому “не с кем даже горем поделиться”:

Если человек один не воин,
Помогай, израненная птица.

И растущая на шумной коммунальной кухне трёхлетняя соседка-волшебница Янка, доверчиво-щедрым, наивным, спасительным теплом своим преображающая суровый взрослый мир:

Только ткнётся личиком в ладони
Грубые, шершавые мои,
И они серебряной ладьюю
Проплывают по морю любви.

И прохожий, которого ни в какой другой книжке не встретишь:

Под твоей сверкающей подошвой
Бездорожье моего пути.
Уступи дорогу, если можно.
Дай мне самому её пройти.

В первое мгновение торкнется сердце несогласно; но — только в самое первое мгновение. Да, все мы — верующие и вроде бы атеисты, крещённые в купели или одним только июльским дождём-проливнем — в нелёгкой жизни своей земной взыскуем небесного покровительства.

Но пройти бездорожьем — так, чтобы за твоей спиной лёг Путь, — нужно самому. Без этого стихотворцы, даже неплохие, случаются, поэты же — никогда. Семичев уже тогда — без имени, будучи даже в глазах не самых злобных “доброжелателей” лишь дебютантом-переростком, провинциальным “пинжаком”, — это знал. Да что знал — он уже давно шёл своим бездорожьем.

К своему Пути.

И ангел-хранитель, уважая его выбор, только поглядывал на него издали — то с облака белого, то с чёрной тучи. . .

2

Вслед за первой книгой явилась вскоре, в 1994 году, и вторая — “Свете отчий”. Вышла она там же, тем же тиражом, такая же “худенькая”. Но случилось это уже в другой стране, после позорного Беловежья, после расстрела Верховного Совета. Страшное было время, безысходное, суицидальное. Но дыхание надежды, хоть и слабое, не пресеклось, — может быть, и потому, что такие вот книжки ещё выходили. . .

Его поэтический голос крепнет, взгляд становится всё пристальнее и зорче, на скулах проступают-топорщатся упрямые желваки, выдавая характер большого поэта.

И становится ясно, что путь этого возмужавшего русского парня-волжанина, ещё недавно — неприкаянного скитальца, дорожащего вольной волею забияки-удальца, есть путь воителя и провидца, печальника и защитника Земли Русской. И лежит этот путь через земные хляби и бездорожья — не только личные, но и глобально-исторические, державно-народные — к несканному вечному свету, свету горнему.

Мне снятся крестный ход
И мальчик невесёлый.
Ему десятый год,
А крест такой тяжёлый.

Хоругви за спиной
Плывут во тьме окрестной.
И горек край земной.
И сладок рай небесный.

А голос с небеси —
Суровая громада:
— Неси свой крест, неси,
Возлюбленное чадо.

Это начало стихотворения “Крестный ход”, вроде бы, судя по первым строкам, несколько умозрительного. Но стоит вчитаться, вжиться в этот текст, и в самой ритмике этих строк, а ещё более — в тяжести креста, гнетуще несопоставимой с возрастом несущего этот крест мальчика, в тяжком колыхании хоругвей, в суровом голосе с небес — являются нам приметы слова подлинного, сокровенного. И — праведного, лично-правдивого.

Вокруг клубится мрак.
Вся в рытвинах дорога.
Ему охота так
Пожить ещё немного.

Его терзает дрожь.
А крест такой тяжёлый.
Он на меня похож,
Тот мальчик невесёлый.
.....
Кольшутся дымы
Над кровлями избёнок.
Народу тьмы и тьмы...
...А крест несёт ребёнок!

Стихотворению этому предстоит пережить ещё множество толкований. Пожалуй, сыщутся и такие “поборники прав человека”, которые истолкуют этот поэтический текст как свидетельство ущербности русского духа, самого православного мироустройства нашего. Ещё бы: “тьмы и тьмы” идут налегке, будто не замечая муки ребёнка, несущего крест — за них и для них.

Им, с усохшими родовыми корнями и вывихнутым нравственным чувством, не объяснишь (да и не надо объяснять) очевидное: русский крест всегда выпадает нести самому светлому из нас, самому чистому, с незамутнённой земными страстями душой. И этот ребёнок в семичевском стихотворении — как образ, как символ — это, в какой-то мере, каждый из нас. Вернее, то лучшее, честное, милосердно-светлое, что ещё в нас есть. И каждый из тех, кто помнит свой долг, земной и небесный, всю жизнь сгибается под тяжестью этого креста — и всё же несёт его, несёт...

Ну, а если смотреть на образ этот в ином ракурсе, так сказать, глобально-исторически, то вполне может увидеться, что ребёнок этот, несущий “крест такой тяжёлый”, — Россия. Ведь по историческим меркам возраст у нашей страны ещё детский. И нести крест этот извечный, а вместе с ним свет веры и добра, высоких нравственных истин, кроме неё — некому.

В книге “Свете отчий” есть и такие стихотворения, где поэтическая энергия автора нашла для своей реализации иные формы, нежели балладный лирико-философский сгусток. Традиционно для Е. Семичева сильна в ней чисто лирическая составляющая.

Вот поэт говорит с *печалью* — не самой желанной спутницей-собеседницей для многих из нас. И в разговоре этом, таком товарищески-доверительном, теряется, становится почти неразличимым поверхностно-бытовое — и проступает истинное, глубинное, чего мы так часто не замечаем или не хотим видеть.

Понемногу приручай
Мою душу к птичьей стае,
Чтоб врасплох и невзначай
Нас метели не застали.

Путь-дорожку примечай
Крепко-накрепко навеки.
Уходя, не выключай
Свет свой тихий в человеке.

Этот тихий свет вкупе с зорким сердцем помогает поэту увидеть, что отживший своё прошлогодний снег плачет, “словно человек, повидавший всё, усталый”.

В этом свете, окружённом неизбывным душевным теплом, совсем иной, не обыденный смысл приобретают слова, обращённые к бездомному ворову, “бедолаге застрешному”:

Хватает под солнышком вешним
И света тебе, и тепла.
Зачем тебе эта скворешня?
Всего-то четыре угла...

И даже тогда, когда подступающая душевная усталость пытается отобрать у него веру в “чудеса”, Евгений Семичев остаётся верен себе, не выпускает из рук Божьей милостью дарованный ему поэтический калейдоскоп.

Я не верю, не верю, не верю
Ни в какие уже чудеса.
Почему же ветвями дерева
Так цепляются за небеса?

И ветрами — не странно ли это?
За какую такую вину? —
Золотые осколыши лета
К моему намечает окну.

Такое только в поэзии возможно, в поэзии подлинной, животворящей: когда троекратно повторённое “не верю” как раз-то о вере и говорит, кричит-шепчет нам.

О вере в жизнь, такую, казалось бы, обрыдшую, серо-обыденную, обречённо-осеннюю и — знобяще-высокую, небесную, неизбывную, особенно ясно видимую там, где светятся “золотые осколыши лета”.

И вот уже поэт, живущий в неизвестности в далёком своём “неуютном городке”, словно прощается с нами, но прощание это освещает тихим светом своим всё та же печаль-надежда:

Отразился в мутных лужах
Неуютный городок.
Никому я здесь не нужен.
Капитан, давай гудок!

Распогодилась погода.
Капитан, имей в виду:
Пристань есть у небосвода.
Доплывём, и я сойду.

И почему-то верится, что небесная пристань — особенно теперь, когда “распогодилась погода”, — это не край, а только начало, самое начало пути — дальнего, небесного. И туда, на заветную пристань эту, обязательно позовет поэт и нас, давно уже не чужих, поверивших ему, его сердцем выверенному слову.

Вышедшая в Самаре вскоре, в начале 1995 года книга стихов Евгения Семичева “От земли до неба” как бы выросла из двух предыдущих, — не столько даже стилистически, лексически и тематически, сколько — по взгляду, интонации, по глубине постижения, сердечно-душевного осмысления мира. Не чурающийся острой социальности, ершистый, а порой и резкий в поэтическом жесте, Семичев вроде бы и не меняется, просто всё более “выдаёт себя” как лирика — проникновенного, предельно искреннего, чуждого самолюбования. В стихотворении “Сердце” он говорит:

Нечем мне особенно гордиться.
Может, на хорошие дела
Добрым людям в жизни пригодится
Горсточка сердечного тепла.

Гордиться-то, конечно, уже есть чем, но... всё то, чем может гордиться поэт, оно ведь и есть — “горсточка сердечного тепла”. Тепла, отданного людям. Таким гордятся разве?

Таким — живут.

Как живёт, например, врачующий людские раны подорожник, — так похожий на лирического героя одноимённого стихотворения:

Мой опечаленный художник,
Тебе открою я секрет:

Вот этот лунный подорожник —
И есть мой истинный портрет.

Но за скромностью (вовсе не напускной) внимательному читателю открывается поэт высокий, мастер зрелый. Его метафоры дышат неохватным простором, и в то же время в них и намёка нет на что-то заёмное, неорганичное, “конструкторское”:

Повела однажды оком —
Зачерпнула небосвод.

Это — о бабушке Марусе из стихотворения “Удивлённые глаза”. А шире — о русской женщине, и даже — о душе русской.

А вот из стихотворения “Навеки”, — о любви-боли, о прощании:

Положи себе небо на грудь,
Как кладут его русские реки...

Не слукавил поэт, давая название этой своей книге: образы в ней, без преувеличения, встают от земли до неба.

Там же, в небесном, завязка стихотворения “Как ты хотела”, относящегося, на мой взгляд, к лучшим образцам русской лирики конца двадцатого века:

Когда душа сольётся с небом
И станет некуда бежать,
Я буду снегом, белым снегом
На синем облаке лежать.

Вступивший в дело “дядя Жора — местный дворник”, “он снег развеет по России”, и свершится, как хотелось ей, женщине:

Я окажусь, как ты хотела,
Лишь у тебя под каблуком.

И получилась бы лирическая такая усмешка, чуть горьковатая, в меру ироничная, если бы не последняя строфа:

И буду снегом,
Чистым снегом
Под каблуком твоим дрожать.
Тогда земля и станет небом,
И будет некуда бежать.

Парадокс: круг лирического образа замкнулся, а поэтические смыслы — рванулись за пределы очерченного, взмыли высоко-высоко, голубиной почтой полетели во все стороны света. Их, эти смыслы, уже толковали, и ещё истолкуют не раз, но мне-то что до того?

Мне вот что видно: свет человеческого чувства — высокого, жертвенного, даже отринутого, ставшего снегом, — не исчезает бесследно. Именно тогда, когда он, этот чистый снег, уже низвергнутый с небес, касается грешной земли, земля становится небом...

3

“И вот однажды...”

Эту фразу очень любят авторы беллетризованных биографий и охочие до сплетен “из жизни звёзд” обыватели. А завершает каждую такую “рождественскую” историю привычное резюме: “Повезло!” Имеет ли всё это какое-то отношение к жизни и творчеству русского поэта Евгения Семичева? Ну, совсем без удачи человеку пишущему нельзя, такое уж это особенное, тонкое дело.

Только ведь удача удаче рознь. Семичевское “однажды” разительно отличается от стандартных историй такого рода. Биографический справочник портала “Хронос” говорит об этом по-военному сухо и кратко: “В 1995 году Семичев был принят в СП России и стал слушателем Высших литературных курсов при Литературном институте им. М. Горького (семинар Ю. П. Кузнецова)”.

Ого, сколько сразу событий в жизни провинциального литератора!

Но...

Принятие в Союз писателей России – удача?

В какой-то мере – да: самая солидная писательская организация страны, наследница Союза писателей СССР. К этому времени Семичев – автор нескольких сборников стихов, причём в сборниках этих – именно поэзия, а не рифмованный словесный мусор. Так что здесь, скорее, естественное развитие событий, даже несколько запоздалое.

А Высшие литературные курсы – не удача разве?

Учебное заведение – штучное, гранильня для самородков, случайных людей туда не брали. Но – время-то какое на дворе было, припомнили? Да и личные обстоятельства поэта так складывались, что хоть волком вой: безденежье, полуголодное столичное существование, навевавшее только одну мысль: а не послать ли всю эту учёбу к чёртовой бабушке? Остался, перемог, выстоял – не без помощи добрых людей. Но история эта, согласитесь, – явно не рождественская...

Вот встреча с Кузнецовым – это да, удача редкая.

И речь здесь не о какой-то сугубо практической литературно-карьерной выгоде (скажем, те же публикации в журнале “Наш современник”). Там, у Москва-реки, сошлись Кубань и Волга – и потянулись друг к другу. Сдаётся мне, что пришедший в большую поэзию вовсе не кубанским пыльным просёлком, а кремнистым лермонтовским путём Кузнецов разглядел, сумел увидеть на стёртой-сбитой обувке упрямого самарского путника не одну только равнинную пыль-печаль, но и – такой знакомый – кремнистый отблеск...

Конечно, упомянутые выше события, в том числе и двухлетнее пребывание на ВЛК, общение с Юрием Кузнецовым, важны и значимы. Но они вовсе не явили миру нового, ранее не существовавшего поэта.

Думаю, что произошло иное: поэт – уже сложившийся, крупный, давно переросший провинциально-губернские мерки – смог наконец выйти из тени, его тяготившей, на свет.

Распрявился. Расправил плечи.

И разгляделось-увиделось очевидное, хотя сказалось об этом разным литературным людом по-разному: кто-то выдохнул: “Богатырь!”, – кто-то обозвал “явлением”, а кто-то, у кого настолько “в зобу дыханье спёрло”, – только рукой махнул.

Множась и ширясь, пошли-покатились по городам да весям, ближним и дальним, публикации “из прежнего”, раз от разу всё боле весомые, заметные.

И новые стихи случались – всё того же штучного семичевского слова и жеста, но ещё более распахнуто-раскованные, сквозяще-ознобные, провидческие.

Этот город похож на тюрьму...
Сквозь узоры решётки надёжной
Он глядит в непроглядную тьму
С непроглядной тоскою остройной.

Страшноватое, почти апокалипсическое зрелище: город-тюрьма на руинах великой страны. Но время это – растоптанных судеб, разрушенных надежд, полубандитское тёмное время мамоны – явилось не само собой. Это мы, под заботливый шепоток бесов-искусителей всякого рода и пошиба, о нём возмечтали. И оно, явившись, нас отблагодарило:

Дверь железная у входа,
Окна — кованный металл.
Вот желанная свобода,
О которой я мечтал!

Славно отблагодарило: вместо былой, может, порою и тесноватой, не слишком сытой, но дававшей уверенность в завтрашнем дне жизни общей, соборной – персональная тюремная камера каждому. Да ещё и собственными же руками сооружённая. С редкой возможностью глядеть на бандита-надзирателя через персональный “глазок” – и вдохнуть, не выходя за порог, “ароматы истинных человеческих ценностей”.

Давно над златом сдох Кашей,
Но вновь смердит, как сила вражья,
Останками его мощей
Останкинская телебашня.

Социальность Евгения Семичева – это естественная реакция человека, оказавшегося в воде после кораблекрушения и захлестнутого солёной волной. Но пловец этот – закала особого: вынырнув, он не вцепляется насмерть взглядом в спасительный берег, но ищет глазами своих товарищей по несчастью – более слабых, тех, кому без его помощи не выплыть.

А над землёй родное солнце
Ласкает светом этажи.
А под землёй в глухом колодце
Спят малолетние бомжи.

“Как слов не вычеркнуть из песни”, не вычеркнуть “из памяти России всей” и чёрные наши годы – такие, как явленный нам в одноимённом стихотворении Семичева 93-й. Не вычеркнуть

И тех безвинно пострадавших —
Всех дочерей и сыновей.
И тех, без промаха стрелявших
В затылок Родине своей.

Но, помня горькое и тёмное, помнит поэт и своё предназначение.

В городишке уездном
Я живу — не тужу.
По мерцающим безднам,
Как по лужам, хожу.

Высока и отвесна
Надо мной тишина.
Что для русского бездна?
Мать родная она!

И мы, читатели, спокойно идём за поэтом Семичевым – к Родине, к вере, к себе самим – “по мерцающим безднам”. И взлетаем, взмываем к небу вместе с ласточкой – вестницей светлого дня:

Городская ласточка-воронок
Поутру срывается с каланчи.
К полотну небесному, как челнок,
Пришивает солнечные лучи.

И нам рядом с семичевским словом – тревожно-знобко, да, что и говорить, но и – надёжно так, неодинокое и солнечно...

Всего того, что случилось с Евгением Семичевым в его “послемосковской” жизни и поэзии (после ВЛК уехал он в родные места, в невеликий волжский городок Новокуйбышевск), я коснулся лишь краешком пера, вскользь.

Объяснение здесь простое: зрелый, сегодняшний Семичев – открытая книга для всей литературной улицы. Критик ли ты, литературовед, просто любитель поэзии – всякому ведомо это имя. Ведомо не благодаря пиару, а по

заслугам. И заслуги эти поистине велики: одних литературных премий (среди них есть и очень значимые – например, Большая литературная) с десяток наберётся.

Публикаций по всей стране и за рубежом – не счесть.

Книги выходят, весомые, в твёрдой одежке, не чета тем, первым (но тем, первым – родные).

Поэт читает свои стихи и в сельских Домах культуры, и в ЦДЛ, и в Государственной Думе – и везде его слышат.

Его зовёт к себе в Иркутск на фестиваль Валентин Распутин...

Этого Семичева, русского поэта самого первого ряда, уже не замолчишь, не “отменишь”, и это отрадно. Но когда говорят о нём, вспоминают его стихи, цитируют, то порой не ведают даже, что цитаты эти – из иных, трудных, дальних времён.

Из тех времён, где безвестный, не обласканный судьбой поэт идёт к нам почти непроходимым своим бездорожьем, жизненным и литературным. Даже теперь не забылось:

В пору юности радужной, вольной
Меня били, как селезня, влёт...

Да, у него есть ангел-хранитель, но разве станет русский поэт выходить к своему Млечному Пути, сидя у кого-то на закорках?

Трудно ему, одиноко и зябко, тому Семичеву. И я тянусь к нему, дальнему, ещё не знакомому, через года. Порой ночной достаю с ближней полки тонкие его книжки, и не скольжу взглядом по строчкам, не перечитываю – разговариваю с ними, вслушиваюсь в них...

Когда говорят о взаимоотношениях поэтов, то нередко вспоминают обречённую одним из них фразу – дескать, “у поэтов есть такой обычай – в круг сойдясь, оплёвывать друг друга”. А я помню (и нередко повторяю) совсем другие слова:

Поэты тянутся друг к другу,
Как и положено родне...

ВАДИМ КАРАСЁВ

“В МОЕЙ ДУШЕ — ОДНА ЛЮБОВЬ...”

Заметки о творчестве Михаила Анищенко

“Мы с тобою всё начнём сначала”

Мне повезло. Во второй половине восьмидесятых я работал в газете “Волжский комсомолец” в её лучшую пору — вместе с удивительными и талантливыми людьми. Все вместе мы были командой. И я с удовольствием вспоминаю о том времени и о той редакции, в которой было гораздо больше весёлой вольности, чем корпоративной чопорности. Мы дружили, спорили до хрипоты, дурили, играли в футбол, устраивали праздники с совместными чаепитиями и песнями под гитару. Проводили шахматные турниры, порою даже забывая о статьях в номер. И писали о тех переменах, которые стали происходить в обществе. Одним из самых ярких и азартных “игроков” в этой команде был Михаил Анищенко, тогда — корреспондент отдела рабочей и сельской молодёжи. Громкий, порою занозистый, но никогда не державший камня за пазухой и беззащитно открытый. Боец по натуре, он всегда включался в редакционные битвы, борясь за то, что считал справедливым.

Распад команды совпал с распадом государства. Кто-то стал известен на всю страну, кто-то уехал за границу, кто-то ушёл в бизнес, кто-то продолжает работать журналистом, а кого-то уже нет на белом свете. Но каждый из этих людей остаётся для меня отдельной планетой.

Мне кажется, раскол в обществе и в душах отразился и в стихах Анищенко — трагических, порою безысходных стихах, заставляющих вспомнить о судьбе таких поэтов, как Есенин и Рубцов. И это мироощущение совпало с мироощущением многих людей переломного времени. Что и требуется от большого поэта.

И в то же время, как Есенину и Рубцову, Анищенко удалось раствориться в российских просторах, слиться с ними, стать частью природы.

В жизни обычно ценишь лишь то, что исчезает. Воду — когда она стекает сквозь пальцы. Солнце — когда оно, багровея, сползает за горизонт. Михаил Анищенко — как мало кто другой — смог передать печальную, пронзительную красоту мироздания.

Его поэтический мир пропитан запахом трав и речной воды возле причала. Этот мир наполнен небом и безбрежными российскими просторами:

В моей душе одна любовь,
Одна, но вечная зарница!

Мне отдают сегодня кровь
Ромашки, бабочки и птицы.

Во многих его стихах – трогательная, почти безнадежная попытка достучаться до сердца человека, оказавшегося в кабале цивилизации, чтобы освободился он от шелухи буден и оказался один на один с огромным, неприютным, но свободным миром природы:

Забудь слова, приметы, лица
И, счёты с миром не своя,
Попробуй взять и раствориться
В холодных капельках дождя.

Попробуй тихо, неумело
Войти в деревья и ветра.
Пусть без тебя побудет тело
На мокрой лавке до утра.

И грядущий уход из мира природы не страшит Михаила Анищенко – человека, чувствующего дыхание земли, поэт с крестьянскими корнями:

Выйду в студёные росы,
Тихо растаю во мгле.
Так вот и кончится просто
Время моё на земле.

В его мире Волга становится пограничной рекой, за которой “вековой разлад”, и возникает ощущение, что заплутал человек в погоне за призрачными благами, очутившись в кабале города.

Характерно, что в своей автобиографии поэт вспоминает о том, как в детстве переплыл Волгу и что для него это было неким знаком инициации, свидетельством его избранности. Характерно и то, что спустя тридцать лет он повторил этот опыт и снова переплыл Волгу, о чём он вспоминает в автобиографии.

В 1997 году поэт ушёл со службы в городской администрации, покинул Самару и жил потом в Шелехмети. В автобиографии он пишет, что, уезжая в Шелехметь, он переплыл через Волгу, словно через Лету...

Дон Кихот и Шелехметь

Его неожиданный отъезд в Шелехметь, разрыв с семьёй, уход с работы в городской администрации – всё это вызвало немало домыслов в кругу людей, которые его знали. Поговаривали, что он строит в Шелехмети какую-то коммуну, объединяя вокруг себя преданных ему людей, и что вообще сознание его помутилось. Много несурезицы говорили.

На самом деле, когда Анищенко, бросив всё, переехал из Самары в Шелехметь, человек и поэт в нём совпали. Реальная отрешённость Михаила Анищенко от быстротекущей жизни с её страстями стала не поэтическим образом, а правдой. В этом его спасение и судьба.

Враки, что кончилось счастье,
Что подступает беда.
Просто в такое ненастье
Мало кто едет сюда.

Сам Михаил пишет о том, что в этот период жизни тоска и отчаяние сменились в нём ощущением, что он должен выполнить своё предназначение.

Философское занятие, заметил однажды грузинский философ Мераб Мамардашвили, начинается тогда, когда “перейдён край отчаяния и начинается трагическое осмысление, возникает ровное и спокойное расположение духа”. Думаю, то же самое зачастую можно сказать и о литературном занятии, которое по своей сути – тоже философское.

У Дон Кихота ведь тоже было ощущение своей избранности. Он чувствовал себя рыцарем, который восстановит справедливость на Земле. Михаил Анищенко в своей автобиографии не скрывает подобного ощущения в собственной душе. Дон Кихоту были нужны ветряные мельницы. Так и Михаилу Анищенко, мне кажется, требуется ощущение неприятеля, с которым бороться.

Михаил может быть запальчивым, может ошибаться, особенно на политическом поле, пускаясь в битву с ветряными мельницами. Помню, сколько страсти и сколько донкихотства проявил он во время самарских мэских выборов, борясь со ставленниками олигархов и создавая былинного народного героя в лице одного из кандидатов – Олега Киттера.

Как и Дон Кихота, Михаила Анищенко ждали синяки и разочарования. Но, думаю, он никогда не предавал в себе то идеальное начало, которое жило в нём с детства. В своей автобиографии “Что-то было” Михаил Анищенко пишет, что с молоком матери впитал в себя русские сказки, мифы, легенды. Он как будто погружает себя – своё творчество и свою биографию – во всё это.

В его жизни и творчестве есть какая-то игра, правила которой непросто разгадать. Но, наверное, во всём настоящем есть волшебные и неразгаданные правила игры. В жизни, лишённой этих правил, есть что-то циничное. Когда же волшебство – летучее, неуловимое – превращается в догму, аромат развеивается и остаётся лишь жёсткий, железный каркас условностей, которым ограничена человеческая жизнь. И тогда любовный напиток выпит и вкус его забыт. А взамен – спитой чай повседневности, быта, регламента, условностей.

Какая-то неведомая чудесная сила выталкивает Михаила Анищенко из общего потока жизни наших современников, занятых в основном потреблением и жонглированием условностями.

Александр Блок писал в дневнике, что поэту всегда нужно ставить перед собой невыполнимые задачи: только тогда из-под его пера может выйти что-нибудь путное. Мне кажется, Анищенко жил по этому принципу. Дотянуться до высокой планки не всегда в силах человеческих. Отсюда возникали новые приливы тоски, которая разлита по его стихам.

“Бесконечная печаль”

Уже первая строка его автобиографических заметок “Что-то было” звучит так: “Бесконечная печаль”. Тоска, спутница космического одиночества, повсюду сопровождает поэта. И в столице, и в деревне, и в дороге. И среди людей, и в уединённом размышлении. Судьба для него – как дворняжка, которая ненавидит жить в своей конуре. И, развивая этот образ, поэт заканчивает одно из своих стихотворений таким образом:

И не знают собаки, откуда
К ним приходит ночная тоска.

Бескрайняя российская тоска – то, что объединяет его с соплеменниками.

Смеяться. Петь. Тужить.
Дрожать от слёз, как небо.
В больной России жить
Нескладно и нелепо.

В опале, взаперти
Не думать о свободе,
С восьми до девяти
Копаться в огороде.

Так большинство из нас и живёт. И чувствует себя при этом прекрасно. Михаил Анищенко, человек метафизического полёта к небу, человек, которому важно меняться, двигаясь по жизненному пути, не может жить так. И не может иначе. И снова возникают приливы вселенской тоски. И желание утопить её по-русски в стакане горькой.

И вдали от города и его страстей нет покоя человеческому сердцу:

Старый дом. Нелепый случай.
Ничего здесь не найти.
Есть куда податься тучам.
Небу некуда пойти...

Как всё пусто и нелепо
На любом земном пути.
Вот и всё. И мне, как небу,
Больше некуда пойти.

“Сживают поэта со света...”

Стихи Михаила Анищенко наполнены кровью. И рифма “любовь” и “кровь” появляется в них естественно, как естественно рождение живого существа. Порою даже возникает ощущение, что он специально берedit свои душевные раны, чтобы наполнить стихи вытекающей оттуда кровью.

То и дело в них появляется ощущение собственного изгнания из этого мира. Одно из стихотворений так и начинается:

Сживают поэта со света...

Порою возникает ощущение, что поэт культивирует тему гонения на себя. Мне иногда представлялось, что Михаил мифологизирует силу врагов, которые, как казалось ему, окружали его. Помню, как в “Волжском комсомольце” он написал критическую статью о концерте Розенбаума в Самаре. А потом по журналистской командировке Михаил оказался в Москве на слёте афганцев, которые боготворили этого исполнителя. Розенбаум вышел на сцену. “И тут в зрительном зале раздался гул, – рассказывал потом Михаил. – Я сидел там же. Укажи он на меня пальцем – они тут же порвали бы меня!”

Иногда Анищенко, говоря о своём изгнании из мира, называет себя бомжом. Анищенко вспоминает в автобиографии странную историю о том, как некие загадочные люди лишили его дома и чуть не лишили жизни. Сколько раз подобным опасностям подвергался Дон Кихот... Он же тоже был своего рода бомжом – с тех пор, как превратился из добропорядочного идалго в странствующего рыцаря.

Думаю всё же, что Поэта в нынешнем мире убивает не столько ненависть завистников, сколько равнодушие.

Ощущение неприкаянности, ненужности в этом мире сквозит во многих стихах Анищенко.

Я люблю это время и место,
Шорох трав и мерцанье огня.
Моя жизнь, как чужая невеста,
Никогда не полюбит меня.

Футбол на Проране

В жизни Михаилу Анищенко нередко приходилось начинать всё сначала. Чем он только не занимался на этой земле...

В автобиографии Анищенко с юмором описывает своё посвящение в рабоче. “В рабочий класс меня посвятили мужики из группы механика. Они привели меня в раздевалку и налили полную кружку обработанного солью клея БФ. Я не смог выпить адскую смесь до дна и понял, что настоящего рабочего из меня не получится”. Потом он был и дворником, и сторожем, и слесарем-сантехником. Делать карьеру он просто не мог. И не хотел.

Помню, для газетных статей Михаил придумал себе такой псевдоним, сохранявший некоторую родственность с фамилией, – А. Нищенко.

Анищенко ощущает духовное родство с великими бунтарями и изгнанниками, отверженными миром. Помещая в свою книгу переводы юного французского бунтаря Рембо, он придумывает для них рубрику – “Диктовки Артюра Рембо”.

Однако, ощущая зачастую свою неуместность в этом мире, менее всего Михаил Анищенко походит на брюзжащего старика, бесконечно твердящего: “А вот в наше время всё было по-другому...” Помню, с каким восторгом Михаил поддержал стихи одной молодой поэтессы на самарском литературном портале.

Помню ещё, как, приехав из своего добровольного шелехметского изгнания на Проран, на встречу с молодыми самарскими поэтами, Михаил со свойственной ему страстью выкрикивал – казалось, прямо в небо! – поэтическую строчку: “Какие хорошие выросли дети!” Михаил вообще не оставлял впечатления угрюмого отшельника. По крайней мере, в тот день встречи на Проране. С какой страстью, с каким азартом шестидесятилетний поэт гонял мяч с молодыми литераторами на песчаной футбольной площадке, как ребёнок, радуясь каждому забитому мячу...

“А что это вы тут делаете?”

Некое шутовство, дурачество – важная часть его человеческого и творческого мира. На одном из интернет-порталов Михаил Анищенко недавно опубликовал замечательное эссе о дураках, в котором отталкивается от образа Ивана-дурака в русских сказках, где тот побеждает благодаря своей доверчивости, открытости и истинному, кажущемуся парадоксальным пониманию мира.

Возможно, тут путаница в понятиях. Ведь бывают два вида ума – ум сноровистый и ум этический. О чём пишет, например, замечательный писатель Фазиль Искандер, вкладывая эти рассуждения в уста Сократа в одном из своих рассказов. Анищенко говорит именно об отсутствии ума сноровистого, с которым, по выражению Сократа, человеку в поэзии нечего делать.

Шутовство, дурачество обновляет окружающий мир, снимает с него напыщенность, излишнюю серьёзность. Однажды, на излёте советского времени, когда я работал ответчиком в “Волжском комсомольце”, в секретариат зашёл редактор Сан Саных Соколов – человек преувеличенной серьёзности, борец с идеологическими заговорами. Миша Анищенко, который был в той же комнате, мгновенно спрятался под стол, а потом, неожиданно выскочив из-под него и обращаясь к редактору, громко повторил фразу придурочного мальчика из замечательного фильма “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён”: “А что это вы тут делаете?” Сан Саных попытался сделать вид, что не обращает внимания на очередную выходку неуправляемого журналиста, и продолжал разговор по поводу содержания полосы. Миша же, заглядывая ему в лицо, ещё пару раз громко спросил: “А что это вы тут делаете?” – после чего редактор, не зная, что делать, окончательно стушевался.

Вот и в своём творчестве Анищенко порою скоморошествует, переворачивая смысл прописных истин. Он любит повторять слова Михаила Булгакова о том, что житейская мудрость в глазах Бога выглядит чистойшим безумием.

Можно не соглашаться с теми или иными его запальчивыми утверждениями, но они заставляют задумываться.

Загадка А. М.

Покинув цивилизацию с её уютом, перед самарской литературной публикой Михаил Анищенко появлялся редко. Добираться из Шелехмети до областного центра – не ближний свет.

Но каждое его выступление в Самаре становилось событием. Встречался он, например, с самарскими студентами на фестивале “Созвездие мысли, слова, образа и звука”. Главный наказ, который им дал поэт, был таким: “Никогда ничего не бойтесь. Дорожите теми днями, которые у вас есть. Надо торопиться. И если что-то пишется, надо писать”.

На встречах Михаил Анищенко не боялся говорить о сложных и мистических вещах. Например, о судьбе легендарного изобретателя Бартини, который приехал в Советскую Россию в начале двадцатых годов и оказал большое влияние на её культуру. Бартини – одна из тех загадочных личностей, которые влекут к себе Михаила.

Судьба загадочного барона Бартини – в центре романа Анищенко “Возвращение в город Солнца”. С одной стороны, это дешифровка загадочных литературных произведений, с другой – опыт эзотерического или мистического краеведения.

Анищенко исследовал булгаковский роман “Мастер и Маргарита” под мистическим углом. И, как считает самарский писатель, это повлияло и на его жизнь. Не без влияния Булгакова был им создан и роман-феерия “Квадрат тумана”, опубликованный в журнале “Русское эхо” (в № 1 за 2008 год).

В романе соединены сложнейшие социальные вопросы нашего времени с философскими и мифологическими исканиями.

Волны истории прокатываются по судьбе Михаила Анищенко. И сам он, и многие его герои живут, ощущая за плечами прошлое России. Вот как его запойный сосед, который через вальс “На сопках Манчжурии” чувствует родство с героями русско-японской войны:

Он ломик сжимает, как пику,
И пот вытирает со лба:
“Ты слышишь, какую музыку
В потёмках играет судьба?”
Мы пьём, обнимаемся, плачем
Над тьмою монгольских песков
И вместе по городу скачем
К мерцанию русских штыков.

Кресло для Шекспира

Путешествуя в своём воображении по другим мирам, Анищенко ощущает себя современником то Лермонтова, то Булгакова, то ветхозаветного Моисея.

“Весной 2008 года я побывал в теле Вильяма Шекспира”, – без тени самоиронии пишет Михаил в своей автобиографии.

Восьмая книга Михаила Анищенко – о Шекспире – стала полной неожиданностью для читающей публики. Прежде всего, благодаря своеобразию авторского взгляда на одну из самых таинственных фигур мировой литературы – Вильяма Шекспира.

Склонный к мистификациям писатель устроил необычную презентацию этой книги (“Открылась бездна, звёзд полна...”) в областной научной библиотеке. Гостей встречали персонажи в костюмах шекспировской эпохи, будто сошедшие со страниц “Двенадцатой ночи” или какой-нибудь другой пьесы классика. Персонажи (актёры театра “Пластилиновый дождь”) приветливо улыбались, жали каждому руку.

Было даже старинное кресло, предназначенное для классика и стоявшее у накрытого чёрной скатертью стола с зажжённой свечой. Посидел в этом кресле и Михаил Анищенко, строго глядя в объективы снимающих его фотокамер. И было видно, что ему приятно побывать в этом кресле, ощущая себя неким магистром.

Шекспир всегда вызывал немало споров. Даже само его авторство до сих пор ставится под сомнение. Книга самарского писателя добавила поленьев в негаснущий костёр литературной полемики.

Трудно определить жанр этой книги. Это не биография, не литературоведческое исследование, не памфлет, не беллетристика. Хотя всё это в ней есть. Есть даже рассуждения на философские темы.

Но как случилось, что самарский поэт вдруг заинтересовался Шекспиром?

“Я считаю, что вся русская словесность озарена искрами любви к Шекспиру, – сказал Михаил Анищенко, сидя в этом кресле. – В его мире много странного и загадочного. В юности я не понимал Шекспира. Да и сегодня я не могу сказать, что это произошло. Может быть, это громкие слова, но на каком-то мистическом уровне у меня есть ощущение родства с ним. И меня взяла обида и злость, когда, прочитав книги наших литературоведов, я увидел, что многие из них жизнь и творчество Шекспира сводят к проявлениям каких-то извращений. И моя книга – ответ на эти домыслы”.

Один из переводчиков замахнулся и на “Гамлета”, при этом “заразив” всех его героев, включая Гамлета и Офелию, сифилисом. Как пишет автор книги, переводчик даже не смущает та абсурдная ситуация, когда “Шекспир с маниакальным упрямством уговаривает здорового мужика родить ему сына”. Анищенко яростно спорит с этими авторами, опираясь на подстрочники и биографические данные.

Со свойственной ему страстью самарский поэт бросается в бой против маститых шекспироведов и переводчиков, как будто это его, Михаила Анищенко, заподозрили в извращениях.

Исследование – это и художественно-биографическая история одного из важнейших периодов в жизни Шекспира, когда его связывала дружба-вражда с графом Саутгемптоном, который передал ему немало знаний в области астрологии и магии, был известным задирой и забиякой. И ещё – соперником поэта: оба были влюблены в Эмилию. История сложных взаимоотношений этих трёх людей и была положена, как считает Анищенко, в основу шекспировских сонетов.

В исследование вкраплены и его собственные переводы шекспировских сонетов. В них много личного. Здесь трудно различить, где говорит Михаил Анищенко, а где – тень Шекспира. Неспроста один из проникновенных и лучших своих переводов он в сокращённом виде помещает как авторское стихотворение в собственный сборник.

Вот начало этого знаменитого шекспировского сонета в переводе Анищенко:

Забудь меня немедленно, сейчас,
Когда идут обиды на подмогу,
Когда надежды тают, словно Глас,
Не долетевший к заспанному Богу...

У Шекспира в классическом переводе Самуила Маршака, разумеется, нет никакого заспанного Бога. Это собственный образ поэта, перекликающийся со строчками из его поэтической притчи “Он вошёл в мою комнату”. У Шекспира эти строчки были посвящены Эмили Боссано – Смуглой Леди, в которую поэт был отчаянно влюблён и которой были посвящены и другие сонеты.

Кстати, их таинственность, по мнению исследователя, во многом объясняется тем, что первый прижизненный сборник сонетов был издан графом и Эмилией, которые подвергли произведения великого поэта основательным правкам и переделкам. Многие мифы, как известно, начинаются с ошибок – случайных или осознанных.

“Я мог лететь над дорогой”

Для Михаила Анищенко очень важно мистическое начало. Помню, однажды он заговорил со мной о некоем третьем глазе, который есть у творческих людей. Признаюсь, я его тогда не понял. Потом, несколько лет спустя, я прочитал высказывание философа Декарта о том, что есть предмет, есть наше представление о нём и есть некий третий глаз, который сопоставляет одно и другое. Взгляд сверху.

В своей автобиографии Анищенко пишет: “В детстве я мог лететь над дорогой”. Там он вспоминает о таинственной лесной тропинке, по которой он каждый день ходил в школу. Может быть, уже тогда в его сознание вошёл образ дороги, соединившийся с ожиданием чудес?

Судьба поэта – это тоже путь, извилистый, но наполненный чудесами, как карман детских штанишек – таинственными вещичками. Гениальные творения, на которых держится мировая литература, – вариации на тему дороги, пути.

Поэт – сам по себе путь. А не шифровальщик поэтических ребусов, не громкоговоритель с усвоенными когда-то истинами.

Тема дороги постоянно звучит в стихах и в автобиографической прозе Анищенко. И в ней, в этой теме, звучит виолончельная тоска. Дорога рифмуется у него и с тревогой, и со словом “строго”, и с Богом.

Михаил Анищенко продолжает идти не по той дороге, на которой людей с головой погружают, как в некую антиутопию, в новый, потребительский

миф, — он продолжает двигаться по собственному пути, хоть и не ждёт на нём призов и выгод. Странному, загадочному, неизведанному, но полному озарений. Для него это “крестный путь”. По крайней мере, так он его ощущает. Обращаясь в стихах к Евгению Евтушенко, он говорит об этом, о том, что поэт идёт навстречу своей судьбе.

...И спасения не ждёт.
Не хочу бежать с галеры
И выскальзывать из-под
Этих глыб и арматуры,
Этих брёвен и оков,
И великий твой окурочок
Докурить я не готов.

Справедливы ли сегодня хрестоматийные строки Евгения Евтушенко: “Поэт в России — больше, чем поэт”? А если вправду — больше, то — кто?

Михаил Анищенко в этом утверждении идёт ещё дальше. В своей автобиографии он вспоминает литературного консультанта “Волжского комсомольца”, который укорял его, тогда ещё молодого поэта, в пренебрежении к стихотворной технике. На что Анищенко заметил: поэт, в его понимании, — тот, кто несёт свой крест на Голгофу, и вместо него это не может сделать никто. В этом утверждении, которому Михаил Анищенко не изменяет всю свою жизнь, он был и остаётся максималистом.

Дорога — спасение поэта. Крестный путь — его судьба. И на этом пути Анищенко становится равновелик окружающему его миру. Только такой поэт мог написать о своём одиночестве: “Небу некуда пойти”.

И любовь для него — тоже трудный и прекрасный путь. Путь к самому себе. Истинному. Описывая своё состояние в момент прикосновения к этому чувству, поэт пишет:

И сам в себя преображался,
Как кокон с бабочкой внутри.

Порою ему кажется, что дорога его оборвалась в космическом пространстве. И тогда он, обращаясь к почтальону, пишет:

Я открою ему. Я скажу: “Уходи, ради Бога.
Эти письма не мне. Я не знаю, где ваш адресат”.
Он простился со мной — там, где рухнула в небо дорога.
Он упал и пропал. Он уже не вернётся назад.

Но каждый раз, умирая, соскальзывая со своего пути, он возвращается на него, возрождаясь, как Феникс.

Казалось, я умер. Но выдался май!
Я в жизни не видел такого.
Проснулся — счастливый. Хоть имя меняй!
Хоть Бога выдумывай снова.

Как будто бы разом простили грехи,
На подвиги благословили,
И мне прокричали мои петухи,
Которых вчера зарубили.

Каждое возрождение к жизни — это новое духовное усилие. Это нежелание жить и творить по привычке. Есть люди, которые, кажется, говорят только потому, что когда-то начали говорить. Есть и писатели, которые пишут только потому, что когда-то начали писать. По привычке. Михаил Анищенко — из другой породы.

Он постоянно “преображается сам в себя”. Одно из важнейших преобразений произошло в Шелехмети. В период жизни в этом селе Михаил Анищенко переживает творческий взлёт. Только за пять лет из-под пера писателя,

кроме книги о Шекспире, вышли два романа, несколько пьес, три новых поэтических сборника (около четырёхсот стихотворений – одно пронзительней другого).

Чувство и слово

При всей его склонности к мифологемам Михаил Анищенко ценит достоверность, подлинность литературного слова, обеспеченность его реальной жизнью. Помню, как-то прочитав одну мою публикацию, Михаил спросил меня: “А разве ты куришь?” – “Да нет, а что?” В ответ он процитировал мои строчки:

Вдруг захотелось бросить город сонный,
Сесть в поезд, закурить и жизнь начать сначала.

Нет, я не курил. Тогда это несоответствие мне не казалось важным. Написал, ну, и что тут такого? Когда человек берёт сигарету, задумчиво прикуривает, держа её между пальцами, – это знак паузы, знак раздумья. А может, мне захотелось закурить в ту минуту? Теперь-то я понимаю, что Михаил был тогда прав. Если за строкой не ощущается прожитая судьба, она – “холостая”.

Его стихи естественны, как травы в росе, как полёт птицы над рекой. Как дыхание свободного человека. За каждым словом – его судьба.

“Чувство невозможно упаковать в слово, – пишет поэт в автобиографии. – Любое чувство должно само, как гусеница в бабочку, превратиться в слово”.

Поэт тонко чувствует фальшь и потому избегает пафоса, обращаясь к социальным темам. Одно из самых пронзительных его стихотворений начинается парадоксальной строчкой: “День Победы. Смертная тоска”. Вот так. Не “праздник со слезами на глазах”, а смертная тоска. Далее Анищенко пишет, что Победу нам подменили, отдав её в школьных учебниках американским войскам. Но мне в этой первой парадоксальной строчке видится и другой смысл. Пафос всегда граничит с ложью. Слишком часто мы забалтываем всё самое святое, слишком часто позволяем политическим проходимцам использовать его в своих целях. По мне, так День Победы – это то, что должно быть в нашем сердце не раз в году, а постоянно.

Противоречия Поэта

Творчество любого большого поэта – переплетение противоположностей. Дом и дорога. Бесконечное одиночество и страстное желание пережить духовный опыт других. Смертельная тоска и радость жизни. Все эти противоположности сходятся в поэзии Анищенко. Из противоречий соткан любой большой поэт. Михаил Анищенко – тоже. Он и сам пишет о двойственности своей природы:

И я, надеждою измеря
Пространство памяти своей,
Таю в душе тревогу зверя
И нежность белых лебедей.

Вот одно из противоречий Анищенко. Порою кажется, что он, страдая от одиночества, от ощущения загнанности, ощущения врагов, стремящихся уничтожить его, сам культивирует в себе эти чувства. Что всё это ему нужно как поэту:

Тайна выдоха и вдоха.
То ли горе, то ли шок?
Хорошо мне там, где плохо.
Плохо там, где хорошо.

Один из разделов книги “Поющие половицы” так и называется – “Я есть, пока я одинок”. А с другой стороны – в нём желание спастись от одиночества – тем, чтобы “научиться чувствовать других как часть самого себя” (цитата из автобиографии “Что-то было”).

В своём воображении он движется по эпохам, как по сельским ухабистым дорогам. Проникая в души не только своих современников, но и исторических персонажей. Проживая их судьбы, как свои.

Другое противоречие. Тема Дороги и образ Дома с его уютом и спокойствием. Не случайно лучшая книга поэта названа по-домашнему – “Поющая половица”. Тут не только ощущение уюта, но и сказки.

С какой любовью описывает Анищенко в автобиографии свой дом в Шелехмети: он для него живое, родное существо.

А тема бездомья приобретает у Анищенко не бытовое и даже не социальное, а мистическое начало. Он тоже как будто культивирует его в себе. Не случайно вместо эпиграфа в свою книгу “Поющие половицы” он помещает странную притчу “Он вошёл в мою комнату”, где Он – некая божественная сущность, от которой поэт ожидает учения. Поэт пригубил с Ним на мансарде вина, имевшего “вкус солнца и вкус земли, на которой построен этот город”. А потом Он выгнал поэта из мансарды (из рая?), так и не открыв ему учения.

“Я прекрасно знаю, что Он меня не любит, – пишет Михаил. – Разве Он может любить меня? И всё-таки что-то у меня в душе, ничтожная частица моего “я” не перестаёт, трепеща от страха, думать о том, что Он ещё полюбит меня”.

И эта тревожная надежда не даёт ему и его Лире успокоиться, уйти в самолюбование.

Дом – изгнание – дорога – и снова обретение дома – и снова дорога... Вечное возрождение. Вечный, нескончаемый круговорот жизни, который никак ничем не может закончиться.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 17

КЛАССИКА И МЫ (продолжение)

На рубеже 70-х-80-х годов Кожинов по какой-то настоятельной внутренней необходимости взялся за прозу. Он начал писать нечто вроде романа, как вспоминал Владислав Попов, под влиянием “Философии общего дела” Николая Фёдорова. В кожиновском архиве от него сохранилось лишь несколько страниц, и по ним видно, как Вадим Валерианович выстраивал повествование в своём любимом “бахтинском” философском диалоге.

Действующие лица на этих страницах – Дмитрий и Владимир. Предполагаю, что здесь отражены (частично, разумеется) нескончаемые разговоры, которые вели между собой Кожинов и Соколов.

Дм. – Я уже готов тебе возражать, не зная ещё твоей идеи. Ведь я убеждён, что конца-то как раз нашего спора нет. Как, впрочем, ничему нет конца... Так что напрасно ты мечтаешь всё решить окончательно.

Вл. – Ну, это уж, прости, дурная бесконечность какая-то. Этак можно прийти к выводу, что и спорить-то бесполезно. Не только вообще бесполезно, но и для нас лично, для наших эмпирических сознаний, так сказать.

Дм. – Ладно, мы к этому ещё вернёмся. Валяй уж свою идею, а то мы опять на русский разговор собьёмся (семь вёрст в обход?).

Вл. – Видишь ли, тут такая штука. Ругай меня, пожалуйста, за прогрессизм и т. п., и т. д., но я вот в чём уверен: всё, что человек способен в мыслях представить, он может – в неограниченной временной перспективе, конечно, – осуществить реально. Руки, да и всё наше тело – это лишь послушные орудия мысли, средства её объективизации. Мы не знаем, в сущности, ещё, что такое мышление, но я всем нутром ощущаю: законы человеческого мышления и деяния едины, одно органически переходит в другое, надо только через некую пропасть переправиться с помощью соответствующих технических средств. А это значит, что все так называемые мечты сбудутся.

Дм. – Интересно... Простая вроде бы мысль (не обижайся, по форме – простая), а не приходила в голову... Только как же это твоё нутро ощущающее с наукой объединяется? Впрочем, продолжай...

Вл. – А отсюда, заметь себе, следует, что мы должны не только там космос покорить, но и бессмертия достичь, и даже, как ни нелепо, машину времени сконструировать. Пусть и по Уэллсу – форма обязательно должна измениться при переходе мысли в деяние, а всё же что-то в этом роде.

Продолжение. Начало в № 1-7,9 за 2019 год, 1-5, 7-12 за 2020 год, 1-3,5-7,11-12 за 2021 год, 2,3,6,7 за 2022 год.

Дм. — Ты, пожалуй, прав, хотя бы в чём-то... И не забудь потом, кстати, что я с ещё одним тезисом твоим соглашаюсь.

Вл. — Но если ты допускаешь мою правду, колеблется вся твоя позиция.

Дм. — Почему же?

Вл. — То есть как почему? Да я даже не побоюсь огрубить и упростить суть дела. Я тебе прямо скажу, что, если я прав, все основные силы человечества следует приложить к развитию техники, ибо только она способна превращать мышление в деяния.

Дм. — Ну, положим, не она способна, а человек способен, техника лишь средство, как ты сам выразился.

Вл. — Не придирайся к слову. Ты как относишься к Фёдорову?

Дм. К Николаю Фёдоровичу? Что ж, он, конечно, великий мыслитель. Хотя, вероятно, и неосуществивший себя. Хлебников философии, я бы сказал.

Вл. — Скорее уж Хлебников — Фёдоров поэзии. Но что ты так противоречишь себе? Зачем тебе это вдруг понадобилось, чтобы Фёдоров себя целиком осуществил — предметил сиречь. Разве тебе — именно тебе — недостаточно, что он просто существовал?

Дм. — Мне уж нельзя и слова против себя сказать... Это я специально для тебя подкинул материальчик. Ты-то, собственно, зачем за Фёдорова цепляешься?

Вл. — А разве он не делал всю ставку на технику, способную в конце концов завоевать бессмертие и воскресить всех умерших? И тем — с его точки зрения — всё решить?

Дм. — Прости, пожалуйста, за отступление — у меня один вопрос к тебе. Как ты думаешь, а мысли сумасшедших тоже в конце концов можно будет реализовать?

Вл. — Остроумие, как кто-то сказал, последнее прибежище неудачника. Но я тебе отвечу всерьёз. Берусь доказать, что самые сумасшедшие мысли, до которых никогда не додуматься обитателям Канатчиковых дач, приходят в голову как раз совершенно нормальным людям. Если, конечно, разделять точку зрения, что гениальность и есть норма. Впрочем, если ты склонен, напротив, полагать, что гений и безумие родственны, твой вопрос также теряет смысл. Видишь, как поверхностно остроумие? По крайней мере, твоё...

Дм. — Bravo! Интересно, что цитаты (а их в твоём пассаже было две — помимо афоризма о неудачнике, ещё скрытая — до тошноты надоевшее *mot* физиков о сумасшедших теориях) — да, так вот, цитаты всегда вызывают во рту собеседника своего рода цитатоотделение. Мне захотелось сразу вспомнить слова, — кажется, Томаса Манна, — о том, что злость обостряет ум. Вот ты разозлился, и сразу положил меня на обе лопатки.

Вл. — Так. Вспомни уж теперь и Юпитера, который сердится... И врешь ты, между прочим, никакой злости во мне пока нет, хотя я от неё не зарекаюсь.

Дм. — А ты, наверно, прав (вот тебе ещё одно согласие). Если и была в тебе злость, то только, так сказать, чисто эстетическая. Как у Яго, который на сцене разжигает в себе ненависть к своему лучшему другу и собутыльнику, вымазанному в этот вечер чёрной краской.

Вл. — Ну, тебя понесло. Это уж какая-то чисто риторическая злость. Давай-ка всё же доспорим...”

Полагаю, Кожинов здесь переадресовал своему собеседнику и многие из своих собственных мыслей — на протяжении повествования он ведёт спор не только со своим визави, но и с собой, выявляя внутренние противоречия собственной мысли, по-бахтински не испытывая перед ними страха.

Своё сочинение он показал Виктору Астафьеву, и тот сказал, что не в художественной прозе кожиновская сила. Вадим Валерианович, впрочем, и сам это знал.

Тогда же он ответил на письмо Василия Белова, начавшего печатать в “Севере” “Кануны” и сомневающегося — повесть у него выходит или роман? “5 мая 1972

Дорогой Вася!

Спасибо за доброе письмо. Пользуюсь случаем, чтобы поздравить тебя с праздником Победы.

А главное — обращаюсь с просьбой. Я не смог достать “Север” с началом твоей “летописи” и был бы очень благодарен, если бы ты счёл возможным

прислать мне экземпляр (мечтал бы получить — хотя бы только для прочтения — и “сокращённые” главы).

Конечно, на нет и суда нет, но уж постарайся прислать — ведь я как-никак автор первого “исследования” о тебе.

Жаль, что ты коснулся только вопроса о повести и романе. Кстати, ты пишешь, что он тебе непонятен, и тут же как бы опровергаешь самого себя, замечая, что тебе придётся решать проблему: “повесть или роман?”. Другого понимания мне и не нужно — важно лишь, чтобы она (проблема) не была выдуманной, чисто “литературоведческой”. Меня интересует другое — как воспринял ты мои рассуждения о “голосах” твоей повести? (имеется в виду работа Кожина “Голос автора и голоса персонажей” о “Привычном деле”. — С. К.)

Впрочем, если нет желания, можешь и не писать об этом, — быть может, поговорим при встрече.

Всего тебе доброго.

Твой В. Кожин”.

И отправил ему книгу “Как пишут стихи” с дарственной надписью:

“Василию Белову не только как любимому писателю, но и как обаятельнейшему человеку. От сердца. Вадим”.

* * *

В эти же годы на пороге кожиновского дома возник ещё один посетитель — выпускник исторического факультета МГУ, бывший чтец собственных творений на площади Маяковского, отсидевший 6 лет в мордовских лагерях по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, периодический посетитель “Русского клуба” Владимир Николаевич Осипов.

“Как зов трубы, прозвучали “Письма из Русского музея” Владимира Солюхина, — вспоминал он впоследствии. — ...Огромную, беспрецедентную роль сыграла живопись Ильи Сергеевича Глазунова... На выжженной, словно после атомного взрыва, русской почве нежданно-негаданно взметнулась плеяда Белинских, причём Белинских в обратную сторону, Белинских лишь в смысле таланта и темперамента. Кожин, Лобанов, Семанов, Чалмаев, Палиевский, Олег Михайлов, Дмитрий Жуков, Ланщиков — только по тоталитарной необходимости им приходилось ещё считаться с марксистской галиматией. Правда, Кожин за долгие годы ухитрился ни разу не процитировать Ленина. Но всем своим содержанием, всем духом своим статьи “молодогвардейцев” по существу отвергали антинациональное, а следовательно, и марксистское мышление, космополитические “ценности” революции...”

Осипов, ставший к этому времени русским националистом и убеждённым монархистом (это становление свершилось в мордовском лагере, где Владимир Николаевич пребывал преимущественно в среде “националов”, настроенных люто антирусски, хотя и поддерживавших с Осиповым вполне доброжелательные отношения), после разгрома журнала “Молодая гвардия” пришёл к необходимости издания русского национального журнала на правах рукописи. Таким изданием стало “Вече”, с которым он пришёл к Кожину. Первый номер открывался боевой передовицей, так и озаглавленной — “На вече!”

“Наше нравственное состояние оставляет желать много лучшего. Эпидемия пьянства. Распад семьи. Поразительный рост хамства и пошлости. Потеря элементарных представлений о красоте. Разгул матерщины — символа братства и равенства во хлеву. Зависть и доноительство. Наплевательское отношение к работе. Воровство. Культ взятки. Двуручничество как метод социального поведения. Неужели это всё мы? Неужели это — великая нация, давшая безмерное обилие святых, подвижников и героев?

Да имеем ли мы право называться русскими? Словно заражённые бешенством, мы отреклись от своих прадедов, своей великой культуры, героической истории и славного имени. Мы отреклись от национальности. А когда мы пытаемся теперешнюю пустоту и убожество назвать тысячелетним словом, мы только оскорбляем святое имя.

И всё же ещё есть русские. Ещё не поздно повернуться лицом к Родине. Обратиться к материнской земле, к наследию праотцев. Нравственное всегда

национально. Аморализм не имеет нации. Возродить и сберечь национальную культуру, моральный и умственный капитал предков. Продолжить путеводную линию славянофилов и Достоевского.

Предстоит большая и тяжкая работа. Мы изолированы друг от друга. Мы выварили мысли в своём соку, не обмениваясь, не споря. Вынесем их теперь на русское вече. Пусть мнения противоречат, пусть один опровергает другого. Все наши споры должны иметь одну цель – благо России. С этой целью мы приступаем после длительного молчания к изданию русского патриотического журнала. Мы приглашаем всех патриотов-россиян к участию в нашем журнале. Да благословит нас чистый, немеркнувший лик России”.

В журнале печатались статьи и заметки священников Сергея Желудкова и Дмитрия Дудко, подпольного публициста Геннадия Шиманова, философа Михаила Антонова, недавнего политического заключённого по делу “Всероссийного социал-христианского союза освобождения народов” Леонида Бородина... Давал туда свои материалы и Дмитрий Анатольевич Жуков.

Осипов пришёл к Кожинovu, рассчитывая на его прямое сотрудничество в альманахе. Но Кожинov проявил необходимую и вполне понятную осмотрительность.

– Вы ведь пришли ко мне как к литератору, чьи выступления в журналах и газетах – то есть в легальной печати – близки и дороги Вам?

– Конечно, – горячо подтвердил Осипов.

– Тогда Вы должны понимать, что моё прямое участие в “Вече” лишит меня возможности публиковаться легально.

– Да... – после непродолжительной паузы произнёс подпольный издатель. – Да, действительно, Ваше слово должно иметь гораздо более широкое воздействие...

“Позднее, – вспоминал Кожинov, – мы встречались только для устного обсуждения тех или иных проблем, и, приходя ко мне, он каждый раз заботливо сообщал, прежде всего, что по дороге сумел избавиться от слежки...”

У самого Кожинова, чередовавшего историко-литературные работы с современной критикой, наступил новый период вчитывания в классику. Только-только он завершил работу над исследованием, посвящённым роману Достоевского “Преступление и наказание”.

Чрезвычайно любопытно посмотреть, как в год 150-летнего юбилея классика к его наследию подходили официальные публицисты. Время от времени создаётся впечатление, что они с опаской протягивают руки к раскалённому железу.

В день юбилея классика (11 ноября 1971 года) “Правда” объявила, что нет оснований отдавать реакционерам этого великого писателя. “Мы не можем примириться с реакционерами и идеалистами, которые утверждают, что Достоевский – их собственность”.

“Бесь” уже считаются не “злойной клеветой на русское освободительное движение” (БСЭ, том 15, 1952), а “анатомией и критикой ультралевого экстремизма” (Б. Л. Сучков в “Литературной газете” от 17 ноября 1971 года).

“Достоевский был гением прозорливости, но даже он никогда не мог предвидеть, что его романы будут участвовать в строительстве социализма” (В. Днепров, “Достоевский как писатель двадцатого века”, “Иностранная литература” № 11, 1971).

Так трактовали тогда Достоевского, который из писателя, которого должны были судить наступающие поколения (В. Шкловский), превратился в строителя социализма и в борца с ультралевым экстремизмом. При этом сплошь и рядом в многочисленных книгах, посвящённых Достоевскому (от Шкловского и Кирпотина до Юрия Карякина), утверждалось противостояние Достоевского-художника Достоевскому – религиозному проповеднику.

В статье “Величие Достоевского”, опубликованной в журнале “В мире книг”, он писал, опираясь на Бахтина, что “при характеристике убийцы Раскольников внутренне предан безусловно справедливости и моральности”. Спустя некоторое время в редакции раздался телефонный звонок: на проводе была учительница литературы: “Вы выступаете против государственной программы обучения. Это безобразие! Вы сбиваете ребят с толку”.

А всю работу, посвящённую “Преступлению и наказанию”, Кожинov построил на нескольких основополагающих мотивах.

Он писал о том, что каждый из персонажей романа преступает, переступает все границы, что автор подчёркивает *шаткость* всего происходящего.

Это носилось в воздухе. Кажется, каждая кожиновская строка о великом романе была пропитана ощущением наступившего времени.

Вадим Валерианович и его единомышленники не могли не обращать ко многим своим современникам (преимущественно из писательского и вообще интеллектуального круга) строчки из другого романа Достоевского – из “Подростка”:

“Нынешнее время – это время золотой середины и бесчувствия, влечения к невежеству, лени, неприспособленности к делу и потребности всего готового. Никто не задумывается: редко кто выжил бы себе идею... Явись человек с надеждой и посади дерево – все засмеют: “Разве ты до него доживёшь?” С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России...”

Но главное – Кожинов, помимо тонких наблюдений над “материальным телом” романа, писал, что в нём воплощена “живая жизнь идеи, непрерывно взаимодействующая с многогранной и сложной идейной жизнью эпохи в целом”... А самое главное, что каждый герой каждый свой шаг “меряет целым миром”, судьбами человечества. “Герои живут в прямой соотносённости с целым миром, с человечеством – и не только современным, но и прошлым, и будущим”, и этим роман соотносим с творениями титанов Возрождения – Данте, Рабле, Шекспира, Сервантеса. Разговор о Достоевском в этом контексте был не просто насущно своевременным – как раз в это время на экраны вышел последний фильм Ивана Пырьева (доснятый Михаилом Ульяновым) “Братья Карамазовы”.

И Кожинов пишет статью “Русская классика на экране”, где в размышлениях о героях Достоевского – Раскольникове, Мышкине, Ставрогине, Долгуроком – снова подчёркивается, что они “меряют себя не непосредственно окружающими их жизненными обстоятельствами, но всемирной, вселенской мерой. Они всегда выступают как бы перед лицом целого мира, Вселенной”. В полной мере это относилось и к “Братьям Карамазовым”.

“...Личный дар, индивидуальный творческий разум кинорежиссёра... всецело должен воплотиться... в стремлении наиболее верно и адекватно воссоздать на экране художественный мир классического произведения во всей его подлинности. Иначе, по-моему, не стоит и браться за дело... Ибо повествования Пушкина, Гоголя, Толстого давно стали... не просто явлениями литературы, но явлениями народного бытия, без которых последнее потеряло бы слишком много...”

Кожинов понимал всю предельную завышенность этого требования к современным режиссёрам, но иначе не мог. Любое снижение критериев предстало в этом контексте как преступление перед классикой.

Анализируя пырьевскую экранизацию, он говорил о героях Достоевского, которые “в любом своём проявлении предстают как подлинно великие люди, всё время чувствующие себя на всемирной, вселенской арене”, прекрасно понимая, что конгениальных Достоевскому современных режиссёров и актёров, увы, нет – и остаётся только оценить *степень приближения* тех и других к миру классика.

“Перед нами... психологически-бытовая драма, а не, если угодно, та мистерия, которая разыгрывается – в формах психологически-бытовой драмы – на страницах романа Достоевского...” Это была его первая и главная претензия к фильму, видимо, увы, неустранимая никакими средствами. Совершенно разочаровал Кожинова Алёша Карамазов в исполнении Андрея Мягкова – это был абсолютно “недостоевский” персонаж, при том, что, по замыслу писателя, именно Алёша – главный герой романа. Удружила и Грушенька в исполнении Лионеллы Пырьевой (её работу, кстати, уже до этого “разделал под орех” Олег Васильевич Волков в “Молодой гвардии”).

И в то же время Вадим Валерианович по достоинству оценил общее направление, в котором двигались авторы фильма, пытаясь постичь и передать на экране смысл романа: “Экранизация “Братьев Карамазовых” замечательна и важна, прежде всего, той глубокой серьёзностью и сознанием ответственности, которые явственно выступают в фильме. Испытывая огорчение от

тех или иных неудач, в то же время чувствуешь радость от того, что создатели фильма подошли к роману Достоевского, как к величайшему событию истории русской культуры и жизни вообще. В фильме не пахнет какой-либо “игрой” и погоней за модой...” По высшему критерию он оценил игру Валентина Никулина – его исполнение роли Смердякова. “. . . В исполнении В. Никулина образ раскрывает свою сложность. Так, во время последней встречи с Иваном его сводный брат явно обнаруживает своё духовное превосходство над ним. В этой сцене – одной из немногих в фильме – проступает и та “всемирность” образов Достоевского, о которой шла речь...”

Что же касается “игры” и “погоне за модой”, то Кожинов справедливо узрел всё это в экранизации тургеневского “Дворянского гнезда” Андреем Михалковым-Кончаловским, в которой не было ни малейшего “сознания ответственности перед священным памятником культуры”. Более того, он неопровержимо показал, до какой степени эта экранизация пронизана антитургеневским смыслом.

“Дворянское гнездо”, – писал Кожинов, имея в виду именно роман Тургенева, – изображает, прежде всего, духовные, нравственно-философские искания и конфликты. В романе почти нет быта, очень мало пейзажей и тем более интерьеров”, тогда как в фильме Кончаловского “вещи и пейзажи застилают людей, захваченных напряжённой духовной жизнью; сама эта жизнь неизбежно оттесняется на второй план”. Кроме того, совершенно извратился образ Лаврецкого как представителя русского дворянства 40-х годов XIX века, ибо “отдельные черты бытия и сознания лаврецких, перешедшие в фильм, находятся в вопиющем противоречии с его основным стилем”: в “роскошных, неправдоподобных хоромах”, представленных в фильме, лаврецкие “не смогли бы ни сформироваться, ни жить”, “они почитали безвкусыем и безнравственным жить среди подобной роскоши”, ибо сами “пахали землю, и хорошо пахали”... На вопрос – ради чего создатели фильма обратились к роману Тургенева – Кожинов ответил со всей безапелляционностью: “цель их заключалась в своего рода “игре” с романом и отразившейся в нём эпохой”.

Подобную “игру” с классикой Кожинов ненавидел холодной и спокойной ненавистью.

Размышляя о современности, он, как вспоминал, Владислав Попов делился с ними своим сокровенным, выношенным: “Сейчас всё стремительно движется вперёд, и потому-то надо корректировать это движение, думать, а не теряем ли мы при этом нечто? Нечто необходимое, человеческое?! Нужна определённая “узда”, и в этом смысле “консервативность” становится необходимой. Это не значит останавливать прогресс, он и без нас неостановим” (через несколько лет Кожинов в рамках дискуссии “Художник перед лицом НТР” опубликует статью “Авторитет истории”, выношенную ещё в начале 70-х, когда апологеты прогресса буквально захлёбывались от счастья, предвкушая в будущем картины технического рая и призывая художников отображать достижения научно-технической революции. Кожинов напишет, что “всякого рода идеи “технического рая”... совершенно неуместны в серьёзной литературе... Технический рай – это не менее утопическая идея, чем рай без техники, и разница лишь в том, что второй человек уже пережил и может судить о нём с полной обоснованностью, а первый (если даже он возможен) – пока ещё дело будущего”, – и покажет на примере английской литературы, что “великая промышленная революция” повернула её “лицом к природе и деревне, к древнему народному творчеству и истории”).

“Юноши решают общие проблемы (я сейчас уже освободился от этого максимализма), а мудрецы имеют в виду, но решают частные”.

Такой “частной проблемой” стал для него в это время пересмотр всей традиционной “сетки” литературных направлений. И первой такой работой стала статья “О принципах построения истории литературы”, опубликованная в научном сборнике ИМЛИ имени М. Горького “Контекст”.

Поначалу кажется, что Кожинов здесь произвёл самую настоящую революцию в литературоведении. Вся “сетка” “классицизм-просветительство-сентиментализм-романтизм-критический реализм”, заимствованная на Западе (конкретно – у Франции) и искусственно наложенная на историю русской литературы XIX века, по его словам, “сама трещит по всем швам” уже хотя бы потому, что, например, в творчестве Державина, традиционно приписанном к “классицизму”, “можно обнаружить “элементы” всех возможных направлений”.

То же относится и к Ломоносову, и к Фонвизину, не говоря уже о Грибоедове и поэтах-декабристах.

“Русское Просвещение развивается во второй трети XIX, а не XVIII века. Оно сложилось тогда, когда уничтожение крепостного права стало реальной практической целью... Тогда же складывался и настоящий русский романтизм, в частности, как реакция на просветительство. Русский романтизм по-разному воплотился в трёх... идейных и художественных движениях – славянофильстве, почвенничестве и народничестве, с которыми были связаны такие крупнейшие художники, как Тютчев, Достоевский, Глеб Успенский... Законченный тип русского романтика – Аполлон Григорьев; ярчайший представитель реакционного романтизма... – Константин Леонтьев.

Не было, – справедливо утверждал Кожинов, – в России XVIII – начала XIX века никакой социально-исторической почвы для классицизма, просветительства, сентиментализма, романтизма... Все конкретно-исторические задачи, породившие эти направления, стоявшие в эту эпоху перед Францией, “выдвинулись в России значительно позже”.

Что же касается сентиментализма, то задачи, соответствующие этому направлению, решали многие писатели натуральной школы, в частности, молодой Достоевский... и молодой Толстой... По моему убеждению, русский критический реализм складывается лишь в 1860–1870-х, в зрелом творчестве Толстого, Тургенева, писателей-разночинцев”.

“Во всех этих утверждениях нет, по сути дела, ничего нового или необычного”, – утверждал Кожинов, и на поверхностный взгляд могло показаться, что таким “приёмом” он “дразнит гусей”. До сих пор приходится слышать, что о самых спорных и недоказуемых вещах Кожинов говорил с таким видом, как о бесспорных, всем известных истинах – и таким образом выбивал почву из-под ног оппонентов. Плохо зная Вадима Валериановича, можно допустить и подобный вариант. Но до подобных приёмов Кожинов никогда не опускался и если говорил об “общеизвестности” тех или иных неожиданных фактов и положений, то только на основании ведомых ему и не ведомых другим источников, в частности, в данном случае, на основании работ Виктора Владимировича Виноградова 1920-х годов. Так что даже лавров первооткрывателя себе не требовал.

А как же Пушкин и его эпоха? Вот здесь-то Кожинов и приготовил своим собратям-литературоведам самый настоящий сюрприз, ставший предметом многолетней полемики.

На кожиновской “сцене” появляется эпоха Возрождения, в которую “литература... превращается... из “вещи в себе” в “вещь для себя” и выходит на мировую арену... осваивает конкретное многообразие жизни нации и открывает стихию народа”, а с другой стороны, “утверждает суверенную человеческую личность”. И именно литературе эпохи Возрождения соответствует в России литература начала XIX века. Потому что классицизм и последующие направления не могут возникнуть из “ничего”. “Для того чтобы просто “пересадить”, ... нужна определённая художественная почва”. И хотя “в поле зрения русских писателей... попадали... современные или хотя бы сравнительно недавние явления западной литературы, то есть классицизм, просветительство, а позднее сентиментализм и романтизм”, всё же “подлинная сущность русской литературы того времени была принципиально иной...” За первые 20–25 лет XIX столетия “совершилось очевидное становление новой русской художественной культуры, которая и теперь остаётся для нас всецело внятной и “современной”...” XVIII – начало века – это эпоха русского литературного Ренессанса.

И спор о классицизме и романтизме в России в этот период, – показывал Кожинов, – “имел совершенно иной смысл, чем на Западе. Речь шла о принципиально разных, *несовместимых* явлениях... Русская эстетическая мысль 1820-х годов воспринимала романтизм *буквально*, как воскрешение Ренессанса, и – более того – прямо и непосредственно объединяла эти два совершенно различных явления...”

“Русская литература, – этот общий вывод Кожинова, – от Ломоносова до Пушкина действительно стремилась к многогранному творчеству, к синтетичности и, если угодно, к ренессансной полноте. На Западе её привлекали не какие-нибудь вполне определённые явления, а всё многообразие “новой” литературы... И вполне закономерно, что наиболее значительные явления русской

литературы того времени никак не сводятся к какому-либо одному направлению, о чём согласно говорят все исследователи”.

Он продолжил эту тему в статье “Возрождение или Средневековье?”, где полемизировал с Дмитрием Лихачёвым, употребившим термины “Предвозрождение” и “Возрождение” по отношению к русской литературе XIV–XVII веков. Кожинов неслучайно остановился на том, что само понятие “Средневековье” носит не только в обывательских, но и в научных кругах отрицательный смысл: “именно этим и обусловлено, очевидно, постоянное и упорное стремление многих исследователей как бы вывести за рамки Средневековья все подлинные достижения культуры... Действительно ренессансные тенденции в русской культуре возникают лишь во второй половине XVII века (об этом Кожинов писал ещё в книге “Происхождение романа”. – С. К.), в эпоху Крестьянской войны и церковного раскола. А те задачи, которые решила западноевропейская культура в эпоху Возрождения, русская культура решала с конца XVII до второй трети XIX века”.

В полемику с Кожиновым вступили тогда многие. Е Купреянова и И. Серман отозвались чисто памфлетной статьёй “В каком веке жил Державин?” Более осторожным и академичным был Леонид Тимофеев (“Вопросы решённые и нерешённые”), негласно и не впрямую признававший определённую кожиновскую правоту, при этом не отказываясь от привычной схемы. Более решительно и определённо выступил Георгий Макогоненко: “эту эпоху (с конца XVII века до Гоголя. – С. К.), хотя и условно, можно назвать русским Возрождением”, которое, правда, по ряду существенных признаков отличалось от западноевропейского (Кожинов разобрал все приведённые Макогоненко примеры и показал, насколько необоснованно это противопоставление). В полемику также включились Григорий Фридендер и Яков Эльсберг, о работах которых Кожинов сказал: “Мои оппоненты, отнюдь не отрицая собственно ренессансных тенденций в русской литературе рассматриваемого периода, полагают вместе с тем, что последняя ими не исчерпывается и включает в себя ещё “многое другое”...” Но “ренессансный реализм есть, так сказать, исходный “синтез” тех тенденций, которые развёрнуто воплотились в последующих литературных направлениях”.

Спор продолжился и в дальнейшем, когда фактическими оппонентами Кожинова выступили его единомышленники Пётр Палиевский и Юрий Селезнёв. Если Кожинов утверждал, что “русская литература от Ломоносова до Пушкина... стремилась к многогранному творчеству, к синтетичности и, если угодно, к ренессансной полноте”, поскольку в этот период “осваивала многообразнейший двух-трёхвековой опыт новой литературы Запада, а не бежала с ней вперегонки, создавая беспочвенные классицизм, просветительство, сентиментализм, романтизм, сменявшие друг друга с калейдоскопической быстротой”, то Палиевский резко возражал Кожинову, указывая, что подобный взгляд “существо дела... скорее затемняет: заслоняет знакомым термином и уводит далеко назад”. Впрочем, он сразу же переходил к “национальному своеобразие”: “...русская классическая литература, возникшая через несколько веков после Возрождения, сама представляет собой отдельный этап в развитии мировой культуры. Этот этап ставит перед человечеством новые задачи, наверное, не менее серьёзные, чем Возрождение, и, возможно, более масштабные. По многим принципиальным вопросам они решаются иначе, чем в Возрождении, даже противостоят Возрождению, хотя в главном направлении человеческой истории с ним совпадают”.

Это был спор не только и не столько о терминах. Но мне представляется, что Кожинов и Палиевский не столько противоречили друг другу, сколько дополняли друг друга. Тем более что в этот спор вмешался Юрий Селезнёв в книге “Глазами народа” (изданной, увы, после его кончины), где определив ренессансный гуманизм как определённый тип сознания – гуманистичного, антропоцентричного и буржуазного, – провёл чёткое разделение: “природу европейского Ренессанса определяет гуманистическое сознание, природу русского Возрождения, начавшегося в XIX веке, определяет народность”. По сути, близкий вывод делал и Палиевский. Русская классика, по его заключению, “измеряет личность масштабом целого, общечеловеческой правдой, и выдвигает необходимость разработать новый тип человека, отвечающего этой правде. Её усилия сосредоточены на том, чтобы найти для личности иную основу, преодолеть зашедший в исторический тупик индивидуализм”.

А наступление на русскую идею со стороны власти продолжалось.

19 июня 1970 года исполняющим обязанности отдела пропаганды ЦК КПСС Александром Яковлевым, работавшим под непосредственным началом Михаила Сулова, было подписано заключение, в котором был сформулирован отказ на просьбу Михаила Шолохова провести государственное празднование 400-летия донского казачества.

28 января 1971 года Институт научного атеизма подготовил записку с характерным названием: “Об ошибочных оценках религии и атеизма в некоторых произведениях литературы и искусства”, которую ректор Академии общественных наук М. Иовчук направил в ЦК КПСС.

Авторы сего документа выражали нешуточную тревогу о том, что “усиление интереса к религии и церкви, их роли в истории народа, в развитии культуры находят своё выражение в повышенном спросе на религиозные книги (Библию, Евангелия и др.), произведения русских религиозных философов Вл. Соловьёва, Н. Бердяева, С. Булгакова, В. Розанова, К. Леонтьева и др. Растёт тяга к посещению туристских объектов культового характера... возвеличить “исторические заслуги” церкви и “моральные достоинства” религии, и, наоборот, – высказывать ироническое или даже неприязненное отношение к атеизму... Характерны в этом плане некоторые сочинения Владимира Солоухина... В очерках В. Солоухина содержатся элементы одностороннего подхода, тенденция к отождествлению народной и церковной, русской и православной культур. Его произведения наполнены идиллическим любованием церковной стариной, старыми церковными традициями...”

Вызывает возражение также позиция писательницы Веры Пановой в оценке прошлого религии. В повести “Сказание о Феодосии”... она, по сути дела, некритически перелагает житие православного святого Феодосия Печорского (так у авторов. – **С. К.**), в котором восхваляются уход от мира, страдания, аскетизм и другие религиозные идеалы. Эти церковные “ценности” писательница противопоставляет, по существу, земному миру, отождествляя его с потребительством, стяжательством, мещанством...

Известна односторонняя позиция, которую занимал в последние годы журнал “Молодая гвардия” по вопросам истории и культуры России. Выступления В. Солоухина с “Письмами из Русского музея”, В. Чалмаева, Ю. Иванова и других авторов на страницах журнала искажают ленинскую оценку ряда явлений русской истории и культуры. В этих выступлениях возвеличивается роль православной церкви и религиозных деятелей типа К. Леонтьева в истории России, преувеличивается роль славянофильства и принимаются заслуги революционно-демократического лагеря в истории культуры...”

Досталось и “Новому миру” за весьма робкие и двусмысленные фразы об “атеистическом воздействии” и “гражданской обрядности” в статьях конца 60-х годов, В. Тендрякову за повесть “Апостольская командировка” и И. Забелину за книгу очерков “Человек и человечество” с его размышлениями о том, как запутан вопрос о Боге в атеистической литературе: “Бог существовал и существует по сей день, бог – реальный, исторический и социальный феномен, и это заключение, к которому может прийти диалектически мыслящий исследователь”.

Судя по тому, как советский агитпроп следил за всеми изданиями врагов социализма на Западе, отслеживал их публикации и “выявлял” “сочувствующих” им в СССР, едва ли компетентные органы могли пройти мимо работы Збигнева Бжезинского “Америка в технотронной эре”, где её автор в 1968 году писал, обращаясь к будущему: “Мы переживаем необычную революционную эпоху; мы вступаем в фазу новой метаморфозы в человеческой истории. Мир стоит на пороге трансформации, которая по своим историческим и человеческим последствиям будет более драматичной, чем та, что вызвана Французской или Большевицкой революциями... В 2000 году признают, что Робеспьер и Ленин были мягкими реформаторами”...

Учитывая подобные прогнозы, имея представление о намерениях идеологического противника, любая власть, всерьёз думающая о будущем Отечества, могла и должна была опереться на писателей, публицистов, идеологов, связанных с тысячелетней идейной, художественной, духовной традицией... Ничего подобного в СССР в это время, к сожалению, не наблюдалось.

30 марта 1972 года состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС по докладу Юрия Андропова о росте подрывной направленности западной пропаганды. И на этом заседании звучало буквально следующее в выступлениях большинства из правительственного синклита.

П. Шелест: “Ведь можно неразумную форму русизма превратить в анти-советизм”.

М. Соломенцев: “Мы действительно увлекаемся поднятием всякого рода исторической старины, что иногда приводит и к русификации”.

Б. Пономарёв: “Есть у нас факты проявления русизма. Нам надо проявлять в идеологии непримиримость ко всем явлениям национализма”.

Н. Подгорный: “Нередко можно слышать по радио такие песни, где без удержу прославляется старина или говорится не о советской Родине, а лишь о России, без которой якобы жить нельзя”.

Тогда же первый секретарь Московского горкома партии В. Гришин обрушился на Солоухина и Чалмаева, обвинив их в “протаскивании идеи великодержавного шовинизма” и в том, что понятия “русский” и “Россия” они трактуют со “славянофильских позиций”.

В сознании этих людей советская Родина не имела никакого отношения к России с её многовековой историей.

И здесь отечественный агитпроп работал в унисон с ненавидимым им внешне агитпропом зарубежным.

Мы уже встречались на страницах этой книги с “советологом” Леоном Робелем, автором статьи в “Нувель критик”, вышедшей в мае 1972 года. Называлось это сочинение “Обречённые солдаты реставрации”. И речь в ней шла всё о тех же “молодогвардейцах” и об авторах сборника “Жить страстями и идеями времени”.

Перевирая и передёргивая всё, что можно и чего нельзя, Робель пугал читателя тем, что в СССР зреет националистическая идеология антизападного направления, включающая “лиц, занимающих ответственные посты”, а “административные меры” сдерживают её с большим трудом. Одним из признаков этой “националистической идеологии” он называл утверждения, что “война 1812 года прославляется как национальная победа русских” (кошмар, не правда ли?), утверждал, что национализм сказывается даже в “возвращении к традиционной литературной форме”, в “атаке на рационализм”.

“Неудивительно, что националистические идеологи восстают против тех, кто старается внести методы точных наук в изучение языка, литературы, человека и истории. Здесь имеют право быть только эрудиция и интуиция”.

Пётр Палиевский не мог не отреагировать на этот робелевский выпад против его антиструктуралистских сочинений и написал в ответ остроумнейший памфлет “Урок советологии”, который, увы, не дошёл до страниц отечественной печати.

Через несколько месяцев в “Литературной газете” появилась статья Александра Яковлева “Против антиисторизма”.

Это, по сути, была объёмная коллективная директива, направленная против писателей и публицистов русского возрождения, где был использован текст докладной записки Института научного атеизма, а также щедро – буквально лопатой – был извлечён необходимый материал из статьи Дементьева “О традициях и народности” – вплоть до прямых текстуальных совпадений, – что наводит на мысль об участии самого Дементьева в составлении этого текста (Сергей Семанов утверждал, что над ним работали также Валентин Оскоцкий, за месяц до того выступивший в “Вопросах литературы” с погромной статьёй “Две нации и две культуры” – с теми же самыми обвинениями в адрес Олега Михайлова, Ивана Шухова, Юрия Иванова, Виктора Чалмаева, а также Феликс Кузнецов – тот, правда, потом говорил, что он принимал участие в её редактировании и по возможности смягчал совсем уж возмутительные анти-русские выпады, – и Юрий Суровцев).

“Истоки” в иных статьях, – декларировал Яковлев, – настойчиво противопоставляются “интеллектуализму”, а противопоставление это выдвигается за “современное соотношение городской и деревенской культуры”. По адресу сторонников “интеллектуализма” мечутся громы и молнии, а сами они именуются не иначе, как “разлагатели национального духа”... Культивируется

любование патриархальным укладом жизни, домостроевскими нравами как основной национальной ценностью. Естественно, что при такой постановке вопроса социализм и те изменения, которые он за полвека внёс в нашу жизнь, социальная практика советского общества, формирующая коммунистическую мораль, выглядят как искусственно привнесённые нововведения, как вряд ли оправданная ломка привычного образа жизни”.

В этом сочинении, переполненном передёргиваниями и извращениями смысла высказываний русских писателей, третировалась книга Лобанова “Мужество человечности” и его статья “Вечность красоты” о толстовской эпопее “Война и мир” (“Отечественная война 1812 года трактуется М. Лобановым как период классового мира, некоей национальной гармонии. Неприятие М. Лобанова вызывают идеи Великой Французской буржуазной революции: якобы избавление от них как от “наносного, искусственного, насильственно привитого” и возвращение к “целостности русской жизни” обеспечило, по его мнению, “нравственную несокрушимость русского войска на Бородине”). Громилась подборка стихотворений “Поэты Армении” в “Новом мире” и поэтические циклы авторов “Молодой гвардии” (“Во многих стихах мы встречаемся с воспеванием церквей и икон, а это уже вопрос далеко не поэтический...”) Ясно, что – политический, и здесь “установочная” статья переходила уже в прямой донос “по начальству”). “По сути дела, за всем этим – идейная позиция, опасная тем, что объективно содержит попытку возвернуть прошлое, запугать людей “злобным духом железного воя”, “индустриальной пляской”, убивающей якобы национальную самобытность...” Далее следовал погром статьи Ланщикова “Земля и прогресс”, романа “Оленьи пруды” Михаила Кочнева, которого Яковлев обвинял в том, что тот ведёт полемику “не только с Чернышевским, но и с Лениным” (“С кем же в таком случае борются наши ревнители патриархальной деревни и куда они зовут?..”), и в том, что в этом романе “предприятна попытка оспорить точку зрения на Карамзина-историка как защитника самодержавия и представить его нашим “идейным союзником”, “соратником”, заслуживающим ни больше ни меньше, как “народного внимания, народного чувства”. “Даже “традиции” гастрономического свойства стали предметом скорби!” – тут уже следовали нападки на Кожинова – на его беседу с Львом Аннинским в “Кодрах”. (“Если следовать логике рассуждений В. Кожинова, то плотоядный гоголевский персонаж – Пётр Петрович Петух – окажется самым ярким носителем национальных традиций... Уместно напомнить, что В. И. Ленин прямо отождествлял патриархальщину с дикостью. И в ней ли нам искать нравственные идеалы, “истоки” морального обновления!”).

“Только брьюжащий скептик может “не заметить”, что для деятельности Советского государства в области культуры характерна огромная забота о сохранении и приумножении духовного наследия всех народов Советской страны. Государство отпускает огромные средства на реставрацию памятников архитектуры, произведений изобразительного искусства”, – вещал Яковлев, делая вид, что он понятия не имеет о том, сколько усилий приложили третированные им писатели для создания Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

“А “справного мужика” надо было порушить. Такая уж она неумолимая сила, революция, – рушит всё, что восстает против человечности и свободы”, – всё, что и хотел, и мог сказать тогда о трагедии коллективизации начальник отдела пропаганды. Размахивая направо и налево ленинской цитатой о “двух культурах в каждой национальной культуре”, он “драконил” замечательную по-своему книгу Л. Ершова и А. Хватова “Листья и корни”, статью Олега Михайлова и роман Ивана Шухова, которые “в явно романтизированном виде представили царского генерала Скобелева, без учёта его реакционного умонастроений и роли в подавлении народных выступлений в Средней Азии”.

Досталось и “Литературной Грузии” за прославление царицы Тамары, и Борису Егорову за статью “Славянофильство” в “Краткой литературной энциклопедии”, и Виктору Петелину за статью в журнале “Волга”... А от сборника “О, Русская земля!” – от опубликованного на его страницах стихотворения Николая Языкова “К не нашим” и “произведений других славянофильских поэтов, воспевавших самодержавие”, идеолога буквально трясло.

И всё это под соусом ленинских цитат – преимущественно из статьи “О национальной гордости великороссов” – и с “железобетонным” выводом:

“Партия всегда была непримирима ко всему, что может нанести ущерб единству нашего общества, в том числе к любым националистическим поветриям, откуда и от кого они ни исходили бы”.

Дескать, не думайте, что теперь вам всё сойдёт с рук.

Как вспоминал Валерий Ганичев, в самом начале ноября 1972 года перед публикацией в “Литературной газете” Яковлев выступил в Академии общественных наук перед секретарями обкомов комсомола, обличая издательство “Молодая гвардия” с трибуны: “Вот сидит Валерий, вроде бы умный человек, но все книги издательства *заполнены патриархальщиной, боженькой и мракобесием*”.

Создавалось впечатление, – вспоминал Георгий Смирнов в своей книге “Уроки минувшего”, – что публикация преследовала отнюдь не литературные цели, а скорее – поразить кого-то, привлечь внимание к автору чуть ли не эпатажным текстом”.

“Реакция была известна какая, – это уже из воспоминаний Михаила Лобанова, – завинчивать гайки, поднимать классовую бдительность, в частности, против “русофильства”, храмов, против недооценки ленинского учения о двух культурах в каждой национальной культуре и т. д.”.

Георгий Куницын в своих “Открытых письмах “архитектору перестройки” академику А. Н. Яковлеву” открытым текстом написал, что эта статья, подготовленная инструкторами Агитпропа, была санкционирована Суловым и Демичевым. Так что ни о какой “художественной самодеятельности” здесь не могло быть и речи, даром что подписана статья была “А. Яковлев, доктор исторических наук” – безо всякого намёка на агитпроп.

Вот здесь-то и. о. заведующего отделом пропаганды и споткнулся.

В ЦК КПСС на имя Демичева пришла статья Петра Выходцева “За историзм” на 38 страницах, где критик наглядно показал всю методологическую и профессиональную несостоятельность идеолога, его догматизм и весь набор недозволенных приёмов, заставляющих вспомнить пресловутых “неистовых ревнителю”. В Политбюро ЦК КПСС пришла телеграмма от Шолохова с резким осуждением яковлевского сочинения. А в неподцензурной печати – в журнале “Вече” – появилась анонимная статья под кричащим буквально заголовком: “Борьба с так называемым русофильством, или Путь государственного самоубийства”.

Тогда же на имя Кириленко пришло письмо, подписанное докторами наук В. Архиповым, Ф. Власовым и С. Шешуковым и кандидатом наук Ф. Бирюковым:

“Напомнив о том, что слова о “жалкой нации” принадлежат Н. Г. Чернышевскому и были повторены потом В. И. Лениным, А. Яковлев отчитывает писателя Кочнева, не согласного с приведённым определением: “С кем же в таком случае борются наши ревнителю патриархальной деревни и куда они ведут”. Борются, по логике Яковлева, с Лениным.

Мы думаем, что автор, защищая таким образом Н. Г. Чернышевского и В. И. Ленина, поступает по меньшей мере легкомысленно, бестактно. Давно известно, что Чернышевский допустил резкое суждение в минуту горького отчаяния, что Ленин использовал фразу в острой полемике с шовинистами, никак не превращая её в абсолютную оценку русской нации, почему же Яковлев решил обойтись без этих обязательных объяснений? И почему он не задумался над фактом – что заставило Кочнева говорить об этом и с кем он в действительности спорит?

А дело всё в том, что у нас нередко появлялись и появляются “теоретики”, которые, препарирова некоторые ленинские высказывания, придают им самый расширительный смысл, не учитывая конкретной обстановки.

... “Теоретики” не унялись. В последние годы то и дело распространяют на всех русских тип королёвского жалкого пьяницы Тюлина (“Река играет”), а русского крестьянина изучают по Бунину (“Деревня”), забывая принципиально противоположное – Некрасова. Муссируется и фраза о “жалкой нации”...

Никак не вяжется с этим мрачным колоритом статьи всё то, что говорит автор потом: “Нам дорого присущее трудовому крестьянству чувство любви к земле, к родной природе, чувство общности в труде, отзывчивость к нуждам других людей”.

Если бы всё это было действительно так дорого автору, он более бережно подошёл бы к тем литераторам, которые вышли из деревни, следят за её

нелёгкой судьбой, воспевают её и если в чём-то ошибаются, то эти эмоциональные излишества можно было устранить более спокойно, не подводя каждый образ под прямые политические категории. Он понял бы тех, кто стоит за чуткое понимание нравственных начал трудовой жизни, за сохранность всего ценного в прошлом, сбережение природной красоты и не стал бы распространять на нравственные представления людей труда слова Ленина: “Мы в вечную нравственность не верим...” — ибо здесь, в этих местах, как раз проведена грань между моралью тружеников и моралью эксплуататоров. Автор не стал бы приписывать патристически настроенным литераторам, любящим землю, “всхлипы по вчерашнему”, защиту “справного мужика”, “мироеда”. Всё это когда-то применялось в отношении лирики Есенина, Орешина. Нечто подобное чувствуется и на этот раз.

Десятки имён проходят через статью, как правило, это те, кто сами познали сельский труд, люди подчас тяжёлой личной судьбы и — как мы убеждены — талантливые литераторы. Но автор почему-то старательно превращает их в недоучек, приписывает им больше грехов, чем они могут иметь...

М. Лобанов пишет в книге “Мужество человечности”: “Почему крестьяне в те времена (XIX век) вызывали глубокое уважение, симпатию крупных писателей? Видимо, прежде всего, потому, что крестьяне — наиболее нравственно самобытный народный тип” (стр. 14). Здесь Лобанов говорит о том самом, что утверждали Белинский, Добролюбов, Некрасов.

Что делает А. Яковлев? Он произвольно меняет в цитате слово “народный” на “национальный”, — а это, конечно, далеко не одно и то же — и разносит Лобанова...

Критику О. Михайлову Яковлев приписал изображение “в романтизированном виде царского генерала Скобелева без учёта его реакционных умонастроений и роли в подавлении народных выступлений в Средней Азии”. Но статья-то Михайлова совсем о другом — об изображении Великой Отечественной войны в советской литературе. Он лишь походя процитировал Скобелева по частному вопросу. Всех подобных искажений в письме не перечислить. Обращение с критикуемыми самое бесцеремонное. Где же были, к слову сказать, сотрудники “Литературной газеты”, которые печатали элементарно не выправленный материал? Во имя чего всё это делается?

Самое же главное — А. Яковлев не задумывается над тем, что нынешние “славянофилы”, “почвенники”, “деревенщики”, как привыкли третировать их, вынуждены так или иначе реагировать на проявления национального нигилизма и космополитизма, на формализм и трюкачество в искусстве, языколюбные упражнения, на особое понимание “интеллектуализма”, приспособленного для групповых интересов. Не так просты и прочие проблемы, которых они касаются.

Мы не можем принять и другие грубые схемы А. Яковлева...

Демичев доложил о происшедшем Брежневу. На вопрос, адресованный Сулову, — читал ли он эту статью до публикации, — лукавый царедворец ответил: “Даже не видел”. Мало того, что Брежнев, главным принципом которого был “не раскачивать лодку”, оказался перед лицом серьёзнейшей проблемы: серьёзнейшего возможного, хоть и негласного, конфликта с целой когортой русских литераторов, достаточно известных и читаемых, за которых вступился лауреат Нобелевской премии, живой гений, гордость советской литературы. Он ещё и столкнулся с явным нарушением партийной субординации.

Тем более что к Брежневу обратился с соответствующим письмом его помощник Виктор Голиков:

“Автор сам подчёркивает, что приближающийся юбилей СССР “наполнен особым смыслом”. Неужели этот смысл состоит в том, чтобы собрать в кучу, притом за ряд прошлых лет, всякого рода пошлости и выплеснуть их на читателей? К тому же эти пошлости, неправильные тенденции в своё время уже были подвергнуты серьёзной критике и в печати, и даже в решениях некоторых партийных органов. О чём сам автор мимоходом упоминает. Удивляет также и то, что автор даже и не пытается привести хотя бы один положительный пример, а отобрал только то, что отдаёт гнилью. На двух полосах газеты только и фигурирует это гнильё. Такое написание статьи создало впечатление всеобщего идеологического разгула антиисторизма, антимарксистских взглядов, “ревизионистской всеядности”, как он сам говорит. И это в канун славного юбилея — 50-летия образования Союза ССР!

Какая необходимость сейчас будоражить нашу интеллигенцию устаревшими и к тому же уже в своё время раскритикованными фактами, вызывать всевозможные толки и кривотолки? Тем более что сделано это тогда, когда идеологическая работа партии по коренным вопросам давно уже вошла в хорошее русло. Автор пишет, что буржуазными идеологами и ревизионистами “старательно выискивается и раздувается самое малейшее проявление национализма”. А у самого получается так, что пользуется теми же методами – собрал на двух полосах кучу грязи и ни строчки хорошего. Причём факты собирались с большой тщательностью, вытаскивались даже из журналов, какие в Москве многие и в глаза не видели. Зачем всё это?!

Конечно, против отрицательных явлений, если они есть, бороться необходимо. Но критику их, во-первых, надо давать своевременно, так сказать, по горячим следам, тогда, когда эти недостатки появляются, а не вспоминать о них через годы, тогда, когда читатель уже забыл об этих статьях и книжках. Давать их надо на фоне положительных фактов, имеющихся достижений. Если поверить автору статьи, то выходит, что о рабочем классе, об интеллигенции, о крестьянстве, о деятелях и памятниках прошлого, об обычаях и традициях и т. п. у нас ничего хорошего пока не написано. Он то и дело поучает, как надо относиться к истории, к фактам и явлениям. В то же время сам нередко показывает образцы антиисторизма в оценке фактов и явлений: из отдельных, наскреблённых из разных источников фактов он делает значительные, далеко идущие выводы. Читаешь статью и думаешь: неужели антиисторизм стал у нас каким-то самостоятельным направлением, фронтом в нашей идеологической жизни? Чего стоит один заголовок статьи – “Против антиисторизма”, – да плюс две полосы текста.

Вся огромная статья – сплошная чернота, да ещё с каким языком, какими словечками – “юродствование”, “брюзжащий”, “паразитирует” и т. д. В таком виде статья оказалась как бы пропагандистом всего ошибочного, пошлого в затронутых автором проблемах.

Всякая критика должна быть глубокой, обстоятельной и убедительной, а здесь она оказалась поверхностной. Иначе и не могло быть, так как в статье поднято столько вопросов, что для их серьёзного рассмотрения просто нет возможности.

Возникает и другой вопрос. Почему первый заместитель заведующего Отделом пропаганды (вот уже, кажется, три года исполняет обязанности заведующего отделом), который должен отвечать за плохие публикации в нашей печати, выступает в роли публициста-критика, да ещё по фактам двух-трёх-летней, а то и большей давности?

И ещё один вопрос. В нашей партии существует традиция, что такие статьи ответственных работников ЦК публикуются после их рассмотрения в ЦК, особенно когда статья претендует на то, чтобы иметь установочный характер. Непонятно, как могла появиться такая статья”.

И на ближайшем заседании Секретариата ЦК Яковлеву сделал выговор Брежнев лично:

“... Я на днях посмотрел статью т. Яковлева. Ко мне уже по этой статье было несколько звонков. Я не понимаю, как она могла попасть в газету. Я, например, всегда стараюсь даже маленькую заметку, речь разослать по Политбюро и спросить санкции у Политбюро, а т. Яковлев может выступать с целыми положениями и высказывать собственное мнение и суждение не по одному, а по нескольким вопросам с общегосударственных, общепартийных позиций наших и т. д. Я думаю, что такая статья должна была пойти с санкции ЦК. Я даже вспоминаю, что, когда пришёл на работу в обком партии, мне было сказано, что, имея в виду, что ты теперь работник областного комитета партии, и если ты захочешь выступить публично со статьями или докладами, надо, чтобы об этом знал обком, надо спросить у обкома. Это мне врезалось на всю жизнь. Как может работник Центрального Комитета партии выступать в печати с подобного рода статьёй без спроса, без разрешения? Вы помните, было такое время, когда сделана была попытка руководить партийными организациями со стороны советских органов, Советов Министров и т. д.? Но это жизнью было отвергнуто потому, что ни духу, ни существу нашей партии это не подходит. Это инородное явление. Нам надо укреплять всеми силами Центральный Комитет, его аппарат и воспитывать наш аппарат в духе высокой дисциплины. Есть у нас некоторые товарищи, которые сидят по 30 лет в аппарате и сидят,

прямо скажем, бесполезно и бесплодно. Надо посмотреть, может быть, нам нужно привлечь новые, молодые кадры. А то смотришь, существует отдел длительное время, а никаких вопросов острого, запоминающихся нашей партии годами не вносит. Но что же это за отдел?”

По коридорам пошёл слух о брошенной вскользь брежневской реплике: “Что он, Ленин, что ли?”

Яковлева в ЦК не любили. И не потому, что он был “самый интеллигентный”, как потом о нём писали и говорили его клеветы. Все помнили, как он был членом группировки Шелепина и бестрепетно сдал своего патрона, когда пришло время. Подобного рода “перебежчиков” и “перестройщиков” вменяемые люди не любят никогда и нигде. Но никаких оргвыводов тогда сделано не было. Яковлев сам почувствовал соответствующее отношение к себе и понял, что здесь ему ничего не светит, что его затея обеспечить себе дальнейшее карьерное продвижение через топтание уже порядком истоптанных русских писателей потерпела крах. И он сам попросился отправить его послом в Канаду.

Для “раскритикованных” наступили непростые времена. И у Лобанова, и у Кожинова каждая следующая статья проходила в печать с порядочным трудом, а то целый ряд работ вовсе остался неопубликованным. “Книга о русской лирической поэзии”, которую Вадим Валериевич завершил в эти дни, на несколько лет осталась лежать без движения.

Впрочем, был в статье Яковлева один пассаж, которому следует посвящать несколько слов.

* * *

В это же время по страницам советских газет прокатился мощнейший вал критических публикаций, посвящённых Солженицыну. Тот, впрочем, и сам не сидел сложа руки. Осенённый Нобелевской премией, он неистово отвечал своим противникам на страницах русскоязычной зарубежной печати.

И Яковлев также не прошёл мимо:

“Как известно, антикоммунизм, изыскивая новые средства борьбы с марксистско-ленинским мировоззрением и социалистическим строем, пытается гальванизировать идеологию “Вех”, бердяевщину и другие разгромленные В. И. Лениным реакционные, националистические, религиозно-идеалистические концепции прошлого. Яркий пример тому – шумиха на Западе вокруг сочинений Солженицына, в особенности его последнего романа “Август четырнадцатого”, веховского – по философским позициям и кадетского – по позициям политическим. Романа, навязывающего читателю отрицательное отношение к самой идее революции и социализма, чернящего русское освободительное движение и его идейно-нравственные ценности, идеализирующего жизнь, быт, нравы самодержавной России.

Конечно, роман Солженицына – это проявление открытой враждебности к идеалам революции, социализма. Советским литераторам, в том числе и тем, чьи неверные взгляды критикуются в этой статье, разумеется, чуждо и противно поведение новоявленного веховца.

Но ясно и другое, что даже простое кокетничание с реакционно-консервативными традициями прошлого, восходящими к интересам и идеологии свергнутых классов, вынуждает к решительным возражениям против идейной неразборчивости в вопросах подобного рода”.

Кстати сказать, в письме авторов журнала “Вече” Солженицыну был уделён существенный абзац:

“Чтобы окончательно скомпрометировать “русофилов”, в глазах властей, Яковлев идёт на спекуляцию самого мелкого пошиба: включает в список “русофильской” литературы якобы антисоветский роман Солженицына “Август четырнадцатого”, – на наш взгляд, наименее патриотическое произведение этого писателя. Волнение чувств при слове “Россия” у автора исторического романа ещё не есть примета соответствующей исторической трактовки. Изображение “гнилости” царского режима, “бездарности” русского командования, подведение читателя к мысли о необходимости перемен по западному образцу – да чем же по сути отличается позиция Солженицына от официальной версии? Карикатурный образ Николая Второго, например, должен был бы

умилить Яковлева. Что касается “враждебности” Солженицына, то пусть Яковлев приведёт хотя бы одно антисоветское высказывание писателя. Как известно, все критические места в творчестве Солженицына ограничиваются периодом культа личности”.

Отношение к Солженицыну у Кожина и писателей его круга было весьма неоднозначным.

Кожин, конечно, читал сборник “Из-под глыб”. Он был, безусловно, на стороне Солженицына в его полемике с Сахаровым, в частности, с его словами: “Пренебрегая живучестью национального духа, Сахаров упускает и возможность существования в нашей стране живых национальных сил. Это прорывается даже комично в том месте, где он перечисляет “прогрессивные силы нашей страны” – и кого же видит? – “левых коммунистов-ленинцев” да “левых западников”. И только?.. Были бы мы действительно духовно нищи и обречены, если бы лишь этими силами исчерпывалась сегодняшняя Россия”. Он был солидарен с Солженицыным в том, что “сегодня меньше, чем всё минувшее столетие, приличествует нам видеть в западной парламентской системе *единственный* выход для нашей страны”. При этом явно видел противоречие в самих солженицынских положениях, когда тот, отрицая советский социализм, настаивал на “раскаянии и самоограничении как категории национальной жизни”. Естественно возникал вопрос: что же тогда социализм, как не самоограничение?

Читая статью Солженицына “Образованщина”, он чётко видел, как её автор, по сути, отталкивался от статьи Лобанова “Просвещённое мещанство” – даром что в его сочинении вся полемика обращена к практически не ведомым никому в Отечестве публицистам, печатающимся на Западе в малотиражных журнальчиках. И внимательно перечитывал “Письмо вождям Советского Союза”, и отдельные его мысли были созвучны собственным: “Наши передовые публицисты и до революции и после – как излюбили высмеивать тех ретроградов (именно в России их было много всегда), кто звал беречь и жалеть нашу старину, даже самые глухие деревушки в три избы, даже просёлочные дороги рядом с железной колеёй, сохранять лошадей уже при автомобилях, не забрасывать малых производств для огромных заводов и комбинатов, не пренебрегать навозными удобрениями для химических, не скопляться миллионами в городах, не карабкаться друг другу на голову в многоэтажных зданиях, и как смеялись, как затравили реакционными “славянофилами” (из посмешища это стало термином, простаки и не придумали себе названия другого), затравили тех, кто говорил, что такой колосс, как Россия, да со многими душевными особенностями и бытовыми традициями, вполне может поискать и свой особый путь в человечестве; и не может быть, чтобы путь развития у всего человечества был только и непременно один... “Прогресс” должен перестать считаться желанной характеристикой общества. “Бесконечность прогресса” есть бредовая мифология. Должна осуществляться не “экономика постоянного развития”, но экономика постоянного уровня, стабильная. Экономический рост не только не нужен, но губителен... Отпустите же эту битую идеологию от себя! Я вовсе не предлагаю вам принять другую крайность – преследовать или запрещать марксизм, даже спорить против него (с ним спорить скоро никто уже и не будет, из лени одной). Я только предлагаю вам спастись от него самим и спасти от него своё государственное устройство и свой народ. А для этого только лишить марксизм мощной государственной поддержки, и пусть он существует сам по себе, на своих ногах... Оставаясь в рамках жестокого реализма, я не предлагаю вам менять удобного для вас размещения руководства. Совокупность всех тех, от веру до низу, кого вы считаете действующим и желательным руководством, переведите, однако, в систему советскую. А впрямь от того любой государственный пост пусть не будет прямым следствием партийной принадлежности, как сейчас. Освободите и свою партию от упрёков, что люди получают партийные билеты для карьеры. Дайте возможность некоторым работающим соотечественникам тоже продвигаться по государственным ступеням и без партийного билета – вы и работников получите хороших, и в партии останутся лишь бескорыстные люди...”

Далеко не всё было в этом письме Кожину созвучно. Но процитированные положения он тогда разделял целиком и полностью. А главное – он

поддерживал само стремление Солженицына выйти на прямой взаимоувязительный (как он полагал) диалог с властью.

“Диалог” этот, надо сказать, был достаточно таинственным.

Ни Кожин, ни его друзья, естественно, не могли знать, что вокруг Солженицына различные “партии” внутри “единой КПСС” вели каждая свою игру.

Несостоявшегося лауреата Ленинской премии сначала приглашали во всевозможные учреждения для выступлений (с ведома парткомов этих самых учреждений), а потом эти выступления отменялись одно за другим (словно Солженицыну кто-то намеренно рисовал ореол гонимого). О настоятельной необходимости им получения Нобелевской премии ещё в 1967 году Лев Копелев говорил Ольге Карлайл – тогда, когда на Западе ещё не знали ни “В круге первом”, ни “Ракового корпуса”. И вопрос: по своей ли личной инициативе Копелев заводил этот разговор и только ли Солженицын был инициатором этой замечательной просьбы?

Если перелистать нашу прессу начала 1970-х годов, то может создаться впечатление, что любая выходка Солженицына, связанная с его публикациями на Западе, была для нашей власти полной неожиданностью. Не говоря уже об издании первого тома “Архипелага ГУЛаг”, свалившегося, если опять же верить нашей прессе, как снег на голову. На самом деле вырисовывается совершенно иная картина.

“Архипелаг ГУЛаг” впервые в печатном виде появился в Советском Союзе в 1972 году. Он был издан в 2-х томах Издательством политической литературы по постановлению ЦК КПСС под редакцией учёного секретаря Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС М. Искрова.

Понятно, что это был ограниченный тираж для специального пользования небольшим кругом читателей из партийного аппарата (до этого “для специального пользования” были изданы “Пир победителей” и “В круге первом”). Но сам по себе факт говорит о многом, как и то, что на фантастические цифры репрессированных в “Архипелаге”, на прямой вызов Солженицына: “Опровергайте!” – не последовало никакого ответа с использованием архивных материалов. И это само по себе вызывало тревожные вопросы у вдумчивых людей того времени.

Предположить здесь также можно многое – в том числе невидимую для глаз большинства взаимную игру, которую вели между собой Солженицын и определённые круги правительственного синклита.

(Продолжение следует)

Год назад, 14 ноября 2021 года, ушёл из жизни русский поэт и переводчик Владимир Сорочкин.

ОЛЬГА ГОРЕЛАЯ

“И ВДОХНОВЕНЬЕМ ПОЛНИТСЯ ДУША...”

Владимир Сорочкин. Золотая ладья. Избранные переводы. — Брянск: Цифровая типография “Аверс”, 2020. — 440 с.

Недавно услышала фразу: “Переводчик – это соперник автора”. Сказано было категорично, спорить, конечно, не стала, но подумала, что хороший переводчик – это всегда талантливый чуткий поэт, который может стать другом тому, кого переводит, но никак не соперником... И сейчас я держу в руках книгу “Золотая ладья” – живое доказательство своей мысли. Живое – потому что, написанная на русском языке, она говорит на табасаранском, белорусском, болгарском и украинском, французском и вьетнамском, английском и коми... 50 авторов разных национальностей, несколько десятилетий работы замечательного брянского поэта Владимира Сорочкина. И возможность для нас, благодаря его переводам, услышать поэтов других национальностей, бывших такими от нас далёкими и вдруг, как по волшебству, ставших близкими и понятными:

Не торопясь, в ночной тиши
Скользят с небес потоки.
Из звонких струн моей души
Дождь извлекает строки.

Так написал Алимурад Алимуратов, табасаранский поэт. И у других авторов из других стран мелькает нередко та же мысль: поэзия – самая сокровенная и трепетная часть души поэта, у кого-то самая светлая, у кого-то – мятежная, но всегда соединяющая в себе любовь к людям и боль за них. Лидия Иргит, прекрасная тувинская поэтесса, сказала: “*Ношу стихи в себе, как малое дитя / Вынашивает мать, – светло и безоглядно*”... Но пишет она при этом, “слезами истекая”. Такова доля поэта, призванного помогать людям, как справедливо считает хакасец Сергей Карачаков:

Прольётся дождь на выжженном просторе,
Земля вокруг зазеленеет снова.
Вот так и душу в безутешном горе
Спасает человеческое слово.

Да и как можно оставаться равнодушным, когда речь идёт об Отчизне

и родном языке, о матери, любимых, о самом важном и дорогом? Да и не пишут равнодушные люди стихов...

Восхищение любимым Полесьем у белорусских поэтов, например, в строках Михася Башлакова:

На этих просторах рождаются песни,
Слетаются сами, когда захотят...
Дороги Полесья, дороги Полесья,
Как птицы, в далёкие дали летят...

“Сторона родная, / словно храм, светла” у Александра Лужикова, который пишет на языке коми. Наполнены яркими цветами и ароматами строки украинского поэта Евгена Маланюка в стихотворении “Карпаты”:

Тут поздние черешни. Дикой розы
Витает аромат едва-едва.
Земля родная, снова ты нова...

На всех языках звучат признания в любви Родине – стране и маленькому селу, горному аулу и реке, в которой купался в детстве. И неразрывно эти признания связаны с преклонением перед языком своего Отечества. Казалось бы, у каждого оно своё, язык свой, но как же похожи чувства, различны только образы, их выражающие...

Стихами живёт Магомед Ахмедов “... ради / Величия и славы горской реки” (перевод с аварского). Больше всего боится, что не удастся сохранить для детей и внуков язык Дагестана, Эльмира Ашурбекова, ведь он для неё “... моё имя, и сердце, и суть, / И печаль, и любовь, сохранённые бережно в звуках” (перевод с табасаранского).

У настоящей поэзии открытая, крылатая душа, она вмещает Вселенную (“Без остатка уместилась / Вся Вселенная во мне” – Рагим Рахман, перевод с табасаранского). Такая душа способна любить не только свою страну, но и другие, далёкие и прекрасные. Именно такой предстаёт наша страна в стихотворении “Древняя Россия” Нгуена Хюи Хоанга (перевод с вьетнамского):

То была Россия сказок. Что сравниться может с ней?
В поднебесье уходила степь, не знающая края,
И легенды стлались следом за копытами коней.
Звёзды падали на землю. И земля была святая.

В стихотворении сохранены почти прозаическая напевность, отличный от нашего порядок слов, а слышится оно для нас очень благозвучно – благодаря необычной интонации и ненавязчивой звукописи рифм.

В каждой подборке стихотворений – образ автора. Все очень разные. Я привела много примеров, пытаюсь показать близость и даже единение поэтов, которые непохожими словами, в непохожей манере пишут всё же об одном – о своём понимании мира и места в нём человека, и зачастую самым правильным местом оказывается именно Отчизна. Это позволило создать книгу, воспринимающуюся читателем как единое целое.

А талант переводчика позволил Владимиру Сорочкину сохранить голос каждого поэта, передать неповторимые черты национальной поэзии разных народов. Сохраняются образные ряды, ритмика стиха, приметы времени.

В “Золотой ладье” плывут авторы разных эпох, не только разных народов, поэтому в некоторых случаях переводчик-художник создаёт для нас картину прошлого, не давая ему уйти безвозвратно. Нанизываются слова-бусины, чужой язык становится роднее, образы ярче и доступнее именно для нас, носителей русского языка. Это напоминает труд реставратора, который раскрывает живописное полотно, даёт возможность любоваться работами старинных мастеров.

...О, пектораль! Любви основа...
Играют блики по резьбе.
Как дух сокрыт в глубинах слова,
Так до сих пор живёт в тебе

Подковы отзвук, отблеск взгляда,
Полынный запах молока,
Свет неба, таинство обряда,
Что обжигает сквозь века.

Невесомая, улавливаемая только в бликах, отзвуках, отблесках, живёт в стихотворении Василя Струтинского “Скифская пектораль” то ли сегодняшняя, то ли древняя история любви (перевод с украинского).

Иногда нам близки и понятны картины, созданные авторами из других стран, особенно если это славяне. Такие родные ассоциации в стихах белоруса Владимира Некляева: “Водою станет и песком / Боль наша, высохнув осотом, / Тоска развеется, как прах, / Стираясь в звёздных жерновах”. Легко представить себе и сухой колючий осот – во что и превращаться боли, если не в него! – и громадную звёздную мельницу, стоящую прямо на Млечном Пути. А кто не волновался во время цветения садов, что ударят сейчас заморозки и всё погибнет? Когда тревожно просто от того, что слишком красиво и слишком много счастья? Александр Олейник (перевод с украинского):

Весне бело-розовый роздых
Не радость, но боли печать,
Как будто дочурка-подросток
Надумала свадьбу гулять.

Зато образы слепой луны, радуги, прахом рассыпающей краски, понятны, но непривычны. И при этом сколько гармонии в поэзии Даримы Райцановой (перевод с бурятского):

Полночь — ночи середина, и ползёт луна слепая.
Стрелы глаз осколок счастья оживят в моей крови.
Меркнет радуга на небе, прахом краски рассыпая, —
Ищет в памяти бессонной эхо дремлющей любви.

Владимир Сорочкин – поэт, а не переводчик – пишет классические стихи. Музыкальные, с яркими, иногда светящимися красками и богатыми оттенками. У него есть любимые формы и ритмы. И, конечно, оформление стихотворений. Но как переводчик он очень бережно относится к чужой поэзии, ни в коем случае не навязывая ей своих пристрастий. И вот перед нами чудесное стихотворение Лины Костенко “Ноябрь” (перевод с украинского):

порозовели яблоки-цыганки
покой небес читая по складам
из ночи в ночь кострища как сигарки
неспешно дотлевают по садам
сады стоят обвитые ветрами
кружится листьев золото и желчь
и кто здесь я статист всей этой драмы
сгребаю их сгребаю чтобы сжечь
они горят и ничего не знают
полям умолкшим руку золотят
настала осень вот и облетают
и облетели вот и шелестят

Здесь нет оформленных большими буквами строк, нет знаков препинания. Но, может, именно в этом произведении они и не нужны? Перевод максимально сохранил и донёс до нас голос, мысли и чувства. Яркой приметой времени место тоже нашлось: Лина Костенко родилась в 1930 г., как раз во второй трети XX в. сигарки и крутили. Кто-то скажет, что это мелочь. Но чтобы сложилось у нас, читателей, целостное представление о поэте, придётся собрать множество “мелочей”.

Иногда очень сложно подобрать слова, наиболее точно передающие смысл, ведь то, что прекрасно звучит даже на близких нам украинском и белорусском, может совсем не звучать в переводе на русский, если этот перевод

близок к дословному. Как пример такого несовпадения Владимир Сорочкин назвал стихотворение “Игра” Владимира Некляева:

Гульня

Ранкам неба пацямнела, а днём
На дарогу ўпала чорным агнём.

Нахіліўся і падняў я агонь,
Перакінуў з далані на далонь.

І на правай — прапалі ўскуруён,
І на левай, як кляймо, стаў відзён.

І спытала даланя ў далані:
— Для чаго нам перакідваць агні?

І сказала далані даланя:
— Гэта забаўка такая. Гульня.

Игра

Утром небо потемнело, а днём
На дорогу пало чёрным огнём.

Наклонился я и поднял огонь,
И с ладони вновь поймал на ладонь.

И на правой кожу сжечь он успел,
И на левой, как клеймо, заалел.

И спросила у ладони ладонь:
— Для чего же мы кидаем огонь?

И ответила сестрице сестра:
— Да забава есть такая. Игра.

Обратите внимание: в последней строфе перевода отвечает не ладонь ладони. А сестрице сестра. Очень интересная находка — и смысл сохранен, и красиво, и момент одушевления усилен. И в переводе так явно чувствуется, насколько интересна, близка Владимиру Евгеньевичу работа переводчика, насколько он дорожит каждым словом и образом, созданным другим поэтом.

К стихотворению Петро Куценко “Речь” эпиграфом взята строка Л. Васильевой “Родная речь — дарованное благо...” С ней невозможно не согласиться. К сожалению, это благо очень трудно сохранить в наше время. Как ни странно, именно перевод — бережный, точный, художественный — помогает сохранять многообразие языков нашей планеты. Благодаря очень интересному, пусть сложному, труду переводчика, поэты услышаны читателями, в данном случае — российскими, а читатели вдруг узнали, как много прекрасного создаётся на языках нашей страны, соседних стран, далёкого зарубежья. Услышали боль поэтов за родной язык. Их тревогу. На мой взгляд, это очень важно.

А ещё — хотя для большинства читателей это, несомненно, на первом месте — можно просто читать замечательную талантливую поэзию и наслаждаться ею, погружаясь в красоту, мечты, историю... И сердце будет снова и снова наполняться вдохновением.

“РАДИ ДОБРА И СПРАВЕДЛИВОСТИ”

ДОРОГОЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ ВЫ
ПРОЖИЛИ ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ 90 ЛЕТ И КАЖДЫЙ ГОД КАЖДЫЙ ЧАС ВАШЕЙ
ЖИЗНИ БЫЛ НАПОЛНЕН ЛЮБОВЬЮ К НАШЕЙ МАТУШКЕ-РОССИИ
В ДАЛЁКОМ УЖЕ 1959 ГОДУ ВЫ НАПИСАЛИ ПРОРОЧЕСКИЕ СТРОКИ
СТАВШИЕ ХРЕСТОМАТИЙНЫМИ А СЕГОДНЯ ОСОБО АКТУАЛЬНЫМИ:

“ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ С КУЛАКАМИ
ДОБРО СУРОВЫМ БЫТЬ ДОЛЖНО
ЧТОБЫ ЛЕТЕЛА ШЕРСТЬ КЛОКАМИ
СО ВСЕХ КТО ЛЕЗЕТ НА ДОБРО”

И СЕГОДНЯ ИМЕННО РАДИ ДОБРА И СПРАВЕДЛИВОСТИ ОТСТАИВАЯ
ПРАВО РУССКИХ ЛЮДЕЙ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ СРАЖАЮТСЯ С НАЦИСТАМИ
НАШИ ВОИНЫ ВЫ ОЧЕВИДЕЦ-ЗАВИДНАЯ СУДЬБА-ПРАЗДНИКА ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ 9 МАЯ 1945 ГОДА И Я УВЕРЕН ЧТО БУДЕТЕ ОЧЕВИДЦЕМ И НОВОЙ
ПОБЕДЫ НАД НАСЛЕДНИКАМИ ИДЕЙ ГИТЛЕРА И БАНДЕРЫ НАД НОВЫМИ
НАЦИСТАМИ ИСКРЕННЕ И СЕРДЕЧНО ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ
ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ РАДОСТИ И ЛЮБВИ ТЕПЛА И УЮТА ВАШЕМУ
ДОМУ ЖИВИТЕ ДОЛГО И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ С УВАЖЕНИЕМ

=РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ Г А ЗЮГАНОВ

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!
Поздравляю Вас с 90-летием!

Читая поздравления с днём рождения, направленные в Ваш адрес писателями, представителями культуры, общественными и государственными деятелями, людьми известными и уважаемыми, я соглашался со всем сказанным о Вас, душа радовалась тому, что даже через поздравления проявлялась некая глубинная, неисчерпаемая и непобедимая духовная сила, присущая нашему народу, – сила Добра, Правды, Справедливости! И у меня не возникало и мысли поздравить Вас ещё и от себя! Достаточно было почувствовать себя одним из представителей писательского сообщества, и шире – одним из читателей журнала, которые незримо стоят за опубликованными поздравлениями и мысленно согласны с их содержанием.

В этот день хочу обратить Ваше внимание на то, что в нынешнее время стало дозволено говорить о русском мире как о чём-то естественном, закономерном и неопасном для человека как личности, потому что о его интересах исподволь, а затем и явно стал заботиться Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. А Ваша забота, Станислав Юрьевич, о русском мире, можно сказать, имеет свою историю длиною в десятилетия, если прожитые годы разбить на такие периоды! Подтверждением тому – Ваш творческий багаж из поэтических книг, книг литературной критики и публицистики

и Ваш опыт бескомпромиссной литературной борьбы с теми, кто творит и использует стихи, беллетристику и публицистику для умаления значимости русского художественного слова и образа русской жизни!

Однако и сегодня не знаю человека, который задавался бы вопросом об особенностях русского мира так глубоко, как это делаете Вы. Действительно, все русские и русскоговорящие, придерживающиеся ценностей русского мира, этот мир наполняют и представляют! Но Вы называете крайний исток – откуда наш сегодняшний мир вышел, как сформировался и чего достиг! Вы называете время, когда это происходило, – советское время! Именно в это время человечество в лице советского общества нашей страны достигло невероятного сплочения, ратных побед, результатов в труде и других достижениях! Советское время и есть русское время! Потому что русский человек здесь был основной движущей силой истории! Читая многие Ваши труды, я для себя формулировал: “Русский человек – это в недавнем прошлом советский человек!” Вы знали, что какого-то другого русского человека, кроме как советского, на территории России и СССР уже быть не могло! Хотя бы по завершённости жизненного цикла представителей русской православной империи. И если недавний (советский!) образ жизни привёл нас к выдающимся результатам, а этот образ тем не менее оклеветали и выбросили на помойку “лихих девяностых”, то душа русского человека просто не могла с этим согласиться! Вы были одним из немногих несогласных среди тех, кто представлял литературу и культуру в России в целом! Эти точки несогласия были немногочисленными, но они были и притягивали к себе всё русское – искреннее, направленное на утверждение Правды и Справедливости. И когда в “лихие девяностые” доморощенные либералы, борясь с коммунистической идеологией, отвергали и всё советское, собственно, сам образ жизни людей, складывавшийся естественно, в традициях русского мира, Вы понимали, что таким образом они завуалированно отвергали всё русское, стремясь превратить народ в население без царя в голове, неспособное ни к чему, которому достаточно денежной поддачи на скудное пропитание.

Ваше руководство журналом “Наш современник” в последние десятилетия обеспечило мощную площадку для утверждения русской философской и политической мысли, остросоциальной публицистики, вскрывающей язвы колониального состояния России, которое только и укрепляли наши (не наши!) либералы, сплотившись в пятую колонну во всех сферах деятельности общества и государства. При этом журнал оставался источником современного русского художественного слова, являя глубину его смысла и красоту! Это вселяло надежду на перемену, на то, что всё в нашей стране изменится. Вот только когда и при каких обстоятельствах? Такой надежды оставалось всё меньше... Но неожиданный поворот случился! И его отправная точка – специальная военная операция на Донбассе. Она отменила всё, над чем так радели наши явные и скрытые недоброжелатели во всех сферах жизни и деятельности страны. И в этот судьбоносный момент я обратил внимание на то, что в нём (момente) никак не могли обойтись без знаменитой строки из Вашего стихотворения!

Ещё до начала спецоперации Президент Российской Федерации, завершая пресс-конференцию о признании республик Донбасса, сказал так: “Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить”. И я подумал: “Сказал бы прямо: “Добро должно быть с кулаками!”” Ведущая информационной программы, сообщая о пресс-конференции, как будто услышала меня и произнесла эту фразу. И этим порадовала! Она, может, и не знала, что эта строка из стихотворения Станислава Куняева, и, может, произнесла её как народную мудрость, у которой нет конкретного автора! Тем не менее это показывает укоренённость русских поэтов, их произрастание из русского мира. А в судьбоносный для России момент именно их творчество всегда оказывается востребованным: стихотворением, четверостишием, поэтической строкой. Поэтому с нами всегда и Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев, и Есенин, и Куняев!

Кстати, 13 июля в ток-шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” (Россия 1, прямой эфир, 22.30 по омскому времени) о Вашей книге “К предательству таинственная страсть...” в кругу деканов московских вузов говорила профессор МГИМО, красивая женщина, блондинка, фамилию которой в титрах не успел прочитать. Она называла Вас, называла книгу и говорила о таинственной

страсти к предательству людей, которые и ныне находятся в органах власти и местного самоуправления, говорила об их склонности к такому предательству (в моём отклике об этом ведь тоже есть место!). И это было так необычно в эфире телеканала, в котором о русских писателях-патриотах и слова не звучит, за некоторым исключением. Все молчали, слушали и, полагаю, знали о Вашей книге и, уж точно, её приобретут! Одно скажу, отклики о ней нужно публиковать! Раскрывать те или иные смыслы в её содержании. Ведь на том же ТВ, как бы в отместку Вашей книге, по-прежнему как о великих (как ни в чём не бывало!) говорят о Евтушенко, Вознесенском, Окуджаве, Высоцком, Ахмадулиной... В этом ведь тоже проявляется таинственная страсть тех, кто готовит такие передачи!

С юбилеем Вас! Пусть Ваш ум будет таким же пронизательным, актуальным и деятельным, каким он предстаёт перед всеми через Ваше творчество, выраженное в Слове! Только такой ум обеспечивает человеку здоровье и долголетие, даёт ему энергию жизни и ставит цели, которых необходимо достигать! Новые Вам творческих работ и книг во славу нашего Отечества и любимой России!

Пётр Козлов,
член Союза писателей России,
государственный советник юстиции
Российской Федерации 3 класса
г. Омск

Многая лета Вам, Станислав Юрьевич!
С юбилеем!

Вот уже 13 лет существует Саратовский Рубцовский центр (СРЦ). И всё это время Вы через Ваши книги являетесь нашим мудрым помощником и наставником. Во всех наших выступлениях, посвящённых Николаю Рубцову и нашему земляку Анатолию Передреву, Сергею Есенину и поэтам есенинского круга, Юрию Кузнецову и Вадиму Кожиннову, поэтам Серебряного века и поэтам-«шестидесятникам» присутствуют Ваши мысли и оценки.

В этом году после вынужденного длительного ковидного перерыва Рубцовский центр вновь включился в работу. Возобновились и еженедельные поэтические субботы в читальном зале сада «Липки», где мы уже 7 лет проводим вечера с нашими литераторами. Этим летом нам удалось провести литературно-музыкальные вечера, посвящённые творчеству Рубцова, Передрева и в том числе Вашему творчеству. О нём, кроме фотографий, мы сделали видеоролик, который разместили в интернете, в том числе на странице Саратовского Рубцовского центра.

Вечер о Вашем творчестве получился благодаря Вашим книгам, которые Вы подарили нам и которые я приобрела вместе с журналами в редакции «Нашего современника». На вечере звучали Ваши стихи из разных книг в исполнении активистов СРЦ, прозвучали песни на Ваши стихи, как в записи, так и авторские, музыку к которым написала наша активистка Мария Колина.

Об этих мероприятиях библиотечные работники написали заметки и поместили их в интернет. А заметка о вечере по творчеству Рубцова даже была напечатана в местной газете «Саратовская панорама». Это наши маленькие успехи (пресса нас особо не балует).

Ежегодно группа активистов СРЦ посещает Вологодский фестиваль «Рубцовская осень», в этом году поедет 6 человек, в основном авторы-исполнители песен на стихи Рубцова. Я везу туда в подарок 3 книги, вышедшие в Саратове: свою под названием «Есенин и Рубцова. Параллели судеб. Тайна гибели двух поэтов», книгу наших двух активисток «Я клянусь, душа моя чиста» и книгу нашего краеведа Владимира Вардугина «Подстреленные на взлёте», где имеется очерк о Рубцове. Моя книга выставлена на двух сайтах: Esenin.ru и на Рубцовском.

В прошлом году приобрела и прочла Вашу книгу «К предательству таинственная страсть...». Очень интересная и познавательная книга. Современная и актуальная в контексте сегодняшних событий и реакции на них либерального бомонда (всех этих макаревичей, галкиных, невзоровых), покинувших Россию и теперь проклиняющих её. Так и напрашивается аналогия с Вашими «шестидесятниками».

Очень надеемся приехать на Ваш юбилейный вечер в Москву.
Держитесь. Дай Вам Бог сил и здоровья. Искренне восхищаемся Вами.
Вы нам очень нужны!

С уважением
руководитель Саратовского Рубцовского центра
Любовь Чиркова

СОВРЕМЕННОСТЬ ВСЕМ ЭПОХАМ

*Жизнь прошла, а значит, будь спокоен.
В общей битве с многолетним злом
Ты владел не рукопашным боем —
Ты сражался духом и стихом.*

(Станиславу Куняеву в день
60-летия. Юрий Кузнецов)

Вот и пришёл Ваш знаменательный юбилей, глубокочтимый Станислав Юрьевич. Слава Богу! Такого возраста достиг лишь один Ваш друг и единомышленник — Михаил Лобанов.

А в нынешнее время не только годы, но и один день — Божий дар. А поэтому и прошу я у Господа, чтобы как можно дольше посылал Он Вам такие подарки на радость семье и читателям, на подведение жизненных итогов. Помните, как у А. Твардовского:

Я думу свою без помехи подслушаю,
Черту подведу стариковскою палочкой:
Нет, всё-таки нет, ничего, что по случаю
Я здесь побывал и отметился галочкой.

Но это очень скромно сказано, особенно для таких подвижников, как Он и Вы с 66-летним творческим стажем и 33-летним руководством “Нашим современником”, лучшим патриотическим журналом советского и нашего времени. Но это время у Вас не разделялось. Советско-планетарное и русско-православное всегда было и есть в тесном единстве.

Весь Ваш жизненно-творческий путь (это тоже неделимо), путь страстный и сложный, отмечен стремлением к жизненной правде и высокой гражданственности, следованию великой пушкинской традиции. Приведу для примера стихи, написанные 47 лет назад, но очень актуальные на все последующие годы, особенно в наши дни:

Опять разгулялись витии —
шумит мировая орда:
— Россия! Россию! России!..
Но где же вы были, когда
от Вены до Амстердама,
Европу, как тряпку кроя,
дивизии Гудериана
утюжили ваши поля?..

При чтении этих стихов вспоминаются пушкинские “И ненавидите вы нас...”.

Вадим Кожин в предисловии к Вашему сборнику “Путь” говорил о следовании коренной отечественной традиции, которое при создании поэтического творения необходимо всякий раз (и приводит Ваши строки):

...подтвердить
причастье к истинам высоким,
прекрасным, вечным и жестоким,
и душу настезь отворить.

Да! Во множестве Ваших стихов видится не только одарённость, но и внутренняя воля, отворявшая “душу настежь”:

Я, как в юности, снова приду
постоять над высоким обрывом,
помолчать на осеннем ветру —
здесь на родине в давнем году
в некий час я родился счастливым!
Сколько лет, сколько зим, Боже мой!
Но всё так же чернеет ограда,
так же стелется бор вековой.
И всё так же шумят надо мной
липы Загородного Сада.

Вам, дорогой Станислав Юрьевич, несказанно повезло. У Вас были замечательные родители — Александра Никитична, врач, и Юрий Аркадьевич, научный работник, о которых Вы с сердечной теплотой поведали в трогательном рассказе “Возвращение”. Мать передала Вам любовь к труду, непоколебимую волю к жизни, бойцовский характер, организаторские способности, а отец приучил любить хорошую книгу, приобрёл к чтению классики, выразительно декламировать стихи Пушкина, Есенина, Маяковского.

Мне довелось Вас видеть и слышать со сцены ЦДЛа на юбилейном вечере Олега Платонова, когда Вы читали стихотворение Юрия Кузнецова, посвящённое Вам, но Вы сказали, что оно подойдёт и юбиляру. Голос Ваш звучал на весь огромный зал, хоть читали без микрофона. Этаким высоким, стройным, уверенным в себе, словно Маяковский, даже не верилось, что такому русскому витязю — 88!

В этот день, когда трясёт державу
Божий гнев и слышен плач и вой,
Назовут тебя друзья по праву
Ветераном третьей мировой.

Вам повезло, что в Ваших верных друзьях — Анатолии Передрееве и Вадиме Кожинове, Николае Рубцове, Михаиле Лобанове — Вы всегда находили моральную поддержку.

Вам повезло, что Вы вырастили и воспитали замечательного сына, талантливое критика и публициста, продолжившего Ваше великое и благое дело — Сергея Станиславовича.

И Вам повезло, наконец, что в числе Ваших близких друзей был знаменитый русский композитор Георгий Васильевич Свиридов, которому Вы скрасили последние годы жизни. Точнее, вы друг другу скрасили свои жизни. Ваша переписка дышит душевностью и глубоким уважением. “Я давно Вас знаю, люблю и ценю ваше строгое слово, — пишет Георгий Васильевич в первом письме. — Четыре Ваши строки сидят у меня в голове прочно, как будто это я сам сочинил:

Синий холод осеннего неба
Столько раз растворялся в крови,
Не оставил в ней места для гнева,
Лишь для горечи и для любви.

Это, знаете ли, мне очень близко! Дай Вам Бог здоровья для Вашего достойного дела...”.

Как истинно интеллигентный человек, он помнил и о супруге Вашей: “Сердечный привет жене Вашей и всей Вашей семье — здоровья и благополучия. Эльза Вам кланяется”. А вот новогоднее послание: “Дорогой Станислав Юрьевич, с Новым годом, да и минуют нас беды и ненастья! Пусть будет свет и хоть немного радости. Галине Васильевне — счастья, здоровья и сохранение её прелести на долгие годы. Очень хочу Вас видеть!..”.

А через 15 лет, в лютый мороз перед Крещением на Новодевичьем кладбище Вы хоронили Народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда,

лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, непревзойдённого автора камерно-вокальных и вокально-симфонических произведений на слова великих русских поэтов Пушкина и Некрасова, Есенина и Маяковского, Пастернака, поэтов Шотландии и Армении Р. Бёрнса и А. С. Исаакяна... “Порывы ледящего январского ветра задували огоньки свечей, прикрытых замерзшими ладонями”.

Послушайте же в свой 90-летний юбилей любимый всеми вальс из пушкинской “Метели”! Нежный и порывистый, лёгкий и тревожный, воздушный и пуржистый... Проникающий в самую глубь души и тревожащий сердце. Он напомнит Вам о многом... А главное – о создателе этого ни с каким другим не сравнимого вальса – о великом человеке великой души. Да, он любил Вас... А это стоит самого дорогого...

С большим интересом прочитала статью “К предательству таинственная страсть...”, содержание которой выходит далеко за рамки названия и больше подходит на литературную энциклопедию XX века. Многие суждения стали для меня настоящим открытием. И ещё тогда же была напечатана очень своевременная Ваша статья о Пушкине накануне его Дня памяти.

Низкий поклон и глубокая благодарность Сергею Станиславовичу за его замечательные и глубокие статьи о Вадиме Кожинове и особенно душевно, с любовью – о Юрии Селезнёве “За святыни Отечества”. Я давно ждала такого рассказа о любимом авторе серии ЖЗЛ “Достоевский”, с упоением читаю его и перечитываю. В начале своего повествования Сергей Куняев привёл фразу Вадима Кожинова: “Есть люди, о которых говорят, что на них земля держится. Юрий относился именно к таким людям. И сейчас, после его ухода, у меня есть ощущение, что земля пошатнулась”. Да! Как не хватает нам таких людей сегодня!

Р. С.: Сегодня наш престольный праздник – Воздвижение Креста Господня. У Татьяны Глушковой тоже есть о Воздвижении стихотворение. Царство им Небесное – Георгию, Татьяне, Юрию, Михаилу, Вадиму, Олегу, Николаю, Василию, Валентину, Леониду, Анатолию (Никонову) и многим другим вашим сподвижникам.

С глубокой признательностью за всё
Нина Тихомирова
г. п. Лиозно, Беларусь

Уважаемый Станислав Юрьевич, здравствуйте!

Недавно смотрю содержание журналов “Наш современник” за прошлый год и – пришло в голову вот такое сравнение, что журнал “НС” – для ума и для души. “Для ума” – это очерки, публицистика, критика, а “для души” – проза, стихи. Некоторые материалы под этими рубриками можно отнести и туда, и сюда.

Я сначала читаю публицистику. Радуюсь, когда вижу знакомые фамилии учёных, общественных деятелей. С любопытством начинаю читать новых авторов, думая про себя: что этот автор нам готовит?

Недавно перечитала Вячеслава Щепоткина “Люди на дороге жизни”. Мне интересно у него всё: про рыбалку, про охоту и про газетную работу...

В № 2 за 2018 год с повышенным интересом перечитала статью Игоря Янина “Речная цивилизация” с подзаголовком “Кабы реки и озера...” Написала своей внучке Тане, она учится на 5-м курсе Нижегородского университета водного транспорта, одновременно работает в проектной фирме, всё ей нравится. И дай Бог!

На днях получаю ответ: “Прочитала статью, что называется, на одном дыхании. Мощная доказательная база, множество фактов, в том числе исторических, всё по делу, всё понятно.

Согласна на 100% с автором. Статья от 2018 года. К сожалению, кардинальных изменений в отрасли за эти 4 года не произошло. Только на уровне обсуждений всё осело. Проблемы остаются те же, к ним только добавляются новые, например, санкции и отсутствие своих заводов по производству постоянно совершенствующегося оборудования. Это ещё сильнее тормозит

и без того медленное развитие флота у нас. И думаю, что до тех пор, пока не будет чёткой программы развития отрасли, в корне ничего не изменится. Работаем только на Вооруженные Силы. Но надежда остаётся.

Всегда читаю экономиста Михаила Делягина, публициста Евгения Степанова, учёных Елену Ларину и Владимира Овчинского, Николая Иванова. Да всех не перечислить. Что-то давно не вижу на страницах журнала Сергея Глазьева.

“Для души” в журнале тоже есть много чего. Повести, рассказы, отрывки из романов, стихи. Как-то я сказала Вам, что все ваши авторы стали нам, постоянным читателям журнала, как родня. Некоторые ушли из жизни, но остались в памяти читателей, а их книги, статьи можно читать и перечитывать.

Спасибо Вам и всему творческому коллективу за журнал. Ждём каждого номера!

С уважением **Галина Старкова**
с. Пыщуг Костромской области

Многоуважаемый Станислав Юрьевич!

Разрешите поздравить Вас с днём рождения, пожелать здоровья и долголетия!

Счастлива была познакомиться с Вашим творчеством и журналом “Наш современник”. Воздействие Ваших книг – глубоко и сильно. Они меня буквально “перепахали”. Я получила от книг и журнала внятные ответы на многое, волновавшее меня, но, к сожалению, вопросов к нашей жизни и нашей литературе меньше не стало. Когда я листаю страницы интернета, постоянно вижу хвалебные оды Евтушенко, Вознесенскому, Рождественскому, другим “шестидесятникам”, Высоцкому и т. д. Как-то попробовала привести Ваши слова об Окуджаве, так на меня просто обрушился поток Бог знает каких обвинений. Восхищаются Рубиной, Донцовой и пр., иногда вспоминают Рубцова. Ваших книг, Тряпкина, Передреева не знают, как правило, вовсе. Грустно всё это. Для меня же каждая Ваша книга, Ваш журнал “Наш современник” – откровение, поступок, даже подвиг.

Ещё раз с днём рождения, долголетия и новых книг!

С уважением и признательностью
Галина Леонидовна Бабенко
г. Котельнич

Дорогой Станислав Юрьевич! Прочитал Вашу книгу “К предательству таинственная страсть...”. Неделю наслаждался чтением, много чего выписывал для себя. И через всю книгу проходит судьба Николая Рубцова. Станислав Юрьевич, спасибо Вам большое, что никогда не забывали меня в далёком Сургуте, присылали книги, печатали в журнале. Ваши книги и книги В. Кожинова занимают лучшие места на моих книжных полках. Лучшие – это чтобы удобнее было их взять в руки в любое время. Удивляюсь Вашей работоспособности, памяти и духу! И в Ваши приличные года меч в Вашей руке ещё не дрожит и готов к бою! На страх врагам. А их хватает. Поражаюсь! Здоровья Вам и ещё раз здоровья! Журналу и редакции – жизни интересной и кипучей.

Сергей Лагереv
г. Сургут

Журнал поздравляет
нашего постоянного автора и друга
Евгения Семичева с 70-летним юбилеем!



* * *

*Лети, мой блистательный снеже,
Ко мне на свидание днесь...
Когда же ещё мы и где же
Обнимемся, если не здесь?*

*Чтоб мы никогда не жалели
В какой-нибудь жизни иной,
Что мы не смогли, не сумели
Обняться при жизни земной.*

*В той звёздной космической стуже
Нам встретиться вряд ли дадут...
Давай, мой сиятельный друже,
Покрепче обнимемся тут,*

*Где веток хмельное венчанье
И небо в лиловом дыму...
И вечное наше молчанье
Да будет порукой тому!*

Подборку стихотворений Евгения Николаевича
читайте в ближайших номерах журнала.



Максим Васюнов – лауреат
премии “Всё впереди!”

В Вологде на торжественных мероприятиях, посвящённых девяностолетию со дня рождения выдающегося русского прозаика и поэта Василия Ивановича Белова были вручены премии “Всё впереди!” имени В.И.Белова. Первое место занял наш автор, молодой калужский прозаик Максим Васюнов за повесть “Кутига”, вышедшую в “Нашем современнике” (№ 8 за 2021 год), второе — москвичка Анастасия Коваленкова, третье — воркутинский прозаик Виталий Лозович.

А в декабре исполняется десять лет с того дня, как Василия Ивановича с нами не стало. В память о незабвенном авторе в декабрьском номере мы публикуем произведения лауреатов премии “Всё впереди!”, а также некоторых авторов, выделенных редактором отдела прозы “Нашего современника” Александром Сегенем.

Читайте в № 12 подборку рассказов и повестей под общей рубрикой “Всё впереди!”